

А.А.Бестужев-Марлинский

А.А.Бестужев- Марлинский

Повести



А.А.Бестужев-
Марлинский



Пушкинский кабинет ИРЛИ

А.А.Бестужев- Марлинский



Повести



Москва
Издательство «Правда»
1986

Пушкинский кабинет ИРЛИ

84 Р 1
Б 53

Составление,
вступительная статья и примечания
В. И. Кулешова

В $\frac{4702010100-1020}{080(02) = 86}$ 1020-86

© Издательство «Правда», 1986. Составление.
Вступительная статья.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Александр Бестужев-Марлинский

До недавнего времени многим современным читателям Бестужев-Марлинский был знаком больше по имени. Он известен в основном как декабрист, сподвижник Рыльева по изданию «Полярной звезды», и как соавтор агитационных песен. В сборниках поэзии декабристов он всегда заслонен более яркими талантами: Рылевым, А. Одоевским. Его имя называется среди друзей Грибоедова, Пушкина, и последний характеризовал Бестужева как человека в высшей степени симпатичного, остроумного, колкого, вызывающего на споры.

Что же влечет теперь современного читателя к Марлинскому? Только ли возросшая любознательность?

В характерах всех Бестужевых: отца, матери, пяти братьев и трех сестер — отразилось определенное историческое время. И именно у Александра Бестужева — с особенной силой и яркостью. У него все исконно «бестужевское» прямо вело к «декабристскому».

Александр Александрович Бестужев родился 23 октября 1797 года в Петербурге в обедневшей дворянской семье. Его отец, А. Ф. Бестужев, вместе с «радищевцем» И. П. Пинным издавал «Санкт-Петербургский журнал», проповедовавший идеи просвещения, гражданского равенства. Все его сыновья, как и он сам, прошли военную службу; четверо из них — Николай, Александр, Михаил и Петр — были захвачены водоворотом 14 декабря 1825 года, сосланы в Сибирь, в солдатчину. Пятый, Павел, пострадал за то, что он Бестужев, «брат своих братьев», — протаскал ранец в персидской и турецкой кампаниях, пока после унижений и изымательства не заболел психическим расстройством. Мать была простой нарвской мещанкой, не знала даже по-французски, но была чуткой и волевой женщиной, которая вместе с мужем не только воспитала детей в безграничной братской любви друг к другу, но и с глубоким пониманием отнеслась к их самопожертвованию во имя родины; только смерть помешала ей выехать с дочерьми к сыновьям, Николаю и Михаилу, в Сибирь.

Благородство, смелая инициатива, беспримерная храбрость отличали Александра Бестужева. Он до восстания уже прославился как поэт, критик, повествователь. Даже в солдатчине под псевдонимом «Марлинский» снова сделал себе имя.

Бестужев вступил в Северное общество во второй половине 1823 года и занял в нем радикальную республиканскую позицию. Рылеев стал самым близким его другом. Накануне восстания они жили в одном доме. На «русских завтраках» у Рыльева (кочан кислой капусты, хлеб и водка) собирались единомышленники,

принятые в тайное общество, и многие литераторы оппозиционных настроений.

Он принял в тайное общество Каховского, Якубовича, А. Одоевского, Оржицкого, своих братьев Михаила и Петра. Он был участником всех совещаний, на которых обсуждался план выступления, предлагал захват Зимнего дворца и арест царствующей фамилии. В ночь перед восстанием он вместе с Рылевым и братом Николаем обходил улицы, останавливал прохожих, разговаривал с часовыми, солдатами, убеждал их не присягать Николаю I.

Первоначальную литературную известность Бестужев снискал себе как журнальный критик.

От статьи к статье Бестужев быстро вырастал в ведущего глашатая национальности и самобытности в литературе. Воплощением этих качеств, по его мнению, занималась та новая литература, которая создавалась писателями, активными участниками декабристского движения, и теми, кто к нему примыкал. Объединить же эти свежие силы Бестужев и Рылеев задумали в специальном альманахе «Полярная звезда» (вышло три выпуска: на 1823, 1824 и 1825 годы). В альманахе появились главные литературно-критические статьи Бестужева, выражавшие программу гражданского романтизма. Кроме того, декабристы почти полностью завладели «Сыном отечества», в Москве появился альманах «Мнемозина» В. К. Кюхельбекера и В. Ф. Одоевского (двоюродного брата поэта А. Одоевского), деятельно работало «Вольное общество любителей российской словесности», филиал Союза Благоденствия, с собственным органом «Соревнователь просвещения и благотворения».

По всеприемлемости явлений, отзывчивости на самые тонкие их оттенки Бестужева можно назвать одним из самых широких по кругозору декабристов-романтиков. Живой заинтересованностью Байроном и Шекспиром, Гете и Шиллером, Вашингтоном Ирвингом и Эдгаром По он далеко превосходил многих своих приятелей-литераторов и даже наиболее чуткого к исканиям всего нового Рылеева. Как литературный критик Бестужев во многом предшественник Беллинского.

Бестужев был еще и поэтом. Уже первые опубликованные его стихи свидетельствовали о доминирующем значении в них гражданских тем. Жанр послания в отличие от карамзинистов и «ара-замасцев» не носил у Бестужева легкого, эпикурейского характера. Послания у него неизменно включают мотивы служения высшим идеалам.

Трудно переоценить заслуги Бестужева, который одним из первых в истории русской литературы XIX века серьезно обратился к прозе. На вопрос: «Чья проза лучшая в нашей литературе?» — Пушкин в 20-х годах отвечал: «Карамзина», но «это еще похвала не большая»¹. Сам Пушкин приступил к прозе в то время, когда Бестужев уже прославился повестями и очерками. Гоголь выступил около этого же времени, то есть в начале 30-х годов. Но, неоспоримо, за вычетом карамзинской прозы в «Исто-

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в десяти томах. Т. 6, М., 1976, с. 228.

рии государства Российского! (сильно возмужавшей в связи с необходимостью рисовать «шекспировские» характеры Ивана Грозного, Бориса Годунова), бестужевская проза на протяжении 20-х и начала 30-х годов была «лучшей». Она своеобразно сосуществовала с прозой Пушкина, Гоголя, соперничала с ними и во многом их предварила.

Главное в повестях Бестужева — апофеоз храбрости, доблести, борьбы против тирании во всех видах. Бестужев ставил те же цели, что и Рылеев в «Думах»: «возбуждать доблести сограждан подвигами предков». Предки эти не собственно исторические лица. Бестужев в отличие от Рылеева сам выдумывает героев, старается «домашним образом» показать историю. У него герои носят более обмирщенный, будничныи характер, но все они непременно герои. Как и Рылеев, он в их уста вкладывает свои слова.

С наибольшей художественной мотивированностью нарастание сопротивления показано в «Ревельском турнире» (1825). Победителем спесивого рыцаря Унгерна оказывается молодой рижский купец Эдвин, которому и латы, и копые, и меч пришлось по плечу. Ему достается царица турнира, дочь барона Буртнека. Эдвин сильнее всех рыцарей и нравственно: «он умел мечтать и чувствовать». Его победа над рыцарем кончается городской свалкой, дракой между благородной аристократией и «черноголовыми», то есть купцами, которые единодушно поддерживают Эдвина. Бестужев в повести исторически верно показал обреченность рыцарства и всего феодального уклада.

Бестужев ищет героиню везде — можно сказать, на суше и на море: «Лейтенант Белозор» (1831), «Фрегат «Надежда» (1833), «Мореход Никитин» (1834); в светской жизни: «Испытание» (1830), «Страшное гаданье» (1831); в экзотике Кавказа: «Аммалат-Бек» (1832). В поддержании этой героини нуждалось общество, переживавшее время упадка. Тенденция эта была так велика, что еще появится в эти годы Лермонтов с его «кавказскими» и «демоническими» темами, Гоголь с «Тарасом Бульбой», Пушкин с «Песнями западных славян», «Кирджали», «Дубровским».

Пережитая катастрофа несколько перестроила творчество Бестужева: оно стало автобиографичней, с большей опорой на увиденное и достоверное в жизни, с большей отдачей себя объективным впечатлениям, более критическим в отношении к прежней восторженной вере в силу разума, священного порыва, в скорую возможность преобразования мира.

Случай, непредвиденные обстоятельства лежат в основе «Аммалат-Бека» и других произведений, хотя сюжеты их основываются на реальных былых. Бестужев изучает Кавказ досконально, создает ценную очерковую литературу о нем, изобилующую реальными наблюдениями над бытом и нравами горцев, их обычаями, привычками.

Неизведанными казались ему Россия и русский народ. Он хочет зарисовать картины жизни с природы, как фламандец Теньер, которому он поклонялся, постичь как философ его место в семье человечества. Бестужев терпеть не мог туманной, фаталистической немецкой «метафизики», которая наиболее интенсивно (в системах Шеллинга и других) занималась осмыслением этих

проблем. Он писал журналистам, братьям Полевым, в начале 1832 года: «Чтоб узнать добрый, смысленный народ наш, надо жизнью пожить с ним, надо его языком заставить его разговориться... быть с ним в расхмель на престольном празднике, ездить с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться с ним в обозе, драться вместе стена на стену. А солдат наш? какое оригинальное существо, какое святое существо и какой чудный, дикий зверь вместе с этим! Как многогранна его деятельность, но как отличны его понятия от тех, под которыми по форме привычки его рисовать! Этот газетный мундир вовсе ему не впору (...). Кто видел солдат только на разводе, тот их не знает... хоть бы век прослужил с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле, лежать в морозную ночь в секрете, идти грудь с грудью на завал, на батарею, лежать под пулями в траншее, под перевязкой в лазарете; да, бездельца: ко всему этому надо гениальный взор, чтобы отличить перлы в кучах всякого хлама, и потом дар, чтобы снизить из этих перл ожерелье! О, сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение за то, что из стольких материалов, под рукою моей рассыпанных, не мог я соорудить ничего доселе!»¹

Тут целая программа творчества, видно, в каком направлении шла мысль Марлинского и его художественные поиски.

В другом месте он рассуждает об отличительных особенностях храбрости русского солдата, который «неохотно идет в огонь, но хорошо стоит в нем», и потому, что не умеет уйти, не смея ослушаться, и потому, что русскому солдату доступны все высокие чувства: и честь полка, и честь родины, его увлекают пример и красное слово. А есть и такие, «которые так же радостно идут в дело, как в кружало»².

Сам Марлинский лишь отчасти осуществил обширную программу, им намеченную. В повести «Фрегат «Надежда» — большое число эпизодов о храбрости русских моряков, их беззаветности, чувстве рыцарского долга, их самопожертвовании. Есть у Марлинского небольшой, снятый прямо с натуры очерк «Подвиг Овечкина и Щербины за Кавказом». Сопоставления типов храбрости русской и французской, русской и чеченской постоянно проходят в его повестях.

Наблюдательность Марлинского вовсе не ограничивалась военным бытом: тут и описание намаза и других мусульманских обычаев, и описание главной мечид под Дербентом, и целые выкладки по ботанике, козь уж судьба завела лейтенанта Белозора в оранжерею добряка Саарвайерзена. В манере скрупулезного Гогарта он зарисовывает в «Испытании» «чрево» Петербурга: ввозы, торговые ряды на Сенной площади, пишет целые трактаты о святочных гаданиях, чтобы их вставить в повесть. Эти не организованные в сюжеты огромные массы эмпирического материала, натуралистических зарисовок готовили взрыв романтизма и переход прозы к реалистической достоверности.

Экстравагантные, авантюрные интриги, приключения, рискованные похождения, дуэли героев — ведущие мотивы в повестях Марлинского. У него все запутанное распутывается, самые трагические ситуации счастливо кончаются. Он увлекается своим

¹ Русский вестник, 1861, № 3, с. 319.

² См. там же, с. 323.

узорчатым стилем, каламбурами, гусарскими остротами. Как говорил Белинский, «у Марлинского каждая копейка ребром, каждое слово с завитком». Его «быстрые» повести слабы в психологических мотивировках, сменяются причины и следствия с молниеносной быстротой, любовные объяснения упрощены. Все это оставалось «марлинщиной» и устаревало на глазах.

И все же можно говорить о некоторой эволюции Бестужева-Марлинского как писателя-романтика. Много значила душевная поддержка, полученная Бестужевым во время кавказской службы со стороны московских журналистов Николая и Ксенофонта Полевых, издававших с 1825 по 1834 год один из самых передовых русских журналов — «Московский телеграф». В 30-х годах началась между ними по инициативе Бестужева деятельная переписка. В трудные для Бестужева годы братья Полевые поддержали его, предоставив страницы «Московского телеграфа» для его выступлений как автора повестей и как литературного критика. Их переписка показывает, в какой степени Бестужев втягивался в решение тех задач, которые вставали перед русской литературой в 30-х годах. Н. Полевой послал Бестужеву произведение Гофмана, «от которого Европа с ума сходит и которого, вероятно, Вы не вполне еще знаете»¹. Гофмана он действительно до этого недолюбливал. Возможно, «гофмановщина» в какой-то мере отразилась в фантастических мотивах последующего творчества Марлинского. «Посылаю Вам при сем, — писал в другом письме Н. Полевой, — «Notre Dame de Paris» В. Гюго — произведение, изумившее Францию»². Гюго пришлось весьма кстати: в ответных письмах Бестужев называл его «гением неподдельным» (противопоставляя даже Бальзаку), и можно определенно сказать, что «теория контрастов» Гюго оказала влияние на изображение страстей у Марлинского.

Именно в эти годы реалистическое творчество Пушкина несло в себе самые великие стремления к демократизации всей русской литературы. Постепенно происходила эволюция и Бестужева-Марлинского. Более сложным он стал рисовать внутренний мир героев. После «премиленного рассказца» «Лейтенант Белозор», в общем тоне которого «много добродушия и непритворной шутиливости» (Белинский), во «Фрегате «Надежда» слышатся истинно драматические тона. Лишь первоначально его герой напоминает беззаветной храбростью героя предыдущего произведения, а со второй части, как это отмечал и сам Бестужев в письмах к родным, происходит трагический слом в его отношениях с княгиней Верой. Тут Марлинский выступает настоящим психологом. Здесь так же, как и в повести «Испытание», его начинают занимать те самые «одушевленные картины неодушевленного нашего света», которые он некогда порицал в первой главе «Онегина».

Повесть «Аммалат-Бек» строится на коллизии двоемирия героя, который не раз переходит границы между воюющими сторонами и служит то своим, то русским, дружит с полковником Верховским и сам верит в свою дружбу и все-таки убивает его по стечению обстоятельств и еще потому, что «кровь заговорила».

¹ Известия по русскому языку и словесности. Т. 2, кн. 1, Л., 1929, с. 207.

² Там же, с. 213.

Марлинский гордился тем, что ему удалось художественно свести своды в этой повести. «Характер Аммата,— писал он братьям Полевым,— выдержан с первой главы, где он застреливает коня, не хотевшего прыгать, до последних, в которых он совершает злодейское убийство друга»¹. Грешник или злодей? Двоемирие героя начинало интересовать Марлинского все определеннее. Тут готовились темы «Измаил-Бек», «Каллы» Лермонтова, «Казак» и «Хаджи-Мурата» Толстого.

«Я стараюсь изучать человека во всех положениях...»² — писал он братьям. И действительно, в «Страшном гаданье» перемешаны реальные и фантастические планы, причем сон кажется явью, а реальность неправдоподобной. Внешне банальная история: рассказ офицера конногвардейского полка о своём страстном увлечении Полюной — обрастает такими фантазмагорическими видениями, такими спросами совести, неожиданными действиями героя, которые он совершает произвольно, не подозревая сам в себе сил на это; такие трагедии ожидают его на избранном пути, и все это проливает свет на сложный, еще не изведанный характер людских отношений. Фантастический элемент усложнял характеры — это была своеобразная форма углубления психологизма Марлинского.

Многие повести и рассказы Марлинского еще рассыпались на отдельные эпизоды. Вставные куски мешали плавности и замкнутости, например, в повести «Страшное гаданье». В ряде случаев Марлинскому уже удавалось создавать и сюжетно целостные произведения, такие, как «Ревельский турнир», «Испытание», «Аммат-Бек». Приобретает большую целостность вторая часть «Фрегата «Надежды». Сырые материалы подчас несли в себе новые наблюдения над жизнью и подтачивали романтизм. Все же Бестужев еще не нашел способ создать из них целостную эстетическую систему. Но, не сумев сделать этого сам, он помогал писателям, идущим вслед за ним.

Бестужев, например, нередко предугадывал сюжетные ситуации, вытекавшие прямо из самой жизни, которые вслед за ним и более успешно разрабатывали другие писатели. Так, он предвещал некоторые мотивы «Горя от уга». А в иных случаях Бестужев пытался полемизировать с чужими сюжетами; такова его повесть «Испытание», в которой он старается «исправить» пушкинского Евгения Онегина. Стрелинский и Гремин — такие же друзья-враги, как и Онегин с Ленским. Но герои кончают свои запутанные отношения мирно: Стрелинский женится на графине Алине, Гремин на Ольге, сестре Стрелинского, сумевшей вовремя предотвратить их дуэль. Каждый герой прошел свое испытание. Стрелинский, в отличие от хандрившего Онегина, всерьез оседает в деревне и занимается «улучшением быта своих крестьян». Но Бестужев не замечает, что практицизм его Стрелинского ниже угасающего недовольства Онегина жизнью и собой. И личное счастье Алины, пожертвовавшей светом ради деревни, не может идти ни в какое сравнение с судьбой пушкинской Татьяны, в которой отразился подлинный трагизм жизни русской женщины.

¹ Русский вестник, 1861, № 3, с. 307.

² Былое, 1925, № 5, с. 119.

Подробное исследование всех переключек Марлинского с русскими писателями показало бы, что у него есть и свое описание Терека, предвещающее Лермонтова, и свой намек на будущую голевскую «тройку», сравнение Москвы и Петербурга, которое займет потом славянофилов и ярко пройдет в публицистике Белинского и Герцена. Все это показывает, каким живым умом обладал Марлинский, человек несобранный, но яркий, устремленный вперед.

Марлинский как художник начинал понимать, что чувство дистанции между героями и автором, между описываемыми событиями и современностью — обязательное условие творчества. Полушутливо он писал братьям Полевым: «Надобно, чтобы событие отдалилось на исторический выстрел»¹.

В большой статье о романе Н. Полевого «Клятва при гробе господнем» (1833) он подвел итоги своим размышлениям о романтизме. Здесь все романтическое не является только лишь построением лучшего «мира иного», а драгоценно своими неповторимыми приметам времени. «Мы живем в веке романтизма...» — заявляет Марлинский и тут же, рядом, выдвигает положение: «Мы живем в веке историческом», — и уточняет: «в веке историческом по превосходству». Во всех литературах Европы и даже Индии Марлинский старается проследить нарастание реалистического начала в человеческом мышлении, пристрастие к самобытным национальным и историческим краскам. И в итоге он приходит к выводу, что прежние экскурсы в историю уже не годятся, надо все начинать сначала: «Мы стоим на брани с жизнью», «мы должны завоевать равно свое будущее и свое минувшее», должны воспроизвести «мать-отчизну точь-в-точь, как она была!» Конечно, все эти сдвиги в сознании Марлинского не выводили его еще за рамки романтизма, но переакцентировка внимания с «воображения» на «историю» — явно новая ступень в эволюции его романтизма. Как развернулось бы дальнейшее творчество Марлинского — гадать трудно, но, несомненно, оно поднялось бы на какой-то еще более высокий уровень.

Однако судьба готовила трагический конец этой яркой и замечательной жизни. Угрозу своему положению Бестужев-Марлинский начинал чувствовать каждодневно и с особенной тягостью. Чувство страшного одиночества привело его незадолго до смерти на могилу Грибоедова в Тифлисе, а к этому времени пришла весть о гибели Пушкина. Он заказал священнику панихиду по двум убиенным «боляринам» Александрам. Не прошло четырех месяцев, как не стало и его.

Бестужев был убит в схватке с черкесами при высадке десанта у мыса Адлер 7 июня 1837 года. Горцы отступили в небольшой лес у берега, солдаты увлеклись преследованием, Бестужев был с ними. Он был ранен сначала пулей, солдаты подхватили его, истекавшего кровью, и повели к воде, но налетели черкесы. Труп Бестужева не удалось опознать даже при размене телами убитых на следующий день. «Какая тяжелая судьба всех современных поэтов», — писал Бестужев брату Павлу в феврале того же года, перед самой своей гибелью.

¹ Русский вестник, 1861, № 3, с. 287.

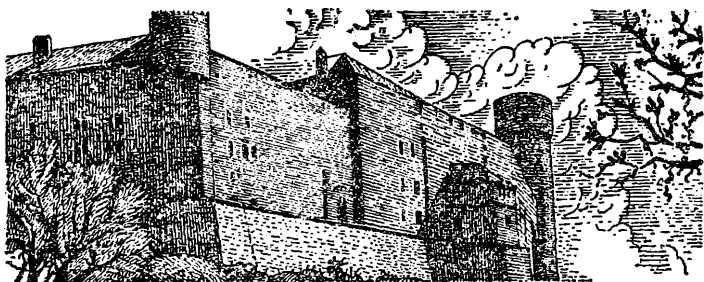
Что же может интересовать современного читателя в Марлинском?

Кроме возрастающего желания познать все самые отдаленные явления русской классики, в Марлинском подкупает прямой, непосредственный пафос рыцарского служения истине, красоте, женщине, беззаветная преданность долгу, чести, доблести, храбрости. Приключенческая основа его экстравагантных сюжетов захватывает нас, демонстрирует всемогущество человеческой воли, бескорыстия, честности. Кроме того, Марлинский в высшей степени морален; он воспитывает ненависть ко лжи, деспотизму, бесстрашие в борьбе с ними — и все это у него броско, сильно, непосредственно, несмотря на некоторую устарелость, несовершенство художественного воплощения. Он подкупает читателя жаром страсти, сокрушения сил тьмы и насилия во имя торжества светлых начал. Далекое прошлое Марлинский — но оно представляет собой живую духовную ценность для нас.

В. КУЛЕШОВ

Повести





Ревельский турнир

I

«Вы привыкли видеть рыцарей сквозь цветные стекла их замков, сквозь туман старины и поэзии. Теперь я открою вам дверь в их жилища, я покажу их вблизи и по правде».

Звон колоколов с Олая великого звал прихожан к вечерней проповеди, а еще в Ревеле все шумело, будто в праздничный полдень. Окна блистали огнями, улицы кипели народом, колесницы и всадники не разъезжались.

В это время рыцарь Бернгард фон Буртнек спокойно сидел под окном в ревельском доме своем, за кружкою пива, рассуждая о завтрашнем турнире и любясь сквозь цветное окно на толпу народа, которая притекала и утекала по улице, только именем *широкой*. Судя по бороде, по собственному его выражению, с серебряною насечкой, то есть с сединою, Буртнек был человек лет пятидесяти, высокого и когда-то статного роста. Черты его открытого лица показывали вместе и доброту и страсти, не знавшие ни узды, ни шпоры, природное воображение и приобретенное невежество.

Зала, в которой сидел он, обшита была дубовыми досками, на коих время и червяки вывели предивные узоры. По углам, со всех панелей развевались фестонами кружева Арахны. Печка, подобие рыцарского замка,

смирненно стояла в углу, на двенадцати ножках своих. Налево дверь, завешанная ковром, вела на женскую половину через трехступенный порог. На правой стене, в замену фамильных портретов, висел огромный родословный лист, на котором родоначальник Буртнеков, простертый на земле, любовался исходящим из своего лона деревом с разноцветными яблоками. Верхнее яблоко, украшенное именем Бернгарда Буртнека, остального представителя своей фамилии, дородностию своею, в отношении к прочим, величалось как месяц перед звездами. Подле него, в левую сторону вниз, спускался коронованный кружок с именем Минны фон... Бесцветность будущего скрывала остальное, а раззолоченные гербы и арабески, наподобие тех, коими блестят наши вяземские пряники, окружали дерево поколений.

— Нагулялся ли ты, любезный доктор? — спросил Буртнек входящего в комнату любчанина Лонциуса, который приехал на север попытать счастья в России и остался в Ревеле, отчасти напуганный рассказами о жестокости москвитцев, отчасти задержанный городской думою, которая не любила пропускать на враждебную Русь ни лекарей, ни просветителей. Надо примолвить, что он своим плавким нравом и забавным умом сделался необходимым человеком в доме Буртнека. Никто лучше его не разнимал индейки за обедом, никто лучше не откупоривал бутылки рейнвейна, и барон только от одного Лонциуса слушал правду не взбесившись. Ребят забавлял он, представляя на тени пальцами разные штучки и делая зайца из платка. Старой тетушке щупал пульс и хвалил старину, а племянницу заставлял краснеть от удовольствия, подшучивая насчет кого-то милого.

— Нагулялся ли ты? — повторил барон, отирая с усов своих пену.

— И с пользою нагулялся, барон, — отвечал весельчак доктор, выгружая из карманов своих, будто из теплиц, разнородные растения. — Вот целые пучки лекарственных кореньев, собранных мною, и где бы вы думали?.. на вышегородских укреплениях!.. Эту полынь, например, целительную в виде желудочных настоек, сорвал я в трещине главной башни; эту ромашку выдернул из затравки одного ржавого орудия, и я, конечно бы, собрал на стене гораздо более трав, если бы комендантские

коровы не сделали там прежде меня ботанических исследований.

— Ну, каковы же тебе кажутся наши неприступные, грозные бойницы?

— Ваши грозные бойницы, барон, мне кажутся неприступными для самого гарнизона, потому что все всходы обрушены, а грозны они только издали; половина пушек отдыхает на земле, на валах цветет салат, а в башнях я, право, больше видел запасенного картофеля, нежели картечей.

— Да, да... это сказать — так стыд, а утаить — так грех! Хорошо еще, что такая оплошность со стороны моря. Ведь сколько раз говорил я гермейстеру, чтобы поставить все пушки на дыбы и не давать растаскивать ядер на поварни.

— Славно сказано, барон; еще лучше, когда б это исполнилось. Тогда перестали бы ревельцы потчевать приятелей, как их потчуют русские, калеными ядрами в виде пирожков. Не далее как вчерась я насилу залил пожар моего желудка, вспыхнувшего от подобного брандскугеля.

— И заливал, конечно, не водою, доктор?

— Без сомнения, мальвазию, господин барон. Неужели вы не знаете, что многие вещества от воды разгораются еще сильнее? А ваш дикий перец, конечно, стоит греческого огня.

Барон имел похвальную привычку соглашаться с тем, чего не знал. И потому он с важною улыбкою одобрения отвечал доктору: «Знаю... знаю»; но между прочим, не желая обжечься этим греческим огнем, он подвинул к Лонциусу кружку с пивом и предложил ему потушить остатки вчерашнего пожара.

— Тебе завтра будет вдоволь работы, — продолжал он, сводя разговор на турнир.

— Работы, барон? Разве я кузнец? — отвечал доктор, выменивая каждое слово на глоток пива. — Зачем вам хирурга, когда вы ломаете не ребра, а латы! С тех пор как выдуманы эти проклятые сплошные кирасы, нашему брату приходится вспоминать о своих опытах, словно сказку о семи Семионах. Велика очень храбрость залезть в железную скорлупу, да и стоять в битве нако-

вальней! Право, от вашего вооружения более терпят кони, чем неприятели!..

— Полно, полно, Густав, хулить наши брони за то, что они берегут нас от вражьих мечей и твоих ланцетов. Спроси-ка лучше у русских, любви ли они им? Наши латники гоняют кольчужников тысячами.

— Для того-то русские и не ждут ваших конных бойниц, а любят заставить вас по-домашнему — в замше. Сказывают, в Новгороде очень дешево из нее перчатки!.. Оно и не мудрено: отнятое хоть грошем, но дешевле купленного.

— Вздор, Густав, небылица! Клянусь своими шпорами, что если бы русские увезли у меня хоть уздечку, я бы нагнал удалцов и выкроил бы из их кож себе подпруги...

— У других с уздечками они уводят и коней, а ни у одного еще рыцаря не видать подпруг из такого сафьяна.

— У прочих... у других!.. Другие мне не указ. Я уверен, что русские не забудут встречи со мною под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!

— Это и я помню наизусть. Но к чему толковать нам о прошлых сражениях, когда речь завелась о наступающем турнире? Не приготовить ли мне перевязку для почтенного моего хозяина? Я бы от чистого сердца желал, барон, чтобы благодетельный удар вышиб вас из седла или чтобы конь ваш, ревнуя к славе хирургии, сломал бы вам руку или ногу. Вы увидели бы тогда искусство Лонциуса... и хотя бы кости ваши прыгали, как игральные косточки в стакане, я ручаюсь, что через месяц вы бы могли сами поднести ко рту кубок за мое здоровье.

— Я постараюсь лучше сохранить свое. Нет, милый мой Лонциус, Буртнеку не бросать больше из седел противников! Некстати ему мерять плечо с мальчиками. Притом же и лета отяготили броню мою, а сила руки улетела с ее ударами. Нет, я не поеду туда, откуда не уверен выехать. Не заманили бы меня и на эту пирушку, если бы не просьбы дочери и не дело с бароном Унгерном. Гермейстер обещал его на днях окончить.

— Только обещал? Это не много. Он два месяца обещает мне пропуск в Москву и до сих пор не дает его, хотя я вовсе не прошу господина гермейстера заботиться о здоровье моей головы, которая, по его словам, может простудиться от обычая снимать там шапки за версту до

княжеского дворца, а у забывчивых будто прибивают их гвоздями, чтобы не снесло ветром. Если он и для одноземцев так же приветлив, как для заезжих, то вы смело можете надеяться, что, являсь сюда с первыми жаворонками, воротитесь домой позднее той поры, когда кулики полетят на теплые воды.

— Может ли это случиться! Мое дело так ясно, как мой палаш, так право, как эта правая рука.

— Зато барон Унгерн хоть левою, но крепко держится за гермейстера; говорят, он ему сродни...

— А я с ним разве не брат по Ордену? Нет, доктор, о правосудии не сомневаюсь; но желал бы поскорее убраться из Ревеля. Здесь не то, что в деревне... пиры да обеды, от гостей да в гости,— а, смотришь, деньги улетают как время, и долги налегают на шею гирями!.. Золотыми шпорами своими клянусь, мне скоро нечем будет клясться, потому что придется заложить их. Нет ли у тебя, доктор, какого заморского лекарства от денежной чахотки?

— Если б оно и было, барон, то без употребления бы осталось; у кого есть деньги, тому не нужно лекарства, а у кого их нет, тому не на что купить его. По умственной алхимии дознался я, что орвиетан от болезней карманного рода есть *умеренность*.

За этим словом, не зная, с умыслом или ненарочно, доктор так громко брякнул стопую об стол, что яркий звон ее будто выговорил: «Я пуста».

— Понимаю,— сказал с улыбкою рыцарь,— понимаю это нравоучение; но, судя по нашей природе, оно останется без действия, точно так же, как и твои пилюли. Между прочим, любезный доктор, не выпить ли нам бутылочку рейнвейну, хоть это и противно нашему обряду? Говорят, каждая в пору выпитая рюмка рейнвейну отнимает по талеру у лекаря.

— Зато каждая бутылка дает ему по два. У вас очень старое вино, барон?

— Немного моложе *потопла*, господин доктор; но ты увидишь, что оно совсем не водяно.

Бернгард свистнул, и в ту же минуту вбежал не красивенький паж, как это водилось у французских рыцарей, не оруженосец, как это бывало у германских паладинов, а просто слуга-эстонец, в серой куртке, в лосиных панталонах, с распущенными по плечам волосами, вбе-

жал и смиренно остановился у притолоки с раболепно-вопросительным лицом.

— Друмме! — сказал ему Бернгард, — скажи ключнице Каролине, чтобы она достала из погреба одну из плоских склянок за зеленою печатью. Я уверен, что она обросла мохом и пустила корни в песок, — продолжал он, обращаясь к Лонциусу (который уже заранее восхищался видом рейнской бутылки, любимой им, по его словам, только за то, что она весьма похожа на реторту), — и мы докажем доктору, как старое вино молодит людей. Да убери эту стопу, Друмме, — слышишь ли, глупец?

Друмме, трепеща, прокрался к столу и так бережно взялся за стопу, как будто боясь пролить из нее воздух.

— Чего ты боишься, истукан! — грозно закричал рыцарь. — Кружка эта пуста, как твоя голова... Куда, нечесаное животное, куда?.. Чего ты ждешь, что ты смотришь на доктора? Я и без него тебе предскажу березовую лихорадку за твои глупости. Проклятый народ! — продолжал Бернгард, провожая Друмме взором презрения. — Скорее медведя выучишь плясать, чем эстонца держаться по-людски. Еще-таки в замке они туда и сюда, а в городе — из рук вон; особенно с тех пор, как здешняя дума дерзнула отрубить голову рыцарю Иксулю за то, что он в стенах ревельских повесил часа на два своего вассала.

— Признаться, я не думал, чтобы у ратсгеров ваших стало довольно ума, чтоб выдумать, и довольно решимости, чтоб выполнить такой закон.

— Не мое ремесло рассуждать, глупо это или умно; я знаю только, что оно бесполезно. Ну что мне закон, когда я палашом могу отразить обвинение или смыть кровью свой же проступок! Притом без золотых очков у закона глаз нет; повешенный молчит, а живой сам петли боится¹. Поэтому-то мы отправляем вассалов своих точно так же, как вы больных, — безответно. За здоровье рыцарей меча и рыцарей ланцета! Каково вино, доктор?..

— Гораздо лучше ваших обычаев. Еще слово, барон: для чего же вы иногда прибегаете к суду в своих обидах?

¹ Прошу читателя вспомнить о феодальных правах. (Прим. авт.)

— О, конечно, не по уважению к законам, а оттого, что сила не берет управиться иначе. Оттого-то и я замазал пальцы чернилами в деле с Унгерном.

— И, по всей вероятности, напрасно.

— Все-таки вероятность лучше невозможности. Да полно об этом; я терпеть не могу рассуждать головою, а не руками, и всякий раз, когда мне случится подумать, у меня так болит голова, будто с двух стоп русского меду. Сыграем-ка лучше партию-другую в пилькентафель¹: это разгуляет твою заморскую ученость и повеселит мое рыцарское сердце.

— И даст движение, очень полезное для здоровья. Об этой игре смело можно сказать с Горацием: *utile dulci*².

— Пощади, сделай милость, пощади меня от этого язычества; со мною ты смело можешь вешать его на гвоздик, потому что изо всей латыни я только помню и люблю слово *vale*³.

Так говоря, они вышли из залы.

II

*На радуге воображенья
Воздушный замок строит он;
Его любви лелеет сон...
Но бьет минута пробужденья!*

Угадываю любопытство многих моих читателей, не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном,— и спешу удовлетворить его, во-первых, потому, что я хочу нравиться моим читателям, во-вторых: не таюсь — люблю поговорить о прекрасных, хотя не умею говорить с ними. Послушайте.

Минна, единственная дочь рыцаря Буртнека, была прелестнейшая девушка. В ее время Ливония более нынешнего изобиловала красотами, но на светлокудрых сих красавицах лежала печать бесстрастия. В тени своих девичьих они расцветали, как пышные тюльпаны, блестя, но не благоухая. Удаленные не обычаем, но привычкою

¹ Род бильярда. (Прим. авт.)

² Полезное с приятным (лат.).

³ Прощай (лат.).

от мужчин, потому что им нечего было говорить друг другу, их занятием были одни пересуды; все их тщеславие ограничивалось нарядами, все честолюбие не стремилось выше верхнего конца за столом или красного стула на вечеринках. Сердце было у них пятое колесо в колеснице; ум — такая монета, которую никто не мог оценить, ни разменять; а потому эпохи жизни своей они считали от балу до балу и приятные воспоминания поверяли по расходной книжке. Таковы были почти все красавицы ливонские, но не такова была Минна. Природа, по словам отца ее, не тростниковый клинок одела в такие красивые ножны. Это «не знаю — что-то милое» одушевляло черты ее лица, давало величавость ее поступи, ловкость приемам, сладость речам. Из голубых ее очей, из-под длинных ресниц, скользили взоры... но какие взоры! От них вспыхнул бы и лед. Коротко сказать, Минна была из числа тех красавиц, которые поражают красотой и вместе пленяют прелестью. Она рано потеряла мать, но мать-природа о ней заботилась. Чтение не просветило ее, но книга света была перед нею, и какое-то понятие, заменяющее девицам опытность, спасло невинную от приманок богатства и обольщения лести. Минна скоро заметила, что ее не понимали, что ее любили не так, как хотелось ее возвышенному сердцу, осужденному биться без ответа; и это невольно уединенное чувство вовлекло ее в мечтательность. Воображение Минны вырывалось из скучного круга разряженных кукол, из шумных бесед рыцарских и рисовало ей светлейшие картины счастья; ее сердце вздыхало о каком-то неясном, но прелестном идеале; а сердце в восемнадцать лет — порох, одна смелая искра — и прощай спокойствие.

Между тем как барон с доктором спорят, кто из них в лучшем ударе, сбивая городки пилькентафеля, Минна в ближайшей комнате готовила наряды к завтраму. В углу за занавесом, вокруг длинного стола, сидели и что-то шили три эстонские девушки с бисерными повязками на голове, с серебряными бляхами на груди. Старая тетушка Минны дремала в другом углу под тенью крылатого чепчика, устав бранить новые моды и неуменье племянницы по ее одеваться. Перед Минною стоял белокурый статный юноша, сын одного из богатейших купцов в Ревеле: он принес ей вчера заказанную богатую цепоч-

ку. Синий бархатный шпензер его вышит был золотою битью; частые сквозные пуговицы висели, как ягоды, по полам, золотая бахрома украшала цветные отвороты замшевых сапожков, и только недостаток шпор показывал, что он не рыцарь; хотя смелая осанка и умное лицо его давали ему над многими из них преимущество.

— Так вам нравится лиловый цвет, любезный Эдвин? — сказала Минна, повертываясь перед зеркалом. — И вы думаете, что это платье будет мне к лицу?

Прилагательное *любезный* и тогда уже не было лестным, относясь к низшему; оно и Эдвину напоминало о его состоянии, но сладостно было для его сердца. Однако ж он молчал, погруженный в мечтательное любованье красотою Минны.

— Пробудитесь, Эдвин, — сказала она вполнотрунутым, вполнотрунутым ласковым голосом.

— Так, я грезил, фрейлейн Минна: простите меня или, лучше, самую себя в том вините. От звука вашего голоса теряешь ум прежде, чем слова дойдут до него.

— Мы, кажется, говорили о цветах, а не о звуках, Эдвин!

— Еще раз виноват, фрейлейн Минна, — я и забыл, что дамы более любят пестроту, чем гармонию. На вопрос ваш, впрочем, буду отвечать тоже вопросом... Какой наряд не пристанет к стройному вашему стану, какой цвет, какое украшение может возвысить или изменить прелестное ваше лицо?

Эдвин договорил это приветствие трепещущим голосом, но был доволен, что сказал его, конечно, более читателя, которого я прошу, хоть для меня, простить моего героя: во-первых, потому, что он не читал ни одного французского словаря комплиментов, а во-вторых, стоял пред прекрасною девушкою, к которой был очень неравнодушен. Ах! кто из нас не казался порой учеником пред светскими красавицами? кто не говорил им неловких похвал? Бог знает почему: когда разыграется сердце, остроумие прячется так далеко, что его не выманишь ни мольбами, ни угрозами. И что ни говори, я не верю многословной любви в романах.

— Лесть — поддельное золото, Эдвин; я не беру ее на свой счет, — сказала Минна.

— Лесть, но не искренность, Минна! Не то ли же самое я сказал вам, в чем уверяет вас ваше верное зер-

кало, в чем (вы видите, что я умею говорить правду). вы и сами не сомневаетесь?

— Поэтому вы считаете меня тщеславною, самолюбивою?

— Я знаю только, что скромность не мешает ни зрению, ни слуху... Завтра тысячи голосов скажут вам в миллион раз более моего.

— Кто завтра вздумает обо мне, когда сюда съехались все красавицы, которыми славится Ливония и блещит Ревель!

— И недаром блещит, фрейлейн Минна. Особенно теперь мы вправе гордиться: первая из них украсит завтрашний турнир своим присутствием и одушевит всех своим взором.

— Кто же эта первая? — спросила Минна нетвердым голосом. — И для всех или только для вас она кажется такою? Не подкуплены ли глаза ваши сердцем?..

— Я думаю наоборот, фрейлейн Минна: глаза ее очаровали мое сердце.

— Вы рассказываете про свои чувства, а мне бы хотелось знать ее имя, — сказала Минна холоднее. — Могу ли услышать его, не трогая вашей скромности?

— Ах, Минна, вы тронули нежную струну!.. Со всем тем я бы решился сказать, кто она, если б не одно любопытство участвовало в вашем вопросе.

Между тем он так нежно глядел на Минну, что, казалось, щеки ее зажглись от пламени его взоров. Краснея, она опустила свои и молчала, зато сердце говорило тем громче. Эдвин был развязен, пылок, умен, Минна — чувствительна и прелестна. Он умел и мечтать и чувствовать, а рыцари ливонские могли только смешить и редко-редко забавлять. Она любила — он возбуждал мысли высокие, говорил с жаром, если не с красноречием, и увлекал, если не убеждал. Разъезжая два года по Европе, он навык приличиям светским и образованностию, ловкостью далеко превосходил рыцарей Ливонии, которые росли на охоте, а мужали в разбоях, рыцарей, неприветливых с дамами, гордых ко всем, заносчивых между собою, предпочитающих напиваться за здоровье красавиц в своем кругу, чем проводить время в их беседе. Они думали пленить Минну рассказами о своей любви, своей верности, Эдвин говорил ей о ней самой. Те считали головы убитых ими зверей и неприятелей,

он напоминал о плененных ею сердцах; они заглядывались на ее алмазные серьги, он любовался ее очами. Следствие угадать нетрудно, ибо состояния выдуманы не для любовников и любовь, как иной цвет на бесплодном утесе, растет и в безнадежности. Лавка отца Эдвинова была первая по городу, и, как на беду, против окон Буртнекова дома. Там находились все дорогие ткани, все искусственные изделия, жемчуг и ценные камни. Девушки того века любили рядиться не менее наших столичных, и лавка прекрасного Эдвина всегда была полна посетителями. Нужно ли сказывать, что Минна ходила туда часто? И хотя лавка сия служила для Ревеля вместо нашего английского магазина (то есть местом свидания молодежи), ее влекла туда не одна страсть к уборам, не одно желание всем нравиться там удерживало. То надобно прикупить бархату, то переделать поновому ожерелье, то распаялось кольцо, то из-за моря привезли что-то чудное. И каждый раз приветливый Эдвин спешил к ним навстречу, развертывал перед тетушкой штофы, сверкал племяннице алмазами и — глазами. Рассказывал ей про чужбину, слушал ее с восторгом; и обыкновенно горький вздох разведал его блестящие замки, и он со слезами на глазах провожал взорами свою любезную, не сводил их с ее окна и в молчании изнывал, как былинка. Тяжко любить без надежды на счастье, тяжело без надежды взаимности; но беспримерно тяжелее видеть себя любимым и не сметь словом любви вызвать признания, жаждать его, как отрады небесной, и бежать, как преступления чести; не иметь права на ревность и таять от страха измены; винить свой холод в ее огорчениях, множить собственные муки то упреками против любви, то против долга!.. Тогда-то страсти из кипящего сердца черными парами налетают на разум и ядовитое отчаяние вгрызается в душу!.. О други, други! Пожалейте того, кто любил подобным образом.

— И вы могли сказать, что одно любопытство внушило мне вопрос мой,— наконец произнесла Минна, подняв голубые очи свои с таким нежно-укорительным взором, что суровое выражение лица Эдвинова смешалось в одно мгновение с умильным, голос замер, сердце как будто пронзилось, но это ощущение было сладостно, как первый вздох наяву после страшного сна.

Души их слились в один выразительный, но невыразимый взгляд.

Минна пришла в себя.

— Итак, любезный Эдвин, если б вы были рыцарем, какой цвет избрали бы вы на завтрашний турнир?

— Навеки, навсегда, фрейлейн Минна, я бы избрал цвет первой красавицы; цвет, составленный из небесно-голубого и украшенья земли — розового; я бы избрал, — продолжал он пламенно, схватив ее руку, — прелестный, несравненный лиловый цвет, ваш цвет, Минна!

Рука Минны пылала и трепетала; голова ее невольно склонилась на плечо Эдвиново...

— Ах! зачем вы не рыцарь! — прошептала она.

Воздушный замок Эдвина разлетелся.

— Ах! зачем я не рыцарь! — вскричал он вне себя. — Зачем я злосчастен своим благополучием!

И в одно время на руке Минны запечатлелись жаркий поцелуй восторга и охладевшая слеза безнадежности.

— Минна, Минна! — закричал отец из другой комнаты.

— Минна! — повторила вприсонках ее тетушка.

III

*В любви, добыче и утрате
Мои права — в моем булате.*

Кто не читывал рыцарских романов, кто не знает обычая избирать для раздачи наград на турнирах красавицу, которой давали титул царицы любви и красоты? Разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда — худо ли, хорошо ль — передразнивали этикет германский. Турниру без царицы быть не можно — это аксиома: вот и сошлись избранные судьбы турнира в риттергауз. Поставили, как водится, на стол чернильницу и бутылки, перебрали все писанные и устные предания о способе избрания, пошумели, поспорили, кого избрать, и когда от кружения козьей ноги¹ у них закружились головы и отнялись но-

¹ Кубки в виде ноги дикой козы были в большой моде у ревелских рыцарей — в честь Ревеля, которого имя производят они от слова *Ree-fall* — падение серны. (Прим. авт.)

ги, они согласились (к чести их вкуса или вина, право, не знаю) избрать Минну фон Буртнек царицею.

Минна, слыша зов отца своего, оправила волосы и, подняв фрез, чтобы скрыть в нем пылание щек своих, вышла в залу.

За нею последовал Эдвин.

— Благодарю господ совета за честь, милая Минна. Ты избрана на завтра царицею...— сказал барон, потирая от удовольствия руки.— Благодарю; я за себя и за тебя дал слово...

Один из герольдов в вышитом гербами далматике преклонил колено и подал ей на бархатной подушке золотую из тремов коронку, и смущенная нечаянностью Минна взяла ее, лепеча что-то в ответ на пышно-бестолковое приветствие герольдов.

— Я не поздравляю вас,— тихо сказал Эдвин, положив руку на сердце,— вы и без короны владели сердцами.

Минна покраснела и молчала.

Герольды встретились в дверях с рыцарем Доннербацем, одним из самых страшных бойцов и самых ревностных искателей Минны.

— Поздравляю барона и целую ручку у царицы моей,— сказал он, неловко кланяясь и звеня за каждым словом шпорами, будто напоминая тем (и только тем), что он рыцарь...— Соколом моим, фрейлейн Минна, клянусь, что завтра за каждую искру ваших глазок так полетят искры от лат, что небу станет жарко. Вы увидите, как я перед вами отличусь; конь у меня загляденье: пляшет по нитке и курцгалопом на талере вольты делает. Сделайте милость, фрейлейн Минна, позвольте мне надеть лиловый шарф,— у меня уж и чепрак лиловый заказан.

— Много чести... благодарю вас за внимание... но я так часто меняю цвета свои, что вы безошибочно можете опоясаться радугою.

— И быть полосатым шутом,— тихо примолвил доктор.

— Знатная мысль! — воскликнул Доннербац, хлопая в ладоши.— Вот, что называется, соглашаться, не сказав «да». Зато лиловую полосу я сделаю шире остальных вместе.

— Милости прошу присесть, господа,— говорил Буртнек Доннербацу и Эдвину, которого он ласкал по сердцу и по золоту.— Вас, рыцарь, на сегодняшний вечер я жалую министром ее красивого величества — моей дочери; растолкуйте ей должность царскую, а ты, милый Эдвин, постарайся, чтобы царица не забыла нас, простых людей. Мне надо поговорить о деле.

Молодежь уселась в одном углу близ тетушки без речей, а доктор и Буртнек в другом присели к столу.

— Добро пожаловать, старая кукушка,— сказал барон входящему Фрейлиху, рассыльщику гермейстера,— добро пожаловать, если твое явление не предвещает худа!

— И, батюшка, ваша высокобаронская милость! Что вздумали,— отвечал коротенький рассыльщик, закладывая перчатки за украшенный бляхою пояс и бич за раструб сапога.— Я ведь как деревянная кукушка, что над часами в ратуше, так же часто и так же верно вежую на прибыль, как и на убыль.

— Что же нового, Фрейлих?

— Чему быть новому на этом старом свете, господин барон? — продолжал словоохотливый немец, развязывая сумку.— У меня даже для завтрашнего праздника и новой шапки нет, даром что старую износил я, усердно кланяясь господам рыцарям.

— Не только нам, ты и всем стенам хмельной кланяешься. Однако вот тебе два крейцера в обмен за труды.

— Благодарю покорно, благородный рыцарь. За каждый крестик на этих монетах я положу по десяти за вашу душу.

— Не лучше ли выпить за мое здоровье? — сказал, усмехаясь, барон, принимая бумаги.— Конечно, повестки от гермейстера?

— Приказы, благородный рыцарь.

— Приказы?.. Да что он смеет мне приказывать?..

— Где нам это знать, господин барон,— стать ли нам соваться не в свое дело! На печати стоит часовой; да, впрочем, если б письмо было прозрачнее киршвассеру, я, безграмотный, и тогда бы узнал не больше теперешнего.

— Правда, правда,— ворчал про себя Буртнек,— ты столько же можешь судить о содержании писем, как моя легавая собака о вкусе перепелки, которую приносит. Ступай себе, Фрейлих.

(Читает.)

«Ба... ба... барону... Бур... Бур...» Провал возьми неучтивость сочинителя и почерк писца; это так связано, как венгерская цифровка; по крайней мере титул-то мой мог бы он написать большими ломаными буквами!¹

— О! конечно,— сказал, не слушая его, рыцарь Дон-нербац.

— Без сомнения,— прибавила из другого угла тетушка, пересчитывая на иглы петли полосатого чулка, который она вязала.

— Это еще учтивее,— примолвил с усмешкою доктор,— письмо написано ломаным языком.

— У тебя он очень гибок на споры,— возразил Буртнек,— посмотрим-ка его рысь на деле... прочти, пожалуй... у меня глаза слабы, не могу разобрать: буквы мелкие, как маковые зернышки, и меня недаром берет дремота с одной строчки.

— Дай бог, чтобы вы могли спокойно заснуть от них,— сказал доктор, пробегая бумагу глазами.— От гермейстера Ливонского ордена Рейхарда фон Бруггеней пре... при...

— Возьми очки,— сказал барон.

— Возьмите терпенье...— возразил доктор.— Ваши титулы так темны и долги, как сентябрьская ночь.

— Далее, далее?

— Не далее, а назад, барон! Мы, словно пилигримы по обещанию, ступаем три шага вперед, а два обратно. Итак: «Гермейстер Бруггеней, благородному рыцарю Ливонского ордена рыцарей креста барону Эммануилу Христофору Конраду... фон Буртнеку, урожденному...»

— Ты рехнулся, доктор...

— Виноват, зачитался. Я уж так привык писать рецепты спесивым вашим барыням, что у меня беспрестанно звенят в ухе их титулы. Поверите ли, что фрейгерша Книпс-Кнопс *при смерти* не хотела принять лекарства за то, что я не выставил на рецепте: *для урожденной такой-то...*

— Какая мне надобность до ее рожденья и смерти и твоей смертной охоты приплетать свои сказки к чужому делу! Ни дать ни взять, ты словно мой конюх Дитрих,

¹ Fraktur-Buchstaben. (Прим. авт.)

который любил, бывало, вплетать ленточки в гриву моей лошади, когда уже трубят сбор...

— Вы взобрались на своего конька, барон, а ведь пеший конному не товарищ. Впрочем, мы близки к концу. Приказ, кажется, дан в придачу титулам; он и весь в четырех словах: «исправьте ваш мост через болото Вайде, что на большой дороге в Дерпт».

— Пусть он сам его перемащивает своим пергамином, а мне, право, не для чего; в ту сторону я никогда в гости не езжу.

— Не ездите, так и незачем. Жаль только бедных путешественников по нужде, они не журавли: не перелетят чрез болото.

— Это уж их дело, а не мое.

— Но ведь большая дорога — вещь мирская; а как она идет через ваше владение...

— Поэтому я имею право делать в нем, что мне угодно, а тем более ничего не делать.

— Это значит, что где многие делают все, что хотят, там все терпят то, чего не хотят.

— Другую, другую, доктор...

— Разве третью,— сказал Лонциус, наливая стопу.

— Я говорю про бумагу,— с досадой произнес Буртнек.

— А я думал, про стопу,— отвечал Лонциус с притворным простосердечием, снимая со свечи.

(Читает.)

— «Гермейстер...» и тому подобное... «По жалобе рыцаря барона фон Буртнека на фрейгера Унгерна о земле, прилежащей к замку Альтгофену и смежной с соседственными угодьями сказанного Унгерна, якобы захваченной им у первого бесправно и незаконно, наездом и вооруженною рукою и насилеи и грабежом, с угрозами повторения оных впредь, я с фогтами и командорами Ордена, рассмотрев сие дело, *нашли...*» Ошибка против грамматики! — вскричал доктор, останавливаясь.

— Скажи лучше, против правды,— возразил Буртнек.— Гермейстер только праздничает с фогтами, а судит и рядит своей головой...

— «...рассмотрев, *нашел*, по справкам и показаниям свидетелей, что сказанная земля (опись на обороте) была прежде захвачена у отца фрейгера Унгерна в разные времена и различными неправдами; а потому объ-

являем всем и каждому, что фрейгер Унгерн был вправе употребить для возвращения собственности силу, не видя удовлетворения на любовные сделки и многократные свои требования, и что мы признаем его законным владельцем сказанного участка; а рыцарю барону фон Буртнеку приказываем немедленно и беспрекословно уступить Унгерну Милькенталь со всеми выгонами, прогонами, загонами, луговыми и лесными дачами, нивами и покосами, стоячими и живыми водами, со всеми угодьями и привольями без изъятия и положить новую границу от ручья Куремсе до озера Пигуса, до заводи, где коней купают, оттуда налево мимо красной сосны, что молнией обожжена, до Юмаловой пожни, а оттуда на перестрел к новой Пойгиной бане, а оттуда...»

— Оттуда пусть он убирается к черту! — вскричал барон, вскакнув со стула... и гнев его, поджигаемый каждым словом, наконец лопнул, как фейерверочный бурак, и бранные шутихи полетели во все стороны... — Вот правосудие! Вот законы!.. Когда я был силен и удал, когда мои шпоры звенели громче других на пирушках и палаш мой реже целовался с ножнами, тогда ни одна параграфская душа не смела показать ко мне носа и все эти толстые фогты фон так кланялись через улицу. Бывало, хоть на епископской полосе воткну свое копьё вместо гранного столба, никто и пикнуть не смеет, — а теперь, смотри, пожалуй! Эти ходячие чернильницы, эти черепокожные писаря вздумали притиснуть границу к самому рву замка, так что Унгерн, того гляди, будет с меня требовать платы за тень башен, которая ляжет на его землю, за каждый стакан воды из ручья, — и какой воды!

— Без воды обойтись можно, — возразил доктор, возвышая голос, чтобы заставить барона дослушать определение. — «Вследствие чего нарядится вскоре чиновник для введения помянутого фрейгера Унгерна во владение...»

— Пусть только явится ко мне... Пусть только придет... Я его под бичами заставлю вертеться кубарем... я его попрошу отведать спорной воды в озере!..

— «И тогда, по обычаю собрав из соседних деревень обоих противников здоровых мальчиков, высечь их на каждом заметном месте новой разгранички, чтобы они

ее памятовали и в могущих случиться впредь спорах могли служить очевидными свидетелями...»

— Этому не бывать... шпорами клянусь, не бывать!.. Всякий знает, что я для правого дела не пожалел бы вассалов своих... но в этом случае разве я злодей, чтобы согласиться обратить их спины памятною книжкою для безголовых судей?..

— А что скажет на это гермейстер?

— То, чего я не послушаюсь... Что мне дорожить его благосклонностью, его флюгерною дружбой? Я хочу лучше иметь перед собою двух открытых врагов, чем за спиной одного такого приятеля! Унгерну же не видать обетованной земли, как вчерашнего дня; коли на то пошло, не поживится он ею без боя, даже для цветочного горшка. Буквы не солдаты, а у меня для встречи незваного гостя найдется живой частокол с железными макковками и не одна пара сильных рук указать ему дорогу восвояси.

Так восклицал раздраженный барон, топая ногами, и громче и громче раздавался голос его, до того, что стаканы и кубки, стоящие в старинном шкафу, зазвенели друг об друга.

Старуху тетушку ураган сей застал на половине зевка и превратил его в знак удивления. Рыцарь Доннербац, который для комплимента пил за здоровье Минны, не донес кубка до губ, и кубок, склонясь на полдороге, точил понемножку на пол драгоценную влагу. Только Эдвин и Минна встали, движимые участием.

Добрый Лонциус, сбросив с лица шутовское выражение, беспокойно слушал барона и следил взорами его движения.

— Да, да,— продолжал Буртнек,— я докажу и Унгерну и гермейстеру... что Буртнек прожил и умрет не без друзей.

— Честию клянусь,— вскричал Эдвин от души.— Вы их имеете, Буртнек!.. Мое золото — ваше.

— Располагайте,— сказал, пошатываясь, Доннербац,— мною каждый день до обеда, а удальцами моими всегда.

— Благодарю... сердечно благодарю...— отвечал умиленный барон, подавая им руки.— Но утро мудренее вечера, и мы завтра потолкуем об деле... Боже мой!.. Завтра турнир, и Унгерн, наверно, по-прежнему сорвет

награду, и моя дочь должна будет увенчать моего злодея!.. Проклятое слово... отказаться нельзя, а вытерпеть этого я не могу... Я не переживу насмешек грабителя над этими седыми волосами, и где же? Перед целым Ревелем, перед всем дворянством и рыцарством? Друзья!.. Друг Доннербац! ты один можешь спасти старика от позора; ты силен и огромен и сломишь Унгерна как тростинку. Одна только лень мешала тебе померяться с ним доселе... Но теперь... Послушай, Доннербац, я знаю, что моя Минна тебе нравится... но лишь победитель Унгерна будет ее мужем... Вот моя рука, мое рыцарское слово, что друг или недруг, кто бы ни выбил Унгерна из седла,—я отдаю ему мою дочь и свою вечную признательность.

— Руку и слово, барон,—вскричал радостно Доннербац, ударяя рукою в руку,—и пусть ведьмы всех цветов сделают из меня своего конька, если в Унгерне оставлю я хоть каплю души, как в этом кубке, если не так же сомну его!

С сим словом серебряный кубок, смятый в комок, полетел на пол.

— Батюшка, милый батюшка!—воскликнула испуганная Минна.

— Минна... Я не люблю повторений и противоречия. Мой приказ должен быть твоею волею, а моя воля—твоим желаньем: что сказано, то свято. Победитель Унгерна будет тебе хорошим мужем и мне добрым защитником.

Минна, бледнея, опустилась на стул. Сверкая взорами, стоял Эдвин посреди комнаты; грудь его волновалась, правая рука будто стискивала рукоять меча, и вдруг, как лев, он гордо встряхнул кудрями... и скрылся.

— Куда, куда, любезный Эдвин?—кричал вслед ему Буртнек; но ответа не было.—Чудак!.. а славный малый,—примолвил он,—скажи слово, и Эдвин отдает все без росту и закладу.

— Молодец,—повторил Доннербац,—даром что не рыцарь, а его не проведешь на зубах конских.

— Преумница,—прибавил доктор,—хоть и спорит со мной о жизненной эссенции, зато одной веры, что мир родился из яйца...

«Прекрасный юноша, бесценный человек!»—думала полумертвая Минна, но она не сказала этого вслух.

IV

*...I write in haste, and if a stain
Be on this sheet 'its not what it
My eyeballs burn and throb, but ^{appears,}
have no tears.
Byron¹*

Как бешеный вбежал Эдвин домой.

Плащ слетел на пол. Двери спальни от удара ноги разлетелись вдребезги, и он с сердцем вырвал свечу из рук старшего служителя...

— Кончено... Решено...— говорил он, скрежеща зубами.— Турнир и Минна — люди, люди!.. Поклонники предрассудков!.. О, для чего не могу я стать с копьем у ее порога и вызвать на бой каждого дерзкого, кто захочет ее руки! Герман! я еду,— вскричал он слуге своему.

— Куда? — спросил тот с изумлением.

— Кто смеет спрашивать куда? Я еду, и этого довольно; ветер хорош; кораблей много: готовься.

Жарка первая любовь юноши; зато как горька первая потеря!

Долго сидел Эдвин, облокотясь на стол и закрыв обеими руками горящее лицо. В его груди буревали страсти, и, наконец, они излились в беспорядочном письме; вот оно:

«Для меня все решилось. Пишу к вам оттого, что говорить с вами завтра я бы не мог, а писать после турнира мне не должно,— тогда уже рука ваша принадлежать будет другому; другой... Безумец я, безумец! Из какой надежды, по какому праву смел ты возвысить свои взоры на лучший цвет Ливонии!.. Или ты думал, что пылающее, верное сердце стоит рыцарского герба? Ты думал... Нет, я ничего не думал, я мог только чувствовать, только любить. Минутный сон счастья! Я дорого плачу за тебя наяву... Вы знаете ли, прелестная Минна, что таксе яд ревности, испытали ли вы муки безнадежной,

¹ Я пишу второпях, и если на этой странице встретится пятно, то это не то, что кажется: мои глаза горят и трепещут, но в них нет слез. Байрон (англ.).

отчаянной любви? Молю бога, чтобы вы никогда ее не чувствовали!.. Отчаяние давно ли посетило меня, и кажется, все часы, все дни, потерянные в рассеянности, промелькнувшие в восторге, склубились теперь в минуты, в бесконечные минуты!.. За каждым биением сердца, для вас только бьющегося, тысячи досадных мыслей одна по другой, одна другой чернее, успевают уже терзать мою душу, и каждая капля крови медленно вливает отраву в мои жилы. Чувствую, что я пишу вздор... Простите моему безумию и дерзости, что я пишу к вам, добрая, милая Минна; или нет, прошу вас, умоляю вас, рассердитесь на меня, излейте на виновного справедливый гнев свой: тогда мне легче будет оставить вас, разлучиться с обожаемою Минною, бежать той родины, где мне запрещено заслужить мечом любезную, которой взаимность заслужил я сердцем. Будьте гневны и неутомимы, иначе кроткий взор небесных очей ваших обратит в дым мою решимость, еще один взор, как сегодня... и я причарован,— и что тогда? Мое мщение может быть столь же чрезмерно, как безмерна моя страсть. Спасите меня своим негодованием, несравненная! Я только дождусь турнира, лишь узнаю счастливец, которому выпадет мое счастье, и в ту же минуту корабль умчит меня, куда повеет ветер, и тем лучше, чем далее... Буду скитаться по свету, чтобы забыться, не для того, чтобы забыть вас... Нет! я бы не мог исполнить этого, хотя бы желал. Воспоминания и горе прежней любви будут мне отрадою... буду жить ими, покуда от них не умру. Будьте счастливы, милая Минна, и верьте сердечному, хотя не рыцарскому слову, что никто искреннее меня не может пожелать вам этого, как никто не мог любить чище и пламеннее. Прощайте, Минна! Более ничего ни от меня, ни обо мне вы не услышите.

Эдвин».

Холодный ветер взвивал кудрями Эдвина, который, прислонясь к косяку отворенного окна, в горькой задумчивости глядел на окна Минны. Сквозь стекла и занавес мерцал там луч тусклой лампы, и воображение населяло темноту призраками воспоминаний; но они тянулись как погребальное шествие. Два раза поднимал Эдвин руку, чтобы перекинуть прощальное письмо, и медлил в нерешимости... Наконец, замирая сердцем,

метнул он через улицу яблоко, к которому было привязано письмо, и оно с звоном разбитого стекла упало на пол Минниной спальни.

V

«Amour aux dames, honneur aux braves!»¹

*Летит как вихорь, как огонь
Пред недвижимым строем
И пышет златогривый конь
Под будущим героем.*

Это было в мае месяце; яркое солнце катилось к полудню в прозрачном эфире, и только вдали серебристо-облачной бахромой касался воды полог небосклона. Светлые спицы колоколен ревельских горели по заливу, и серые бойницы Вышгорода, опершись на утес, казалось, росли в небо и, будто опрокинутые, вонзались в глубь зеркальных вод. Резвые голуби, возбужденные шумом и звоном колоколов, кружились над крутыми кровлями; все было оживлено, все дышало радостью, все праздновало возвращение весны, воскресение природы.

С зарею Ланг- и Брейтштрассе — две дороги, ведущие к Дом-плацу в Вышгороде, — заперлись толпами народа. Эстонцы и немецкие рукодельники, слуги и мещане спешили занять место, чтобы посмотреть на турнир рыцарский; однако ж не многие добились этой чести. Небольшая площадь едва давала простор поединщикам, а вокруг домов сделаны были места для людей почетных. Все окна были отворены, уложены подушками, увешаны коврами. Ленты и разноцветные ткани веяли отовсюду; пестрота домов, нарядов и украшений представляла глазам странное, но приятное зрелище. Наконец, за час до полудня, трубы зазвучали по городу, и в одну минуту окна закипели зрительницами, амфитеатр наполнился лучшими купцами и старыми рыцарями.

Под балдахином сидел гермейстер, в белой бархатной мантии с черным на левом плече крестом, в полукафтанье с разрезами, унизанными застежками, в сапогах, на которые спускались от колен кружевные напуски.

¹ Любовь — дамам, почет — храбрецам! (фр.)

Золотом шитый воротник рубашки городками лежал на железном оплечье, которое носили тогда рыцари, чтобы и в домашнем платье видно было их звание. Подбой платья, раструбов сапогов и перчаток был малинового цвета. Золотая цепь с орденским крестом показывала его достоинства, и два пера гордо возвышались над его головою, как он над головами прочих. На рукояти меча висели гранатовые четки, как будто эмблемою сочетания духовной и военной власти, ибо тогда сила епископов была уже уничтожена. По левую его руку сидела царица праздника, Минна, в токе, в лиловом платье со сборами, с золотыми кружевами, в косынке, вышитой шелками, унизированной жемчугом, и крупные кудри рассыпались по плечам ее, перевитые с дымковым покрывалом. Робко поводила она взорами, и томная грусть видна была на ее лице, как будто однодневная царица красоты чувствовала, что служит живым изображеньем кратковременного владычества прелести!

Между тем как зрители чинно усаживались по лавкам, споря за почетность мест более, чем за их удобность, Лонциус и Эдвин стояли у въезда, откуда им видна была вся окружность, и от доброты сердца перебирали соседей и соседок. Часто душевное горе, раздраженное общим весельем, в котором не можем участвовать, изливается горькими насмешками; это же самое случилось и с Эдвином: желчь его испарялась зловонием, и, как водится в подобных обстоятельствах, колким, но редко остроумным.

— Мне жаль бедную Минну, — сказал доктор, которому все казалось в забавном виде. — Гермейстер ваш, который так величается гербами своими, право очень похожими на булочную вывеску, боится потерять свою симметрическую посадку, а ей не с кем пересудить соседок: заметить, что у той-то худо накрахмален воротник, что у того-то растрепаны перья или чересчур нафабрены усы. Какое противоречие — гермейстер и Минна!

— Тут не противоречие, а доказательство, что радость и скука — самые близкие соседи, — отвечал Эдвин. — Но, доктор, вы просили меня показать вам кое-кого из женщин и мужчин регельских, — следуйте же своими взглядами за моими. Вот эта разряженная дама, например, очень похожая на корабельную статушку, — жена ратсгера Клауса; она, говорят, в самом деле ворб-

чает рулем нашей думы и не раз сажала наш курс на мель. Подле нее примерная чета: бургомистр Фегезак с дражайшей своей половиной; они горят одною страстью — к стеклу, то есть он к стакану, а она к зеркалу. Эта карманная дамочка, которая, говоря без умолку, вешается на шею толстому своему мужу, будто колокольчик на шею к волу,— дворянка Зеgefельс. Он, ска- зывают, взял маленькую жену для того, чтобы она не достала водить его за нос, зато теперь ушам больно достается. Кстати об ушах... Тот молодчик, кажется, прячет их длину в высокий фрез свой,— это ландрат Эвелькранц; за ним сидит певица фрейлейн Лилиендорф; знатоки говорят, что голос ее есть смешение соловьиного с совиным; а воздушная соседка ее, у которой лицо и платье расцвело радугою,— баронесса Герцфиш. Ей бы давно пора с нашего неба. Далее видна любовница командора Цангейма... Не дивитесь, что она сидит выше его жены: это у нас не редкость. Там две сестрицы...

— Полно, полно, Эдвин, о женщинах. Я знаю, что о скромных сказать нечего, о хорошеньких не для чего говорить, а прочие мне наскучили. Теперь очередь до господ. Кому, например, принадлежит эта головка, лежащая на огромном испанском фрезе, как на блюде яблоко?

— Всем, кому угодно, доктор!.. Он отдает ее на подержание за сходную цену. Это промотавшийся дворянин Люфт; он сочиняет надгробные надписи и свадебные песни, проекты рыцарям для впадения в землю неприятелей и для свидания с женами приятелей; смотрит в зубы лошадям, сводит купцов и лечит охотничьих собак... Это самая светлая голова из всего Ревеля.

— Недаром же вокруг нее коленкоровое сияние. Но кто этот в пух разубранный рыцарь... с соколом на руке, обвешанный лентами и пуговицами, как свадебный конь?

— Это мученик и образец щегольства... Фогт фон Тулейн... В гардеробе своем он, кажется, не советовался с указом Плеттенберга: ¹ шейная цепочка его весит ровно в тридцать фунтов, и посмотрите, в какие перстни закованы его пальцы! Он имеет вес между рыцарями.

¹ Гер. Плеттенберг в 1503 году издал, для удержания роскоши, указ, в коем предписал простоту в платье и уборах всех сословий; но это осталось без действия. (Прим. авт.)

— Ну, а тот, с бекасиною фигурою, низенький?

— И низкий человек? Это продажная душа, вице-брейбер Рабенштраль. Но вот въезжают и рыцари. В голове их командор Везенберга Гарткнох: он прост как страус, которого перьями так хвалится; подле него на готической лошади галопирует дерптский фогт Цвигель; сквозь его прозрачность¹ можно видеть звезды на небе и на щите его, только не в голове. Сзади их толстый фрейгер Фрессер на такой тощей лошади, что на костях можно шляпу повесить и принять ее за тень седока... Он заложил женينو ожерелье, чтобы сделать своему коню серебряные подковы... Далее...

Эдвин бы не кончил биографической своей сатиры, если бы рыцарь Буртнек не разлучил его с доктором, позвав того к себе.

Рыцари, при звуке труб и литавр, по двое въезжали за решетку, крутили тяжелых коней своих, кланялись дамам, склоняли копыта перед гермейстером. Кирасы их не отличались приятностью рисунка; щиты и нашлаемники и длинные попоны коней украшены были такими геральдическими птицами, зверями и травами, что свели бы с ума всех натуралистов мира. Но все это блистание лат, пестрота перьев и шарфов, шитье чепраков и попон, ржанные коней, бречание сбруи и плески и разнообразие кругом — все изумляло странностию, было дико, но пленительно.

И вот герольды прочли уставы турнира, и рыцари выскакали вон, оставя место для бою. Снова звучит труба, и уже копыта ломаются на груди противников, и выбитые рыцари ползают в пыли от тяжести лат более, чем от силы ударов. Часто своевольные кони разносят их, и копыта поражают воздух; часто, стукнувшись лбами, они путаются в сбруе другого и, как петухи, ласяют промах врага. Вот уже рижский рыцарь Гротенгельм дважды остался победителем и взял в приз золотой шарф из рук царицы красоты. Трубы прогремели ему туш, — народ приветствовал кликами. Тогда только выехал гордый Унгерн, который будто презирал легкие победы и ждал, чтобы другой увенчался ими для украшения его триумфа. Они слетелись, сшиблись, и Гротенгельм покатился че-

¹ Seine Durchlaucht. Его светлость, его прозрачность — немецкий титул. (Прим. авт.)

рез голову с конем своим. Забавнее всего был удар копыта Унгернова: он повернул шлем Гротенгельма налево кругом, и тот, вскочив на ноги, долго не мог из него высвободиться, задыхаясь и ничего не видя. Смех и рукоплескания полетели со всех сторон. Унгерн остался, ожидая противников.

Бросив поводья и опершись на копыта, величаво стоял он среди площади.

Трубы гремели, герольды вызывали охотников, но сила рыцаря ужасала, — никто не являлся.

Все дамы, все зрители восклицали: «Отдать Унгерну награду, отдать лучшему, храбрейшему!»

— Отворите! — закричал неизвестный рыцарь, приближаясь, — и в то же мгновение, не дожидаясь, покуда отворят решетку, он сжал в шпорах коня и стрелой перелетел через нее.

Хвост разом осаженного коня лег на землю, но рыцарь не шевельнулся в седле, только перья со шлема раскатились по плечам и снова вспрыгнули от удара. Минуту стоял он как вкопанный, слегка поигрывая поводьями, как будто желая осмотреться и дать разглядеть себя, и потом тихо, манежным шагом поехал кругом ристалища, приветствуя собрание склонением головы. Наличник его был опущен, щит без герба, латы вороненые с золотой насечкою. Огненный цветом и ходом конь его храпел и фыркал и весь был на ветре, как будто ступал по облаку пыли, взвезаемой его ногами.

— Какой статный мужчина! — сказала, прищуриваясь, фрейлейн Луиза фон Клокен брату своему, когда неизвестный проезжал мимо.

— Какой жеребец! — воскликнул ее брат, — во всех статьях, — даже и хвост трубою. Это картина — не конь. Крестец — хоть спи на нем, ноги тоньше, нежели у италиянца Бренчелли... и пусть меня расстреляют горохом, если он танцует не лучше фогта Тулейна... только что не говорит.

— Эту привилегию имеют только ослы, — с досадою подхватил Тулейн, который по случаю сидел сзади.

— Это я вижу теперь, — смеючись отвечал фон Клокен. — Но кто этот неизвестный удалец?

— Это Доннербад! — отвечали многие голоса.

— Неужели он так скоро успел просушить свою го-

лову? Я оставил его за шестою бутылкою венгерского на завтраке у ратсгера Лида.

Между тем рыцарь подъехал к гермейстеру, склонил копье, низко-низко поклонился Минне — и вдруг поднял на дыбы коня своего, метнул его вправо и во весь опор поскакал к Унгерну. Все ахнули, боясь удара, но он сразу и так близко посадил коня, что мундштук звякнул о мундштук...

— Что это значит? — с досадою произнес Унгерн, изумленный такою дерзостью.

— Если рыцарь хочет взять у меня урок в геральдике, — насмешливо отвечал неизвестный, — то брошенная перчатка значит вызов на бой.

— Рыцарь, я уже давно этою указкою выездил шпоры, и от ней не один терял стремена!

— Унгерн! мы съехались не хвалиться подвигами, а их совершать. Я вызываю тебя на смертный поединск.

— Ха! ха! ха! Ты меня вызываешь на смертный бой... Нет, брат, это уж чересчур потешно!

— Чему ты смеешься, гордец? Я тебя не щекотал еще копьем своим; берегись, чтобы за твой смех по тебе не заплакали.

— Ах ты, безымянный хвостун! Ты стоишь быть стоптан подковами моего коня.

— Наглец и пустослов! Поднимай перчатку или убирайся вон из турнира.

— Я выгоню тебя вон из света, безумец! — вскричал раздраженный Унгерн, вонзая копье в перчатку противника. — И так же воткну на копье твою голову.

— Пошупай лучше, крепко ли своя привинчена. На жизнь и смерть, Унгерн!

— Это твой приговор... Поклонись в последний раз петуху на олаевской колокольне, — вы уж больше не свидитесь...

— А ты приготовь поздравительную речь сатане...

— Посмотрим, какого цвета кровь,двигающая этот дерзкий язык!

— Поглядим, какая подкладка у этого надутого сердца, — говорили рыцари, разъезжаясь.

И вот герольды разделили им пополам свет и ветер, сравняли копыя, и труба приложена к устам для вести битвы. Привстав, склоняясь вперед, все чуть дышат, чуть поводят глазами. Сердца дам бьются от страха,

сердца мужчин от любопытства; взоры всех изощрены вниманием. Унгерн собирает, горячит коня своего, чтобы сорвать с места мгновенно; садится в седло, крутит копьём. Незнакомец стоит недвижно, солнце не играет по латам, ни волос гривы его коня не шевелится...

Труба гремит.

Вихрем понеслись противники друг на друга — раз, два, и копьёв как не было, но удар был столь силен, что незнакомец зашатался, упал на шею коня, и перья шлема смешались с султаном конским, и бегун понес его кругом ристалища. Громкие плески огласили воздух, дамы завяли платками в одобрение Унгерна.

Таковы-то люди, таковы-то женщины: они всегда на стороне победителя.

— Славно, славно, земляк! — кричали ему ревельцы. — Ты так крепко сидишь в седле, будто вылит из одного куска с лошадьё.

— Едва ли это неправда, — примолвил Лонциус Буртнеку, который ни жив ни мертв ждал развязки боя.

— Теперь он знает, каково рвать незабудки с копыя Унгернова, — прибавил другой.

— Я чай, у него в глазах сверкают такие звезды, что и во сне не увидишь, — сказал третий.

— Распечатай его наличник! — кричали многие.

Но рыцарь очнулся, и насмешки возбудили в нем новые силы. Так дымится и кипит вода от капли кислоты, — так вспыхивает умирающее пламя от немногих зерен пороху.

Снова, с новыми копьями, устремились рыцари на встречу: один с уверенностью в победе, другой с злобою мщения... Сразились, и Унгерн пал.

Разгорячен, прыгнул с коня незнакомец и, наступив ногой на грудь полумертвого Унгерна, простертого в пыди, поднял его оплечье острием меча, направил меч в грудь и оперся на него.

— Ну, Унгерн, кто победитель?

— Судьба, — отвечал тот едва внятно.

— И смерть, если ты не сознаешься; кто победил тебя?

— Ты, ты! — отвечал Унгерн, скрежеща зубами.

— Этого мало. Ты отнял неправдою землю у Буртнека. Откажись от ней, или через минуту тебе довольно

будет и той земли, которую теперь закрываешь телом. Да или нет?..

— Я на все согласен!

— Слышите ли, герольды и рыцари! Я лишь на этом условии дарю ему жизнь.

Подобно электрическому удару, восторг обуял зрителей, доселе безмолвных, то от страха за Унгерна, то из участия к незнакомцу.

— Слава великодушному, награда и честь победителю! — раздалось в громе рукоплесканий. — Ему, ему награду! — восклицали все.

— Неизвестный рыцарь выиграл золотой кубок! — решили судьи турнира, и герольды провозгласили то.

Величаво кланяясь на все стороны, приблизился рыцарь к возвышению, где сидел гермейстер с царицею красоты; поклонился им и в безмолвии оперся на меч.

— Благородный рыцарь, — сказал гермейстер Бругеней, стоя, — ты оказал свою силу, свое искусство и великодушие; покажи нам победное лицо свое для принятия награды!

— Уважаемый гермейстер! важные причины запрещают мне удовлетворить ваше любопытство.

— Таковы уставы турнира.

— В таком случае я отказываюсь от прав своих и сердечно благодарю судей за честь, которою не могу воспользоваться.

Сказав это, неизвестный с поклоном отворотился от гермейстера...

— Храбрый паладин! — сказала тогда трепещущая судьбы своей Минна, наполняя кубок вином венгерским. — Неужели откажетесь вы ответить на мой привет за здоровье победителя?.. Как царица праздника, я требую повиновения, как дама, прошу вас...

Она отпила и поднесла кубок к незнакомцу.

— Нет, нет! — говорил тот, отводя рукою бокал; видно было, что страсти сражались в нем, — он колебался. — Минна! — воскликнул он наконец, хватая кубок, — да будет!.. Я выпил бы смерть из чаши, которой коснулись вы устами... Вожди и рыцари! За здравие и счастье царицы красоты!

При громе труб незнакомец поднял наличник...

VI

*Не встанешь ты из векового праха,
Ты не блеснешь под знаменем креста.
Тяжелый меч наследников Рорбаха¹,
Ливонии прекрасной красота.*

Н. Языков

Происшествие, которое представляю теперь, было в 1538 году, то есть лет пятнадцать спустя после введения лютеранской веры.

Орден крестоносцев ливонских недавно потерял тогда главу свою в прусском Ордене, преданном Сигизмунду, и уже дряхлел в грозном одиночестве. Долгий мир с Россиею ржавил меч, страшный для ней в руке Плеттенберга. Рыцари, вдавшись в роскошь, только и знали, что полевать да праздничать, и лишь редкие стычки с новгородскими наездниками и варягами шведскими поддерживали в них дух воинственный. Впрочем, если они не наследовали мужества предков, зато гордость их росла с каждым годом выше и выше. Дух того века разделил самые металлы на благородные и неблагородные; мудро ли ж, что, уверяя других, рыцари и сами, от чистой души, уверились, что они сделаны по крайней мере из благородной фарфоровой глины. Надо примсавить, что дворянство, образовавшееся тогда из владельцев земель, много тому способствовало. Оно доискивалось слиться с рыцарством, следовательно, возбуждало в оном желание исключительно удержать за собою выгоды, которые, бог знает почему, называло правами, и нравственно унижить новых соперников. Между тем купцы, вообще класс самый деятельный, честный и полезный из всех обитателей Ливонии, лстимые легкостью стать дворянами через покупку недвижимостей или подстрекаемые затмить дворян пышностию, кидались в роскошь. Дворяне, чтобы не уступить им и сравниться с рыцарями, истощали недавно приобретенные поместья. Рыцари, в борьбе с ними обоими, закладывали замки, разоряли вконец своих вассалов... и гибельное следствие такого неестественного надмения сословий было неизбежно и недалеко. Раздор царствовал повсюду; слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали. Военно-торговое общество Черно-

¹ Рорбах был первым магистром Ордена ливонских меченосцев (Schwert-Brüder). (Прим. авт.)

головых (Schwarzen-Häupter), как градское ополчение Ревеля, пользовалось почти рыцарскими преимуществами, следовательно, было ненавидимо рыцарями. Час перелома близился: Ливония походила на пустыню, — но города и замки ее блистали яркими красками изобилия, как осенний лист перед паденьем. Везде гремели пиры; турниры сзывали всю молодежь, всех красавиц воедино, и Орден шумно отживал свою славу, богатство и самое бытие.

На чем бишь мы остановились?

VII

*Что будет, то будет, что будет, то
будет, а будет то, что бог даст.*

Богдан Хмельницкий

Медленно открыл незнакомый рыцарь бледное лицо свое и пал без чувств к ногам изумленной Минны, пал от изнеможения и первого удара.

— Эдвин! — воскликнула Минна.

— Купец! — закричали дамы и рыцари, и ропотное волнение разлилось по собранию.

— Такая наглость стоит наказания... Эта обида заслуживает мести! — раздавалось отовсюду, и рыцари, дворяне, шварценгейптеры хлынули на ристалище.

— Выбросьте вон, прибейте, убейте этого самозванца! — кричали рыцари. — Он не наш.

— Он будет наш! — возражали шварценгейптеры, стеснясь в кружок около бесчувственного Эдвина. — Мы не дадим тронуть его волоском...

— Кто не даст? Кто не позволит? Кто? Не по нашей ли милости впущены вы в круг рыцарский? — шумели дворяне.

— Не из милости, а по праву.

— Кто дал права, тот может и взять их.

— Вы их продали нам, а не дарили. Мы такие же господа, как и вы, в Ревеле, который не раз уже выкупали своим золотом и спасали своею кровью.

— Старые песни, старые сказки!.. Храбрость ваша качается на весовой стрелке, а честь, как обстриженный червонец, очень упала в цене...

— Гром и буря! Мы напечатаем на лбах ваших такие монеты, что век не износите штемпеля...

— Аршинники, разбойники! — летело навстречу друг другу, и обе стороны пышали боем, когда венденский фогт фон Дельви́г вскочил на перила и громовым голосом говорил:

— Дворяне и рыцари! вот следствие нашей доброты! Когда бы не позволили мы шварценгейптерам и первым гражданам мешаться с нами, этот купчишка не стоптал бы нашего собрата и преимуществ Ордена, не обидел бы в лице Унгерна нас всех. Но пусть прошлое будет нам уроком для переду. Да будет же отныне и навсегда запрещено всем без изъятия, не носящим звания рыцаря или дворянина, въезжать за турнирную решетку.

— Да будет, да будет, — загремели дворяне и рыцари, и герольды под звуком труб возгласили, что никто, кроме дворян и рыцарей, не может отныне ломать с ними копыя в турнире.

— Так мы сломим их в битве! — зашумели обиженные таким исключением шварценгейптеры, обнажая мечи.

— А! коли так, бейте черноголовых! — закричали рыцари.

— Рубите пустоголовых! — восклицали шварценгейптеры, кидаясь к ним навстречу, и вмиг мечи запрыгали по латам и бой завязался.

Вопли женщин, клятвы противников, громы оружия огласили воздух. Теснота умножала тревогу, конные и пешие, латники и невооруженные, бойцы и миротворцы смешались, и все орудия от рук до копий были в деле. Обиженное самолюбие и неуклонная гордость подстрекали сражающихся, вино и гнев ослепляли всех, ожесточение росло. Напрасно гермейстер просил, уговаривал, повелевал; напрасно, крича и топая ногами, бросил свой жезл, даже шляпу и мантию на ристалище в знак закрытия турнира, — никто не слушал, никто не замечал его. Наконец усталость сделала то, чего не могли совершить ни моления жен, ни приказы старших. Обе стороны склонились на увещание доброго бургомистра Фегезака, и противники разошлись, грозя друг другу мечами и взорами. Опустелое побоище усеяно было перьями и шпорами, рыцарскими и дамскими украшениями. К счастью, теснота помешала дальнейшему убийству, ибо сражение превратилось в борьбу; говорят, немногие заплатили жизнью за эту игрушку.

Эдвин все еще лежал в смертном обмороке от сильного ушиба и бури чувств. Подле него на коленях стояла прелестная Минна, забыв весь мир для любезного и ничему не внимая, кроме чуть слышного биения его пульса; Лонциус, ухаживая за Эдвином, уговаривал беснующегося Буртнека, который всем тогда известным светом клялся, что он не отдаст Эдвину дочери, хотя он и остался победителем.

— Но ваше слово, барон, ваше рыцарское слово!

— Но мои предки, господин доктор, мои предки! Лучше не сдерживать слова, чтобы поддержать имя. Коротко сказать, Эдвин очень высоко задумал, я вовек не выдам Минны за человека без славного имени.

— Зато с доброю славою.

— За человека, у которого родословная в счетной книге, у которого нет герба.

— У него их тысячи, барон, и все на золотом поле.

— Хоть весь он рассыпся червонцами,—я не соглашусь раздвоить¹ свой щит с вывескою.

— Вспомните, барон, что Эдвин кровью выручил вам отнятое Унгерном, неужели за великодушные заплатите вы неблагодарностию?

— Добродетель — не титул...

— Мы производим его в командоры шварценгейптеров! — гордо возразили старшины сего сословия. — Он заслужил это достоинство храбростию.

— Слышите ли?... — сказал доктор. — Это почти рыцарское достоинство!

— Батюшка, — вскричала, наконец, Минна, будто вдохновенная, — он оживает, мой Эдвин оживает. Простите, — продолжала она, обливая грудь отца горькими слезами, — я люблю Эдвина, я не могу жить без него... В руке моей вольны вы, но мое сердце навечно принадлежит Эдвину.

Казалось, она истощила все силы души и тела, чтобы выговорить слова сии, и, сказав их, как лилия, поникла головою и без чувств опустилась на плечо отца.

Это тронуло Буртнека более всех доводов. В гербе его не было сердца, но оно билось в груди отеческой. С нежною заботливостью поддерживая дочь левою рукою, он веял над ней перьями шляпы, хотел поцелуем

¹ Ecarteler — геральдическое выражение. (Прим. авт.)

призвать в нее жизнь, и даже слеза блеснула на непривычной к тому реснице.

Между тем добрый Лонциус наступал на него сильнее и сильнее:

— Он богат, прекрасен, командор и храбр; это пресечет злые языки... Неужели вы хотите уморить дочь и лишить счастья друга, изменив слову? Притом же любовь дочери вашей известна всему городу...

— Дай мне подумать хоть день, хоть час...

— Вы никогда не выдумаете лучше того, что говорит вам сердце... Итак, Эдвин зять ваш?

— Зять и сын... Эдвин и Минна, милые дети мои, пробудитесь для новой жизни!

Светел и радостен скакал с турнира Эдвин подле колесницы невесты своей, не сводя с нее глаз и поминутно целуя ее руку.

Спускаясь с Блоксберга, им встретился Доннербац в полном вооружении и с копьем в руке...

— Куда едешь, любезный Доннербац? — спросил Буртнек.

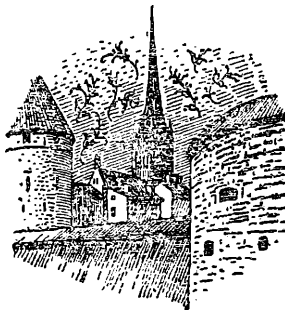
— На турнир, — отвечал тот, протирая глаза.

— Ты проспал его... Поедем-ка лучше ко мне на свадьбу, — с усмешкою сказал Эдвин.

— На твою свадьбу, — неужели с фрейлейн Минною?.. Не сон ли это?

— Дай бог не просыпаться от такого счастливого сна!

Шумно промчался поезд мимо, — и Доннербац долго стоял на улице с отверстым ртом от удивления.





Испытание

I

*...В благовонном дыме трубок,
Как звезда, несется кубок,
Влажной искрою горя
Жемчуга и янтаря;
В нем, играя и светлея,
Дышит пламень Прометея,
Как бессмертная заря!*

Невдалеке от Киева, в день зимнего Николы, многие офицеры *ского гусарского полка праздновали на именинах у одного из любимых эскадронных командиров своих, князя Николая Петровича Гремина. Шумный обед уже кончился, но шампанское не уставало литься и питься. Однако же, как ни веселы были гости, как ни искренняя их беседа, разговор начинал томиться, и смех, эта Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах. Запас уездных новостей истощился; лестные мечты о будущих вакансиях к производству, любопытные споры о построениях, похвальба конями и даже всевозможные тосты, в изобретении коих воображение гусара, конечно, может спорить с любым калейдоскопом,— все наскучило своей чередой. Остряки досадовали, что их не слушают, а весельчаки, что их не смешат. Язык, на который, право не знаю почему, скорее всего действует закон тяготения, заметно упорствовал подниматься к небу; восклицания и вздохи и табачные пuffs становились реже и реже, по мере того как величественные зевки,

подобно электрической искре, перелетали с уст на уста...

Я мог бы при сей верной оказии, подражая милым писателям русских новостей, описать все подробности офицерской квартиры до синего пороха, как будто к сдаче аренды; но зная, что такие микроскопические красоты не по всем глазам, я разрешаю моих читателей от волнования табачного дыма, от бряканья стаканов и шпор, от гомеровского описания дверей, истрелянных пистолетными пулями, и стен, исчерченных заветными стихами и вензелями, от висящих на стене мундштуков и ташки, от нагорелых свеч и длинной тени усов. Когда ж я говорю про усы, то разумею под этим обыкновенные человеческие, а не китовые усы, о которых, если вам угодно знать пообстоятельнее, вы можете прочесть славного китолова Скорезби. Впрочем, да не помыслят поклонники усов, будто я бросаю их из неуважения; сохрани меня Аввакум! Я сам считаю усы благороднейшим украшением всех теплокровных и хладнокровных животных, начиная от трехбунчужного паши до осетра.

Но вспомните, что мы оставили гостей не простясь, а это не слишком учтиво. Без нас уже половина из них, не подстрекаемая великим двигателем сердец — банком, склонила головы свои на край стола, между тем как остальные, более крепкие или более воздержные, спорили еще сидя: что красивее, троерядный или пятирядный ментик? Вдруг звон колокольчика и топот злой тройки заглушил их прения. Сани шаркнули под окном, и майор Стрелинский уже стоял перед ними.

— Здравствуй, здравствуй! — летело к нему со всех сторон.

— Прощайте, друзья мои! — отвечал он. — Отпуск у меня в кармане, кони у крыльца, и ретивое на берегах невских; я заехал сюда на минуту: поздравить милого именинника и выпить прощальную чашу. Сто лет счастья! — воскликнул он, обращаясь к князю, с бокалом шампанского, и дружески сжимая его руку. — Сто лет!

— Милости просим на погребенье, — отвечал, усмехаясь, Гремин, — и я уверен, что ты заключишь старинную дружбу нашу похвальным словом над моею могилою!

— Похвальным словом? Нет! это слишком обыкновенно. Да и зачем хвалить того, кого не за что бранить? Впрочем, как ни упорен язык мой на панегирики, твоё желание одушевляет меня казарменным красноречием. Не хочу, однако ж, проникать в будущее — нет, я произнесу только надгробное слово этим живым и чуть живым покойникам, за столом и под столом уснувшим. Начинаю с тебя, милый корнет Посвистов! Ибо в царстве мертвых и последние могут быть первыми. Да покоится твоё романтическое воображение, которое, будучи орошено ромом, пылало как плум-пудинг! Тебе недоставало только рифм, чтобы сделаться поэтом, которого бы никто не понял, и грамматики, чтоб быть прозаиком, которого бы никто не читал. Сам Зевес ниспослал на тебя сон в отраду ушей всех ближних!.. Мир и тебе, храбрый ротмистр Ольстредин: ты никогда не опаздывал на звон сабель и стаканов. Ты, который так затягиваешься, что не можешь сесть, и, натянувшись, не в силах встать! Да покоится же твоё туловище, покуда звук трубы не призовет тебя к страшному расчету: «справа по три и по три направо кругом!» Мир и твоим усам, наш доморощенный Жомини, у которого армии летали, как журавли, и крепости ломали, как бутылки с кислыми щами! Системы не спасли твою операционную линию... ты пал, ты страшно пал, как Люцифер или Наполеон, с верного конца в преисподнюю подстолья!.. Долгий покой и тебе, кларнетист бемольной памяти Бренчинский, который даже собаку свою выучил лаять по нотам. Бывало, ты одним духом отдувал любой акт из «Фрейшица»; а теперь одна аппликатура V.C.P. со звездочкой низвергла тебя, как прорванную волюнку. И тебе, лорд Байрон мазурки Стрепетов, круживший головы дам неутомимостию ног своих в вальсе, так что ни одна не покидала тебя без сердечного биения — от усталости; ты вечно был в разладе с музыкою, — зато вечно доволен сам собою. Мир сердцу твоему, честолоубец Пятачков! хотя ты и во сне хочешь перехрапеть своих товарищей, и тебе, друг Сусликов! Что глядишь на меня, будто собираешься рассуждать? И, наконец, все вы, о которых так же трудно что-нибудь сказать, как вам что-нибудь выдумать, покойтесь на лаврах своих до радостного утра, — да будет крепок ваш сон и легко пробуждение!

— Аминь! — сказал Гремин, смеючись.— Тебе, однако ж, пришлось бы, в награду за речь эту, променять не одну пару пуль или иззубрить не одну саблю, если б господы могли все слышать.

— Тогда я не счел бы их мертвецами и не сказывал бы надгробной проповеди. Впрочем, с теми, кто не принимает шутку за шутку, я готов расплатиться и свинцовою монетою.

— Полно, полно, любезный мой Дон-Кишот; мы между друзьями. Не спеши прощаться: мне нужно дать тебе поручения в Петербург, немного поважнее покупки ветишкетов и помады. Через четверть часа колокольчик будет уже звенеть в ушах твоих вместо голоса друга.

Они вышли в другую комнату.

— Послушай, Валериан! — сказал ему Гремин.— Ты, я думаю, помнишь ту черноглазую даму, с золотыми колосьями на голове, которая свела с ума всю молодежь на бале у французского посланника, три года тому назад, когда мы оба служили еще в гвардии?

— Я скорее забуду, с которой стороны садиться на лошадь,— вспыхнув, отвечал Стрелинский,— она целые две ночи снилась мне, и я в честь ее проиграл кучу денег на трефовой даме, которая сроду мне не рутировала. Однако ж страсть моя, как прилично благородному гусару, выкипела в неделю, и с тех пор... но далее: ты был влюблен в нее?

— Был и есмь. Подвиги мои наяву простирались далее твоих сновидений. Мне отвечали взаимностию, меня евели в дом ее мужа...

— Так она замужем?

— По несчастию, да. Расчетливость родных приковала ее к живому трупу, к ветхому надгробию человеческого и графского достоинства. Надо было покориться судьбе и питаться искрами взглядов и дымом надежды. Но между тем как мы вздыхали, семидесятилетний супруг кашлял да кашлял,— и, наконец, врачи присоветовали ему ехать за границу, надеясь, вероятно, минеральными водами выцедить из его кошелька побольше золота.

— Да здравствуют воды! Я готов почти помириться за это с водой, хотя календарский знак Водолея на столе

вечно кидает меня в лихорадку. Поздравляю, поздравляю, mon cher Nicolas¹; разумеется, дела твои пошли как нельзя лучше!..

— Вложи в ножны свои поздравления. Старик взял ее с собою.

— С собой? Ах он чудо-юдо! Таскать по кислым ключам молодую жену, чтобы золотить ему пилюли, вместо того чтобы, оставя ее в столице, украсить свое родословное дерево золотыми яблоками. Это умертвительное неуменье жить в свете!

— Скажи лучше, упрямство умереть кстати. Он воображал, постепенно разрушаясь, что обновит себя переменною мест. При разлуке мы были неутешны и поменялись, как водится, кольцами и обетами неизменной верности. С первой станции она писала ко мне дважды; с третьего ночлега еще одно письмо; с границы поручила одному встречному знакомцу мне кланяться, и с тех пор ни от ней, ни об ней никакого известия; словно в воду канула!

— Ужели ж ты не писал к ней? Любовь без глупостей на письме и на деле — все равно что развод без музыки. Бумага все терпит.

— Да я-то не терплю бумаги. Притом, куда бы мне адресовать свои брандскугельные послания? Ветер — плохой проводник для нежности, а животный магнетизм не открыл мне места ее процветания. Потом иные заботы по службе и своим делам не давали мне досугу заняться сердцем. Признаюсь тебе, я уж стал было позабывать мою прекрасную Алину. Время залечивает даже ядовитые раны ненависти; мудрено ли ж ему выдымить фосфорное пламя любви? Но вчерашняя почта освежила вдруг мою страсть и надежды. Репетиллов, в числе столичных новостей, пишет мне, что Алина возвратилась из-за границы в Петербург — мила, как сердце, и умна, как свет; что она сверкает звездой на модном горизонте, что уже дамы, несмотря на соперничество, переняли у ней какой-то чудесный манер ридикюля, а мужчины выучились пришепетывать страх как приятно; одним словом, что, начиная от нижнего этажа модных магазинов до ветреного чердака стихокропателей, она привела у них в движение все иглы, языки и перья.

¹ Дорогой Николай (фр.):

— Тем хуже для тебя, любезный Николай! Память прежней привязанности никогда не бывала в числе карманных добродетелей у баловниц большого света.

— В этом-то все и дело, любезнейший! Отлучка полкового командира привязала меня к службе; а между тем как я здесь сижу сиднем, она, может, изменяет мне. Сомнение для меня тяжеле самой неблагоприятной известности, хуже висельной отсрочки. Послушай, Валериан! я тебя знаю давно и люблю так же давно, как знаю. Коротко и просто: испытай верность Алины. Ты молод и богат, ты мил и ловок,— одним словом, никто лучше тебя не умеет проиграть деньги по расчету и выиграть сердце безумною пылкостью. Дай слово — и с богом.

— Возьми назад свое и убирайся к черту! Подумал ли ты, что этим неуместным любопытством ты ставишь силок другу и подруге, с опасностью потерять обоих? Ты знаешь, для меня довольно аршина лент и пары золотых серег, чтоб влюбиться по уши, и поручаешь исследовать прекрасную женщину, как будто б она была соляной обломок Лотовой жены, а я профессор Стокгольмского университета!

— По этому-то самому, милый Валериан, я больше полагаюсь на твою возгораемость и сгораемость, чем на хладнокровие другого. Три дня ты будешь от ней без ума, а через три дня или она станет от тебя без памяти, или своей верностью приведет тебя самого в память. В первом случае я раскланяюсь с своими надеждами — не без сожаления, но без гнева. Ведь не один я бывал в сладком заблуждении, не один останусь и в любезных дураках. Но в другом — тем сладостнее, тем вернее будет обладание любимым сердцем. Мила неопытная любовь, Валериан, но любовь испытанная — бесценна!

— Видно, нет на свете такой глупости, которую умные люди не освятили своим примером. Любовь есть дар, а не долг, и тот, кто испытывает ее, ее не стоит. Ради бога, Николай, не делай дружбы моей оселком!

— Я именем дружбы нашей прошу тебя исполнить эту просьбу. Если Алина предпочтет тебя, очень рад за тебя, а за себя вдвое; но если ж она непоколебимо ко мне привязана, я уверен, что ты, и полюбив ее, не разлюбишь друга.

— Можешь ли ты в этом сомневаться? Но подумай...

— Все обдуманно и передумано; я неотменно хочу этого, а ты, несомненно, это можешь. В подобных делах друг твой — настоящий новгородец: прям и упрям. Да или нет, Стрелинский?

— Да! Слово это очень коротко, но мне так же трудно было выпустить его из сердца, как последний рубль из кармана в полудороге. Впрочем, я утешаю себя тем, что ты и я, как счень легко статься может, опоздали и найдем одуванчик вместо цветка. Тут еще есть бездельное обстоятельство; уверен ли ты, что супруг ее убрался в Елисейские?

— Ничего не знаю. Репетиллов ни полслова об этом. Однако ж, хотя бы жизнь его была застрахована самим Арендтом, природа должна взять свое, и последний песок его часов не замедлит высыпаться!

— Браво, браво, мой Альнаскар! Это несравненно, это неподражаемо! Мы запродали шубу, не спросясь медведя. Опыт наш начинает привлекать меня, — за него надо взяться из одной чудесности. Я твой.

— Постой, постой, ветреник! Ты еще не спросил у меня фамилии нашей героини. Графиня Алина Александровна Звездич. Помни же!

— А если забуду, то, наверно, по рассказам твоим, могу о ней осведомиться в первом журнале или в первой модной лавке. Что еще?

— Ничего, кроме моего почтения твоей тетушке и сестрице. Она, говорят, вышла из монастыря?

— И мила как ангел, пишут мне родственники. Друзья расстались.

Между тем гостей развели и развезли. Все утихло, и тем грустнее стало Гремину одиночество после шумного праздника. Платон уверял, что человек есть двуногое животное без перьев; другие физиологи отличали его тем, что он может пить и любить когда вздумается; но ошипанный петух мог ли бы стать человеком или человек в перьях перестал ли бы быть им? Конечно, нет. Получил ли бы медведь патент на человеческое достоинство за то, что любит напиваться во всякое время? Конечно, нет. В наш дымный век я определил бы человека гораздо отличительнее, сказав, что он есть «животное курящее, animal fumens». И в самом деле, кто ныне не курит? Где не процветает табачная торговля, начиная от мыса Доброй Надежды до залива Отчаяния, от Ки-

тайской стены до Нового моста в Париже и от моего до Чукотского носа? Пустьась в определения, я не остановлюсь на одном: у меня страсть к философии, как у Санхо Пансы к пословицам. «Мыслю — следственно, существую», — сказал Декарт. «Курю — следственно, думаю», — говорю я. Гремин курил и думал. Мысли его невольно кружились над камнем преткновения для рода человеческого — над супружеством. Есть возраст, в который какая-то усталость овладевает душою. Волокитства наскучивают, кочевая, бездомовная жизнь становится тяжка, пустые знакомства — несносны; взор ищет отдохновения, а сердце — подруги, и как сладостно оно бьется, когда мечтает, что ее нашло!.. Воображение рисует новые картины семейственного счастья; тени скрадены, шероховатости скрыты — *c'est un bonheur à perte de vue!*¹ Мечты — это животное-растение, взбегающее в сердце и цветущее в голове, — летали вместе с дымом около Гремина и, как он, вились, разнообразились и исчезали! За ними и холодное сомнение, за ними и желчная ревность проникли в душу. «Доверить испытание двадцатилетней светской женщины пылкому другу, — думал он, нахмурясь, — есть великая неосторожность, самая странная самонадеянность, высочайшее безумие!»

— Какой я глупец! — вскричал он, вскочив с кушетки, так громко, что легавая собака его залаяла, спросонков. — Эй, пошлите ко мне писаря Васильева!

Писарь Васильев явился.

— Приготовь просьбу в отпуск.

— Слушаю, ваше высокоблагородие, — отвечал писарь и уже отставил было ногу, чтоб повернуться налево кругом, когда весьма естественный вопрос *для кого?* перевернул его обратно.

— На чье имя прикажете писать, ваше высокоблагородие?

— Разумеется, на мое! Что ж ты вытаращил глаза, как мерзлая щука! Напиши в просьбе самые уважительные пункты: раздел наследства или смерть какого-нибудь родственника, хоть свадьбу, хоть еще что-нибудь глупее этого... Мне непременно надо быть в Петербурге. Командование полком можно сдать старшему по мне. Скажи ординарцу, чтоб был готов везти пакеты в штаб-

¹ Это счастье необозримо! (фр.).

квартиру, а сам чуть свет принеси их ко мне для подписки. Ступай.

Кто разгадает сердце человеческое? Кто изучит его воздушные перемены? Гремин, тот самый Гремин, который за час перед этим был бы огорчен как нельзя более отказом Стрелинского на чудный вызов свой, теперь едва не в отчаянии от того, что друг согласился на его просьбу. Придавая возможность и существенность воздушным своим замкам, он как будто забыл, что есть на свете другие люди, кроме их троих, и что судьба очень мало заботится, согласны ли ее приговоры с нашими замыслами.

«Стрелинский проведет недели две в Москве,— думал он,— и я скорее его прикачу в Петербург. Статься может, я уж встречу его счастливецом, и свадебный билет разрешит друга от излишней обязанности... Как мила, как богата графиня!!» В этих утешительных мыслях заснул наш подполковник, и зимнее солнце осветило ординарца его уже на полдороге к бригадному командиру с просьбою об увольнении в отпуску.

II

If I have any fault, it is digression¹.

Byron

Святки больше всех других праздников сохранили на себе печать старины, даже и в Финской Пальмире нашей, в Петербурге. Один из друзей наших въезжал в него сквозь Московскую заставу в самый рождественский сочельник, и когда ему представилась пестрая, живая панорама столичной деятельности, в его памяти обновилась все радостные и забавные воспоминания детства. Между тем как дымящаяся тройка шагом пробиралась между тысячами возов и пешеходов, а ухарский извозчик, заломив шапку набекрень, стоя возглашал: «Пади, пади!» на обе стороны, он с улыбкою перебирал все степени различных возрастов, сословий и образованности, по мере того как они развивались перед его

¹ Если я в чем-нибудь виноват, то только в отступлениях. Байрон (англ.).

глазами. Вещественные образы пробуждали в душе его давно забытые обычаи, давно простывшие знакомства и множество приключений буйной своей молодости в разных кругах общества.

В самом деле, какое разнообразие забот в различных этажах домов, в отдельных частях города, во всех классах народа! Сенная площадь, думал Стрелинский, проезжая через нее, в этот день наиболее достойна внимания наблюдательной кисти Гогарта, заключая в себе все съестные припасы, долженствующие исчезнуть завтра, и на камчатных скатертях вельможи и на обнаженном столе простолюдина и покупателей их. Воздух, земля и вода сносят сюда несчетные жертвы праздничной плотоядности человека. Огромные замороженные стерляди, белуги и осетры, растянувшись на розвальнях, кажется, зевают от скуки в чуждой им стихии и в непривычном обществе. Ошипанные гуси, забыв капитольскую гордость, словно выглядывают из возов, ожидая покупателя, чтобы у него погреться на вертеле. Рябчики и тетерева с зеленеющими елками в носиках тысячами слетелись из олонецких и новгородских лесов, чтобы отведать столичного гостеприимства, и уже указательный перст гастронома назначает им почетное место на столе своем. Целые племена свиней всех поколений, на всех четырех ногах и с загнутыми хвостиками, впервые послушные дисциплине, стройными рядами ждут ключниц и дворецких, чтобы у них, на запятках, совершить смиренный визит на поварню, и, кажется, с гордостью любясь своею белизною, говорят нам: «Я разительный пример усовершаемости природы; быв до смерти упреком неопрятности, становлюсь теперь эмблемою вкуса и чистоты, заслуживаю лавры на свои окороки, сохраняю платье вашим модникам и зубы вашим красавицам!»

Угол, где продают живность, сильнее манит взоры обедал, но это на счет ушей всех прохожих. Здесь простосердечный баран — эта четвероногая идиаллия — выражает жалобным бляньем тоску по родине. Там выжигает жалобным бляньем тоску по родине. Там выжигает угнетенная невинность, или поросенок в мешке. Далее эгоисты телята, помня только пословицу, что своя кожа к телу ближе, не внимают голосу общей пользы и мычат, оплакивая скорую разлуку с пестрою своею одеждою, которая достанется или на солдатские ранцы, или, что еще горче, на переплеты глупых книг. Вблизи

беспечные курицы разных наций, и хохлатые цесарки, и пегие турчаночки, и раскормленные землячки наши, точь-в-точь словоохотные кумушки, кудахтают, не предвидя беды над головою, критикуют свет, который видят они сквозь щелочки своей корзины, и, кажется, подтрунивают над соседом, индейским петухом, который, поджимая лапки от холоду, громко ропщет на хозяина, что он вывез его в публику без теплых сапогов.

Словом, какое обширное поле для благонамеренного писателя басен! сколько предметов для самой басни, где поросенок нередко учит нравственности, курица — домоводству, лисица — политике или какой-нибудь крот читает диссертацию о добре и зле не хуже доктора философии! Да и одному ли писателю апологов легко подбирать здесь перья? Проницательный взор какого-нибудь пустынного Галерной гавани, или Коломны, или Прядыльной улицы мог бы собрать здесь сотни портретов для замысловатых статей под заглавием «Нравы» как нельзя лучше. Он бы сейчас угадал в толпе покупателей и приказного с собольим воротником, покупающего на взяточный рубль гусиные потроха, и безместного бедняка, в шинели, подбитой воздухом и надеждой, когда он, со вздохом лаская правой рукою утку, сжимает в кармане левсю последнюю пятирублевую ассигнацию, словно боясь, чтоб она не выпорхнула как воробей; и дворецкого знатного барина, торгующего небрежно целый воз дичины; и содержателя стола какого-то казенного заведения, который ведет безграмотных продавцов в лавочку, расписываться в его книгу в двойной цене за припасы; и артиста французской кухни, раздувающего перья каплуна с важным видом знатока; и русского набожного повара, который с умиленным сердцем, но с красным носом поглядывает на небо, ожидая звезды для обеда; и расчетливую немку в китайчатом капоте, которая ластится к четверти телятины; и поваришу-чухонку, покупающую картофель у земляков своих; и, наконец, подле толстого купца, уговаривающего простяка крестьянина «знать совесть», сухощавую жительницу иного мира — Петербургской стороны, которая заложилла свои янтари, чтоб купить цикорию, сахарцу и кофейку и волошских орехов, выглядывающих из узелка в небольших свертках.

Площадь кипит. Слитный говор слышится издалека, сквозь который только порой можно отличить слова:

«Барин! барин! ко мне! У меня лучше, у меня дешевле, для почину, для вас!» и тому подобное. В улицах толкотня, на тротуарах возня по разбитому в песок снегу; сани снуют взад и вперед, — это праздник смурых извозчиков, так характеристически названных «Ваньками», на которых везут, тащат и волокут тогда все съестное. Все трубы дымятся и окрашивают мраком туманы, висящие над Петрополем. Отовсюду на вас пылят и брызжут. Парикмахерские ученики бегают как угорелые со щипцами и ножницами. На голоса разносчиков являются и исчезают в форточках головы немочек в папильотках. Ремесленники спешат дошивать заказное, между тем как их мастера сводят счеты, из коих едва ли двадцатый будет уплачен. Купцы в лавочках и в гостинном дворе брякают счетами, выкладывая годовые барыши. Невский проспект словно горит. Кареты и сани мчатся наперегонку, встречаются, путаются, ломают, давят. Гвардейские офицеры скачут покупать новомодные эполеты, шляпы, аксельбанты, примеривать мундиры и заказывать к Новому году визитные карточки — эти печатные свидетельства, что посетитель радехонек, не застав вас дома. Фрачные, которых военная каста называет обыкновенно «рябчиками», покупают галстуки, модные кольца, часовые цепочки и духи, любят свои ножами в чулках à la joug¹ и повторяют прыжки французских кадрилией. У дам свои заботы, и заботы важнейшие, которым, кажется, посвящено бытие их. Портные, швеи, золотошвейки, модные лавки, английские магазины — все заняты, ко всем надобно заехать. Там шьется платье для бала; там вышивается золотом другое для представления ко двору; там заказана прелестная гирлянда с цветами из «Потерянного рая»; там, говорят, привезли новые перчатки с застежками; там надо купить модные серьги или браслеты, переделать фермуар или диадему, выбрать к лицу парижских лент и перепробовать все восточные духи.

У немцев, составляющих едва ли не треть петербургского населения, канун рождества есть детский праздник. На столе, в углу залы, возвышается дерево, покрытое покрывалом Изиды. Дети с любопытством заглядывают туда, и уже сердце их приучается биться

¹ Ажурные (фр.).

надеждой и опасением. Наконец наступает вожделенный час вечера. Все семейство собирается вместе. Глава оно-го торжественно срывает покрывало, и глазам восхищен-ных детей предстает Weihnachtsbaum¹ в полном величии, увенчано лентами, увешано игрушками, красивыми безделками и нравоучительными билетиками для резвых и ленивых, — каждая вещь с надписью кому, и каждому по заслугам. Этот Pour le mérite² радует больше и невиннее, чем все награды честолюбия в позднейших возрастах. Вечно люди осуждены гоняться за игрушками; одно детство счастливо ими без раскаяния.

Наконец день рождества Христова светает в тумане, и вы волею и неволею пробуждены крикливым пеннем школьников, которые, как волхвы, путешествуют с огромною звездой из картона, с разноцветною фольгой, прорезью, подвесками и свечами. Колокола звонят, и после обедни священники со всем причетом объезжают приход для христославства. Обед сего дня есть семейное собрание, и горе тому племяннику, который осмелится не приехать поцеловать ручку у тетушки и отведать гуся на ее столе. Со второго дня начинаются настоящие святки, то есть колядованья, гаданья, литье воску и олова в воду — где красавицы мнят видеть или венец, или гроб, то сани, то цветы с серебряными листьями, — наконец подблюдные песни, беганье за ворота и все старинные обряды язычества. Но увы! — подблюдные песни остались у одних только купцов, расспросы прохожих об имени и слушанье под окнами — у одних мещан. Средний круг дворянства в столице оставил у себя только факты — заведение не вовсе русское, но весьма приятное; но хорошее, лучшее общество ограничилось одними балами, как будто человек создан только для башмаков. Оно отказалось даже от jeux d'esprit³, — быть веселым и умным кажется нам слишком обыкновенно, слишком простонародно!

«Пемилуйте, господин сочинитель! — слышу я восклицания многих моих читателей. — Вы написали целую главу о Сытном рынке, которая скорее возбудит может аппетит к еде, чем любопытство к чтению».

¹ Рождественская елка (нем.).

² За заслуги (фр.) (пруссский орден).

³ Остроумие (фр.).

«В обоих случаях вы не в проигрыше, милостивые государи!»

«Но скажите по крайней мере, кто из двух наших гусарских друзей, Гремин или Стрелинский, приехал в столицу?»

«Это вы не иначе узнаете, как прочитав две или три главы, милостивые государи».

«Признаюсь, странный способ заставить читать себя».

«У каждого барона своя фантазия, у каждого писателя свой рассказ. Впрочем, если вас так мучит любопытство, пошлите кого-нибудь в комендантскую канцелярию заглянуть в список приезжающих».

III

*Вы клятву дали? Эта клятва —
Лишь перелетным ветрам жатва.*

В числе самых блистательных балов того года был данный князем О*** три дня после рождества. Кареты, сверкая гранеными фонарями как метеоры, влекомые четверками, неслись к освещенному подъезду, на котором несчастный швейцар, в павлином своем уборе, попрыгивал с ноги на ногу от русского мороза. Дамы выпархивали из карет и, сбросив перед зеркалом аванзалы черные обертки свои, являлись подобны майским бабочкам, блистаючи цветами радуги и блестками злата. Скользя, будто воздушные явления, по зеркальному паркету, вслед за разряженными своими матушками и тетушками, как мило отвечали девицы легким склонением головы на вежливые поклоны знакомых кавалеров и улыбкою — на значительные взоры своих приятельниц, между тем как на них наведены все лорнеты, все уста заняты их анализом, но, может быть, ни одно сердце не бьется истинною к ним привязанностию.

Все действия и явления, на которые обыкновенно делится классический бал высшего общества, приходили и проходили своей чередою. Строгие взоры матушек, выученная любезность дочерей, самоуверенное пустословие щеголей во фраках и в мундирах; теснота в зале танцев — и не от танцующих, но от зрителей, — безмолвие в комнате шахматов, ропот за столами виста и экарте, за которыми прошедшее столетие в лицах проигрывало важность

свою, а нынешнее — свою веселость; ловля выгодных женихов и невест везде — вот что занимало три четверти общества, между тем как остальные были жертвою тайной зевоты, «не утолимою никаким сном», как говорит Байрон. Забавнее всего было созерцать и следить охотников за браками (*mariage-hunters*) обоих полов. Рассеянно, небрежно, будто из милости подавая руку молодому офицеру, княжна NN прогуливалась в польском, едва слушая краем уха комплименты новичка; зато как быстро расцветало улыбкою лицо ее, когда подходил к ней адъютант с магическою буквою на эполетах, как приветливо протягивала она ему руку свою, будто говоря: «Она ваша», поправляя другой длинные свои локоны и длинные свои перчатки, и доселе безмолвные уста ее изливали поток любезностей, подобно Самсонову фонтану в Петергофе, который брызжет только для важных посетителей. Вот и заботливая физиономия Полины У***; она, кажется, только что покинула грифель, но не бросила своей выкладки вероятностей о производстве в чин того и того-то, ни оценки знатности родства и силы протекции того и того-то, ибо протекция в нашем веке стоит наследства. Взор ее не замечает ничего, кроме густых эполетов, кроме звезд, которые блещут ей созвездием брака, и дипломатических бакенбард, в которых фортуна свила себе гнездышко. У мужчин, имеющих за собою породу, или богатство, или чины, или перед собой виды и надежды, те же затеи, подобные же выборы. По виду их скорее заключить можно, что они в биржевой, а не в бальной зале. «Эта девушка прелестна, — думает один, — но отец ее молод, бог знает, сколько проживет он лет и денег. Эта умна и образованна, дядя ее на важном месте, но говорят, он колеблется, — тут надобно подумать, то есть подождать. Вот эта, правда, не очень красива и очень недалеко, зато как одушевлена! чертовски одушевлена тремя тысячами душ, из которых ни одна не тает в ломбарде или двадцатилетнем банке, как большая часть наших приданых. Я невольник ее!» И вот наш искатель, подсев сперва к матушке ее, со вниманием слушает вздоры, — старая, но всегда удачная дипломатика, — потом рассыпается в приветствиях дочери, танцуя, делает влюбленные глазки и облизывается, считая в мыслях ее червонцы.

Бал уже склонялся к концу и многие из корифеев мо-

ды, зевая в гостиной на просторе, клялись, что он чрезвычайнo весел, как вдруг шум и восклицания: «Маски, маски!» привлек всех беглецов в залу танцев. В самом деле, два блестящих кадрили, один в испанском, другой в венгерском костюмах, заслуживали внимание, равно по богатству, по вкусу уборов и по стройности замаскированных. Обежав кругом залу, каждый из них бросил по загадке знакомым и незнакомым, возбуждая следом спор уверяющих, что это он или не он. Хозяин, радуясь, что случай дал разнообразие его балу, пригласил замаскированных к танцам. Мазурка загремела, и венгерцы, попросив четырех дам сделать им честь украсить кадрили их, выиграли одобрение ото всех окружающих ловкостью и развязностью движений, новостью и благородством фигур. Наконец послышалась одушевленная живая музыка французского кадрили, и одна из масок, принадлежавшая, казалось, к толпе тех, которые воображают, что они всё сделали для общества, если надели на себя пышный костюм, маска, безмолвно доселе стоявшая у стены, гордо завернувшись в бархатную, расшитую золотом епанчу, вдруг сбросила с себя ее на пол и легкою стопой приблизилась к графине Звездич, окруженной вздыхателями.

— Дозволит ли графиня незнакомцу иметь счастье танцевать с нею? — произнес испанец почтительно, прижав к груди берет свой, украшенный перьями и бриллиантами.

— Очень охотно, прекрасная маска, — вставая, отвечала графиня. — Новые знакомства нередко избавляют нас от скуки старых, и в этом отношении я уже вам обязана, — прибавила она, лукаво поглядывая на оставленную группу. — Впрочем, быть может, мы не совсем незнакомы друг другу?

— Я здесь чужестранец, графиня. Да если бы и не был им, все нашелся бы в большом замешательстве, боясь попасть в категорию старого знакомства и не имея дарований оправдать нового.

Алина вздрогнула от звука голоса и какого-то нежно-укорительного тона испанца.

— Вы обвиняете меня слишком поспешно, распространяя на всех слова, сказанные шутя, — отвечала она, — но полноте скрытничать: мне кажется, я могу подсказать вам имя ваше, — продолжала она, стараясь заглянуть под полумаску.

— Я не знал, что графиня в тысяче прелестей и добрых качеств имеет дар ясновидения.. Я очень сомневаюсь, чтобы мое имя могло быть напечатано на золотом листе месяца: но во всяком случае позвольте избавить вас от усталости произносить его,— я называюсь дон Алонзо де Гверера е Молина е Фуэнтес е Риэго е Калибралос..

— Довольно, слишком довольно имен в наказание за мое любопытство, но слишком мало к его удовлетворению. Итак, дон Алонзо, вы меня знаете?

— Какой смертный может похвалиться, что он знает женщину!

Танцы разлучили их, и им во все время не удалось сказать друг другу ничего, кроме самых обыкновенных вещей. Кадриль восхитил всех; игроки бросили карты, домино и шахматы; все стеснилось в любопытный круг около танцующих, и отовсюду слышалось: «Ah, qu'ils sont charmants! Ah, comme c'est beau ça!»¹ Особенно графиня и кавалер ее казались созданными, чтобы возвысить искусство и красоту один другого. Победа осталась за ними,— они пересияли все сопернические звезды, и любопытство узнать испанца возросло во всех до высшей степени, но более всех в прелестной графине. Провожая ее на место, посреди ропота зависти, одобрения и приветов, испанец снова просил «осчастливить» его на попурри — и снова получил согласие. Попурри и котильон (которые сливаются ныне воедино) — роковые танцы для незнакомых между собою. Я всегда называл их двухчасовую женитьбою, потому что каждая пара испытывает в них все выгоды и невыгоды брачного состояния. Счастлива дама, которой достанется в удел не угрюмый мечтатель, разбирающий в то время последне-прочитанную фразу Окена, и не безумолкный попугай, который на трех языках говорит вам нелепости. Счастлив и кавалер, которому фортуна дарует даму, отражающую все ваше остроумие не одним веером, не одними оледеняющими *oui, Monsieur, certainement, Monsieur*². Зато как осторожны дамы в выборе кавалеров на котильон! Все пружины миниатюрной их политики пущены в игру заранее, чтобы заставить себя «ангажировать» тем, кого любят они слу-

¹ Ах, как они милы! Ах, как это красиво! (фр.)

² Да, сударь, конечно, сударь (фр.).

шать или хотят заставить слушаться. Слепое счастье, однако же, послужило испанцу: никто за неделю не звал графиню на попури, а толпа окружающих не смела на попытку, боясь отказа перед глазами соперников и вообразая, что она давно уже избрала или избрана. Теперь под громом музыки, под говор соседей, уединен с нею в амбразуре окна, дон Алонзо мог говорить все, что допускает светская любезность, возвышенная правом маски. Разговор перелетал то мотыльком, то пчелой от цветка к цветку, от предмета к предмету. Ум неистощим. когда нас понимают; он сыплет искры, ударяясь о другой. Пара наша довольна была друг другом как нельзя более. Графине порой казалось, что с нею беседовал знакомый и когда-то милый голос. «Это Гремин,— думала она сама с собою,— тут нет никакого сомнения! Что мудреного приехать ему в отпуск». Но вдруг этот голос изменялся, и одна учтивая приветливость следовала, как холодная тень, за выражениями ласки. Со всем тем какая-то невольная доверенность овладела графиней, и разговор неприметно переходил в тон более и более сердечный, как вдруг испанец отвел от Алины доселе вперенные на нее взоры и, небрежно бродя ими по зале, с видом модного злословия, спросил:

— Скажите, графиня, неужели это прыгающее тemento moi¹ — князь Пронский? Он так часто меняет свои покрой, прически и мнения, что не мудрено ошибиться! Боже мой, как он прыгает! Он чуть-чуть не запутался в люстре.

— Не дивитесь этому, дон Алонзо; разве не видим мы, что и ржавые флюгера скрипят, но вертятся?

— Совершенная правда, графиня. Но флюгера кончают тем, что от ржавчины делаются постоянны, а князь, кажется, с каждым годом легче и легче, так что в сотый день своего рождения, можно надеяться, он, как шампанская пробка, вспрыгнет до потолка. Эта дама в перьях, pendant² князя Пронского, летающая воланом со стороны на сторону, вдова генерала Кретова, графиня?

Наклонение головы уверило испанца, что он не ошибся.

— Посмотрите ж, пожалуйста, как нежно глядит она на кавалера своего, гвардейского прапорщика, между тем

¹ Помни о смерти (лат.).

² Пара (фр.).

как он будто ждет от нее благословения, а не любви. Позвольте еще испытать ваше терпение, графиня: кто этот человек с прагматическими пуговицами и пергаминам лицом, стоящий в рисовальной позиции?

— Это представитель всех предрассудков века Людовика Четырнадцатого, кавалер посольства Сен-Плюше. Как истинный эмигрант, он ничему не выучился и ничего не забыл, но вечно доволен сам собою, а это чего-нибудь да стоит. Но как вам нравится сосед его, наш любезный соотечественник? Он так влюблен в себя, что беспрестанно смотрится в свои пуговицы, где нет зеркал.

— Он бесценен, графиня! Если б доктора согласились общею подпискою воздвигнуть монумент болезням, он мог бы служить идеалом для статуи бога насморка. Но через пару далее его, я почти готов парировать, длинная фигура в белом кирасирском вицмундире — ротмистр фон Драль. Как похож он на статую командора, который в первый раз слез с лошади, чтобы звать Дон-Жуана на ужин! Дама его, если не ошибаюсь, Елена Раисова? Но она напрасно раздувает опахалом своим внимание в неподвижном рыцаре... Конгревские ракеты ее остроумия лопают в пустыне.

— Вы, дон Алонзо е Фуэнтес е Калибрадос, не более щадите наш пол, как и своих собратий. Должно полагать, вы многое претерпели от женщин?

— И кажется, срок моего испытания не кончился, прекрасная графиня,— отвечал с чувством испанец, устремя на нее сверкающие глаза. Графиня, чтобы избежать сего тона, обратила разговор в прежнюю струю.

— Вы сказываетесь новичком, дон Алонзо, в Петербурге и на бале, и потому я дивлюсь, что до сих пор не спросили меня о двух герсях наших увеселений, о Касторе и Поллуксе каждой мазурки, каждого кадрили. Я разумею о графе Вейсенберге, племяннике австрийского фельдмаршала, и маркизе Фиэри, его друге. Они путешествуют, смотрят свет и показывают себя... Неужели вы до сих пор не видали графа Вейсенберга?

— Я ничего не видел, кроме вас!

— Так должны заметить его неотменно. С какими глазами покажетесь вы в свое отечество, не узнав великого человека, научившего нас галопировать! Вот он проходит мимо... молодой человек с усиками в венском фраке... Но вы не туда смотрите, дон Алонзо!

— Ах, тысячу раз прошу прощения, графиня!.. Так это-то милый крокодил, который за каждым déjeuner dansant¹ глотает по полдюжине сердец и увлекает за собой остальные манежным галопом? Mais il n'est pas mal, vraiment². Жаль только, что он как будто накрахмален с головы до ног или боится измять косточки своего корсета.

— Вслед за ним вертится маркиз Фиэри.

— Прекрасные бакенбарды! Выразительные глаза! И он смотрит ими так уверительно, как будто говорит: «Любите меня, или смерть!»

— Многие находят его весьма остроумным.

— О, бесконечно остроумным! Все маркизы имеют патент на остроумие до двенадцатого колена. Я уверен, что с запасом модных галстуков и жилетов он не забыл привезти для здешних дам итальянского чичисбеизма и венской любезности!

— И вы не ошиблись, Алонзо! Он очень занимателен в дамском обществе и не считает пол наш какою-нибудь варварийскою республикою!

— Кажется, эта стрела летит в Испанию, графиня?

— Конечно, дон Алонзо! В ваше отечество, в отечество истинного рыцарства, между тем как вы, вместо того чтобы защищать прекрасных, объявляете им войну злословия.

— Если б все женщины были подобны вам, графиня, я не имел бы причины стать их неприятелем.

— Вы, кажется, хотите лестию выкупить наперед какую-нибудь злость против целого нашего пола. Но я на часах против вас, дон Алонзо. Compliments врага — опасные переметчики.

— Они выдуманы не для вас, графиня; самые затейливые вымыслы, касаясь вас, становятся обыкновенными истинами.

— Я не предполагала, что земля ваша так же легко произращает лесть, как апельсины и лимоны!

— На родине моей, в этом саду прекрасных произрастений, я не научился, однако же, прозябать душою, как большая часть людей холодного здешнего климата. Сердце мое на устах, графиня, и потому мудрено ль, что,

¹ Завтрак с танцами (фр.).

² Но он, право, недурен (фр.).

пораженный достоинствами или красотой, я не могу таить чувства? Вы можете обвинить мои выражения, но искренность — никогда.

— Вашу искренность, дон Алонзо! Я не имею на нее никакого права, да и можно ли узнать душу, не видав лица, ее зеркала. Человек, который так упорно скрывается под маскою, может сбросить с нею и маскарадные свои качества.

— Признаюсь, графиня, я бы желал, если б мог, с этим костюмом сбросить с сердца воспоминание... более чем воспоминание настоящего. Но позвольте мне хранить маску... может быть, для обета своим товарищам, может быть, в подражание дамам, которые носят вуаль, чтобы возбуждать любопытство, не могли изумлять красотой... может быть, для удаления от вас неприятного сюрприза видеть лицо мое.

— Чем более хотите вы таиться, тем вернее узнаю я вас. Но погодите; я женщина, и вы мне дорого заплатите за свое упрямство.

— Верьте, графиня, я уже плачу за него и... — Вихорь вальса умчал графиню на середину, где законы попури заставили ее протанцевать соло в *pastourelle*¹, одной из фигур французских кадрилией.

— Вы мечтаете? — сказала графиня, возвращаясь на место.

— И мечтой моей наяву были — вы. Я любовался вами, прекрасная графиня, когда, склонив очи к земле, будто озаряя порхающие стопы свои, вы, казалось, готовы были улететь в свою родину — в небо!

— О нет, нет, дон Алонзо! Я бы не хотела так неожиданно покинуть землю; мне бы жаль было оставить родных и добрых моих знакомых. Нет, благодарю покорно!.. Взрыв вашего воображения закинул меня слишком высоко. Вы поэт, дон Алонзо!

— Не более как историк, графиня... беспристрастный историк... — возразил испанец, скидывая перчатку с левой руки, потому что в это время танец уже кончился. Невольное *ах!* вырвалось у графини, когда в глаза ей сверкнул перстень испанца. По нем она узнала Гремина. С сильным волнением сжимая руку маски, она произнесла:

¹ Пастушка (фр.).

— Историк должен помнить, где и от кого получил он перстень с небольшим изумрудом; он должен помнить, как виноват он перед...

Графиня не успела кончить слова, как отъезжающие маски почти увлекли с собою испанца. Он едва мог у ней попросить позволения явиться на другой день для объяснения загадки.

— Я этого требую,— отвечала графиня. И незнакомец исчез как сон. Котильон и ужин показались ей двумя вечностями. Она была задумчива, рассеянна: отвечала *нет*, где надобно было говорить *да*, и *мне очень жаль* — вместо *я очень рада*. «Она хочет нас мистифицировать»,— говорили между собой модники. «Она, верно, гадает о суженом!» — подумала горничная Параша, когда графиня, приехав домой, опустила тафтяные цветы свои в серебряный умывальник, а бриллиантовые серьги заперла в огромный картон.

Если б кто-нибудь догадался сказать: «Она влюблена», тот бы, я думаю, ближе всех был к истине.

IV

*Для нас, от нас, а, право, жаль:
— Ребра Адамова потомки,
Как светло-радужный хрусталь,
Равно пленительны и ломки.*

Лучи холодного солнца давно уже играли по алмазным цветам цельных стекол графини Звездич, но в спальне ее, за тройными завесами, лежал еще таинственный мрак и бог сна веял тихим крылом своим. Ничего нет сладостнее мечтаний утренних. Первая дань усталости заплачена сначала, и душа постепенно берет верх над внушениями тела, по мере того как сон становится тоньше и тоньше. Очи, обращенные внутрь, будто проясняются, видения светлеют, и сцепление идей, образов, приложений сонных становится явственнее, порядочнее, вероятнее. Память не может вполне схватить сих созданий, не оставляющих по себе ни праха, ни тени; но это жизнь сердца... оно еще бьется, оно еще горячо их дыханием, оно свидетель их мгновенного бытия. Такие мечты лелеяли сон Алины, и хотя в них не было ничего опреде-

ленного, ничего такого, из чего бы можно было выкроить сновидение для романтической поэмы или исторического романа, зато в них было все, чем любит наслаждаться юное воображение. Начальные грезы ее были, однако, менее цветисты, хотя очень забавны. То около нее кружился чудесный вальс, составленный из эполетов, аксельбантов, султанов, шпор и орденов... вся лавка Петелина танцевала казачка. То, казалось, она подавала пилюли покойнику мужу; то снова погружалась в баденские воды, будто в поток забвения... И вдруг стены третьей станции вставали около нее с лубочными своими портретами, на которые глядит она, переписывая давно нам знакомое послание, и вот, кажется ей, один портрет мигает ей очами, улыбается, усы шевелятся; он готов выпрыгнуть из рамок, но она сама кидается к нему навстречу... «Это вы, Гремин!..» — вскрикивает графиня. «Нет, это Блюхер». И снова гремит и мчится котильон, и снова слышатся ноты французского кадрили... Какой-то незнакомец, в испанской мантии на гусарском доломане, приближается к ней и... Но перечить все вздоры, которые мы видим во сне, значило бы бредить наяву, и потому я скажу только, что часы добивали десять, когда колокольчик графини слился с последним их ударом. Параша распахнула внутренние ставни, отдернула занавесы и уже несколько минут стояла у ног кровати с раскинутой шалью, но Алина Александровна изволила еще поживать с открытыми глазами, еще на кругу ее полога мечты проходили, подобно фантазмагорическим теням.

— Он придет, — наконец весело произнесла она, сбрасывая одеяло, — он скоро придет.

— Кто, ваше сиятельство? — простодушно спросила служанка, помогая ей одеваться.

— Кто?.. — Графиня задумалась. Она чувствовала, что на простой этот вопрос не могла отвечать утвердительно. — Увидим! — отвечала она со вздохом. — Накажи только швейцару, что если придет молодой гусарский офицер, которого он до сир пор не видал, то просить его наверх без всяких докладов. Всем другим отказывать. Слышишь ли, Параша?

— Слышу, ваше сиятельство; только не понимаю, — прибавила Параша потихоньку.

И сама графиня худо понимала, что с нею случилось. За чашкой чаю и за туалетом она имела довольно вре-

мении обдумать о минувшем и настоящем. Она была в большой нерешимости, как встретить человека, который был так близок ей во дни неопытности, когда всякий прыжок сердца кажется любовью, каждый конфектный девиз — изъяснением и первое милое личико — любезным предметом, — человека, забытого ею так скоро в рассеянии забав и путешествий и к которому вдруг, в один вечер, привязалось сердце ее вновь, со всем пылом новой страсти, со всею свежестью мечты, доселе ею не изведенными! Странность ли его появления, таинственность ли его поступков, воспоминание ли прежнего или беспричинная прихоть, только графиня чувствовала, что это похоже на любовь. Но всего страннее было колебание ее между известностью и сомнением о замаскированном испанце. Она звала его Гремин, а думала о ком-то другом; ей нравилось именно то, чего никогда не замечала она в Гремине; ее пленили новость и разнообразие разговоров и познаний маски, так что она едва не желала знать испанца всегда испанцем, чем увидеть в нем Гремина. Она кончила, однако ж, заключением, что свет и опыт удивительно как разворачивают молодых людей и что любезность Гремина достигла теперь полного цвету... «Но я должна со всем тем наказать его, как беспечного поклонника и как недоверчивого хитреца. Вы испытаете, князь, что и я недаром прожила три года на белом свете, с тех пор как и мы жили в Аркадии: я буду с вами холодна — и холодна как мрамор».

— Однако ж который час, Параша?

— Три четверти первого, ваше сиятельство!

— Эти часы ужасно отстают, Параша. На моих уже пятьдесят минут первого.

«Ваши часы идут заодно с сердцем, подле которого лежат они; любовь — прилипчивая болезнь, ваше сиятельство», — сказал бы я графине, если б я был ее служанкою, но судьба создала меня только покорным слугою прекрасных, и я должен часто молчать, когда мог бы вернуть слово очень кстати.

Между тем Параша, окончив свою должность при туалете, вышла; но графиня все вертелась еще перед грюмо в прелестном утреннем платье и, подобно поэту, который точит и гладит стихи свои, чтобы они по легкости казались прямо упавшими с пера, разбрасывала каштановые кудри по высокому челу с утонченною не-

брежностью. Крепко забилося сердце ее, услышав скрип колес по морозному снегу и тройное падение подножки у крыльца. В ту же минуту Параша, запыхавшись, вбежала в комнату.

— Приехал, ваше сиятельство! — сказала она.

— Чему же ты обрадовалась? — возразила графиня с притворным равнодушием. — Дай мне платок и скляночку с духами.

Параша безмолвно повиновалась, и графиня принуждена была сама спросить ее, хотя ей очень того не хотелось.

— Разве ты его видела, Параша? — сказала она ласковее, набрасывая шаль на локти.

— Мельком, сударыня; а не нагляделась бы на него; уж можно сказать — молодец. Строен, высок и лицом будто красная девушка. Голубые его глаза больше ваших браслетных яхонтов, ваше сиятельство, а светлые кудри и белокурые усы его вьются колечками.

— Светлые кудри, Параша? Ты, верно, ошиблась: у него волосы чернее моих!

— Может статься, и ошиблась, ваше сиятельство; он был тогда в шляпе, и я загляделась на прекрасный султан, — так и зыблется до самого воротника!

— А воротник его коричневый, не правда ли Параша?

— Коричневый, ваше сиятельство... Я не видала гвардейских офицеров с такими воротниками, — однако ж он, верно, гвардеец... У него такая прекрасная карета...

— Это он, — произнесла графиня, не слушая ученых замечаний своей горничной, и решительно протекла все комнаты до гостиной. Но когда должно было ступить туда, бодрость ее оставила, и она долго держалась за позолоченную ручку дверей, припоминая, какое лицо должно ей принять и что говорить. Наконец дверь распахнулась, и графиня, опустя очи, вошла в гостиную, краснея подняла их, — и что же? Перед нею стоял белокурый гусарский офицер, но вовсе не князь Гремин. Быстро сменялись розы и лилии на щеках графини, — она неподвижно глядела на незнакомца. Но он, вероятно более приготовленный к подобной встрече, после обычных поклонов первый прервал молчание:

— Я должен просить у вас прощения, графиня, и за вчерашнюю мистификацию и за странность настоящего

визита. Дон Алонзо осмеливается представить вам гусарского майора Валериана Стрелинского, а Валериан Стрелинский дерзает ходатайствовать за испанского гидальго, хотя с большим сомнением насчет действительности обоих и взаимных порук!

Смушение светской женщины — минута. С любезно-шутливым тоном отвечала она:

— Напрасное сомнение, господин майор! Я очарована случаем познакомиться с вами без маски и, конечно, ничего не теряю в вашем превращении.

— Ваши слова для меня оракул, графиня, и, позвольте сказать, на этот раз так же двусмысленны. Ничего не теряете, сказали вы, — но из чего? Из хорошего или дурного мнения обо мне?

Есть люди, умеющие так естественно говорить самые необыкновенные вещи, предлагать самые нескромные вопросы в мире, что в их устах они нисколько не кажутся странными и с первой минуты знакомства располагают всякого к подобной же откровенности. Стрелинский принадлежал к их числу.

— Вы слишком требовательны, майор, — отвечала графиня, улыбаясь. — Теперь вы бы могли усомниться в истине моего ответа, потому только, что он сказан при первом вашем посещении; я храню это удовольствие для позднейшего знакомства.

— Но как осмелюсь я скучать вам повторением визитов, не уверенный в прощении за первый? Вы желали видеть меня без маски, графиня; будьте же снисходительны к моим самородным странностям. Руку на сердце, и скажите искренно: вы не меня ожидали увидеть в дон Алонзе?

— Я не ожидала увидеть вас, Стрелинский! Но вы знаете, что не всегда желают, кого ждут...

— И, позвольте закончить речь вашу, — иногда терпят, кого не ждут, — не так ли графиня?

— Совершенно не так, Стрелинский. Вы злой переводчик добрых мыслей. Я думала, что утро излечит вас от вчерашней неприязни к женщинам, но теперь вижу, что вы неисправимы.

— Неисправим, что до искренности, графиня. Я солдат, и вечный, неизменный отзыв мой — *истина*, во всех случаях жизни, в уединении и в шуме света, при последнем, как и при первом свидании, и я не обинуясь скажу

вам: я так высоко ценю ваше доброе расположение, что и часовая неизвестность о нем мне будет тягостна.

— Я думаю, Стрелинский, удовольствие, с которым провела я время, танцуя с вами, может служить тому лучшим поручительством.

— Вы так добры, так снисходительны, графиня! Со всем тем я не осмеливаюсь завладеть вполне этим комплиментом за минувший вечер.

— Не вполне, майор? — отвечала графиня шутя и как будто не угадывая, на что метил Стрелинский. — Неужели же вы уделяете из него часть своему испанскому платью? Я уверена, что вчерашний дон Алонзо и в гусарском мундире будет так же весел и любезен, как прежде, и постарается вновь перенести роскошные цветы Гренады под холодное небо нашего отечества.

— Небо везде небо, графиня, хотя не каждый может, не каждый хочет, не каждый умеет наслаждаться им! И не все цветы орошены благотворною росой...

Он замаялся, не зная, какой родительный падеж прибавить сюда, но глаза договорили его мысли лучше слов, и, как казалось, прекрасная графиня вовсе не сердилась на это. Даже если верить достоверным историкам (вы знаете, что и Наполеон не казался героем своему камердинеру и Клеопатра была не более как женщина в глазах ее наперсницы), то при слове *небо*, которому влюбленный майор дал нежное значение звуком голоса, что-то похожее на вздох вырвалось из груди ее.

Потом разговор склонился на летучие новости, которыми испещрена всегда столичная атмосфера. Потом графиня рассказывала маленькие приключения своих путешествий так мило, Валериан слушал так внимательно! А это великое искусство, особенно с женщинами: они требуют, чтобы вы внимали им не только слухом, но и глазами, и скорее простят всякую глупость, когда вы им говорите, нежели рассеянность, когда вы их слушаете. Одним словом, между новыми знакомцами царствовала такая гармония, что можно было закладывать сто против одного: амур был настройщиком этого лада. Они шутили, смеялись, спорили, как будто век жили вместе. И между тем очи обоих вели столь сильный перекрестный огонь, что он не только им, но и сторонним мог казаться потешным. Один мой приятель говаривал, что сердце юноши — лядунка с порохом, сердце женщины —

склянка с духами; но как бы то ни было, и то и другое — вещи легковозгораемые, а потому казалось весьма сомнительным, чтобы они могли уцелеть от пламени. Но женщины и в самом пылу не забывают ни приличий, ни безделиц, лежащих на сердце. Приданое Евы — любопытство и оскорбленное самолюбие — подстрекало графиню узнать, каким образом могло кольцо, подаренное Гремину, перейти в руки Стрелинского. Она не скрывала от себя, как ни досадно то было, что майор по вчерашним словам угадал ее тайну, если тайной что-нибудь ему было прежде, ибо встречу с собой она не считала случайною, и потому, возвратив улитку разговора на маску его, она слегка похвалила его умение превратить себя из блондина в черноволосого и искусство менять голос по произволу — и пошла прямо к цели.

— Откровенно скажу вам, Стрелинский, — примолвила она, — вы бросили меня в туман загадок и недоумений. Особенно эмалевое кольцо ваше с изумрудом ввело меня в ребяческое заблуждение... Мне показалось, оно не вовсе мне незнакомо.

— Кольцо это, — отвечал Стрелинский, как будто пробуждаясь от сна и подавая его графине, — кольцо это сделано было года два тому назад в подражание кольцу одного из друзей моих, только что приехавшего из Петербурга. Я счел его модным; вкус в отделке и форма мне понравились, и услужливые киевские жиды тотчас сработали что-то подобное. Все это было делом случая, но теперь кольцо мое получило для меня новую цену, как заветное звено лестного вашего знакомства, графиня.

Между тем лицо графини прояснилось... Рассмотрев кольцо, она уверилась, что оно только издали похоже на подаренное ею некогда и не носило на себе знака давно стертой с ее сердца привязанности. Самолюбие ее было утешено, и она, отдавая кольцо Стрелинскому, очень благосклонно возразила ему:

— Вы напрасно приписываете магнитную силу этой безделке. Не она, а любезность ваша причиной знакомства. Посещая почтенную вашу тетушку, мы и без этого случая, конечно бы, узнали друг друга. Кроме того, живучи в одном кругу, вероятно ль, чтоб мы где-нибудь не встретились? Кстати, о балах, Стрелинский, — где вы будете встречать Новый год? Что до меня касается, я

уже отозвана за месяц, на ежегодный и единственный бал к княгине Бóрис. Вы, кажется, родня им?

— Впервые благодарю богов,— я ей племянник. По крайней мере я должен веровать в это по самым чувствительным доказательствам. Она не упускает ни одного случая пожурить меня, сажает за детский стол, когда за большим тесно, и, по-московски, нередко потчует шипучим медком вместо шампанского. Но погода прекрасна, графиня, и, конечно, вы оживите Невский бульвар своим присутствием? — прибавил Стрелинский, вставая.

— Я только в надежде скорого возврата лишаю себя удовольствия вашей беседы, Стрелинский! Я всегда вам рада... Прошу не принять этого за пустой звук и жаловать ко мне попросту, без чинов. Каждый вторник добрые приятели и подруги посещают меня, и если вам не будет скучно с нами убить время...

— Скажите лучше, оживить время, графиня... Верьте, что если б мне должно было покупать минуты вашей беседы целыми годами жизни, я и тогда счел бы себя счастливым, насладясь, как бабочка, одной весною. Мицкевич говорит, что в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень.

— Не забудьте, что у нас зима! — сказала графиня, улыбаясь, и Стрелинский раскланялся со вздохом.

«Славно сыграно, Валериан!» — могут воскликнуть читатели сходящему с лестницы Стрелинскому; но сам он, ступив в полярный круг отсутствия от милого предмета, совсем не думал расточать себе подобные похвалы: он чувствовал, что испытание за друга становилось ему постороннею вещию; что теперь влюбленному и, может быть, любимому тяжка была бы холодность графини, мучительна разлука с ней и несносна ее перемена; одним словом, что собственное его благополучие зависело от ее взаимности. «Все это пройдет, все это минет,— говорил он сам себе,— я слишком ветрен для постоянной любви». Но это не проходило. «Стоит только избегать случаев видеть ее дня три, и сердце мое погаснет, как лампада без масла!» — думал он и; чтобы оправдать такую благоразумную решимость, поскакал с повинною головою к княгине Бóрис, чтобы не пропустить бала, где будет прелестная и, разумеется, божественная Алина. Любовь щедра на эпитеты и обоготворения; но пройдет

время, и, отступники своих идолов, мы первые готовы сокрушить их и громить прежние наши святилища.

В театре, на балах, на музыкальных вечерах, на танцевальных завтраках, на званых обедах, на прогулках и катаньях, без всякого намерения, бог знает как, Алина встречалась с Валерианом; тут нет еще дива, но странно было то, что они почти все время проводили вместе. Из одной учтивости подходил он к ней сначала; но потом — слово за слово, взор за взором — мечтатель забывал свет и время, и только зловещий крик лакея: «Графини Звездич карета!» разрушал его упоение и с превыспренних сводил в прохладные сени. Графиня любила театр, — Валериан хорошо знал и мастерски судил его. Графиня в совершенстве владела арфою, — Стрелинский уверял, что он страстный охотник до музыки, что он *dilettanto*¹ от султана до шпор, — и потому странно ли, что он так часто являлся в ее ложе или садился подле нее в концертах? Все это было из любви к искусствам, не более.

Немного труднее найти было отговорку слишком частой случайности, благодаря которой ему удавалось подавать руку графине, при переходе из гостиной в столовую, и тонкий наблюдатель мог бы похвалить его глазомер, когда он, будто вовсе не замечая, так расчетливо становился в ряд кавалеров, что ему всегда выпадала на долю рука Алины и, стало быть, место подле нее за столом... Нежная улыбка, ласковое словцо и порой легкое давление милой руки бывали наградою его хитрости.

«*L'amour est l'égoïsme à deux*»², — сказала мадам Сталь, и весьма справедливо. Стрелинскому лестно было получить от графини преимущество над толпою вздыхателей многоречивых и без речей, когда свивались круги мазурки или французских кадрилией; а графине, с своей стороны, казалось приятно иметь кавалером такого отличного танцора, как Стрелинский. В кругу общества и в тиши уединения они нравились друг другу остроумием и оригинальностью; и, наконец, когда оба они заглядывали в будущее, то, конечно, не могли найти друг для друга лучшей партии. Та и другой с хорошим родством, тот и другая независимы и богаты — случай,

¹ Дилетант (ит.).

² Любовь — это эгоизм вдвоем (фр.).

удаляющий всякую мысль о корысти; все благоприятствовало обоюдной склонности.

Графиня подружилась с сестрою Стрелинского, Ольгою, дивясь, как до сих пор она не умела оценить всех любезных ее качеств. Валериан удивлялся, с своей стороны, тонкости вкуса графини в выборе знакомых и, подобно блуждающей доселе комете, начал обращаться в кругу их. Нужно ли сказывать, какое солнце покорило его центровлекущей силе своей?

V

Она расцветала, как девственная мечта юности; была чиста и прелестна, как земля в первый день творения.

Старинная эпитафия

В домашней жизни Валериан был едва ли не счастливее, чем в свете. Подле сестры своей Ольги отдыхал он сердцем от остроумия модных умниц и от безумия собственной страсти. Подле нее утихало волнение сомнений, и ревность свивала коршуновы крылья свои. В самом деле, трудно было и самому мизогину не полюбить это невинно-милое существо. Воспитанная в Смольном монастыре, она, подобно всем подругам своим, купила неведением безделиц общежития спасительное неведение ранних впечатлений порока и безвременного мятежа страстей. Она прелестна была в свете, как образец высокой простоты и детской откровенности. Отраднo было успокоить взор на светлом лице ее, на котором еще ни игра страстей, ни лицемерие приличий не впечатлели следов, не бросили теней. Отраднo было согреть сердце ее веселостию, ибо веселость — цвет невинности. В мутном море светских предрассудков, позолоченной испорченности суетного ничтожества — она возвышалась, как зеленеющий свежий островок, где усталый пловец мог найти покой и доверие. Она не могла понять, для чего бы ей стыдиться слез умиления при рассказе о великодушном поступке или румянца негодования, слыша о низостях людских. Не понимала, почему неучтиво сказать человеку в глаза: «ах! как вы добры!» или: «ах! как вы злы!» — если он то заслуживал; не понима-

ла, почему ей неприлично сесть подле умного молодого человека, с которым приятно разговаривать, и почему она обязана слушать нелепости пожилого потому только, что он со звездою. Она нередко смешила вас самыми странными вопросами, но чаще приводила в смущение самыми пронзительными. То забавляла незнанием самых обыкновенных вещей, то изумляла новостью мыслей, глубиною чувств и непоколебимостию воли на все прекрасное. Не говорю о прелестях, коими одарила ее природа, не говорю о совершенствах, данных образованием. Она горячо и нежно любила брата, который остался ей единственным другом, единственным покровителем на земле. Веселить, радовать, предупреждать малейшее его желание было сладчайшей заботою Ольги. Она играла для него на пьяно, пела его любимые песни, порхала перед ним, как ласточка, и рассказывала анекдоты своей монастырской жизни, как, например, однажды целый класс перепадал в обморок оттого, что одной показалось, будто она увидела ужасного зверя — мышшь! Как они целые три ночи не спали от страху от какой-то птицы, которая «половину была кошка, а половину не знаю чего», укала и сверкала глазами под окошком. Валериан смеялся от чистого сердца, между тем как сестра не вовсе понимала, что так смешного было в ее рассказах.

— Впрочем,— прибавляла она, извиняясь,— я была тогда такая кофейная.

Чтобы вполне понять эту фразу, надобно знать, что в Смольном монастыре три возраста воспитанниц отличаются тремя цветами платья: кофейным, голубым и белым, из коих первый присвоен самому младшему, и потому между двумя старшими возрастами название кофейной служит как бы упреком в простоте.

— Дай бог,— возражал тогда Валериан, лаская ее,— чтобы ты всегда осталась кофейною сердцем.

Однажды вечером Ольга фантазировала на фортепиано, между тем как брат, задумавшись; слушал ее, облокотясь о ручку кресел, и вдруг она вспрыгнула весело, схватила Валериана за руку и, быстро глядя ему в глаза, сказала:

— Не правда ли, братец, ты женишься на графине Звездич?

Полуизумлен, полусмущен словами сестры, в кото-

рых заключались и неожиданный вопрос и вместе нежная просьба, он долго-долго смотрел на нее, может быть, разгадывая ее мысли, может быть, собирая свои, и, наконец, отвечал с улыбкою:

— Какой ветер наваял тебе, милая, такую странную мысль?

— Странную мысль, братец? Напротив, мне кажется, самую естественную. Если бог не судил вам родиться братом и сестрою, чтобы делить горе и веселье, то думаю, к этому нет другого пути, кроме женитьбы. Как могли бы иначе соединиться два сердца, которые любят друг друга?

— Но кто тебе сказал, что мы любим друг друга?

— Ах, какой ты лицемер, братец! И перед кем же? Перед сестрою своею! Разве я не люблю тебя? Разве родные не друзья, дарованные небом? Да и почему тебе скрывать свою привязанность к особе, достойной любви?

— Мир, мир, моя проникательная сестрица! Положим в угоду тебе, что я влюблен в Алину. Но теперь вопрос: любим ли я взаимно?

— В этом я порукой, *mon frère*¹, графиня любит тебя, как я сама.

— Я не думаю, чтобы она избрала сестру мою наперсницей своих тайн.

— О нет, братец! Прямо она не говорила мне о том ни слова; но она так часто говорит о тебе, так охотно встречается с тобою, что склонность ее только тебе может казаться тайною. Я мало знаю свет, людей еще менее; но есть вещи, которые угадываю я собственными чувствами.

— Ты просвещеннее, нежели я думал, любезная Ольга.

— Просвещеннее! Это похоже на упрек, братец; вот каковы мужчины! Вы преследуете нас за наше невежество и еще больше гневаетесь за наше познание. Ты несправедлив оттого, что тебе досадно, как могла неопытная монастырка проникнуть в тайнства своего скрытного брата. В самом деле, как уметь и как сметь отличить любовь от ненависти! Нет, *mon frère*, я скорей имею право сердиться за твою недоверчивость и за то, что ты воображал меня такою простенькою.

¹ Брат (фр.).

— Я точно виноват, я в самом деле несправедлив против тебя, моя милая, добрая Ольга,—сказал с нежностью Валериан, поцеловав ее в чело.—С этих пор между нами нет тайн.

— Это напрасно, Валериан. Я не хочу того знать, что мне знать бесполезно; но может ли быть чуждо душе моей все, что касается до твоего счастья? Признаюсь тебе в моем ребячестве: я уже не раз строила воздушные замки, соединяя тебя в мечтах с графинею. Как весело, как радостно тогда будет нам!.. Мы поедem жить в деревню, по которой я так давно вздыхаю во сне и наяву. Мы будем всегда вместе, счастливы тем, что мы вместе, вдалеке от докучливых гостей. Невидимо полетит для нас время, летом с природой, зимой с дружеством, всегда с любовью. Мы будем гулять, кататься в лодке, ездить верхом,—я надеюсь, ты мне позволишь это, братец! Ты купишь для меня хорошенькую лошадь,—не правда ли? Вечеру мы за чайным столиком шутим, смеемся, потом поем, танцуем. Читаем Вальтер Скотта; иногда и рассуждаем очень серьезно,—ведь нельзя век толковать о безделицах. Иногда к нам будут приезжать соседи-антики и добрые наши знакомые,—верно, и князь Гремин не забудет прежних друзей своих.

— А тебе нравится князь Гремин, Ольга? —спросил Валериан более для избежания решительного ответа, нежели для удовлетворения любопытства.

— Я очень люблю его, братец, и от самого малолетства. Ты так часто ездил с ним в монастырь, он называл меня та *cousine*¹ и так охотно слушал мое болтанье, что я только перед ним и тобою не краснела говорить. Бывало, я нетерпеливо жду, когда вы приедете; а бывало, и праздник не в праздник, когда вас нету. Я крепко плакала по вас обоих по переводе вашем из Петербурга; признаюсь тебе, братец, в моем ребячестве: я еще до сих пор берегу на память прекрасное куриное перо, выроненное из султана князя.

— Султаны, душенька, делаются из петушьих перьев.

— Как будто это не все равно, *mon frère*? Разве петух не брат курицы?

— Так, но не совсем так. Например: ты мне сестра, а не смешно ли б было, если б кто-нибудь, принимая

¹ Кузина (фр.).

одну за другого, сказал, что у Ольги прекрасные усы? Однако что далее?

— Чем далее, тем ближе к моему ребячеству. Ты, я думаю, помнишь, братец, с какой снисходительностью расспрашивал князь о моих уроках, о моих занятиях; как ясно поправлял мои заблуждения и, шутя, развивал мои мысли, учил доброму, и так просто, так понятно! Я боялась ошибиться перед ним больше, чем перед своими учителями,— зато мне было так весело, когда он хвалил меня! Больше всего я любила слушать исторические его анекдоты,— он очень мило их рассказывал. Я плакала, слушая о бедствиях Марии Стюарт! Я привыкла ненавидеть коварную Елисавету, хоть ее и называют доброю и премудрою. Я научилась любить Генрика Четвертого, отца и друга своих подданных, за то, что, будучи добрым царем, он не разучился быть добрым человеком. Князь заставил меня восхищаться гением нашего великого Петра, скромного в счастье, неколебимого в беде — и всего более под Прутом, когда он пишет указ сенату не слушать его впредь, если он, принужденный турками, повелит что-нибудь недостойное себя или России. Где найдем мы пример чистейшего самоотвержения, высшей любви к отечеству!! Ах, братец, я очень люблю князя!

— В самом деле, Ольга? — сказал Стрелинский и погрузился в думы, равно об Ольгином, как и своем будущем. «Не будь этого проклятого письма от Репетилова к Гремину,— думал он,— и мы оба могли быть счастливы; я с Алиной, он с Ольгою. Ни мне нельзя желать лучшего зятя, ни ему лучшей жены. Одна только кротость Ольги может умерить вспыльчивость его характера; только с нею нашел бы он покой, о котором напрасно мечтает; светская женщина вечно будет ему виной сомнений и ревности. Теперь совсем иное дело. Я не опасаясь прежней привязанности Гремина, но его всегдашнего упрямства. Он готов уверить меня и уверить себя, что влюблен до безумия; вот уже два раза я писал к нему,— и нет ответа; это что-нибудь да значит! Но как бы то ни было, я не уступаю Алины другому, даже другу, ни за какие блага, ни от каких бед в мире! Любит или притворяется она, что любит меня, но должна быть моею, несмотря ни на что минувшее, ни на что будущее. Я решился».

VI

*Так! я мечтатель, я дитя,
Мой замок карты,— но не вы ли
Его построили, шутя,
И, насмехаясь, разорили!*

В книге любви всего милей страница ошибок; но всему своя пора: Теперь Алина была уже не та шестнадцатилетняя, неопытная женщина, увлеченная потоком примеров и обольстительною логикою обожателей, которая, обрадована первой связью, как новой игрушкой, и восбравая себя героинею романа, писала страстные письма к князю Гремину. С тех пор, однако ж, только в этом могла она упрекать себя, только над этим мог подшучивать Стрелинский, хотя он, движимый ревностью, исшарил землю и воздух, желая узнать что-нибудь похожее на любовь в целой жизни графини. Строгость настоящего ее поведения была примерна в отношении ко всей молодежи, которая вилась около нее. Едва кто-нибудь из них переступал границу шутки, едва произносил одну влюбленную ноту, не только слово,—мыльный дождь нравоучения и град насмешек разражались над головой селадона. Привыкнув за границею обходиться непринужденно с мужчинами, она никогда не позволяла их вольности превращаться в своеволие, и между тем как ее красота и любезность привлекали всех, ее осторожность держала всех в почтительном отдалении. Стрелинский, правда, составлял исключение, но и он уже не раз испытал на себе, что природа и светская любовь не делают скачков, а потому, как ни уверен был, что его любят взаимно, но роковое слово «люблю!» двадцать раз замирало на устах, прежде чем он его выговорил, как будто с ним он должен был рассыпаться, как клад от аминя. И графиня тоже, как и всякая женщина, казалось, испугана этим словом — «люблю вас», как выстрелом,— как будто каждая в нем буква составлена из гремучего серебра! И как ни приготовлена была она к объяснению, как ни уверена была, что это должно случиться, рано или поздно, но вся кровь ее сердца вспыхнула в лице, когда Стрелинский, улучив гибкую минуту, с трепетом открыл любовь свою... Оставляю читателям дорисовать и угадать продолжение этой сцены. Я думаю, каждый со вздохом или с улыб-

кою может припомнить и поместить в нее отрывки из подобных сцен своей юности и каждый ошибется не много.

Прелестны первые волнения и восторги страсти, когда неизвестность воздвигает частые бури сердца, но еще сладостней покой и доверенность открытой взаимности. Тогда в любви находим мы все радости, все утешения дружбы, самой нежнейшей, самой предупредительной, и если первый месяц брака называют медовым, то первый месяц открытой любви, по всем правам, именовать можно нектарным,— это небосклон после грозы; светлый, но без зноя, прохладный без облаков.

Слившись сердцами, графиня и Стрелинский вкушали негу сего лучшего возраста любви, не отнимая уст от чаши. Прямой, откровенный, благородный характер майора только по наружности казался противоречием с утонченным, светским обращением графини. Как скоро взаимное уважение и сердечная теплота растопили оковы приличий, или, лучше сказать, принужденностей, нежная искренность и беззаветное доверие заступили в ней место недоступности и тонкого злословия. Даже робость, несомненный признак истинной любви, заменила самоуверенность. Совет Валериана сделался ей необходим для самых безделок в выборе нарядов, его одобрение — на каждый шаг в обществе, его добрые мнения — для всех протекших и настоящих случаев жизни. В один-то из подобных часов излиятий душевных Алина рука с рукой подле Стрелинского, любуясь выразительными его очами, говорила:

— Валериан! свет может осуждать меня за легкомыслие первых лет моего замужества, но твое сердце меня оправдает. В пятнадцать лет меня посадили за столом подле какого-то старика, которого я запомнила только по чудесной табакерке из какой-то раковины. Вечеру мне очень важно сказали: «Он твой жених; он будет твоим супругом»; но что такое жених, что такое супруг, мне и не подумали объяснить, и я мало заботилась расспрашивать. Мне очень понравилось быть невестою; как дитя, я радовалась конфетам и нарядам и всем безделкам, которые мне дарили, я готова была расцеловать старого графа, когда он подарил мне прелестные золотые часы, потому что в недавно брошенных мною игрушках были только оловянные. Наконец я ста-

ла женою, не перестав быть ребенком, не понимая, что такое обязанности супружества, и, признаюсь, потому только заметила перемену состояния, что меня стали величать «вашим сиятельством». Долго не замечала я, что муж мой мне не пара ни по летам, ни по чувствам. Для визитов мне было все равно, с кем ни сидеть в карете, дома же он слишком занят был своими недугами, а я — своими забавами и гостями. Однако же в семнадцать лет заговорило и сердце... оно стеснилось неведомою грустию, желало чего-то непонятного; это была потребность любить, и я полюбила во всей невинности души. Ты знаешь, кто был предметом этой склонности, и я благодарю провидение, что оно судило мне встретиться с человеком благородным, который не думал, не только не желал употребить во зло мою неопытность. Скорая разлука показала, однако ж, мне, как ошиблась я в своих чувствах. Я приняла за любовь желание нравиться, желание предпочтения от человека, предпочитаемого другими. Тщеславие и охота быть как другие довершили кружение головы; я уверила себя, что страстно люблю князя Гремина потому, что он казался мне достойным такой любви. Может статься, если бы он поддержал такое расположение перепискою, я бы привыкла к этой мечте, будто к чувству, и верность, которую обожала я, как достойная поклонница сентиментализма, могла бы вовсе переменить судьбу мою. Но он, едва мы расстались, оказался весьма невнимателен; я была от того вне себя, называла это холодностию, укоряла в неблагодарности, в измене и забыла его скорее, чем надеялась. За границею, чаще сама с собою, чаще с людьми образованными, я почувствовала необходимость чтения и жажду познаний. Хорошие книги и еще лучшие примеры и советы женщин, умевших сочетать светские качества с высокими правилами, убедили меня, что, и не любя мужа, должно любить долг супружества и что величайшее из несчастий есть потеря собственного уважения. Кочевая жизнь не давала мне даже случая к постоянным знакомствам, и сердце мое только во сне видело счастье; в вихре забав, в кругу искателей я осталась свободна. Муж мой умер, и я целый год траура провела в уединении, с немногими подругами, читая в собственном сердце помощь книг и разгадывая книги по сердцу; это возродило меня. Я постигла тогда умом, что до тех пор

заклучалось в чувстве; уверилась, что благополучие есть невинность и находится в нас самих. Я не разлюбила ни удовольствий, ни выгод света; по крайней мере я могла бы теперь лишиться их, если не без сожаления, то без ропота. Возвратясь в Россию, обязанности к родным и обществу не дали мне времени образумиться... Меня засыпали приветствиями и приглашениями, лестью и любезностию, но я уже предохранена была от этого чада; я знала, что всякая парижская новинка хоть на миг, но всегда увлекает внимание публики, а поклонники в несколько вечеров успели наскучить своими переслащенными фразами, так что я больше чем когда-нибудь почувствовала пустоту сердца. Совершенная бесхарактерность молодых людей наших, «эти образы без лиц» навели на меня неизъяснимую тоску. Я ужаснулась, не найдя русских в России. Простительно еще быть легкомысленным во Франции, где на каждом шагу находишь пищу любопытству, рассеянию, самой лени, где каждая безделка носит на себе печать образованности и даже глупость не лишена остроумия. Но можно представить себе, как несносны слепки парижского мира в России, где можно толковать только о том, чего у нас нет, и где половина общества не понимает, что сама говорит, а другая, что ей говорят; одна — поторопившись выучить привозное, как попугай, другая — опоздав учиться от застарелых предрассудков. В это время я встретилась с тобою, и до сих пор не умею себе объяснить, какой судьбой я так быстро увлеклась сердцем? Признаюсь, обманутая ростом и голосом, я сначала приняла тебя за Гремину; я сгорала любопытством, желая увериться в своей догадке, но скоро к нему примешались чувства нежнейшие. Я верила и не верила, что ты Гремин; не столько воспоминание прошлого, как прелесть новости заманивала меня далее и далее. Я должна была сердиться на князя, но вместо того была благосклонна к новому знакомцу. Я должна была быть осторожнее с незнакомым, и доверялась как старому другу; одним словом, я не знала, что говорила и делала!.. Остальное тебе известно, милый Валериан... И бог тебе судья, если когда-нибудь заставишь меня раскаяться в любви моей!

Валериан был восторжен; ему казалось, гармоническая музыка сфер гремела туш его благополучию, и он, с пылкостью юноши целуя оставленную ему руку, хотел,

по гусарской привычке, клясться всем, что есть и чего нет на свете, в неизменности любви своей, но Алина установила этот порыв достоверности.

— Не клянись, Валериан,— сказала она с нежностью,— клятва почти всегда неразлучна с изменой,— я знаю это на опыте. Я больше верю благородству твоих чувств, нежели поруке звуков, волнуемых и уносимых ветром; мы уже не дети.

С обеих сторон делались приготовления к браку, хотя о нем еще не было прямых условий. Валериану, однако же, они были необходимы: он начертил план для будущей жизни, которая вовсе могла не понравиться графине и который колебался он открыть ей. Между тем как товарищи и приятели считали его только ветренником, заботливым, как прожить свои доходы, он втайне делал все пожертвования для улучшения участи крестьян своих, которые, как большая часть господских, достались ему полуразоренными и полуйспорченными в нравственности. Он скоро убедился, что нельзя чужими руками и наемною головою устроить, просветить, обогатить крестьян своих, и решился уехать в деревню, чтобы упрочить благосостояние нескольких тысяч себе подобных, разоренных барским нерадением, хищностью управителей и собственным невежеством. У него не было недостатка ни в деньгах для обзаведений, ни в доброй воле к исполнению, ни в познаниях сельского хозяйства, приобретению коих посвятил он все досуги свои; недоставало только опытности, но она приходит сама собою; притом, первую песенку не стыдно спеть и зардевшись, говорит пословица. Мысль облегчить, усладить свои будущие заботы любовью милой подруги и согласить долг гражданина с семейственным счастьем ласкала Валериана; однако же, несмотря на силу страсти, намерения его были тверды; в важных обстоятельствах жизни он умел владеть собою; но чем непреклоннее была воля его, тем нерешительнее становился он открыть ее Алине. Он чувствовал, какой жертвы требовал, знал, как трудно для молодой, прекрасной и богатой женщины отказаться от света. «Но это будет испытанием ее привязанности,— думал он.— Если ж нет? Нет! Женщина, которая предпочтет мне светскую жизнь, не знает и не стоит истинной любви». Скоро представился и случай к объяснению.

Это было на масленице, после катанья с английских гор. Ледяные горы, милостивые государи, есть выдумка, достойная адской политики, назло всем старым родственницам и ревнивым мужьям, которые ворчат и ахают, но терпят все, покорствуя тиранке-моде. В самом деле, кто бы ни подивился, что те же самые недоступные девицы, которые не смеют перейти чрез бальную залу без покровительницы, те же самые дамы, которые отказывают опереться на руку учтивого кавалера, когда садятся они в карету, весьма вольно прыгают на колени к молодым людям, долженствующим править на полету аршинными их санками вниз горы и по льду раската. Между тем, чтобы сохранить равновесие, надобно порой поддержать свою прекрасную спутницу — то за стройный стан, то за нежную ручку. Санки летят влево и вправо, воздух свищет... ухаб... сердце замерло, и рука невольно сжимает крепче руку; и матушки дуются, и мужья грызут ногти, и молодежь смеется; но все, отъезжая домой, говорят: «Ah! que c'est amusant»¹, хоть едва ли половина это думает.

Валериан и графиня, конечно, были в сей половине, потому что возвратились с катания очень довольны прогулкой и друг другом, и холод, казалось, только возбудил обоих любовников к особенной нежности. Стрелицкий избрал этот час к решительному откровению и, предупредив Алину, что так как дело идет о благополучии их обоих на всю жизнь, то он не хочет прибегать ни к каким околичностям, ни к каким сетям лстивой логики или цветам красноречия, дабы убедить или увлечь ее, но просто изложит свои намерения и просит только одного, чтоб она беспристрастно обсудила их и откровенно сказала на то ответ свой.

— Во-первых, милая Алина,— сказал он,— я решился оставить службу, для исполнения других обязанностей отечеству, которые надеюсь выполнить лучше, прямее и полезнее, нежели обязанности воина в мирное время.

Алина вздохнула и покинула кисточку темляка, которым играла она.

— Но разве ты, друг мой, не можешь служить оте-

¹ Ah! как это забавно (фр.).

честву по части гражданской или дипломатической? — произнесла она почти просительным голосом.

— Я не довольно приготовлен, чтобы стать полезным как судья; службу в департаментах считаю механическою, а быть дипломатом несовместно ни с моими склонностями, ни с моими правилами. Во-вторых, мы оставим столицу.

Алина молчала.

— В-третьих,— тут Валериан развил пред нею подробный чертеж своих замыслов для устройства имения, для усовершенствования земледелия и заводов, для образования крестьян своих; показал, как благодетелем будет пример его для всего человечества и для окружающих помещиков в особенности. Но когда объявил, что все это требует неусыпного и безотлучного надзора, светлое чело Алины подернулось думою и она опустила руку Валериана.

— И это решительно? — спросила она печально.

— Решительно. Подробности будут зависеть от воли Алины Александровны, но целое остается нерушимым. На краткое время мы будем приезжать в которую-нибудь из столиц, но только на краткое время.

— Мои советы и мнения, следовательно, теперь бесполезны,— сказала Алина, несколько тронутая.

— Но твое согласие необходимо к моему счастью, обожаемая Алина! С тобой каждая минута ознаменована будет для меня новым блаженством, как для всех окружающих нас добрыми делами. Ты будешь ангелом красоты и доброты для меня и для всего, чем я владею. О! не разрушь рая, мною созданного, которым я так долго ласкал свое сердце... Милая, бесценная Алина! я жду приговора. В искреннем ответе твоём моя судьба: могу или нет назвать тебя моею?

— Через три дня ты узнаешь мой решительный ответ, Валериан; только дай мне слово не говорить со мной, не писать ко мне, не искать случаев со мною встретиться во все это время. Я хочу обдумать все на свободе, удаленная от влияния страстей.

— Жестокая женщина! Три дня — век для влюбленного!

— Жестокий человек! Деревня — вечность для женщины!

С этим словом Алина исчезла.

— Понимаю! — сказал Стрелинский с горькою усмешкою, между тем как холодный пот проступал на его сердце, и тихими стопами вышел из комнаты графини.

VII

Búrleigh

*Ihr wart es doch, der hinter meinem Rücken
Die Königin nach Fotherinaschloß
Zu locken wußte?*

Leicester

*...Hinter Eurem Rücken?
Wann scheuten meine Taten Eure Stirn?*

Schiller¹

— Подполковник князь Гремин! — провозгласил слуга, возвещая гостя тетке Стрелинского, которая, сидя одна в гостиной, раскладывала *grande-patience*². — Прикажете принять-с?

— Милости просим, — отвечала она, снимая очки и расправляя шаль свою. — Видно, князь недавно в Петербурге? — прибавила она.

— Только вчера с дороги-с. Они хотели видеть Валериана Михайловича; однако ж когда узнали, что вы не выехавши, просили доложиться. — Сказав это, слуга поспешил пригласить приезжего.

Князь Гремин, которого долг службы удержал во фронте, вопреки всех его надежд, и просьб, и желаний, должен был вести полк на другие квартиры, на границу Литвы, и он тем скорее помирился с судьбою, что обязанности по делам хозяйства и занятий строя и новые знакомства в кругу польских дворян давали ему тысячу развлечений и забав. Он бы, вероятно, и вовсе отдумал ехать в отпуск, если бы внезапная смерть одного из де-

¹ Бэрлей
Не вы ли за спиной моей сумели
Направить королеву в Фотрингей?
Лестер
За вашею спиною? Да когда же,
Когда в своих делах я укрывался
От вашего лица?

Шиллер (нем.).

² Большой пасьянс (фр.).

дов в Петербурге не призвала его туда для получения наследства и всех хлопот, с наследствами неразлучных. Пылкий только на день в преследовании замыслов, внушенных прихотью, он не слишком дивился молчанию Стрелинского и очень покоен сердцем приехал в столицу. Но когда на него полились новости о близком браке Валериана с графиней Звездич, он был оглушен и раздражен этим водоворотом. Ревность его пробудилась. Мысль, что он в этой связи играл смешную роль Кристиана, привела его в бешенство; удача Стрелинского, которую он величал изменою и коварством, вызвала его на месть. В этих враждебных мыслях поскакал он в дом прежнего друга, чтобы излить на него всю желчь своего негодования; так-то злонаправленные страсти и худо понятые правила чести превращают самые благородные существа в кровожадных зверей! Не застав дома Валериана, князь, однако же, почел неприличным не засвидетельствовать почтения его тетке, и вот, скрыв досаду свою, как благовоспитанный офицер, пробирался он в гостиную, не брякнув ни саблей, ни шпорами, но в зале он невольно остановился, увидев и услышав Ольгу, которая, ничего не зная о госте и ничему не внимая вокруг себя, пела следующее, аккомпанируя чистый, выразительный голос свой звуками фортепиано:

Скажите мне, зачем пылают розы
Эфирною душою, по весне,
И мотылька на утренние слезы
Манят, зовут приветливо оне?
Скажите мне!

Скажите мне, не звуки ль поделуя
Дают свою гармонию волне?
И соловей, пленительно тоскуя,
О чем поет во мгле и тишине?
Скажите мне!

Скажите мне, зачем так сердце бьется
И чудное мне видится во сне,
То грусть по мне холодная прольется,
То я горю в томительном огне?
Скажите мне!

Ольга умолкла; но князь еще слушал, и между тем как персты ее перебегали, фантазируя, по клавишам, его взоры точно так же странствовали по всем чертам певичы. Он едва верил глазам своим, чтобы это была та самая Ольга, которую он так любил, как дитя, которую покинул, когда она едва становилась девушкою, и кото-

рая теперь предстала ему во всем блеске, в полном цвету очаровательных прелестей! Он любовался и стройным станом ее, и аттической формою рук, и высоким челом, на коем колебались гроздия русских кудрей, и яхонтовыми ее очами, в коих сквозь дымку мечтательности сверкали искры души, вместе гордой и нежной; ее лицом, на коем разлит был тонкий румянец, как юное утро мая, и невинная беспечность с глубокою чувствительностью; брови ее так выразительно подняты были думою, уста ее так мило сомкнуты улыбкой; казалось, она усмехалась девственным мечтам своим, созданиям пробуждающейся любви; казалось, она ловила взорами отдаленное в очарованный круг фантазии, которая, подобно часовой стрелке, пробегает время и пространство, не удаляясь от средоточия своего сердца... И все было прелестно в ней... и волшебство звуков, проникающих душу, и красноречие безмолвия, пленяющее взор. Это не было уже земное существо для Гремина; это был идеал совершенства. Он тогда только прервал свое созерцательное молчание, когда Ольга, повторяя в задумчивости припев песни, вполголоса произнесла: «Скажите мне!»

— Я могу только то сказать вам, сударыня,— сказал Гремин с чувством,— что вы поете как ангел.

Ольга вспрянула с криком радостного изумления...

— Ах! Боже мой, это вы, князь Николай! Вообразите себе: я сейчас о вас думала, и вы передо мной, как будто мысль моя перенесла вас в столицу! — Яркий румянец вспыхнул розами на щеках Ольги.

— Вот доказательство, что вы можете творить чудеса, Ольга Михайловна! И вы еще не забыли меня?

— Я не так ветрена, князь Николай, чтобы позабыть своего кузена и наставника.

— Считаю себя счастливым, удостоясь внимания особы, столь полной совершенств!

— Скажите, князь: неужели правда есть игрушка, пригодная только малолетним? Вы сами учили меня всегда говорить истину, а теперь, когда я в состоянии ценить ее, говорите мне комплименты. По крайней мере я искренно скажу вам, что мне приятно бывало думать о вас, потому что мысль эта неразлучна с воспоминанием самой счастливой поры моей — жизни в монастыре.

— Мне кажется, сударыня, вы бы скорее могли обвинить обманчивый свет, вселивший вам недоверчивость, скорее скромность свою, чем мою правдивость.

— Полноте ссориться, князь Николай,— и еще в первый раз после долгой разлуки. Я рада вам тем более, что вы приехали как нарочно, помочь нам развеселить брата: он два дня сам не свой; печален, и сердит, и прихотлив, как никогда в жизни. Но тетушка, верно, ждет вас, пойдемте!

Князь был принят как родной. Доброта почтенной тетки Стрелинского и чистосердечная веселость, непридуманное остроумие Ольги очаровали его. Час мелькнул как минута, и негодование его вовсе было утихло, как вдруг голос усатого слуги: «Валериан Михайлович приехал и просит к себе на половину»,— бросил всю кровь в голову князя; он раскланялся и поспешил к Валериану.

Валериан с распростертыми объятиями встретил Гремша.

— Только тебя не доставало, милый князь,— вскричал он,— чтобы посмеяться удаче наших предприятий и поздравить меня с роковым успехом!

— Я приехал не поздравлять вас, господин Стрелинский,— отвечал Гремш насмешливо-холодно, отступая, чтобы уклониться от объятий.— Я приехал только поблагодарить вас за ревностное участие в моем деле.

— Вы? Господин Стрелинский? Право, я не понимаю тебя, Гремш!

— Зато я очень хорошо вас понял, слишком хорошо вас узнал, господин майор!

Во всякое другое время Стрелинский никак бы не рассердился на обидную вспыльчивость друга и, вероятно, шутками укротил и пересилил бы гнев его; но теперь, огорченный сам холодностью графини, колеблем сомнениями, поджигаем ревностью, пошел навстречу неприятностей, решаешь платить насмешкой за насмешку и дерзостью за дерзость.

— От этого-то вы и ошиблись: все, что слишком,— обманчиво. Не угодно ли присесть, ваше сиятельство! Начало вашего привета похоже на нравоучение, а я не умею спать стоя!

— Я постараюсь сказать вам такие вещи, господин майор, которые лишат вас надолго охоты ко сну.

— Очень любопытен знать, что бы такое помешало моему сну, когда меня убаюкивает чистая совесть!

— О! вы невинны, как шестинедельный младенец, как церковная ласточка! Напрасно было бы и осуждать человека, у которого совесть или нема, или принуждена молчать.

— Я не беру на свой счет этих речей, князь; мой язык не имеет причин разногласить с совестью именно потому, что она светлее клинка моей сабли. Скажите лучше по-дружески и без обиняков: чем заслужил я такой гнев ваш?

— По-дружески? Мне, право, странно, что вы, разрывая все узы, все обязанности дружества, опираясь на него, требуете доверия? Впрочем, вы живете ныне в большом свете, где любят давать векселя на имя, которого давно нет.

— Князь! вы огорчаете меня своим неправым обвинением более, чем обидными выражениями. Но будьте хладнокровны и рассмотрите пристальнее, чем виноват я против вас? Вспомните, кто предложил мне испытание, кто неотступно требовал моего согласия, кто принудил взяться за эту роковую порученность? Это были вы, князь, вы сами. Я убеждал вас отказаться от подобного предприятия, я вам предсказывал все, что могло случиться и случилось волею судьбы. Сердцем нельзя владеть по произволу.

— Но должно владеть своими поступками. Так, милостивый государь! Я просил, я убеждал, я заставил вас взяться за это дело; но в качестве друга вы бы могли сами рассудить несообразность такой просьбы и поправить мою ошибку, вместо того чтоб ее увеличивать, ловить на нее свои выгоды и употреблять во зло мое доверие; мы всегда худые судьи в собственных делах, но бесстрашный и беспристрастный взор дружбы долженствовал бы соблюдать мою пользу, а не прихоти.

— Странно, право, что вы делаете для себя монополию из своих правил. Мы худые судьи в своем деле — это чистая правда, и я сам мог увлечься любовью, которую хотел только испытать.

— Вы бы должны были предупредить это или по крайней мере удалиться, заметив опасность для самого себя, но нет, вам угодно было оседлать судьбу для извинения своей двуличности и утешать меня, как зловещая

птица, старинною песнею светских друзей: «Я говорил тебе: быть худу! Я тебе предсказывал! Я предупреждал тебя».

— Не забудьте, князь Гремин, что я взялся быть вашим испытателем, но не стряпчим и не строил себе дороги из развалин вавилонского вашего столба к небу.

— Поздравляю вас, господин Стрелинский, с этим небом, но, признаюсь, ему не завидую. Я уже излечился от охоты искать своего счастья в женщине, которой привязанность изменчива, как цвет хамелеона; и в доказательство — вот как ценю я подарки и поминки ее!

С этим словом он бросил в пыл камина письма и перстень графини.

— Нельзя не похвалить вас за такую решимость, князь; немного ранее она была бы еще больше кстати. Графиня забыла вас так же, как и вы ее, очень скоро после разлуки. Все это было — детская прихоть.

— Прошу избавить меня, господин майор, равно от ваших похвал и откровений. Мы не Дафнис и Меналк; чтобы вести словесную войну за вопрос, кого она любит или не любит. Только не радуйтесь и вы своим торжеством... Женщине, изменившей одному, легко изменить и другому и третьему.

— Будьте скромнее на счет графини, Гремин! Я сносил многое за самого себя, но когда вы дерзаете нападать на доброе имя дамы, это выходит и выводит из границ самого уступчивого терпения... Я не ангел.

— Очень верю, господин Стрелинский. Я так же далек от этой мысли, как вы от этого достоинства... Но угрозы ваши мне забавны, господин майор.

— А мне жалок ваш характер, господин подполковник!

— Нельзя ли узнать, почему вы достаиваете меня своим сожалением?

— Потому, что вы, ослепленный пустым тщеславием, оскорбленным самолюбием, бесстрашною ревностью, а быть может, и самую мелочную завистью, скачете за тысячу верст для того, чтоб огорчить, обидеть, уязвить человека, который до сих пор любил и уважал вас.

— Вы мне доказываете любовь свою даже и этими речами, господин Стрелинский, что же касается до вашего уважения, я только раскаиваюсь, что прежде ценил его, и теперь оно столько ж для меня занимательно, как

ветер в Барабинской степи... Прекрасное дружество! Почти женится, и не написать мне ни строчки, оставить меня в таком неведении, что я узнал о свадьбе вашей от трактирных маркеров!

— Я писал к вам два раза, но, вероятно, переход полка замедлил доставку писем; а что до свадьбы моей, городские слухи опередили правду. Статься может, она никогда не состоится. Я до сих пор не заверен словом в совершенном согласии графини.

— Вы писали! Вы не уверены! Я, право, не ожидал, чтобы вы так скоро выучились прибавлять ложь к лицемерию!

— Ложь! — вскричал Стрелинский, задыхаясь от гнева. — Ложь! Одна кровь может смыть это слово!

— Почему же и не так! — отвечал князь презрительно, качаясь на стуле. — *Любовь и кровь* старинная рифма.

— Это решено... это кончено. Однако ж не испытывайте меня далее, Гремин; не заставляйте насказать вам таких вещей, которые не должны быть произносимы между благородными людьми. Когда мы встретимся?

— И встретимся, конечно, впоследствии — завтра. Кто бы из нас ни лег, я всегда буду в выигрыше не дышать одним воздухом с тем, кто заплатил мне за всю дружбу такую...

— Удержитесь, князь! Есть слова, за которые не спасут вас ни память прежней приязни, ни кровля гостеприимства.

— Вам очень пристало говорить о приязни, когда вы превратили в желчь о ней воспоминание. А что до праз гостеприимства, я не вымалываю у них покровительства; моя сабля мне лучший защитник.

— Бросьте пустое хвастовство, князь Гремин; завтра так завтра. Выстрел — самый остроумный ответ на дерзости.

— А пуля — самая лучшая награда коварству. Завтра вы уверитесь, что я не из той ткани, из которой делают свадебные подножки, и не бубновый туз, чтобы в меня целить хладнокровно. Мой секундант не замедлит посетить вас сегодня же.

— Очень рад.

Друзья-недрузи расстались, пылая гневом.

*Я был отважно хладнокровен;
Но признаюсь, на утре лет
Не весело покинуть свет
И сердца бой не очень розен,
Когда вопросом: «Быть или нет?»
Вам заряжают пистолет.*

Ольга не могла сомкнуть глаз в течение целой зимней ночи. Как ни мало изведала она свет, но частые рассказы о поединках уже познакомили ее с этим кровавым предрассудком, а необычайная угрюмость и принужденная шутовливость брата, весть, что он очень крупно говорил с князем Греминым наедине, и позднее посещение незнакомого офицера возбудили в душе ее все опасения и страхи. Не понимая причины, она видела возможность ссоры между братом и Греминым. Далеко до зари она была уже одета и бродила как тень по тихим и пустым комнатам. Ужасное сомнение волновало грудь ее; она желала и страшилась узнать роковую истину, прислушивалась к каждому шороху, к каждому звуку. Несколько раз на цыпочках прокрадывалась она к братней половине, но там было все мертво и темно. Вдруг конский топот у крыльца привлек все ее внимание; белый султан мелькнул у братней маленькой лестницы, и вещее сердце ее замерло... тяжкое предчувствие оледенило кровь. Она слышала говор в ближней комнате и не смела слушать, — она хотела удалить безнадежную известность, но братская любовь преодолела все. Притаив дыхание, взглянула Ольга в замочную скважину: против самых дверей топилась печка и озаряла комнату багровым полусветом своим. Старый слуга Валериана плавил свинец в железном ковше, стоя перед огнем на коленях, и лил пули — дело, которое прерывал он частыми молитвами и крестами. У стола какой-то артиллерийский офицер обрезывал, гладил и примерял пули к пистолетам. В это время дверь осторожно растворилась, и третье лицо, кавалерист-гвардеец, вошел и прервал на минуту их занятия.

— *Bonjour, capitaine*¹, — сказал артиллерист входящему. — Все ли у вас готово?

¹ Здравствуйте, капитан (фр.).

— Я привез с собой две пары: одна Кухенрейтера, другая Лепажя; мы вместе осмотрим их.

— Это наш долг, ротмистр. Пригоняли ли вы пули?

— Пули деланы в Париже и, верно, с особенною точностью.

— О, не надейтесь на это, ротмистр! Мне уж случилось однажды попасть впросак от подобной доверчивости. Вторые пули — я и теперь краснею от воспоминания — не дошли до полстола, и как мы ни бились догнать их до места, — все напрасно. Противники принуждены были стреляться седельными пистолетами — величиной едва не с горный единорог, и хорошо; что один попал другому прямо в лоб, где всякая пуля — и меней горошинки и более вишни — производит одинаковое действие. Но посудите, какому нареканию подверглись бы мы, если б эта карточка разбила вдребезги руку или ногу?

— Классическая истина! — отвечал кавалерист, улыбаясь.

— У вас полированный порох?

— И самый мелкозернистый.

— Тем хуже; оставьте его дома. В^о-первых, для единообразия мы возьмем обыкновенного винтовочного пороха; во-вторых, полированный не всегда быстро вспыхивает, а бывает, что искра и вовсе скользит по нем.

— Как мы сделаемся со шнеллерами?

— Да, да! эти проклятые шнеллеры вечно сбивают мой ум с прицела и не одного доброго человека уложили в долгий ящик. Бедняга Л***ой погиб от шнеллера в глазах моих: у него пистолет выстрелил в землю, и соперник положил его, как рябчика, на барьер. Видел я, как и другой нехотя выстрелил на воздух, когда он мог достать дулом в грудь противника. Не позволить взводить шнеллеров — почти невозможно и всегда бесполезно, потому что неприметное, даже невольное движение пальца может взвести его, и тогда хладнокровный стрелок имеет все выгоды. Позволить же — долго ли потерять выстрел? Шельмы эти оружейники; они, кажется, воображают, что пистолеты выдуманы только для стрелцко-го клоба!

— Однако ж не лучше ли запретить взвод шнеллеров? Можно предупредить господ, как обращаться с пружиной, а в остальном положиться на честь. Как вы думаете, почтеннейший?

— Я согласен на все, что может облегчить дуэль; будет ли у нас лекарь, г. ротмистр?

— Я вчера посетил двоих и был взбешен их корыстолюбием... Они начинали предисловием об ответственности и кончали требованием задатка; я не решился ввернуть участь поединка подобным торгашам.

— В таком случае я берусь привести с собою доктора, величайшего оригинала, но благороднейшего человека в мире. Мне случалось прямо с постели увозить его на поле, и он решался не колеблясь. «Я очень знаю, господа,— говорил он, навивая бинты на инструмент,— что не могу ни запретить, ни воспрепятствовать вашему безрассудству, и приемлю охотно ваше приглашение. Я рад купить, хотя и собственным риском, облегчение страждущего человечества!» Но что удивительнее всего — он отказался за поездку и лечение от богатого подарка.

— Это делает честь человечеству в медицине. Валериан Михайлович спит еще?

— Он долго писал письма и не более трех часов как уснул. Посоветуйте, сделайте милость, вашему товарищу, чтобы он ничего не ел до поединка. При несчастье пуля может скользнуть и вылететь насквозь, не повредив внутренностей, если они сохранят свою упругость; кроме того, и рука натошак вернее. Позаботились ли вы о четвероместной карете? В двухместной ни помочь раненому, ни положить убитого.

— Я велел нанять карету в дальней части города и выбрать попроще извозчика, чтобы он не догадался и не дал бы знать.

— Вы сделали как нельзя лучше, ротмистр; а то полиция не хуже ворона чует кровь. Теперь об условиях: барьер по-прежнему — на шести шагах.

— На шести. Князь и слышать не хочет о большем расстоянии. Рана только на четном выстреле кончает дуэль,— вспышка и осечка не в число.

— Какие упрямы! Пускай бы за дело дрались, так и не жаль пороху, а то за женскую прихоть и за свои причуды.

— Много ли мы видели поединков за правое дело? А то все за актрис, за карты, за коней или за порцию мороженого.

— Признаться сказать, все эти дуэли, которых причину трудно или стыдно рассказывать, немного делают

нам чести. Итак, ровно в полдень и за Выборгскою заставой?

— В полдень и там. Невдалеке от трактира, на второй версте, где мы съедемся, влево от дороги, есть пустой и довольно светлый ток; в нем мы будем защищены от ветра и сверкания солнца. Я надеюсь, однако, что мы, прежде чем сведем их, испытаем все средства к примирению? Смертной обиды между ними не было, и, может, нам удастся кончить дело извинением.

— Я бы готов был целый год принимать заряды вместо того, чтоб жечь их, если б удалось нам это; но, признаюсь, мало имею надежды на успех. Говорить соперникам о мире, когда они приехали на поле, все равно что давать лекарство мертвецу. Пули твои никуда не годятся! — вскричал нетерпеливо старику слуге артиллерист, бросив пару их на пол.— Они шероховаты и с пузырьками.

— Это от слез, Сергей Петрович! — отвечал слуга, отирая заплаканные глаза.— Я никак не могу удержать их; так и бегут и порой попадают в форму. Да и руки мои дрожат, словно у предателя Иуды. Что скажут добрые люди, когда узнают, что я отлил смертную пулю моему доброму барину, — какой грех ляжет на душу! С каким сердцем встречу барышню Ольгу Михайловну, если бог попустит мне видеть смерть барина! Он один ей вместо отца родного! Ваше высокоблагородие! заставьте за себя молить бога, отведите барина от греха или от беды своей, уговорите, упросите его; мы... все...

Старик не мог продолжать от рыданий... Артиллерист, тронутый сим, старался утешить его.

— Полно, полно, старик! Как не стыдно тебе расплакаться как теленку. Ты сам в четырнадцатом году был в делах с барином, ты знаешь, что не все пули бьют и не все раненые умирают, притом мы постараемся и уладить полюбовно.

Ольга не могла слушать долее; голова ее кружилась, колена изменяли. Ужасные подробности поединка рисовали пред нею кровавыми чертами картину братней кончины...

— Раненого или убитого, — повторила она, упавая в кресла, — убитого!

Мысли ее помутились... Страх ледяною рукою своей сдвигал сердце.

Есть минуты, есть часы тоски тяжелой, неизъяснимой... Разум тогда, будто пораженный параличом, вдруг прерывает ход свой, но чувство, отравленное полным понятием о величии беды, подобно лавине, рушится на сердце и погребает его в хаде отчаяния, немого, но глубокого, бесчувственно-мучительного! Тогда очи не находят слез, уста — выражений, и тем ужаснее тоска, сосредоточенная в груди, тем едче слезы, каменеющие на сердце, которое, как подземная жила, переполненная пылающею серой, рвется сбросить с себя громаду и, готовое расторгнуться, не может сдвинуть груза, его удушающего, не может отрезать палящего вздоха.

Ольга не плакала, ибо не могла плакать, ничего не слышала, ничему не внимала она. На все приглашения, на все вопросы тетки отвечала она отрицательным движением головы и не трогалась с места. Наконец, когда ясный уже луч солнца, проникнув туманы, упал на чело ее, она, как будто очнулась от болезненного забвения, подобно Мемновой статуе в пустынях Пальмиры.

— Где братец? — спросила она, вставая.

— Уехал! — было ответом, и она снова погрузилась в мрачное онемение, вперив неподвижные очи в окно. По лицу ее то мелькало нетерпение ожидания, то улыбка надежды умолить брата, но всего чаще, всего мрачнее ложилась тень отчаяния, ибо разум уверял ее, что никакие доводы, никакие чувства не могли совратить Валериана с пути, однажды избранного; притом же она очень хорошо постигала, что судьба поединка зависела всего более от обидчика, то есть князя Гремина. «И он, которого я считала благоразумнейшим существом, он, которого любила, которого воображала братом — брату, жаждет теперь крови и смерти. Ах! как злы люди», — думала она. А между тем часы текли за часами, было одиннадцать, и вся душа Ольги перешла в зрение; как на перст судьбы, глядела она на тихо переступающую стрелку... Еще четверть, еще... И она воскликнула:

— Все погибло! Он не хочет даже проститься с сестрою, он боится быть тронутым моею горестию... Боже великий, подкрепи меня!

Ольга поверглась ниц перед образом, и решимость осенила свыше теплую мольбу ее.

На второй версте по дороге к Парголову, направо, на холме виден простой русский трактир, выкрашенный

желтою краскою, — свидетель многих несчастных сцен или веселых примирений зимою. Летом никто из порядочных людей не посещает его, равно за неопрятность, как и потому, что окрестные дачи в это время кипят народом и, следственно, не могут быть поприщем поединков. Вся трактирная челядь высыпала на крыльцо, завидя две кареты и парные сани, пробивающиеся к ним сквозь сугробы снега, блестящего миллионами звезд на солнышке. Это, как можно было угадать, был поезд во все не свадебный, поезд наших дуэлистов. Противников развели по разным комнатам. Артиллерист вызвался ехать вперед приготовить место и утоптать смертную тропу. Доктор пригласил другого секунданта сыграть партию в бильярд, и вот соперники наши оставлены были сами себе на раздумье...

Валериан был угрюм, но с каким-то удовольствием смотрел на безжизненный снег, покрывающий саваном долину, на траурную зелень елей. Он пламенно и нежно полюбил графиню, и ее холодность, ее легкомыслие сокрушили все его надежды. Он улыбкою встретил мысль о смерти, потому что смерть никому не кажется так утешительна, как обманутой или неудачной любви. «Три дня — и нет ответа... — думал он. — Это самый понятный ответ! Ей жаль лучей своего сиятельства; ей приятнее пережеживать светскую скуку в кругу модных обезьян, чем наслаждение жизнью с мужем-человеком; ей лестнее вселять мечты и желания в других, чем мыслить и чувствовать наедине с другом или с собою. Да будет! Благодарю судьбу, что она заранее спасла меня от легкомысленной женщины. В сладком чаду заблуждений, в очаровании страсти мне бы тяжело было вырваться из объятий счастья. Но теперь я равнодушен к жизни; я презираю свет, в котором любовь — тщеславие, а дружество — прихоть. Но ты, Алина, ты виновна более всех! Необыкновенная смертная, ты увлеклась стадом обыкновенных женщин... Ты одна могла создать мое счастье, ты одна могла ценить мою любовь, и я, не утешен взаимностию, сойду в могилу — и за тебя! Алина! Алина! ты оценишь меня, когда меня потеряешь!» Слезы навернулись на глаза Валериана. Но, право, не знаю, почему ни одна из них не посвящена была сожалению о сестре; таковы все влюбленные; во время своей горячки у них нет ни думы, ни слова, кроме о милой, и, даже

умирая, они больше думают о том, как поправятся в гробу своей возлюбленной, нежели о том, как станут плакать о них родные.

Зато, если в одной комнате Ольга была забыта для любви, в другой, по той же самой причине, она была предметом восклицаний и вздохов. Князь Гремин сидел там мрачнее сентябрьского вечера и очень заунывно барабанил пальцами по столу; но или сосновая эта гармоника не могла вполне выразить печальных его мыслей, или сам он был непривычный виртуоз на этом инструменте, только фантазия его походила на погребальный марш, достойный похорон кота мышами. Как ни забавно-жалобна была, однако ж, его музыка, его думы были во все не забавны. Когда погас первый пыл негодования, он горько раскаивался в своей дерзкой вспыльчивости; совесть громко укоряла его в обиде старого друга, — и для чего, для кого? Для той, которую уже давно не любил он, для той, которая сама его забыла; не имея другой цели, кроме препятствия в счастье сопернику, из пустого тщеславия! Но всего убедительнее действовала на него логика любезности и красоты Ольги; все силлогизмы его оканчивались и начинались укорительным вопросом: «что скажет на это сестра Валериана?» Ненависть в жизни, если он убьет противника, или презрение после смерти — за вражду непременно должныствовали быть уделом его, а Гремин глубоко чувствовал, как благородный человек и как пламенный мужчина, сколь тяжело было бы ему сносить не только ненависть или презрение, но даже равнодушие Ольги, достойной всякого уважения «и любви», приговаривало сердце, «и, может быть, равнодушной к тебе», шептало самолюбие. Но голос предрассудков звучал как труба и заглушал все кроткие, все добрые ощущения.

— Теперь уже поздно раздумывать, — сказал он со вздохом, разрывающим сердце. — Нельзя возвратить сделанного, стыдно переменять решение. Я не хочу быть сказкою города и полка, согласясь мириться под пистолетом. Люди охотнее верят трусости, чем благородным внушениям, и хотя бы еще лестнейшие надежды, еще драгоценнейшее бытие лежали в душе моем, я и тогда послал бы выстрел Стреллинскому.

— Все готово, князь! — сказал секундант его, распахивая дверь. — Остается только зарядить пистолеты,

и, как водится, мы просим вас при том присутствовать.

Противники вошли с разных сторон, холодно и безмолвно поклонились друг другу, и, между тем как Гремин остановился у стола, на котором готовилась роковая трапеза, Стрелинский подошел к доктору, который без милосердия один-одинехонек гонял шары по бильярду. Больно душе видеть людей перед поединком, еще более быть посредником в оном. Невольно желаешь зла другому, потому что желаешь сохранения своему товарищу, и это чувство проливает на все церемонную принужденность, между тем как все стараются быть необыкновенно веселыми — соперники, чтобы показать свою смелость, а секунданты, чтоб поддержать ее.

Валериан, познакомясь на переезде с доктором-оригиналом, шутя спросил его, обращаясь к прерванному в карете разговору:

— Не отступаете ли вы, любезный доктор, от чудесной гипотезы своей, что когда-нибудь люди научатся прививать детям хорошие качества, как коровью оспу, и лечить от страстей, как от прилипчивых болезней?

— Для чего мне быть отступником от своих рассуждений, когда вы не хотите покинуть свои предрассуждения? — отвечал доктор и положил красный в лузу.

— Жаль, право, что я не родился позже веками пятью: очень бы любопытно посмотреть, как станут вылечивать от любви шпанскими мушками или от злости припарками и лигатурами!

— От злости и теперь в простом народе лечат припарками и перевязками, так, как в старину от сумасшествия чахоткою, — только едва ли с успехом. Но почему не предположить, что, при всеобщем усовершеннии наук, нужнейшая из них не выйдет из настоящего дряхлого своего младенчества? Тогда, Валериан Михайлович, мне бы гораздо приятнее было предупредить вашу раздражительность какими-нибудь сладкими пилюлями, нежели вытаскивать свинцовые из ваших костей!

— То-то будет золотой век для медиков!

Золотой для медицины, а бессребренный для медиков, которые до сих пор, наравне с крапивным семенем судей, живут на счет глупости, или пороков, или бедствий человеческих!

— Почтенный доктор... — прервал речь его артилле-

рист, заряжая вторую пару,— решите спор наш: я говорю, что лучше уменьшить заряд по малости расстояния и для верности выстрела, а господин ротмистр желает усилить его, уверяя, что сквозные раны легче к исцелению,— это статья по вашему департаменту.

— Дайте руку, господин пушкарь в превосходной степени. Мы должны быть друзьями и соседями не только потому, что ваше училище, где научают убивать по правилам, рядом с нашею клинкою, где учат исцелять людей, но и потому, что природа всегда подле яду помещает противоядие. Вы смеетесь, вы говорите, что это два зла вместе,— пусть так. Только увеличьте заряд, если нельзя вовсе его уничтожить. На шести шагах самый слабый выстрел пробьет ребра; и так как трудно, а часто и невозможно вынуть пули, то она и впоследствии может повредить благородные части.

— Высокоблагородные части,— сказал, улыбаясь, Гремин,— мы оба штаб-офицеры; но шутки в сторону, доктор: откуда почитаете вы всего безопаснее вынимать пулю?

— Из дула,— отвечал доктор очень важно. Все засмеялись.

— Не угодно ли будет, князь, снять эполеты? — сказал один из секундантов, укладывая пистолеты в ящик.— Золото — слишком видная цель для противника.

— Вы так строги, любезный посредник мой, что я того и жду приглашения оставить здесь и голову, потому что она еще виднейшая цель...

В это время послышался стук у двери.

— Боже мой! — воскликнул артиллерист, закрывая плащом оружие.— Не дадут и подраться покойно! Кто там?

— Ездовой графини Звездич спрашивает майора Стрелинского,— произнес за порогом маркер, точно таким же голосом, как возвещает он «двадцать три и ничего!».

Стрелинский одним прыжком был уже в сенях.

— Вас просит видеть какая-то дама,— сказал Гремину трактирный мальчик, вбегая с другой стороны. Князь вышел, пожимая плечами. Но вообразите его изумление, когда стройная незнакомка отбросила вуаль с лица своего, и в ней он узнал Ольгу со всеми прелестя-

ми юности, в полном вооружении невинности и собственного достоинства.

— Ольга! — воскликнул он, пораженный еще более, чем удивленный.— Ольга, вы, вы здесь?

— И вы причиной тому, князь Гремин,— отвечала Ольга с гордою твердостью.— Если б я и не знала опасностей моего поступка, то одно изумление ваше открыло бы мне все... Но я все знаю и на все решилась. Пускай свет назовет меня безрассудною искательницею приключений, пускай стану я сказкою столицы, пусть эта минута бросит вечную тень на остаток моей жизни,— но не должна ли я презреть всем для спасения брата, которого хотите вы погубить! Но я не упрекать вас пришла, князь Гремин, но просить, но убеждать, умолять вас: забудьте кровожадную ссору вашу, открытую мне случаем. Заклинаю вас именем бога, которого забываете, именем человечества и разума, которые попираете вы ногами, именем прежней дружбы и вечной любви ко всему, что драгоценно для вас в этой жизни и лестно за могилой! Вы искали поединка, и от вас зависит прекратить его. Князь! Примиритесь с Валерианом! Спасите меня от горького чувства видеть убийцу в брате или от неутолимого плача по нем. Что станется тогда со мной в этом враждебном свете, без друга, без советника и покровителя? Как мало жила я и как несчастна, что дожидая до ужасной поры, в которую два существа, уважаемые мной больше всего в мире, готовы растерзать друг друга!

Сначала голос Ольги был тверд и выразителен, но когда речь коснулась до братской привязанности, он стал тише и нежнее, дыхание прерывалось, замирало; тоска высоко вздымала грудь; очи ее, отягченные слезами, наконец пролили их в три ручья, и она, рыдая, опустилась на стул. Князь Гремин, энтузиаст всего высокого и благородного, тронутый до глубины души прекрасным самоотвержением Ольги, стоял в восторге, нем и неподвижен. Он поглощал взорами великодушную примирительницу. Сладостное чувство умиления проникло все его существо; одна искра чистой любви осветила всю его душу. Как молния превращает полюсы компаса, так всемогущие слезы невинности превратили в доброту все семена зла и злобы, в груди таящиеся. Он был уже счастлив, ибо высочайшее счастье есть сознание чужих совершенств, сознание высокого и прекрасного.

Ольга, однако ж, почитая безмолвие князя колебанием или отказом, гордо встала и произнесла, сверкая взором:

— Но знайте, князь Гремин, если речь правды и природы недоступна душам, воспитанным кровавыми предрассудками, то вы не иначе достигнете до брата моего, как сквозь это сердце. Не пожалев славы, я не пожалею жизни.

— Нет, нет! Существо неземное! — воскликнул Гремин, — свою жизнь, хотя бы тысячу раз обновленную, готов теперь пожертвовать я за вас, за Валериана! Ольга! ваше великодушие победило меня!

С этим словом он вошел в залу и громко сказал Валериану:

— Господин майор! я прошу у вас извинения в своей горячности; очень сожалею о том, что вчера произошло между нами, и если вы довольны этим объяснением, то сочту большою честью возврат вашей дружбы.

Стрелинский, вовсе не ожидая такой развязки, перчитывал весело какое-то письмо, — очень вежливо, однако ж очень охотно протянул руку Гремину.

— Тому легко примирение, — сказал он, — кто сам имеет нужду в прощении, — и друзья обнялись снова друзьями.

— Господа секунданты! скажите по совести, не имеем ли мы в чем-нибудь укорять себя, как благородные люди и офицеры? — сказал Гремин.

— Никогда и никто не усомнится в вашей храбрости, — отвечал гвардеец, обнимая князя.

— Признаваться в своих ошибках есть высшее мужество, — возразил артиллерист, сжимая руку майора.

— Сделав все для света, я прошу у тебя, любезный Стрелинский, для самого себя пяти минут особенного разговора.

Рука об руку с князем вошел Валериан в другую комнату весело и беззаботно, но чело его подернулось, как заревом, когда он увидел там сестру свою!

— Что это значит?! — вскричал он грозно. Но когда сестра с радостным приветом:

— Вы не будете врагами, вы не будете стреляться! — упала к нему на грудь бесчувственна, голос его смягчился...

— Ольга! Ольга! что ты сделала? — произнес он

печально.— Невинная, неспытная душа! ты погубила себя!

Тихо опустил он на софу драгоценное бремя, и невольный взор упрека пронзил сердце Гремина; между тем призванный доктор суетился около Ольги.

— Друг! друг! — сказал глубоко тронутый князь, — не уничтожай меня; я сам чувствую, сколько бед наклало мое безрассудство; подумаем лучше, как исправить ошибку. Поездка сестрицы твоей едва ли утаится от клеветы, и бог весть, какими баснями украсит ее свет! Чувствую, что я не стою этого ангела, но чувствую, что без нее нет для меня счастья на земле... И если сердце ее не занято... если... я, как старый друг твой, спрашиваю тебя, Валериан... хочешь ли ты иметь меня зятем?

Стрелинский мрачно взглянул на него...

— Князь! я откровенно скажу тебе, что прежде не желал бы лучшего мужа Ольге, но вчерашняя твоя горячность за графиню заставляет меня сомневаться в счастии сестры!

— Валериан! не разрывай могил минувшего... Кто не был молод! От сего дня я новый человек; прежняя привязанность к сестрице твоей обратилась в страсть неодолимую и неизменную.

— Верю,— сказал Валериан, пожимая руку друга, и указал на сестру, которая начинала приходить в себя.— Милая, добрая Ольга! здесь ты видишь людей, тобой примиренных и благодарных; но, кроме благодарности, здесь есть некто желающий получить награду, заслужив наказание; он уверяет, что любит тебя, клянется в верности... Доканчивайте, князь Гремин!

Гремин с пылкостью и страхом вступил в трудное объяснение.

— Я буду краток,— сказал он, приближаясь к Ольге,— как ни вредно виноватому быть им. Так, Ольга, я дерзаю искать руки вашей, хотя в глубине души сознаюсь, как недостойн я такого блаженства. Не говорю теперь о взаимности, я буду счастлив и тем, если вы меня не ненавидите, и терпеливо стану ждать чувств нежнейших, как награды.

— Теперь я не имею никакой причины ненавидеть вас; я, напротив, обязана вам благодарностию! — возразила Ольга едва внятно.

— Это лишь слабый образчик моей беспредельной

покорности; имея образцом такого ангела, какое доброе качество мне недоступно? Ольга! жизнь без вас для меня пустыня, с вами — рай; решите участь мою!

Ответ Ольги можно было прочесть в каждой черте лица, в трепетании каждой жилки; слезы наслаждения стояли в ресницах, румянец счастья пылал на щеках ее... Все сны, все мечты ее разгадались; она была так невинно счастлива, но ей было так ново и страшно это положение; наконец она приклонила милое лицо свое к плечу Валериана и тихо, тихо сказала:

— Братец, отвечай за меня!

— Князь Николай! вручаю тебе лучшую жемчужину моего бытия. Есть бог в небе и совесть в сердце, если ты не сделаешь мою Ольгу счастливою!

Тут положил Валериан руку сестры в руку Гремина, и седьмое небо распахнулось для влюбленного.

— Я сегодня так счастлив, что боюсь, не во сне ли вижу все это; друзья мои! Вот письмо от Алины, — примолвил Валериан, отдавая для прочтения письмо Гремину. Гремин читал:

— «За свою недоверчивость, милый Валериан, ты заслужил наказание и получил его, но чего эта шутка стоила моему сердцу! Как можно было сомневаться, что, куда б ни забросила тебя судьба, куда бы ни увлекла воля, в горе и счастья я всегда с тобой неразлучна. Впрочем, эти три дня я посвятила на убеждение моих нравственных и политических опекунов; теперь все в порядке, и я могу ехать за тобой к полюсу, не только в прекрасную деревню. Сегодня ожидаю неверующего на мир и через два месяца — о сладкая мысль! — я буду уже иметь священное право называться *твоею Алиною!*»

Поздравления и объятия полетели к счастливцу... Сам доктор, со слезами умиления на глазах, смотрел на небо, скинув ошибкою парик вместо колпака.

— Еще пара таких женщин, — бормотал он, — и я выброшу всех редких букашек за окно! Жаль только, что Ольга заставит меня переправить целую главу о женщинах!

Стрелинский, посадив сестру свою в карету, остановился у дворец.

— Господа! — сказал он, — милости просим ко мне откушать и запить прошедшие безрассудства. Господ же секундантов, благодаря, сверх того, за их участие, про-

шу сделать нам честь переменить роли секундантов на должность шаферов у меня и жениха сестры моей, князя Гремина!

Он умчался при радостных приветах.

Восхищенный князь, обнимая с радости всех и каждого, сказал доктору, приглашая его сесть с собою в карету:

— Я надеюсь, и для вас, почтеннейший друг наш, приятнее видеть свадьбу, чем похороны.

— Я не бываю на свадьбах, чтобы не заставить краснеть других, ни на похоронах, чтобы не краснеть самому,— отвечал доктор, садясь в сани.

— Теперь, однако ж, дело идет не о проводах невест или мертвецов в новый для них мир, а только о проводах масленицы. Валериан ждет вас к дружескому обеду.

— Непременно буду, охотно буду, но теперь еще рано, я заеду к себе приписать кое-что к моей диссертации.

— Конечно, о страстях устрицы! — сказал Гремин, улыбаясь.

— Напротив, об удачных глупостях человека,— возразил доктор.





Страшное гаданье

Р а с с к а з

Посвящается Петру Степановичу Лутковскому

*Давно уже строптивые умы
Отринули возможность духа тьмы;
Но к чудному всегда наклонным сердцем,
Друзья мои, кто не был духоверцем?..*

...Я был тогда влюблен, влюблен до безумия. О, как обманывались те, которые, глядя на мою насмешливую улыбку, на мои рассеянные взоры, на мою небрежность речей в кругу красавиц, считали меня равнодушным и хладнокровным. Не ведали они, что глубокие чувства редко проявляются именно потому, что они глубоки; но если б они могли заглянуть в мою душу и, увидя, понять ее,—они бы ужаснулись! Все, о чем так любят болтать поэты, чем так легкомысленно играют женщины, в чем так стараются притворяться любовники, во мне кипело, как растопленная медь, над которою и самые пары, не находя истока, зажигались пламенем. Но мне всегда были смешны до жалости приторные вздыхатели со своими пряничными сердцами; мне были жалки до презрения записные волокиты со своим зимним восторгом, своими заученными изъяснениями, и попасть в число их для меня казалось страшнее всего на свете.

Нет, не таков был я; в любви моей бывало много странного, чудесного, даже дикого; я мог быть непоня-

тен, но смешон — никогда. Пылкая, могучая страсть катится как лава; она увлекает и жжет все встречное; разрушаясь сама, разрушает в пепел препоны и хоть на миг, но превращает в кипучий котел даже холодное море.

Так любил я... назовем ее хоть Полиною. Все, что женщина может внушить, все, что мужчина может почувствовать, было внушено и почувствовано. Она принадлежала другому, но это лишь возвысило цену ее взаимности, лишь более раздражило слепую страсть мою, взлелеянную надеждой. Сердце мое должно было расторгнуться, если б я замкнул его молчанием: я опрокинул его, как переполненный сосуд, перед любимую женщину; я говорил пламенем, и моя речь нашла отзыв в ее сердце. До сих пор, когда я вспомню об уверении, что я любим, каждая жилка во мне трепещет, как струна, и если наслаждения земного блаженства могут быть выражены звуками, то, конечно, звуками подобными! Когда я прильнул в первый раз своими устами к руке ее, — душа моя исчезла в этом прикосновении! Мне чудилось, будто я претворился в молнию: так быстро, так воздушно, так пылко было чувство это, если это можно назвать чувством.

Но коротко было мое блаженство: Полина была столько же строга, как прелестна. Она любила меня, как никогда еще я не был любим дотол, как никогда не буду любим вперед: нежно, страстно и безупречно... То, что было заветно мне, для нее стоило более слез, чем мне самому страданий. Она так доверчиво предалась защите моего великодушия, так благородно умоляла спасти самое себя от укора, что бесчестно было бы изменить доверию.

— Милый! мы далеки от порока, — говорила она, — но всегда ли далеки от слабости? Кто пытается часто силу, тот готовит себе падение; нам должно как можно реже видеться!

Скрепя сердце, я дал слово избегать всяких встреч с нею.

И вот протекло уже три недели, как я не видал Полины. Надобно вам сказать, что я служил еще в Северском конноегерском полку, и мы стояли тогда в Орловской губернии... позвольте умолчать об уезде. Эскадрон мой расположен был квартирами вблизи поместьев мужа Полины. О самых святках полк наш получил приказание

выступить в Тульскую губернию, и я имел довольно твердости духа уйти не простясь. Признаюсь, что боязнь изменить тайне в присутствии других более, чем скромность, удержала меня. Чтоб заслужить ее уважение, надобно было отказаться от любви, и я выдержал опыт. Напрасно приглашали меня окрестные помещики на прощальные праздники; напрасно товарищи, у которых тоже, едва ль не у каждого, была сердечная связь, уговаривали возвратиться с перехода на бал, — я стоял крепко.

Накануне Нового года мы совершили третий переход и расположились на дневку. Один-одинехонек, в курной хате, лежал я на походной постеле своей, с черной думой на уме, с тяжелой кручиной в сердце. Давно уже не улыбался я от души, даже в кругу друзей: их беседа стала мне несносна, их веселость возбуждала во мне желчь, их внимательность — досаду за безотвязность; стало быть, тем раздольнее было мне хмуриться наедине, потому что все товарищи разъехались по гостям; тем мрачнее было в душе моей: в нее не могла запасть тогда ни одна блеска наружной веселости, никакое случайное развлечение.

И вот прискакал ко мне ездовой от приятеля, с приглашением на вечер к прежнему его хозяину, князю Львинскому. Просят непременно: у них пир горой; красавиц — звезда при звезде, молодых рой, и шампанского разлитое море. В приписке, будто мимоходом, извещал он, что там будет и Полина. Я вспыхнул... Ноги мои дрожали, сердце кипело. Долго ходил я по хате, долго лежал, словно в забытьи горячки; но быстрина крови не утихала, щеки пылали багровым заревом, отблеском душевного пожара; звучно билось ретивое в груди. Ехать или не ехать мне на этот вечер? Еще однажды увидеть ее, дыхнуть одним с нею воздухом, послушаться ее голоса, молвить последнее *прости!* Кто бы устоял против таких искушений? Я кинулся в обшивни и поскакал назад, к селу князя Львинского. Было два часа за полдень, когда я поехал с места. Проскакав двадцать верст на своих, я взял потом со станции почтовую тройку и еще промчался двадцать две версты благополучно. С этой станции мне уже следовало своротить с большой дороги. Статный молодец на лихих конях взялся меня доставить в час за восемнадцать верст, в село княжое.

Я сел, — катать!

Уже было темно, когда мы выехали со двора, однако ж улица кипела народом. Молодые парни, в бархатных шапках, в синих кафтанах, расхаживали, взявшись за кушаки товарищей; девки в заячьих шубах, крытых яркою китайкою, ходили хороводами; везде слышались праздничные песни, огни мелькали во всех окнах, и зажженные лучины пылали у многих ворот. Молодец, извозчик мой, стоя в заголовке саней, гордо покрикивал: «пади!» и, охорашиваясь, кланялся тем, которые узнавали его, очень доволен, слыша за собою: «Вон наш Алеха катит! Куда, сокол, собрался?» и тому подобное. Выбравшись из толпы, он обернулся ко мне с предуведомлением:

— Ну, барин, держись! — Заложил правую рукавицу под левую мышку, повел обнаженной рукой над тройкою, гаркнул — и кони взвились как вихорь! Дух занялся у меня от быстроты их поскока: они понесли нас.

Как верткий челнок на валах, кувыркались, валялись и прыгали сани в обе стороны; извозчик мой, упершись в валеки ногою и мощно передергивая вожжами, долго боролся с запальчивою силою застоявшихся коней; но удил только подстрекали их ярость. Мотая головами, взбросив дымные ноздри на ветер, неслись они вперед, взвивая метель над санями. Подобные случаи столь обыкновенны для каждого из нас, что я, схватясь за облучок, преспокойно лежал внутри и, так сказать, любовался этой быстротою путешествия. Никто из иностранцев не может постичь дикого наслаждения — мчаться на бешеной тройке, подобно мысли, и в вихре полета вкушать новую негу самозабвения. Мечта уж переносила меня на бал. Боже мой, как испугаю и обрадую я Полину своим неожиданным появлением! Меня бранят, меня ласкают; мировая заключена, и я уж несусь с нею в танцах... И между тем свист воздуха казался мне музыкою, а мелькающие изгороди, леса — пестрыми толпами гостей в бешеном вальсе... Крик извозчика, просящего помощи, вызвал меня из очарования. Схватив две вожжи, я так скрутил голову коренной, что, упершись вдруг, она едва не выскочила из хомута. Толча и фыркая, остановились, наконец, измученные бегуны, и когда опало облако инея и ветерок разнес пар, клубящийся над конями:

— Где мы? — спросил я ямщика, между тем как он перетягивал порванный чересседельник и оправляя сбрую.

Ямщик робко оглянулся кругом.

— Дай бог памяти, барин! — отвечал он. — Мы уж давно своротили с большой дороги, чтобы упарить по сугробу гнедышей, и я что-то не признаюсь к этой околице. Не ведь это Прошкино Репище, не ведь Андропова Пережога?

Я не подвигался вперед ни на полвершка от его топографических догадок; нетерпение приехать меня одолевало, и я с досадою бил нога об ногу, между тем как мой парень бегал отыскивать дорогу.

— Ну, что?

— Плохо, барин! — отвечал он. — В добрый час молвить, в худой помолчать, мы никак заехали к Черному озеру!

— Тем лучше, братец! Коли есть примета, выехать не долга песня; садись и дуй в хвост и в гриву!

— Какое лучше, барин; эта примета заведет невесть куда, — возразил ямщик. — Здесь мой дядя видел русалку: слышь ты, сидит на суку, да и покачивается, а сама волосы чешет, косица такая, что страсть; а собой такая смазливая — загляденье, да и только. И вся нагая, как моя ладонь.

— Что ж, поцеловал ли он красавицу? — спросил я.

— Христос с тобой, барин, что ты это шутишь? Подслушает она, так даст поминку, что до новых веников не забудешь. Дядя с перепугу не то чтобы зааминить или зачурать ее, даже ахнуть не успел, как она, завидя его, захохотала, ударила в ладоши, да и бульк в воду. С этого сглазу, барин, он бродил целый день вокруг да около, и когда воротился домой, едва языка допытался: мычит по-звериному, да и только! А кум Тимоша Кулак донес повстречал тут оборотня; слышишь ты, скинулся он свиньей, да то и знай мечется под ноги! Хорошо, что Тимоша и сам в чертовщине силу знает: как поехал на ней чехардой, да ухватил за уши, она и пошла его мыкать, а сама визжит благим матом; до самых петухов таскала, и уж на рассвете нашли его под съездом у Гаврюшки, у того, что дочь красовита. Да то ли здесь чудится!.. Серега косою как порасскажет...

— Побереги свои побасенки до другого случая, — возразил я, — мне, право, нет времени да нет и охоты пугаться!.. Если ты не хочешь, чтоб русалка защекотала

тебя до смерти или не хочешь ночевать с карасями под ледяным одеялом, то ищи скорей дороги.

Мы брели целиком, в сугробах выше колена. На беду нашу небо задернуто было пеленою, сквозь которую тихо сеялся пушистый иней; не видя месяца, нельзя было узнать, где восток и где запад. Обманчивый отблеск, между перелесками, заманивал нас то вправо, то влево... Вот-вот, думаешь, видна дорога... Доходишь — это склон оврага или тень какого-нибудь дерева! Одни птичьи и заячьи следы плелись таинственными узлами по снегу. Уныло звучал на дуге колокольчик, двоя каждый тяжелый шаг, кони ступали, повесив головы; извозчик, бледный как полотно, бормотал молитвы, приговаривая, что нас обошел леший, что нам надобно выворотить шубы вверх шерстью и надеть наизнанку — все до креста. Я тонул в снегу и громко роптал на все и на всех, выходя из себя с досады, а время утекало, — и где конец этому проклятому пути?! Надобно быть в подобном положении, надобно быть влюбленну и спешить на бал, чтобы вообразить весь гнев мой в то время... Это было бы очень смешно, если б не было очень опасно.

Однако ж досада не вывела нас на старую дорогу и не проторила новой; образ Полены, который танцевал передо мною, и чувство ревности, что она вертится теперь с каким-нибудь счастливецем, слушает его ласкательства, может быть, отвечает на них, нисколько не помогали мне в поисках. Одетый тяжелою медвежьей шубою, я не иначе мог идти, как нараспашку, и потому ветер пронизал меня насквозь, оледеняя на теле капли пота. Ноги мои, обутые в легкие танцевальные сапоги, были промочены и заморожены до колен, и дело уж дошло до того, что надобно было позаботиться не о бале, а о жизни, чтоб не кончить ее в пустынном поле. Напрасно прислушивались мы: нигде отрадного огонька, нигде голоса человеческого, даже ни полета птицы, ни шелеста зверя. Только храпение наших коней, или бой копыта от нетерпения, или, изредка, бряканье колокольца, потрясаемого уздою, нарушали окрестное безмолвие. Угрюмо стояли кругом купы елей, как мертвецы, закутанные в снежные саваны, будто простирая к нам оледенелые руки; кусты, опущенные клоками инея, сплетали на бледной поверхности поля тени свои; утлые, обгорелые пни, вея седыми космами, принимали мечтательные образы; но все это

не носило на себе следа ноги или руки человеческой...
Тишь и пустыня окрест!

Молодой извозчик мой одет был вовсе не по-дорожному и, пронизаемый не на шутку холодом, заплакал.

— Знать, согрешил я перед богом,— сказал он,— что наказан такой смертью; умрешь, как татарин, без исповеди! Тяжело расставаться с белым светом, только раздувши пену с медовой чаши; да и куда бы ни шло в посту, а то на праздниках. То-то взвояет белугой моя старуха! То-то наплачется моя Таня!

Я был тронут простыми жалобами доброго юноши; дорого бы я дал, чтобы так же заманчива, так же мила была мне жизнь, чтобы так же горячо веровал я в любовь и верность. Однако ж, чтоб разгулять одолевающий его сон, я велел ему снова пуститься в ход наудачу, сохраняя движением теплоту. Так шли мы еще полчаса, как вдруг парень мой вскрикнул с радостью:

— Вот он, вот он!

— Кто он? — спросил я, прыгая по глубокому снегу ближе.

Ямщик не отвечал мне; упав на колени, он с восторгом что-то рассматривал; это был след конский. Я уверен, что ни один бедняк не был столь рад находке мешка с золотом, как мой парень этому верному признаку и сбегу жизни. В самом деле, скоро мы выбрались на бойкую дровозвозную дорогу; кони, будто чуя ночлег, радостно наострили уши и заржали; мы стремглав полетели по ней куда глаза глядят. Через четверть часа были уже в деревне, и как мой извозчик узнал ее, то привез прямо к избе зажиточного знакомого ему крестьянина.

Уверенность возвратила бодрость и силы иззябшему парню, и он не вошел в избу, покуда не размял беганьем на улице окоченевших членов, не оттер снегом рук и щек, даже покуда не выводил коней. У меня зашлись одни ноги, и потому, вытерши их в сенях докрасна суконкою, я через пять минут сидел уже под святыми, за набраннным столом, усердно потчемый радушным хозяином и попав вместо бала на сельские посиделки.

Сначала все встали; но, отдав мне чинный поклон, уселись по-прежнему и только порой, перемигиваясь и перешептываясь между собою, кажется, вели слово о неожиданном госте. Ряды молодежи в низанных киках, в кокошниках и красных девушек в повязках разноцветных,

с длинными косами, в которые вплетены были треугольные подкосники с подвесками или златошвейные ленты, сидели по лавкам очень тесно, чтоб не дать между собою места лукавому — разумеется, духу, а не человеку, потому что многие парни нашли средство втереться между. Молодцы в пестрядинных или ситцевых рубашках с косыми галунными воротками и в суконных кафтанах уживались около или, собравшись в кучки, пересмехались, щелкали орешки, и один из самых любезных, сдвинув набекрень шапку, бренчал на балалайке «Из-под дубу, из-под вяза». Седобородый отец хозяина лежал на печи, обратясь лицом к нам, и, качая головой, глядел на игры молодежи; для рам картины, с полатей выглядывали две или три живописные детские головки, которые, склонясь на руки и зевая, посматривали вниз. Гаданья на Новый год пошли обычной своей чередою. Петух, пущенный в круг, по обводу которого насыпаны были именные кучки овса и ячменя с зарытыми в них кольцами, удостоив из которой-нибудь клюнуть, возвещал неминуемую свадьбу для гадателя или загадчицы... Накрыв блюдом чашу, в которой лежали кусочки с наговорным хлебом, уголья, значения коих я никак не мог добиться, и перстни да кольца девушек, все принялись за подблюдные песни, эту лотерею судьбы и ее приговоров. Я грустно слушал звучные напевы, коим вторили в лад потрясаемые жерести в чаше.

Слава богу на небе,
Государю на сей земле!
Чтобы правда была
Краше солнца светла;
Золотая ж казна
Век полным-полна!
Чтобы коням его не изъезживаться,
Его платьям цветным не изнашиваться,
Его верным вельможам не стареться!
Уж мы хлебу поем,
Хлебу честь воздаем!
Большим-то рекам слава до моря,
Мелким речкам — до мельницы!
Старым людям на потешенье,
Добрым молодцам на услышанье.
Расцвели в небе две радуги,
У красной девицы две радости,
С милым другом совет,
И растворен подклет!
Щука шла из Новагорода,
Хвост несла из Бела озера;

У щучки головка серебряная,
У щучки спина жемчугом плетена,
А наместо глаз — дорогой алмаз!
Золотая парча развевается —
Кто-то в путь в дорогу собирается.

Всякому сулили они добро и славу, но, отогревшись, я не думал дослушивать бесконечных и неминуемых заветов подблюдных; сердце мое было далеко, и я сам бы летом полетел вслед за ним. Я стал подговаривать молодцов свезти меня к князю. К чести их, хотя к досаде своей, должно сказать, что никакая плата не выманнла их от забав сердечных. Все говорили, что у них лошаденки плохие или измученные. У того не было санок, у другого подковы без шипов, у третьего болит рука.

Хозяин уверял, что он послал бы сына и без прогонков, да у него пара добрых коней повезла в город заседателя... Чарки частые, голова одна, и вот уж третий день, верно, праздничают в околице.

— Да изволишь знать, твоя милость, — примолвил один краснобай, встряхнув кудрями, — теперь уж ночь, а дело-то святочное. Уж на што у нас храбрый народ девки: погадать ли о суженом — не боятся бегать за овинны, в поле слушать колокольного свадебного звону, либо в старую баню, чтоб погладил домовый мохнатой лапою на богатство, да и то сегодня хвостики прижали... Ведь канун-то Нового года чертям сенокос.

— Полно тебе, Ванька, страхи-то рассказывать! — вскричало несколько тоненьких голосков.

— Чего полно? — продолжал Ванька. — Спроси-ка у Оришки: хорош ли чертов свадебный поезд, какой она вчерась видела, глядясь за овинами на месяц в зеркало? Едут, свищут, гаркают... словно живьем вочью совершаются. Она говорит, один бесенок оборотился горенским старостиным сыном Афонькой да одно знай пристаёт: сядь да сядь в сани. Из круга, знать, выманивает. Хорошо, что у ней ум чуть не с косу, так отнекалась.

— Нет, барин, — примолвил другой, — хоть рассыпь серебра, вряд ли кто возьмется свезти тебя! Кругом озеро колесить верст двадцать будет, а через лед ехать без беды беда; трещин и полыней тьма; пошутит лукавый, так пойдешь карманами ловить раков.

— И ведомо, — сказал третий. — Теперь чертям скоро заговенье: из когтей друг у друга добычу рвут.

— Полно брехать,— возразил краснойбай.— Нашел заговенье. Черный ангел, или, по-книжному, так сказать, Ефиоп, завсегда у каждого человека за левым плечем стоит да не смигнувши сторожит, как бы натолкнуть на грех. Не слыхали вы разве, что было у Пятницы на Пустыне о прошлых святках?

— А что такое? — вскричали многие любопытные.— Расскажи, пожалуйста, Ванюша; только не умори с ужаста.

Рассказчик оглянулся на двери, на окно, на лица слушателей, крикнул протяжно, оправил правой рукою кудри и начал:

— Дело было, как у нас, на посиделках. Молодцы окручались в личины, и такие хари, что и днем глядеть — за печку спрячешься, не то чтобы ночью плясать с ними. Шубы навыворот, носщи семи пядей, рога словно у сидоровой козы, а в зубах по углу, так и зияют. Умудрились, что петух приехал верхом на раке, а смерть с косою на коне. Петрушка-чеботарь спину представлял, так он мне все и рассказывал.

Вот как разыгрались они, словно ласточки перед погою; одному парню лукавый, знать, и шепнул в ухо: «Сем-ка, я украду с покойника, что в часовне лежит, саван да венец, окручусь в них, набелюся известкою, да и приду мертвецом на поседки». На худое мы не ленивы: скорей, чем сгадал, он в часовню слетал,— ведь откуда, скажите на милость, отвага взялась. Чуть не до смерти перепугал он всех: старый за малого прячется... Однако ж когда он расхохотался своим голосом да стал креститься и божиться, что он живой человек, пошел смех пуще прежнего страху. Тары да бары да сладкие разговоры, ан и полночь на дворе, надо молодцу нести назад гробовые обновки; зовет не дозвется никого в товарищи; как опала у него хмелина в голове, опустились и крылья соколиные; одному идти — страх одолевает, а приятели отпираются. Покойник давно слыл колдуном, и никто не хотел, чтобы черти свернули голову на затылок, свои следы считать. Ты, дескать, брал напрокат саван, ты и отдавай его; нам что за стать в чужом пиру похмелье нести.

И вот, не прошло двух мигов... слышали, кто-то идет по скрипучему снегу... прямо к окну: стук, стук...

— С нами крестная сила! — вскричала хозяйка, устремив на окно испуганные очи. — Наше место свято! — повторила она, не могши отвести взглядов от поразившего ее предмета. — Вон, вон, кто-то страшный глядит сюда!

Девки с криком прижались одна к другой; парни кинулись к окну, между тем как те из них, которые были поробче, с выпученными глазами и открытым ртом поглядывали в обе стороны, не зная, что делать. В самом деле, за морозными стеклами как будто мелькнуло чье-то лицо... но когда рама была отперта — на улице никого не было. Туман, врываясь в теплую избу, ходил коромыслом, затемняя на время блеск лучины. Все понемногу успокоились.

— Это вам почудилось, — сказал рассказчик, оправляясь сам от испуга; его голос был прерывен и неровен. — Да вот, дослушайте бывальщину: она уж и вся-то недолга. Когда переполошенные в избе люди осмелились да спросили: «Кто стучит?» — пришлец отвечал: «Мертвец пришел за саваном». Услышав это, молодец, окрученный в него, снял с себя гробовую пелену да венец и выкинул их за окошко. «Не принимаю! — закричал колдун, скрипя зубами. — Пускай где взял, там и отдает мне». И саван опять очутился посреди избы. «Ты, насмехаючись, звал меня на посиделки, — сказал мертвец страшным голосом, — я здесь! Чествуй же гостя и провожай его до дому, до последнего твоего и моего дому». Все, дрожа, молились всем святым, а бедняга виноватый ни жив ни мертв сидел, дожидаясь злой гибели. Мертвец между тем ходил кругом, вопя: «Отдайте мне его, не то и всем несдобровать». Сунулся было в окошко, да, на счастье, косяки были святой водой окроплены, так его словно огнем обдало; взвыл да назад кинулся. Вот грянул он в ворота, и дубовый запор, как соль, рассыпался.. Начал всходить по съезду... Тяжко скрипели бревна под ногою оборотня; собака с визгом залезла в сених под корыто, и все слышали, как упала рука его на щеколду. Напрасно читали ему навстречу молитву от наваждения, от призора; однако ничто не забрало... Дверь со стоном повернулась на петлях, и мертвец шасть в избу!

Дверь избы нашей, точно, растворилась при этом слове, будто кто-нибудь подслушивал, чтобы войти в это мгновение. Нельзя описать, с каким ужасом вскрикнули

гости, повскакав с лавок и столпясь под образами. Многие девушки, закрыв лицо руками, упали за спины соседа, как будто избежали опасности, когда ее не видно. Глаза всех, устремленные к порогу, ждали встретить там по крайней мере остов, закутанный саваном, если не самого нечистого с рогами; и в самом деле, клубящийся в дверях морозный пар мог показаться адским серым дымом. Наконец пар расступился, и все увидели, что вошедший имел вид совершенно человеческий. Он приветливо поклонился всей беседе, хотя и не перекрестился перед иконами. То был стройный мужчина в распашной сибирке, под которою надет был бархатный камзол; такие же шаровары спускались на лаковые сапоги; цветной персидский платок два раза обвивал шею, и в руках его была бобровая шапка с козырьком, особого вида. Одним словом, костюм его доказывал, что он или приказчик, или поверенный по откупам. Лицо его было правильно, но бледно как полотно, и черные потухшие глаза стояли неподвижно.

— Бог помочь! — сказал он, кланяясь. — Прошу беседу для меня не чиниться и тебя, хозяин, обо мне не заботиться. Я завернул в вашу деревню на минуту: надо покормить иноходца на перепутье; у меня вблизи дельце есть.

Увидев меня в мундире, он раскланялся очень развязно, даже слишком развязно для своего состояния, и скромно спросил, не может ли чем послужить мне? Потом, с позволения, подсев ко мне ближе, завел речь о том и о сем, пятом и десятом. Рассказы его были очень забавны, замечания резки, шутки ядовиты; заметно было, что он терся долго между светскими людьми как посредник запрещенных забав или как их преследователь, — кто знает, может быть, как блудный купеческий сын, купивший своим именем жалкую опытность, проживший с золотом здоровье и добрые нравы. Слова его отзывались какою-то насмешливостью надо всем, что люди привыкли уважать, по крайней мере наружно. Не из ложного хвастовства и не из лицемерного смирения рассказывал он про свои порочные склонности и поступки; нет, это уже был закоснелый, холодный разврат. Злая усмешка презрения ко всему окружающему беспрестанно бродила у него на лице, и когда он наводил свои пронзающие очи на меня, невольный холод пробегал по коже.

— Не правда ли, сударь,— сказал он мне после некоторого молчания,— вы любуетесь невинностию и веселостью этих простяков, сравнивая скуку городских баб с крестьянскими посиделками? И, право, напрасно. Невинности давно уж нету в помине нигде. Горожане говорят, что она полевой цветок, крестьяне указывают на зеркальные стекла, будто она сидит за ними, в позолоченной клетке; между тем как она схоронена в староверских книгах, которым для того только верят, чтоб побранить наше время. А веселость, сударь? Я, пожалуй, оживлю вам для потехи эту обезьяну, называемую вами веселостью. Штоф сладкой водки парням, дюжину пряников молодежи и пары три аршин тесемок девушкам — вот мужицкий рай; надолго ли?

Он вышел и, возвратясь, принес все, о чем говорил, из санок. Как человек привычный к этому делу, он подсел в кружок и совершенно сельским наречием, с разными прибаутками, потчевал пряничными петушками, раздавал самым пригоженьким ленты, пуговицы на сарафаны, сережки со стеклами и тому подобные безделки, наливал парням водку и даже уговорил некоторых молодых прихлебнуть сладкой наливки. Беседа зашумела как улей, глаза засверкали у молодых, вольные выражения срывались с губ, и, слушая рассказы незнакомца, нашептываемые им на ухо, красные девушки смеялись и уж гораздо ласковее, хотя исподлобья поглядывали на своих соседей. Чтобы довершить суматоху, он подошел к светцу, в котором воткнутая лучина роняла огарки свои в старую сковороду, стал поправлять ее и потушил, будто не нарочно. Минут десять возился он в темноте, вздувая огонь, и в это время звуки многих нескромных поцелуев раздавались кругом между всеобщим смехом. Когда вспыхнула опять лучина, все уже скромно сидело по местам; но незнакомец лукаво показал мне на румяные щеки красавиц. Скоро оказались тлетворные следствия его присутствия. Охмелевшие крестьяне стали спорить и ссориться между собою; крестьянки завистливым глазом смотрели на подруг, которым достались лучшие безделки. Многие парни, в порыве ревности, упрекали своих любезных, что они чересчур ласково обходились с незнакомым гостем; некоторые мужья грозили уже своим половинам, что они докажут кулаком любовь

свою за их перемиги с другими; даже ребятишки на полатях дрались за орехи.

Сложив руки на груди, стоял чудный незнакомец у стенки и с довольною, но ироническою улыбкою смотрел на следы своих проказ.

— Вот люди! — сказал он мне тихо... но в двух этих словах было многое. Я понял, что он хотел выразить: как в городах и селах, во всех состояниях и возрастах подобны пороки людские; они равняют бедных и богатых глупостию; различны погремушки, за которыми кидаются они, но ребячество одинаково. То по крайней мере высказывал насмешливый взор и тон речей; так по крайней мере мне казалось.

Но мне скоро наскучил разговор этого безнравственного существа, и песни, и сельские игры; мысли пошли опять привычною стезею. Опершись рукою об стол, хмурен и рассеян отвечал я на вопросы, глядел на окружающее, и невольный ропот вырывался из сердца, будто пресыщенного полынью. Незнакомец, взглянув на свои часы, сказал мне;

— Уж скоро десять часов.

Я был очень рад тому; я жаждал тишины и уединения.

В это время один из молодцов, с рыжими усами и открытого лица, вероятно, осмеленный даровым ерофеичем, подошел ко мне с поклоном.

— Что я тебя спрошаю, барин, — сказал он, — есть ли в тебе молодецкая отвага?

Я улыбнулся, взглянув на него: такой вопрос удивил меня очень.

— Когда бы кто-нибудь поумнее тебя сделал мне подобный спрос, — отвечал я, — он бы унес ответ на боках своих.

— И, батюшка сударь, — возразил он, — будто я сомневаюсь, что ты с широкими своими плечами на дюжину пойдешь, не засуча рукавов; такая удадь в каждом русском молодце не диковинка. Дело не об людях, барин; я хотел бы знать, не боишься ли ты колдунов и чертовщины?

Смешно бы было разуверять его; напрасно уверять в моем неверии ко всему этому.

— Чертей я боюсь еще менее, чем людей! — был мой ответ.

— Честь и хвала тебе, барин! — сказал молодец. — Насилу нашел я товарища. И ты бы не ужасился увидеть нечистого носом к носу?

— Даже схватить его за нос, друг мой, если б ты мог вызвать его из этого рукомошника...

— Ну, барин, — промолвил он, понизив голос и склонясь над моим ухом, — если ты хочешь погадать о чем-нибудь житейском, если у тебя есть, как у меня, какая разлапушка, так, пожалуй, катнем; мы увидим тогда все, что случится с ними и с нами вперед. Чур, барин, только не робеть: на это гаданье надо сердце-тройчатку. Что ж, приказ или отказ?

Я было хотел отвечать этому долгополому гадателю, что он или дурак, или хвостун и что я, для его забавы или его простоты, вовсе не хочу сам делать глупостей; но в это мгновение повстречал насмешливый взгляд незнакомца, который будто говорил: «Ты хочешь, друг, прикрыть благоразумными словами глупую робость! Знаем мы вашу братью, вольномыслящих дворянчиков!» К этому взору он присоединил и увещание, хотя никак не мог слышать, что меня звали на гаданье.

— Вы, верно, не пойдете, — сказал он сомнительно. — Чему быть путному, даже забавному от таких людей!

— Напротив, пойду!.. — возразил я сухо. Мне хотелось поступить наперекор этому незнакомцу. — Мне давно хочется раскусить, как орех, свою будущую судьбу и познакомиться покорооче с лукавым, — сказал я гадателю. — Какой же ворожкой вызовем мы его из ада?

— Теперь он рыщет по земле, — отвечал тот, — и ближе к нам, нежели кто думает; надо заставить его сделать по нашему велению.

— Смотрите, чтобы он не заставил вас делать по своему хотению, — произнес незнакомец важно.

— Мы будем гадать страшным гаданьем, — сказал мне на ухо парень, — зажав нечистого на воловьей коже. Меня уж раз носил он на ней по воздуху, и что видел я там, что слышал, — примолвил он, бледнея, — того... Да ты сам, барин, попытаешь все.

Я вспомнил, что в примечаниях к «Красавице озера» («Lady of the lake») Вальтер Скотт приводит письмо одного шотландского офицера, который гадал точно таким образом, и говорит с ужасом, что человеческий язык не может выразить тех страхов, которыми он был обуян.

Мне любопытно стало узнать, так ли же выполняются у нас обряды этого гаданья, остатка язычества на разных концах Европы.

— Идем же сейчас,— сказал я, опоясывая саблю свою и надевая просушенные сапоги.— Видно, мне сегодня судьба мыкаться конями и чертями! Посмотрим, кто из них доведет меня до цели!

Я переступил за порог, когда незнакомец, будто с видом участия, сказал мне:

— Напрасно, сударь, извольте идти: воображение— самый злой волшебник, и вам бог весть что может почудиться!

Я поблагодарил его за совет, примолвив, что я иду для одной забавы, имею довольно ума, чтоб заметить обман, и слишком трезвую голову и слишком твердое сердце, чтоб ему поддаться.

— Пускай же сбудется чему должно! — произнес вслед мой незнакомец.

Проводник зашел в соседний дом.

— Вечор у нас приняли черного как смоль быка, без малейшей отметки,— сказал он, вытаскивая оттуда свежую шкуру,— и она-то будет нашим ковром-самолетом.— Под мышкой нес он красного петуха, три ножа сверкали за поясом, а из-за пазухи выглядывала головка полуштофа, по его словам какого-то зелья, собранного на Иванову ночь. Молодой месяц протек уже полнеба. Мы шли скоро по улице, и провожатый заметил мне, что ни одна собака на нас не взлаяла; даже встречные кидались спрометью в подворотни и только, ворча, выглядывали оттуда. Мы прошли версты полторы; деревня от нас скрылась за холмом, и мы поворотили на кладбище.

Ветхая, подавленная снегом, бревенчатая церковь возникала посреди полурухнувшей ограды, и тень ее тянулась вдаль, словно путь за мир могильный. Ряды крестов, тленных памятников тлеющих под ними поселян, смиренно склонялись над пригорками, и несколько елей, скрипя, качали черные ветви свои, колеблемые ветром.

— Здесь! — сказал проводник мой, бросив шкуру вверх шерстью. Лицо его совсем изменилось: смертная бледность проступила на нем вместо жаркого румянца; место прежней говорливости заступила важная таинственность.— Здесь! — повторил он.— Это место дорого для того, кого станем вызывать мы: здесь, в разные вре-

мена, схоронены трое любимцев ада. В последний раз напоминаю, барин: если хочешь, можешь воротиться, а уж начавши коляду, не оглядывайся, что бы тебе ни казалось, как бы тебя ни кликали, и не твори креста, не читай молитвы... Нет ли у тебя ладанки на вороту?

Я отвечал, что у меня на груди есть маленький образ и крестик, родительское благословение.

— Сними его, барин, и повесь хоть на этой могилке: своя храбрость теперь нам оборона.

Я послушался почти нехотя. Странная вещь: мне стало будто страшнее, когда я удалил от себя моих пенатов от самого младенчества; мне показалось, что я остался вовсе один, без оружия и защиты. Между тем гадатель мой, произнося невнятные звуки, начал обводить круг около кожи. Начертив ножом дорожку, он окропил ее влагою из стклянки и потом, задушив петуха, чтобы он не крикнул, отрубил его голову и полил кровью в третий раз очарованный круг. Глядя на это, я спросил:

— Не будем ли варить в котле черную кошку, чтобы ведьмы, родня ее, дали выкупа?

— Нет! — сказал заклинатель, вонзая треугольником ножи, — черную кошку варят для привороту к себе красавиц. Штука в том, чтобы выбрать из косточек одну, которую если тронешь, на кого задумаешь, так по тебе с ума сойдет.

«Дорого бы заплатили за такую косточку в столицах, — подумал я, — тогда и ум, и любезность, и красота, самое счастье дураков спустили бы перед нею флаги».

— Да все равно, — продолжал он, — можно эту же силу достать в Иванов день. Посадить лягушку в дыравый бурак, наговорить, да и бросить в муравейник, так она человеческим голосом закричит; наутро, когда она будет съедена, останется в бураке только вилочка да крючок; этот крючок — неизменная уда на сердца; а коли больно наскучит, тронь вилочкой — как рукавицу долой, всю прежнюю любовь снимет.

«Что касается до забвения, — думал я, — для этого не нужно с нашими дамами чародейства».

— Пора! — произнес гадатель. — Смотри, барин: коли мила тебе душа, не оглядывайся. Любишься на месяц и жди, что сбудется.

Завернувшись в медвежью шубу, я лег на роковой

воловьей шкуре, оставив товарища чародействовать, сколько ему угодно. Невольно, однако ж, колесо мыслей опять и опять приносило мне вопрос: откуда в этом человеке такая уверенность? Он мог ясно видеть, что я вовсе не легковверен, следовательно, если думает морочить меня, то через час, много два, открою вполне его обманы... Притом, какую выгоду найдет он в обмане? Ни ограбить, ни украсть у меня никто не посмеет... Впрочем, случается, что сокровенные силы природы даются иногда людям самым невежественным. Сколько есть целебных трав, магнетических средств в руках у простолюдинов... Неужели?.. Мне стало стыдно самого себя, что зерно сомнения запало в мою голову. Но когда человек допустит себе вопрос о каком-либо предмете, значит, верование его поколеблено, и кто знает, как далеки будут размахи этого маятника?.. Чтобы отвлечь себя от думы о мире духов, которые, может статься, окружают нас незримо и действуют на нас неосязимо, я прильнул очами к месяцу.

«Тихая сторона мечтаний! — думал я. — Неужели ты населена одними мечтаниями нашими? Для чего так любовно летят к тебе взоры и думы человеческие? Для чего так мило сердцу твое мерцанье, как дружеский привет иль ласка матери? Не родное ли ты светило земле? Не подруга ли ты судьбы ее обитателей, как ее спутница в странничестве эфирном? Прелестна ты, звезда покоя, но земля наша, обиталище бурь, еще прелестнее, и потому не верю я мысли поэтов, что туда суждено умчаться теням нашим, что оттого влечешь ты сердце и думы! Нет, ты могла быть колыбелью, отчизною нашего духа; там, может быть, расцвело его младенчество, и он любит летать из новой обители в знакомый, но забытый мир твой; но не тебе, тихая сторона, быть приютом буйной молодости души человеческой! В полете к усовершенствованию ей доля — еще прекраснейшие миры и еще тягчайшие испытания, потому что дорогою ценой покупаются светлые мысли и тонкие чувства!»

Душа моя зажглась прикосновением этой искры; образ Полины, облеченный всеми прелестями, приданными воображением, несся передо мною...

«О! зачем мы живем не в век волшебств, — подумал я, — чтобы хоть ценой крови, ценою души купить временное всевластие, — ты была бы моя. Полина... моя!..»

Между тем товарищ мой, стоя сзади меня на коленях, произносил непонятные заклинания; но голос его затихал постепенно; он роптал уже подобно ручью, катящемуся под снежную глыбою...

— Идет, идет!.. — воскликнул он, упав ниц. Его голосу отвечал вдали шум и топот, как будто вихорь гнал метель по насту, как будто удары молота гремели по камню... Заклинатель смолк, но шум, постепенно возрастая, налетел ближе... Невольным образом у меня занялся дух от боязненного ожидания, и холод пробежал по членам... Земля звучала и дрожала — я не вытерпел и оглянулся...

И что ж? Полштоф стоял пустой, и рядом с ним храпел мой пьяный духовидец, упав ничком! Я захохотал, и тем охотнее, что предо мной сдержал коня своего незнакомец, проезжая в санках мимо. Он охотно помог мне посмеяться такой встрече.

— Не говорил ли я вам, сударь, что напрасно изволите верить этому глупцу. Хорошо, что он недолго сучал вам, поторопившись нахрабрить себя сначала; мудрено ли, что таким гадалеям с перепою видятся чудеса!

И между тем злые очи его пронизали морозом сердце, и между тем коварная усмешка доказывала его радость, видя мое замешательство, застав, как орбелого ребенка, впотьмах и врасплох.

— Каким образом ты очутился здесь, друг мой? — спросил я неизбежного незнакомца, не очень довольный его уроком.

— Стоит обо мне вздумать, сударь, и я как лист перед травой... — отвечал он лукаво. — Я узнал от хозяина, что вам угодно было ехать на бал князя Львинского; узнал, что деревенские неучи отказались везти вас, и очень рад служить вам: я сам туда еду повидаться под шумок с одною барскою барыней. Мой иноходец, могу похвалиться, бегаёт как черт от ладану, и через озеро не далее восьми верст!

Такое предложение не могло быть принято мною худо; я вспрыгнул от радости и кинулся обнимать незнакомца. Приехать хоть в полночь, хоть на миг... это прелесть, это занимательно!

— Ты разодолжил меня, друг мой! Я готов отдать тебе все наличные деньги! — вскричал я, садясь в саночки.

— Поберегите их у себя,— отвечал незнакомец, садясь со мною рядом.— Если вы употребите их лучше, нежели я, безрассудно было бы отдавать их, а если так же дурно, как я, то напрасно!

Вожжи натянулись, и как стрела, стальным луком ринутая, полетел иноходец по льду озера. Только звучали подрезы, только свистел воздух, раздираемый быстрою иноходью. У меня занялся дух и замирало сердце, видя, как прыгали наши казанки через трещины, как вились и крутились они по закраинам польней. Между тем он рассказывал мне все тайные похождения окружного дворянства: тот волочится за предводительшей; та была у нашего майора в гостях под маскою; тот вместо волка наехал с собаками на след соседа и чуть не затравил зверька в спальне у жены своей. Полковник наш поделился сколькими-то тысячами с губернатором, чтоб очистить квитанцию за постой... Прокурор получил недавно пирог с золотою начинкою, за то, чтоб замять дело помещика Ремницына, который засек своего чело- века, и проч., и проч.

— Удивляюсь, как много здесь сплетней,— сказал я,— дивлюсь еще более, как они могут быть тебе известны.

— Неужели вы думаете, сударь, что серебро здесь ходит в другом курсе или совесть судейская дороже, нежели в столицах? Неужели вы думаете, что огонь здесь не жжет, женщины не ветреничают и мужья не носят рогов? Слава богу, эта мода, я надеюсь, не устареет до конца света! Это правда, теперь больше говорят о честности в судах и больше выказывают скромности в обществах, но это для того только, чтоб набить цены. В больших городах легче скрыть все проказы; здесь, напротив, сударь, здесь нет ни модных магазинов, ни лож с решетками, ни наемных карет, ни посещений к бедным; кругом несметная, но сметливая дворня и ребятишки на каждом шагу. Вышло из моды ходить за грибами, и еще не введены прогулки верхом, так бедняжкам нежным сердцам, чтобы свидеться, надо ждать отъезжего поля, или престольного праздника у соседов, или бурной ночи, чтобы дождь и ветер смели следы отважного обожателя, который не боится ни зубов собак, ни языков соседок. Впрочем, сударь, вы это знаете не хуже моего. На бале будет звезда здешних красавиц, Полина Павловна.

— Мне все равно, — отвечал я хладнокровно.

— В самом деле? — произнес незнакомец, взглянув на меня насмешливо-пристально. — А я бы прозакладывал свою бобровую шапку и, к ней в придачу, свою голову, что вы для нее туда едете... В самом деле, вам бы давно пора осушить поцелуями ее слезы, как это было три недели тому назад, в пятом часу после обеда, когда вы стояли перед ней на коленях!

— Бес ты или человек?! — яростно вскричал я, схватив незнакомца за ворот. — Я заставляю тебя высказаться, от кого научился ты этой клевете, заставляю век молчать о том, что знаешь.

Я был поражен и раздражен словами незнакомца. От кого мог он сведать подробности моей тайны? Никому и никогда не открывал я ее; никогда вино не исторгало у меня нескромности; даже подушка моя никогда не слыхала звука изменнического; и вдруг вещь, которая происходила в четырех стенах, между четырьмя глазами, во втором этаже и в комнате, в которой, конечно, никто не мог подсмотреть нас, — вещь эта стала известною такому бездельнику! Гнев мой не имел границ. Я был силен, я был рассержен, и незнакомец дрогнул, как трость в руке моей; я приподнял его с места. Но он оторвал прочь руку мою, будто маковку репейника, и оттолкнул, как семилетнего ребенка.

— Вы проиграете со мной в эту игру, — сказал он хладнокровно, однако ж решительно. — Угрозы для меня монета, которой я не знаю цены; да и к чему все это? Скрипучую дверь не заставишь молчать молотом, а маслом; притом же моя собственная выгода в скромности. Вот уж мы и у ворот княжеского дома; помните, несмотря на свою недоверчивость, что я вам на всякую удалую службу неизменное копьё. Я жду вас для возврата за этим углом; желаю удачи!

Я не успел еще образумиться, как санки наши шаркнули к подъезду и незнакомец, высадив меня, пропал из виду. Вхожу, — все шумит и блещет: сельский бал, что называется, в самом развале; плясуны вертелись, как по обещанию, дамы, несмотря на полночь, были очень бодрь. Любопытные облепили меня, чуть завидев, и полились вопросы и восклицания ливня. Рассказываю вкратце свое похождение, извиняюсь перед хозяевами, прикладываюсь к перчаткам почетных старух, пожимаю руки

друзьям, бросаю мимоходом по лестному словцу дамам и быстро пробегаю комнаты одну за другою, ища Полины. Я нашел ее вдали от толпы, одинокую, бледную, с поникшею головою, будто цветочный венок подавлял ее как свинец. Она радостно вскрикнула, увидев меня, огневой румянец вспыхнул на лице; хотела встать, но силы ее оставили, и она снова опустилась в кресла, закрыв опухшим очам, будто ослепленная внезапным блеском.

Укротив, сколько мог, волнение, я сел подле нее. Я прямо и откровенно просил у ней прощенья в том, что не мог выдержать тяжкого испытания, и, разлучаясь, может быть навек, прежде чем брошусь в глухую, холодную пустыню света, хотел еще однажды согреть душу ее взором,— или нет: не для любви — для науки разлюбить ее приехал я, из желания найти в ней какой-нибудь недостаток, из жажды поссориться с нею, быть огорченным ее упреками, раздраженным ее холодностию, для того, чтобы дать ей самой повод хотя в чем-нибудь обвинять меня, чтобы нам легче было расстаться, если она имеет жестокость называть виною неодолимое влечение любви, помня заветы самолюбца-рассудка и не внимая внушениям сердца!.. Она прервала меня.

— Я бы должна была упрекать тебя,— сказала она,— но я так рада, так счастлива, тебя увидев, что готова благодарить за неисполненное обещание. Я оправдываюсь, я утешаюсь тем, что и ты, твердый мужчина, доступен слабости; и неужели ты думаешь, что если б даже я была довольно благоразумна и могла бы на тебя сердиться, я стала бы отравлять укоризнами последние минуты свидания?.. Друг мой, ты все еще веришь менее моей любви, чем благоразумию, в котором я имею столько нужды; пусть эти радостные слезы разуверят тебя в противном!

Если б было возможно, я бы упал к ногам ее, целовал бы следы ее, я бы... я был вне себя от восхищения!.. Не помню, что я говорил и что слышал, но я был так весел, так счастлив!.. Рука об руку мы вмещались в круг танцующих.

Не умею описать, что со мною случилось, когда, обвивая тонкий стан ее рукою, трепетною от наслаждения, я пожимал другой ее прелестную ручку; казалось, кожа перчаток приняла жизнь, передавая биение каждой фибры... Казалось, весь состав Полины прыщет искрами! Когда

помчались мы в бешеном вальсе, ее летающие, душистые локны касались иногда губ моих; я вдыхал ароматный пламень ее дыхания; мои блуждающие взгляды проникали сквозь дымку, — я видел, как бурно вздымались и опадали белоснежные полушары, волнуемые моими вздохами, видел, как пылали щеки ее моим жаром, видел — нет, я ничего не видал... пол исчезал под ногами; казалось, я лечу, лечу, лечу по воздуху, с сладостным замиранием сердца! Впервые забыл я приличия света и самого себя. Сидя подле Полины в кругу котильона, я мечтал, что нас только двое в пространстве; все прочее представлялось мне слитно, как облака, раздуваемые ветром; ум мой крутился в пламенном вихре.

Язык, этот высокий дар небес, был последним средством между нами для размена чувствований; каждый волосок говорил мне и на мне о любви; я был так счастлив и так несчастлив, вместе. Сердце разрывалось от полноты; но мне чего-то недоставало... Я умолял ее позволить мне произнести в последний раз *люблю* на свободе, запечатлеть поцелуем разлуку вечную... Это слово поколебало ее твердость! Тот не любил, кто не знал слабостей... Роковое согласие сорвалось с ее языка.

Только при конце танца заметил я мужа Полины, который, прислонясь к противоположной стене, ревниво замечал все мои взгляды, все наши разговоры. Это был злой, низкой души человек; я не любил его всегда как человека, но теперь, как мужа Полины, я готов был ненавидеть его, уничтожить его. Малейшее столкновение с ним могло быть роковым для обоих, — я это чувствовал и удалился. Полчаса, которые протекли между обетом и и сроком, показались мне бесконечными. Через длинную галерею стоял небольшой домашний театр княжеского дома, в котором по вечеру играли; в нем-то было назначено свиданье. Я бродил по пустой его зале, между опрокинутых стульев и сгроможденных скамей. Лунный свет, падая сквозь окна, рисовал по стенам зыбкие цветы и деревья, отраженные морозными кристаллами стекол. Сцена чернелась, как вертеп, и на ней в беспорядке сдвинутые кулисы стояли, будто притаившиеся великаны; все это, однако же, заняло меня одну минуту. Если бы я был и в самом деле трус перед бестелесными существами, то, конечно, не в такое время нашла бы робость уголок в груди: я был весь ожидание, весь пламя. Ударило два ча-

са за полночь, и выблующийся колокол затих, ропща, будто страж, неохотно пробужденный; звук его потряс меня до дна души... Я дрожал, как в лихорадке, а голова горела,— я изнемогал, я таял. Каждый скрип, каждый щелк кидал меня в пот и холод... И, наконец, желанный миг настал: с легким шорохом отворились двери; как тень дыма, мелькнула в нее Полина... еще шаг, и она лежала на груди моей!! Безмолвие, запечатленное долгим поцелуем разлуки, длилось, длилось... наконец Полина прервала его.

— Забудь,— сказала она,— что я существую, что я любила, что я люблю тебя, забудь все и прости!

— Тебя забыть! — воскликнул я.— И ты хочешь, чтобы я разбил последнее звено утешения в чугунной цепи жизни, которую отныне осужден я волочить, подобно колоднику; чтобы я вырвал из сердца, сгладил с памяти мысль о тебе? Нет, этого никогда не будет! Любовь была мне жизнь и кончится только с жизнью!

И между тем я сжимал ее в своих объятиях, между тем адский огонь пробежал по моим жилам... Тщетно она вырывалась, просила, умоляла; я говорил:

— Еще, еще один миг счастья, и я кинусь в гроб будущего!

— Еще раз прости,— наконец произнесла она твердо.— Для тебя я забыла долг, тебе пожертвовала домашним покоем, для тебя презрела теперь двусмысленные взоры подруг, насмешки мужчин и угрозы мужа; неужели ты хочешь лишить меня последнего наружного блага — доброго имени?.. Не знаю, отчего так замирает у меня сердце и невольный трепет пролетает по мне; это страшное предчувствие!.. Но прости... уж время!

— Уж поздно! — произнес голос в дверях, растворившихся быстро.

Я-обомлел за Полину, я кинулся навстречу пришедшему, и рука моя уперлась в грудь его. Это был незнакомец!

— Бегите! — сказал он, запыхавшись.— Бегите! Вас ищут. Ах, сударыня, какого шума вы наделали своею неосторожностью! — примолвил он, заметив Полину.— Ваш муж беснуется от ревности, рвет и мечет все, гоняясь за вами... Он близко.

— Он убьет меня! — вскричала Полина, упав ко мне на руки.

— Убить не убьет, сударыня, а, пожалуй, прибьет; от него все станется; а что огласит это на весь свет, в том нечего сомневаться. И то уж все заметили, что вы вместе исчезли, и, узнав о том, я кинулся предупредить встречу.

— Что мне делать? — произнесла Полина, ломая руки и таким голосом, что он пронзил мне душу: укор, раскаяние и отчаяние отзывались в нем.

Я решился.

— Полина! — отвечал я. — Жребий брошен: свет для тебя заперт; отныне я должен быть для тебя всем, как ты была и будешь для меня; отныне любовь твоя не будет знать раздела, ты не будешь принадлежать двоим, не принадлежа никому. Под чужим небом найдем мы приют от преследований и предрассудков людских, а примерная жизнь искупит преступление. Полина! время дорого...

— Вечность дороже! — возразила она, склонив голову на сжатые руки.

— Идут, идут! — вскричал незнакомец, возвращаясь от двери. — Мои сани стоят у заднего подъезда; если вы не хотите погибнуть бесполезно, то ступайте за мною!

Он обоих нас схватил за руки... Шаги многих особ звучали по коридору, крик раздавался в пустой зале.

— Я твоя! — шепнула мне Полина, и мы скоро побежали через сцену, по узенькой лесенке, вниз, к небольшой калитке.

Незнакомец вел нас как домашний; иноходец заржал, увидев седоков. Я завернул в шубу свою, оставленную на санях, едва дышащую Полину, впрыгнул в сани, и когда долетел до нас треск выломленных в театре дверей, мы уже неслись во всю прыть, через село, вокруг плетней, вправо, влево, под гору, — и вот лед озера звучно затрещал от подков и подрезей. Мороз был жестокий, но кровь моя ходила огненным потоком. Небо яснило, но мрачно было в душе моей. Полина лежала тиха, недвижна, безмолвна. Напрасно расточал я убеждения, напрасно утешал ее словами, что сама судьба соединила нас, что если б она осталась с мужем, то вся жизнь ее была бы сцепление укоризн и обид!

— Я все бы снесла, — возразила она, — и снесла терпеливо, потому что была еще невинна, если не перед светом, то перед богом, но теперь я беглянка, я заслужила

свой позор! Этого чувства не могу я затаить от самой себя, хотя бы вдали, в чужбине, я возродилась граждански, в новом кругу знакомых. Все, все можешь ты обновить для меня, все, кроме преступного сердца!

Мы мчались. Душа моя была раздавлена печалью. «Так вот то столь желанное счастье, которого и в самых пылких мечтах не полагал я возможным,— думал я,— так вот те очаровательные слова я твоя, которых звук мечтался мне голосом неба! Я слышал их, я владею Полиною, и я так глубоко несчастлив, несчастнее чем когда-нибудь!»

Но если наши лица выражали тоску душевную, лицо незнакомца, сидящего на беседке, обращалось на нас радостнее обыкновенного. Коварно улыбался он, будто радуясь чужой беде, и страшно глядели его тусклые очи. Какое-то невольное чувство отвращения удаляло меня от этого человека, который так нечаянно навязался мне со своими роковыми услугами. Если б я верил чародейству, я бы сказал, что какое-то неизъяснимое обаяние таилось в его взорах, что это был сам лукавый,— столь злобная веселость о падении ближнего, столь холодная, бесчувственная насмешка были видны в чертах его бледного лица! Недалеко было до другого берега озера; все молчали, луна задернулась радужною дымкою.

Вдруг потянул ветерок, и на нем слышали мы за собой топот погони.

— Скорей, ради бога, скорей! — вскричал я проводнику, укоротившему бег своего иноходца.

Он вздрогнул и сердито отвечал мне:

— Это имя, сударь, надобно бы вам было вспомнить ранее или совсем не упоминать его.

— Погоняй! — возразил я. — Не тебе давать мне уроки.

— Доброе слово надо принять от самого черта, — отвечал он, как нарочно сдерживая своего иноходца. — Притом, сударь, в Писании сказано: «Блажен, кто и скоты милует!» Надобно пожалеть и этого зверька. Я получу свою уплату за прокат; вы будете владеть прекрасною барынею; а что выиграет он за пот свой? Обыкновенную дачу овса? Он ведь не употребляет шампанского, и простонародный желудок его не варит и не ценит дорогих яств, за которые двуногие не жалеют ни души, ни тела. За что же, скажите, он надорвет себя?

— Пошел, если не хочешь, чтобы я изорвал тебя самого! — вскричал я, хватаясь за саблю.— Я скоро облегчу сани от лишнего груза, а свет от подобного тебе бездельника!

— Не горячитесь, сударь,— хладнокровно возразил мне незнакомец.— Страсть ослепляет вас, и вы становитесь несправедливы, потому что нетерпеливы. Не шутя уверяю вас, что иноходец выбился из сил. Посмотрите, как валит с него пар и клубится пена, как он храпит и шатается; такой тяжести не возил он сроду. Неужели считаете вы за ничто троих седоков... и тяжкий грех в прибавку? — примолвил он, обнажая злой усмешкою зубы.

Что мне было делать? Я чувствовал, что находился во власти этого безнравственного злодея. Между тем мы подвигались вперед мелкою рысцою. Полина оставалась как в забытьи: ни мои ласки, ни близкая опасность не извлекли ее из этого отчаянного бесчувствия. Наконец при тусклом свете месяца мы увидели ездука, скачущего во весь опор за нами; он понуждал коня криком и ударами. Встреча была неизбежна... И он, точно, настиг нас, когда мы стали подниматься на крутой въезд берега, обогнув обледенелую прорубь. Уже он был близко, уж едва не схватывал нас, когда храпящая лошадь его, вскочив наверх, споткнулась и пала, придавив под собою всадника. Долго бился он под нею и, наконец, выскочил из-под недвижимого трупы и с бешеным кинулся к нам; это был муж Полины.

Я сказал, что я уже ненавижу этого человека, сделавшего несчастною жену свою, но я преодолел себя: я отвечал на его упреки учтиво, но твердо; на его брань кротко, но смело и решительно сказал ему, что он, во что бы ни стало не будет более владеть Полиною; что шум только огласит этот несчастный случай и он потеряет многое, не возвратив ничего; что если он хочет благородного удовлетворения, я готов завтра поменяться пулями!

— Вот мое удовлетворение, низкий обольститель! — вскричал муж ее и занес дерзкую руку...

И теперь, когда я вспомню об этой роковой минуте, кровь моя вспыхивает как порох. Кто из нас не был напитан с младенчества понятиями о неприкосновенности дворянина, о чести человека благородного,

о достоинстве человека? Много-много протекло с тех пор времени по голове моей; оно охладило ее, ретивое бьется тише, но до сих пор, со всеми философическими правилами, со всею опытностию моею, не ручаюсь за себя, и прикосновение ко мне перстом взорвало бы на воздух и меня и обидчика. Вообразите ж, что случилось тогда со мною, заносчивым, вспыльчивым юношею! В глазах у меня померкло, когда удар миновал мое лицо: он не миновал моей чести! Как лютой зверь кинулся я с саблею на безоружного врага, и клинок мой погрузился трижды в его череп, прежде чем он успел упасть на землю. Один страшный вздох, один краткий, но пронзительный крик, одно клокотание крови из ран — вот все, что осталось от его жизни в одно мгновение! Бездушный труп упал на склон берега и покатился вниз на лед.

Еще не сытый местию, в порыве исступления сбежал я по кровавому следу на озеро, и, опершись на саблю, склонясь над телом убитого, я жадно прислушивался к журчанию крови, которое мнилось мне признаком жизни.

Испытали ли вы жажду крови? Дай бог, чтобы никогда не касалась она сердцам вашим; но, по несчастью, я знал ее во многих и сам изведал на себе. Природа наказала меня неистовыми страстями, которых не могли обуздать ни воспитание, ни навык; огненная кровь текла в жилах моих. Долго, неизмеримо долго мог я хранить хладную умеренность в речах и поступках при обиде, но зато она исчезала мгновенно, и бешенство овладевало мною. Особенно вид пролитой крови, вместо того чтобы угасить ярость, был маслом на огне, и я, с какою-то тигровою жадностию, готов был источить ее из врага каплей по капле, подобен тигру, вкусившему ненавистного напитка. Эта жажда была страшно утолена убийством. Я уверился, что враг мой не дышит.

— Мертв! — произнес голос над ухом моим. Я поднял голову: это был неизбежный незнакомец с неизменною усмешкою на лице. — Мертв! — повторил он. — Пускай же мертвые не мешают живым, — и толкнул ногой окровавленный труп в полынью.

Тонкая ледяная кора, подернувшая воду, звучно разбилась; струя плеснула на закраину, и убитый тихо пошел ко дну.

— Вот что называется: и концы в воду, — сказал со смехом проводник мой. Я вздрогнул невольно; его адский смех звучит еще доселе в ушах моих. Но я, вперив очи на зеркальную поверхность полыньи, в которой, при бледном луче луны, мне чудился еще лик врага, долго стоял неподвижен. Между тем незнакомец, захватывая горстями снег с краин льда, засыпал им кровавую стезю, по которой скатился труп с берега, и приволок загнанную лошадь на место схватки.

— Что ты делаешь? — спросил я его, выходя из оцепенения.

— Хороню свой клад, — отвечал он значительно. — Пусть, сударь, думают, что хотят, а уличить вас будет трудно: господин этот мог упасть с лошади, убится и утонуть в проруби. Придет весна, снег стает...

— И кровь убитого улетит на небо с парами! — возразил я мрачно. — Едем!

— До бога высоко, до царя далеко, — произнес незнакомец, будто вызывая на бой земное и небесное правосудие. — Однако ж ехать точно пора. Вам надобно до суматохи добраться в деревню, оттуда скакать домой на отдохнувшей теперь тройке и потом стараться уйти за границу. Белый свет широк!

Я вспомнил о Полине и бросился к саням; она стояла подле них на коленях, со стиснутыми руками, и, казалось, молилась. Бледна и холодна как мрамор была она; дикие глаза ее стояли; на все вопросы мои отвечала она тихо:

— Кровь! На тебе кровь!

Сердце мое расторглось... но медлить было бы гибельно. Я снова завернул ее в шубу свою, как сонное дитя, и сани полетели.

Один я бы мог вынести бремя зол, на меня ниспавшее. Проникнутый светскою нравственностью, или, лучше сказать, безнравственностью, еще горячий мстью, еще волнуем бурными страстями, я был недоступен тогда истинному раскаянию. Убить человека, столь сильно меня обидевшего, казалось мне предосудительным только потому, что он был безоружен; увести чужую жену считал я, в отношении к себе, только шалостью, но я чувствовал, как важно было все это в отношении к ней, и вид женщины, которую любил я выше жизни, которую погубил своею любовью, потому что

она пожертвовала для меня всем, всем, что приятно сердцу и свято душе,— знакомством, родством, отечеством, доброю славою, даже покоем совести и самым разумом... И чем мог я вознаградить ее в будущем за потерянное? Могла ли она забыть, чему была виною? Могла ли заснуть сном безмятежным в объятиях, дымящихся убийством, найти сладость в поцелуе, оставляющем след крови на устах,— и чьей крови? Того, с кем была она связана священными узами брака! Под каким благотворным небом, на какой земле гостеприимной найдет сердце преступное покой? Может быть, я бы нашел забвение всего в глубине взаимности; но могла ли слабая женщина отринуть или заглушить совесть? Нет, нет! Мое счастье исчезло навсегда, и самая любовь к ней стала отныне огнем адским.

Воздух свистел мимо ушей.

— Куда ты везешь меня? — спросил я проводника.

— Откуда взял — на кладбище! — возразил он злобно.

Сани влетели в ограду; мы неслись, задевая за кресты, с могилы на могилу и, наконец, стали у бычачьей шкуры, на которой совершал я гаданье: только там не было уже прежнего товарища; все было пусто и мертво кругом, я вздрогнул против воли.

— Что это значит? — гневно вскричал я. — Твои шутки не у места. Вот золото за проклятые труды твои; но вези меня в деревню, в дом.

— Я уж получил свою плату, — отвечал он злобно, — и дом твой здесь, здесь твоя брачная постель!

С этими словами он сдернул воловью кожу: она была растянута над свежевырытою могилою, на краю которой стояли сани.

— За такую красотку не жаль души, — примолвил он и толкнул шаткие сани... Мы полетели вглубь стремглав.

Я ударился головою в край могилы и обеспамятел; будто сквозь мутный сон, мне чудилось только, что я лечу ниже и ниже, что страшный хохот в глубине отвечал стону Полины, которая, падая, хваталась за меня восклицая: «Пусть хоть в аду не разлучают нас!» И, наконец, я упал на дно... Вслед за мной падали глыбы земли и снегу, заваливая, задушая нас; сердце мое замлело, в ушах гремело и звучало, ужасающие свисты и завывания мне слышались; что-то тяжкое, косматое

давило грудь, врывалось в губы, и я не мог двинуть разбитых членов, не мог поднять руки, чтобы перекреститься... Я кончался, но с неизъяснимым мучением души и тела. Судорожным последним движением и сбросил с себя тяготящее меня бремя: это была медвежья шуба...

Где я? Что со мной? Холодный пот катился по лицу, все жилки трепетали от ужаса и усилия. Озираюсь, припоминаю минувшее... И медленно возвращаются ко мне чувства. Так, я на кладбище!.. Кругом склоняются кресты; надо мной потухающий месяц; подо мной роковая воловья шкура. Товарищ гаданья лежал ниц в глубоком усыплении... Мало-помалу я уверился, что все виденное мною был только сон, страшный, злоежущий сон!

«Так это сон?» — говорите вы почти с неудовольствием. Други, други! неужели вы так развращены, что жалеете, для чего все это не сбылось на самом деле? Благодарите лучше бога, как возблагодарил его я, за сохранение меня от преступления. Сон? Но что же иное все бывшее наше, как не смутный сон? И ежели вы не пережили со мной этой ночи, если не чувствовали, что я чувствовал так живо, если не испытали мною испытанного в мечте, — это вина моего рассказа. Все это для меня существовало, страшно существовало, как наяву, как на деле. Это гаданье открыло мне глаза, ослепленные страстью; обманутый муж, обольщенная супруга, разорванное, опозоренное супружество и, почему знать, может, кровавая месть мне или от меня — вот следствия безумной любви моей!!

Я дал слово не видеть более Полины и сдержал его.





Лейтенант Белозор

ГЛАВА I

*Прощай, прекрасная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
С неподражаемой красой!*

А. Пушкин

В то время, когда полчища Наполеоновы праздновали в Москве собственную тризну, русский флот, соединенный с великобританским, под командою английского адмирала, блокировал при голландских берегах флот французский, запертый во Флессингене. В самое бурное время года, в открытом море, на ужасной глубине, лежал он на якорях в беспрестанной борьбе со стихиями и каждый час готовясь на бой с неприятелем. За ним была пустыня океана, кругом подводные скалы, впереди грозные батареи; но он, словно крепость, воздвигшаяся со дна, стоял неподвижно,— и неслыханная дотоле блокада сия доказала свету, что русские и англичане умеют торжествовать не только над гением человека, но и над всеми силами природы.

В октябре месяце бури были ужасны и продолжительны; кто терпел их в море под парусами, тот может судить, каковы они для флота на якорной стоянке, где каждый вал, встречая неподвижную громаду, поражает ее всю силою и обрушивается на нее всею толщею своею. Корабль стонет и дрожит, тогда, как прикованный ве-

ликан, бессильный убежать от валов или всплыть на них. Продолжительный, тяжкий скрип расходящихся членов, оглушающий рев всплесков, свист ветра в блоки и шум ударяющихся снастей — наводят тоску на сердце. Везде вы видите угрюмые лица; все как будто ждет чего-то рокового, и только изредка слышится голос вахтенного лейтенанта, словно голос духа, повелителя стихий; пронзительные свистки отвечают на призыв его: море бушует.

Ураган, свирепствовавший с 16 на 17 число октября, сокрушил на берегах Англии и Голландии множество судов. Ночь эта была страшна для осаждающих; вся опытность моряков истощилась, чтоб устоять на якорях или, в случае обрыва, вступить под паруса для избежания неминуемого кораблекрушения при берегах. Посреди мрака и воя ветра повременно сверкали пушечные выстрелы, возвещая «бедствую!», фальшфейеры искрились, как блудячие огоньки над могилами, — корабли ежеминутно были в опасности свалиться.

Рассвет оказал всю бедственность их положения: линия была расстроена, корабли дрейфовали с двух якорей; на многих переломаны были стеньги и реи; иные, сорванные со стопоров, высучили канаты и под штормовыми парусами боролись вдали с вихрями; почти у всех изорванные и спутанные снасти висели в беспорядке, отопленные накрест нижние реи придавали еще более дикости виду их; волнение ходило горами. Картина была ужасная!

На русском корабле «Не тронь меня!» оказалась сильная течь; он замыкал линию слева, почти опираясь на каменную гряду подводных камней, которая на полмили простиралась в море параллельно с берегом. Прибой к ней, производящий неправильное волнение, называемое моряками толчея, всего более раскачал связь уже не нового корабля. Поставили запасные помпы, вооружили цепные; матросы работали неумоимо, но гибель была недалеко: вода лилась в расходящиеся павы, и как ни равняли канаты, но то один, то другой вытягивался в струну, готовясь лопнуть; офицеры с недоверчивостью поглядывали на третий. К счастью, с рассветом шквалы затихли, и хотя ветер дул еще сильный, но волнение и качка стали правильнее. Мало-помалу все начало приходить в порядок: выстроили линию,

убрались с повреждениями. Веселость возвратилась к усталым пловцам, лишняя чарка водки — и все забыто.

В четыре часа, то есть в восемь склянок, при смене вахт, вступающий в должность лейтенант, осмотрев все работы, подошел к капитану, ходившему по своей стороне шканцев, для рапорта о состоянии корабля.

— Господин капитан, — сказал он, приподняв свою круглую шляпу, — вахта принята благополучно, ветер сильный норд-норд-вест, глубина по лоту семьдесят восемь сажен, канатов на битенге по сто девяносто первой, воды в льяле...

— А что помпы — помпы, Николай Алексеич? — прервал его капитан, беспокоясь о течи.

— Все исправны; мы их держим на храпу, — отвечал лейтенант. — Не будет ли каких приказаний, капитан?

— Покуда никаких, Николай Алексеич, кроме благодарности вам за то, что вчерась заранее успели спустить марсарей. Опоздай вы часом, наверно бы не удержались на якоре, да не мудрено потерять бы и рангоут, а без него плохая шутка: разом повиснешь на какой-нибудь скале устрицею или пойдешь на дно хватать морские звезды!

Лейтенант был настоящий моряк, доброго, но сурового лица, загоревший от солнца всех климатов и несколько сутуловатый от привычки ходить под палубами. Шляпа его была надвинута на самые уши; пестрый шотландский плащ играл около его тела; в руках держал он лакированный жестяной рупор (разговорную трубу). На слова капитана он улыбнулся с довольным видом.

— Это игрушка, — отвечал он, — когда мы хозяйничали с Сенявиным в Адриатике, так, бывало, и стеньги спускали в четверть часа.

— Ныне это признано вредным, Николай Алексеич, — возразил капитан, пускаясь опять ходить, — снасти и ванты, спутанные на эзельгофте, представляют ветру большую площадь, нежели на выстроенной стеньге.

— Хорошо, что здесь нет осенью тифонов, — продолжал лейтенант, обращаясь к лейтенанту Белозору, у которого снял он должность, — а то поневоле бы стали делать все по-нашему. Бывало, эти смерчи, как бесы перед

заутреней, выются около носу; но если страшно попасть к ним в передел, зато весело смотреть, как они образуются и рушатся попеременно. Черное облако вдруг, как ворон, слетает на море, свертывается воронкой, то вытягивается ниткою на вихре, то бежит столбом, и между тем как молния обвивает его и море кипит, словно котел, видно, как смерч пьет воду.

— Плохой же он моряк, Николай Алексеич,— отвечал шутя Белозор, статный молодой человек, на котором из-под распахнутой шинели виден был аксельбант. На русском флоте адъютанты многих адмиралов поступают для кампаний в флотские должности по чинам,— Белозор был из числа их.— Я уверен, что наши балтийские тифоны,— примолвил он,— бывают опаснее для пуншевых стаканов, чем для заливов и проливов соленой воды.

— Конечно, так, моя невская яхточка,— ему бы следовало поучиться у нашего брата, старого моряка. Вода создана для рыб и раков, вино — для женщин и детей, мадера — для мужей и воинов, но ром и водка — для одних героев.

— Следственно, бессмертие для меня закупорено навеки: я не могу равнодушно смотреть на бутылку с ромом.

— И я тоже, любезнейший, и я тоже; у меня сердце бьет рынду, когда я завижу ее. Послужи с мое да испытай столько же бурь, тогда уверишься, что добрый стакан грогу лучше всех непромокаемых шинелей и всех противопростудных лекарств; как цапнешь темную, так два ума в голове; на валы смотришь, как на стадо барашков, и стеньги хоть в лучок гнутся — и горюшка нет!

— А какова была прошлая ночь? Если б не темнота, и на твоём лице, Николай Алексеич, полюбовались бы мы милостивою бледностью.

— Черт вытрави мою душу, если мое лицо не столь же мало сделано для румянца, как и для бледности. Буря — моя стихия. Подавай нам почаще таких ночей, по крайней мере не заржавеет; а то скука возьмет, стоя на якоре до того, что он пустит корни, как пульс, ощупывать канаты и сквозь сон покрикивать: «Заложить сейтали,— не зевать на стопорах!» То ли дело шторм? Уму, и рукам, и горлу раздолье; вся природа пляшет тогда по дудке твоей!

— Слуга покорный за ваше раздолье... Вчерась я промок до самой души, проголодался, как морская собака, и должен был холоден и голоден отправиться спать, потому что нельзя было развести огня ни под котлом, ни в камине. К довершению удовольствия, меня дважды выкинуло качкой из койки, на которую сквозь палубу, как в решето, лилась вода струями.

— Ах ты прятничная рыбка, любезный мой Виктор Ильич! Тебе бы хотелось небось, чтобы корабли плавали в розовом масле, ветер только целовал паруса, выкроенные из дамских платьев, и лейтенанты танцевали бы только повахтенно с красавицами!

— Без всякого сомнения, не отказался бы я погреть теперь сердечко подле какой-нибудь леди в Плимуте или дремать в тамошней опере после сытного обеда, чем слушать медвежий концерт ветров и всякую минуту ждать отправления в безызвестную экспедицию.

— По мне, на берегу в тысячу раз больше всяких опасностей, того и гляди, что спроворят кошелек или сердце. Когда ты обманом прибуксировал меня в доме Стефенсов, я не знал, в которую сторону обросопить нос... Пол в гостиной, казалось мне, волнуется, и я обходил каждую фарфоровую вазу, как подводный камень. А пуще всего, эта проклятая мисс Фанни навела на меня зажигательные свои глазки так метко, что я готов был бежать от нее по пятнадцати узлов в час... Да ты не слушаешь меня, рассеянная голова!

В самом деле, Белозор, стоя на пушке, уже стремился взорами к берегам Голландии, как скоро мысль его попала на проторенную дорожку — на женщин. Подобно голубю, отпущенному с ковчега, она летела в край неведомый и возвратилась с веткою маслины. Заветный берег казался ему раем: там живут добрые, умные люди, там цветут красавицы, и в них, может быть, бьются сердца, готовые любить и достойные любви!.. Двадцать пять лет — опасный возраст, милостивые государи, особенно для людей, заключенных в плывучем монастыре, и Белозор, волнуемый болезнью, которую мы привыкли называть молодостью, воспламенился пред неясною, неопределенною мечтою своего создания. Он так нежно, так страстно глядел на Голландию, как будто в ней зарыли клад его счастья, невозможность подстрекала еще больше его любопытство побывать там, и он, любуясь на пло-

тины, о которые оперлось море и из-за коих виднелись только мачты кораблей, как подводный лес, да там и сям крылья мельниц и стрелы колоколен, хотя и не выронил слезы, которая бы очень романически сорвана была вихрями и слилась с бездной океана, но вздохнул, и вздохнул очень глубоко. Не могу скрыть этого важного обстоятельства, как верный историк и покорный слуга истине.

Уже начинало смеркаться. Ветер засвежел снова и скоро обратился в шторм; но как все предосторожности были приняты, экипаж с уверенностью ожидал ночи. В это время в тесном горизонте показались паруса трехмачтового корабля, идущего с океана. Гонимый бурей, он быстро приближался к флоту под рифмарселями. Скоро разглядели, что это военный английский корабль, красный флаг его сверкал как молния в тучах. Все трубы, все глаза обратились на пришельца.

— Посмотрим, каково этот джентльмен ляжет на якорь в такую бурю! — сказал лейтенант Белозор.

— Он просто сумасброд, — прибавил вахтенный лейтенант, — форсирует парусами, входя в линию, когда в одни снасти дует так, что нельзя справиться. Посмотри, как гнутся его стеньги, мне кажется, я слышу, как трещат они. Или у него в кармане есть запасные мачты, или черти вместо матросов.

Опознавательный флаг взлетел на адмиральском корабле и повторился на репетичном фрегате, который нарочно стоял на виду за линией, но приближающийся корабль бежал вперед, не отвечая.

— Что это значит?! — вскричали многие с изумлением. — Нет ответа!

— Он держит прямо на каменную гряду, — с беспокойством сказал вахтенный лейтенант. — Смотреть хорошо сигналы.

Три флага вместе мелькнули на адмиральской грот-стеньге.

— Номер сто сорок три! — закричал штурманский ученик. Лейтенант развернул сигнальную книгу.

«Идущему с моря кораблю войти в линию и лечь на якорь подле флагманского, слева».

— Есть ли ответ? — с нетерпением спросил вахтенный лейтенант.

— Никак нету-с,— отвечал штурманский ученик. Недоумение и страх всех возражали с каждой минутой. Тот же сигнал повторился, но с выговорной пушкой,— корабль, как будто не обращая на то внимания, катился прямо на роковую банку. Напрасно адмирал поднимал остерегательные сигналы за сигналами, он не убавлял парусов, не изменял направления; все с замиранием сердца смотрели, как он неся к верной гибели.

— Он не понимает наших сигналов,— вскричал вахтенный лейтенант,— он, верно, идет не из Англии для освежения наших кораблей, а с океана; только неужто незнакома ему эта гряда? Она означена на всех картах!

— Он погибнет,— произнес Белозор,— если сию же минуту не ляжет в бейдевинд!

Мгновение было роковое. Вахтенный лейтенант, вскочив на сетку и наклонившись всем телом вперед, так увлекся видом чужой опасности, что изо всей силы кричал им по-английски:

— Don't skid away, my boys! Hand a port and close up to the wind! Не держи прямо — лево на борт, и круче к ветру! Лево на борт! — повторял он, махая шляпой, как будто бы голос его мог пронзить расстояние и рев бури.

Наконец на корабле, казалось, заметили всплески бурунов, которые, как печь, дымились прямо перед их водорезом, и люди закипели на нем, как муравьи, реи обратились вдоль корабля, передние паруса заполоскались с отданными шкотами, и бизань, самый задний парус, распахнулась, чтобы ветром, в нее ударяющим, быстрее поворотило судно боком, но не успела бизань наполниться, как порыв бури вырвал ее вон; лопнувший парус грянул, как выстрел, и лоскутья разлетелись по воздуху.

— У него отбит руль! — произнес вахтенный лейтенант, отвращая глаза.— Ему нет спасения!

Мертвая тишина воцарилась между зрителями. С ожиданием, расторгающим душу, устремили все глаза на жертву, которую влекла неумолимая судьба к бездне. Страшно видеть смерть и одного человека, но быть свидетелем гибели многих сот товарищей и не иметь возможности помочь им — неизъяснимо ужасно!

Обреченный смерти корабль,— будто корабль-привидение, который мечтают видеть порой суеверные пловцы

в вечной борьбе с непогодами, исчезая и появляясь на страх им, — лишенный средств управлять бегом, с новой быстротой кинулся по ветру. На нем видна была тревога: люди взбегали и сбегали по вантам, сетки унизаны были матросами, они простирали руки, прося о помощи, и напрасно: последний час их пробил.

Со всего расходу ударился он о подводную скалу. Этот удар отдался в сердцах всех наблюдателей, исторгнув из них стон сострадания. Стеньги, мачты, самая громада корабля разрушилась в обломки и в один миг; паруса, затрепетав, разлетелись, как перья, огромный вал поднял разбитый остов и снова грянул его о незримые утесы.

— Все кончилось! — сказал Белозор, всплеснув руками в тоске отчаяния. В самом деле, там, где за минуту был корабль, теперь кипели одни буруны, распыскиваясь по-прежнему друг о друга, и только вихорь завывал, только алчное море ярилось и бушевало.

— Флагман поднимает сигнал, — закричал с юта штурманский ученик. — Нумер двести семь: помочь утопающим.

— Благородное приказание, — сказал капитан, следя глазами трех человек, которые всплыли на рею и, заливаемые волнами, боролись вдали со смертью. — Благородное приказание, но его невозможно исполнить.

— Стыдно будет русскому находить в том невозможность, что англичанин признает за достойное, — с жаром возразил Белозор. — Позвольте мне, капитан, взять какое-нибудь гребное судно.

Капитан, вполупину недовольный противоречием, вполупину изумленный смелостью Белозора, строго взглянул на него и отвечал:

— Я не могу вам запретить этого, господин лейтенант, но поверьте моей опытности, что вы утопающих не спасете, а себя утопите.

— Я рад гибнуть там, куда призывает меня долг чести и человечества. Итак, я могу?..

— Можете; я позволяю, но не советую вам. Все большие гребные суда на рострах, а мелкие — все равно что гроб.

— Я готов пуститься в решете, — вскричал обрадованный Белозор, — веселей гибнуть вместе с другими,

чем глядеть, сложа руки, на их погибель. Охотники, за мной!

Там, где дело идет о великодушной смелости, между русских солдат в охотниках не бывает недостатка. Человек тридцать кинулось за отважным лейтенантом, но он, выбрав пятерых самых проворных, сжал руку другу своему Николаю Алексеичу и вскочил в четверку, висящую на боканцах, при кликах товарищей: «Благополучного возврата!»

Грунтов и тали, то есть веревки, ее держащие, были обрезаны, и он полетел в разверстую пучину.

ГЛАВА II

О боже! Как мучительно казалось мне утопление! Какой ужасный шум воды в ушах моих! Какие отвратительные зрелища смерти пред глазами! Мне снилось, будто я вижу обломки тысячи страшных кораблекрушений, тысячи трупов, коих грызли рыбы, слитки золота, огромные якоря, груды жемчугов, неоцененные камни и украшения, разбросанные в глубине моря; иные сверкали в человеческих черепах, во впадинах, где витали некогда очи!

Шекспир

Ниспав с вышины борта двухдечного корабля, шлюпка исчезла в брызгах и пене, и в один миг великий вал унес ее далеко за корму. Пловцы наши едва-едва успели шапками отчерпать воду, и Белозор в тот же час велел поставить мачту и поднять до половины парус. Когда он оглянулся, флот был уже далеко назади, и он чуть различил стоящего у вант вахтенного лейтенанта, который следил взорами бесстрашного друга. Рей, на котором спасались утопающие, порой виден был, всходя на валы, мелькая концом паруса; но этот самый парус, вздуваемый иногда ветром, заставлял обращаться рей беспрестанно и погружал в воду прильнувших к нему несчастливцев. Напрасно всползали они наверх, чтоб дышать воздухом, строптивное бревно топило их снова и снова, и когда подоспела помощь, силы их оставили: Белозор уж никого не нашел на нем.

Пожалев о безвременной гибели утопших, надо было позаботиться о собственном спасении. Нечего было и думать о возвращении на корабль против ветра и волнения; Белозору оставалось одно средство — отдаться произволу стихий и попытаться счастья пристать к берегу, чтобы на нем провести ночь и переждать, куда стихнет буря. Вздумано — сделано. Правя гораздо левее города, он стрелой летел ко враждебному краю, где смерть или плен сторожили его. Он хладнокровно смотрел на влажные утесы, с плеском и воем наперерыв догоняющие утлую ладью. Кипя, склонялись они кудрявыми главами над кормою, готовясь обрушиться, рушились и выносили ее на дребте своем, как ореховую скорлупу. Сам Белозор сидел на руле, трое отливали воду, а двое остальных держали на руках шкоты. Видя спокойное лицо начальника, они полагали себя в полной безопасности. Скоро совершенно стемнело. Вдали замелькали между валов огни городские и слышался ропот прибоя, словно шум толпы народной. Белая гряда бурунов, как рубеж смерти и жизни, кипела перед ними; матросы, притаив дыхание, крестились, ожидая удара; страшно плескалось и стонало море между камнями.

— Не робей, ребята! — говорил Белозор своим людям. — Куртки долой, и, если опрокинет, хватай весла, и чуть коснулся дна — карабкайся дальше, чтобы другой вал не утащил опять в море! Держись!

Как щепку, взбросило ялик на бурун и стремглав ударило его на камень. Перекинутые через эту водную стену спорных валов, оглушенные падением, пловцы наши спасены были только веслами, за которые они уцепились, ибо плавать не было никакой возможности. Уже все матросы были на берегу, но Белозор не показывался. Добрые матросы бежали навстречу каждому валу, думая выхватить из него любимого начальника, но он разбивался в пену, убегал, набегал снова, — и все напрасно! К счастью, когда вдребезги разрушилась шлюпка, Белозор удержал в руке своей руль, которым правил, и он-то дал ему силы удержаться на толчее, в которую попался; мощный вал далеко выбросил его на берег.

Притаившись в кустах ив, коими обсажены все голландские плотины для скрепы их, наши моряки дрожали от холода, но веселость, это ничем не угнетаемое качество русского народа, и тут их не покидала.

— Ух, какой ветер! — сказал урядник, пожимаясь.—
Чуть душу не вывееет.

— Держи крепче зубами,— возразил другой.

— Шути, шути! — отвечал урядник.— Выползли мы,
как раки, чтоб не замерзнуть, как ужам после воздви-
женья.

— А вот взойдет казацкое солнышко, так просушим
сапоги, а сами надрожимся до поту,— прибавил третий.

— Уж этот месяц! Светит, а не греет,— даром у бо-
га хлеб ест. Покурил бы, право, хоть трубки, авось бы
стало теплее,— сказал четвертый.

— Жаль, брат, что ты раньше не догадался,— возра-
зил второй,— из глаз у меня, как с огнива, искры посы-
пались, когда головой ударился о плотину.

— Что вы раскудахтались, словно куры в корабель-
ной клетке, не даете доброму человеку заснуть,— сказал
третий матрос.— Спи, Юрка, небось нашему брату не
впервые в грязи отдыхать, оно и мягче; чарку в головы,
лег — свернулся, встал — стряхнулся.

— Лечь-то ляжешь, и в бараний рог свернуться не-
хитро, а уж вставать-то как бог даст,— отвечал Юрка.

— Вот нашел, о чем заботиться,— примолвил уряд-
ник,— показать только линек — и так благим матом
вспрыгнешь, словно заяц с капусты.

Так шутили между собой полунагие матросы и меж-
ду тем зябли без всяких шуток. Белозор, который желал
теперь быть за тридевять морей от земли, которая за не-
сколько часов казалась ему обетованною, напрасно завер-
тывался в мокрую шинель свою,— холод оледенял его
члены.

— Вставай, ребята! — сказал он наконец.— Пойдем
искать ночлега; авось набредем на добрых людей, что нас
не выдадут, а утром, коли стихнет буря, захватим рыба-
чью лодку и опять в море!

Так передавал он подчиненным надежду, которой не
имел сам.

— Только не расходитесь,— примолвил он, пускаясь
вперед по плотине,— да не говорите громко по-русски,
чтоб не наделать тревоги!

— Меня не узнают,— уверительно сказал Юрка,—
я-таки маракую толковать на их лад.

— Где же ты выучился говорить по-голландски? —

спросил Белозор, очень довольный, что будет иметь переводчика.

— Ходил за рекрутами в Казанскую губернию, Виктор Ильич, так промеж них наметался по-татарски.

— И ты воображаешь, что тебя голландцы поймут, когда ты станешь болтать им по-татарски?

— Как не понять, ваше благородие,— ведь все одна нехристь,— отвечал очень важно Юрка.

Сколь ни печально было положение Белозора, но он не мог удержаться от смеха. Запретив, однако ж, своему доморощенному ориенталисту выказывать свою ученость, он, как новый Эней, вел маленькую дружину куда глаза глядят. Долгая узкая дорога, насыпанная валом по низменному берегу, вела все прямо, но куда — рассмотреть было невозможно. С обеих сторон то просвечивали болота, то чернелись ямы турфа, подле коих возникали пирамиды его, изрезанного в кирпичи. Шумный ветер препятствовал слышать какой-нибудь голос.

Прошедши таким образом версты две внутрь земли, наши путники обрадованы были журчанием воды, как будто прорывающейся сквозь затвор мельницы, и скоро достигли до уединенного каменного строения, примыкающего к шлюзу огромного болота. Колесо не действовало, и вода, пущенная в русло, шумела там сильнее. На дороге не было окон, но по болоту змеилась полоса света, вероятно, из обращенного на него окна... Русские остановились в раздумье: идти ли, не идти ль им в средину.

— Ну что, ежели там французы! — сказал Белозор.

— Хоть бы целая рота чертей, ваше благородие,— возразил урядник,— все-таки лучше, нежели умирать с холоду.

— Я так голоден, что готов съесть жернова,— прибавил другой.

— А я так устал, что засну между шестернями,— присовокупил третий.

— Плен краше смерти, Виктор Ильич,— возгласили они вместе,— ведь французы нас не съедят!

— Не в том дело, друзья мои. Надо бы так умудриться, чтобы за один ночлег не заплатить свободою; надо биться до самого нельзя, чтоб избегнуть плена; мельница далеко от другого жилья, а мы волей и неволей заставим хозяина скрыть нас, а утро вечера мудренее. Вооружитесь-ка чем попадется да войдем потихоньку!

Выдернув рычаг из ворота на подъеме шлюза, Белозор ощупью отыскал дверь; против всякого чаяния, она была отперта настежь. Вступая в широкие сени, которые служили вместе и мучным амбаром, насилиу доискались они между мешками входа в комнаты. С трепетанием сердца повернул Белозор ручку и очутился в теплой и светлой поварне, в этой приемной палате голландцев. В огромном очаге, у которого стенки выложены были изразцами, а чело из красной меди, весело пылал огонь и близ него на вертеле разогревался кормный гусь. Светлые кастрюли дымилась на чугунной плите. Кругом на полках из лакированного бука низалась, как жар сверкающая, посуда. Осанистые кувшины и жеманные кофейники со вздернутым носиком, подбоченясь, красовались в углу на горке. Цветные склянки вытягивали утиные шейки свои друг перед другом; высокие бокалы, как журавли, стояли на одной ноге, и несколько старовечных чайников с длинными носами точно рассказывали что-то друг другу на ухо. Во всем виден был домовитый порядок, пленительная чистота и какое-то приветливое гостеприимство. Самые блюда будто сверкали радужною улыбкою.

К удивлению, однако же, они не видели никого в этом приюте, словно духи приготовили ужин для голодных странников, которые с каким-то благоговением разглядывали все безделицы и поглядывали на яствы. Только у дверей на гладком кирпичном полу, свернувшись, лежала собака, но она не лаяла, не шевелилась.

— Экая благодатная земляца,— сказал один матрос,— и собаке-то ночью службы нет!

— Она, брат, неспроста не лает,— робко молвил другой, указывая на зажженное ромом блюдо плумпудинга,— здесь все заколдовано.

— От часу не легче,— вскричал урядник, отворив двери в соседнюю комнату и увидев на постели женщину со связанными руками и платком во рту.— Что бы это значило?

— Видно, говорлива была,— сказал другой.— Ведь хитрый же народ эти голландцы: умудрились пленять баб, когда им нечего делать. Да этакую заведенцию и нам бы перенять не худо, а то как они разболтаются, хоть святых вон понеси!

— Да вот и мужчина! — вскричал третий, запнувшись за чье-то туловище. В самом деле, толстый мельник, что можно было угадать по напудренному его платью, закрыв от страха глаза, лежал связанный на полу... Шум в следующей комнате прервал их рассуждение о странных обычаях в Голландии. Казалось, кто-то говорил повелительно, другие голоса, напротив, жалобно спрашивали. Дверь была заперта.

— Отворите! — вскричал Белозор по-французски, внемля стуку и крику за дверью. — Отворите! — повторил он, потрясая задвижками. — Или я выломлю двери.

— *Quel drôle de corps s'avise d'y faire l'important?* Кто смеет там важничать? — отвечали ему многие голоса на том же языке.

— Отворите и узнаете!

— *Va te faire pendre* (убирайся на виселицу), — было ответом, — *nous sommes ici de par l'empereur Napoléon* (мы здесь по приказу Наполеона).

— Если б вы были здесь по приказу самого сатаны, и тогда отворите, или я раскрою не только дверь, но и черепы ваши!

Громкий смех, перемешанный с выразительными клятвами французских солдат, вывел его из терпения; удар ноги высадил двери с петель; они, треща, упали в середину; неожиданное зрелище представилось глазам его.

Четверо французских мародеров, полупьяные, полуоборванные, заняты были грабежом; один, держа свой тесак над головой старика, сидящего в креслах, щарил у него в карманах; другой грозил карабином на прелестную девушку, которая на коленях умоляла о пощаде отца; третий осушал бутылку с накрытого для ужина стола, прибирая в карманы ложки, между тем как четвертый ломал штыком замок железом окованного сундука, который противился его усилиям.

— *Halte là, coquins!*¹ — произнес Белозор, и вышибленный из рук француза карабин грянулся на пол; вместе с этим он дал такого пинка другому, который грозил старику, что тот полетел в угол. Два камня засвистели еще, и один из них угодил прямо в бок ломающему сундук; он заохал и вырвал штык из рук своих.

¹ Стойте, негодяи! (фр.)

— *Sauve qui peut, nous sommes cerné* (спасайся кто может, мы окружены)! — вскричали испуганные мародеры и опрометью кинулись в растворенное окошко; все это было делом одной минуты.

Старик голландец, одетый в китайский халат, с изумлением поворачивался на креслах то вправо, то влево, и на полном; как месяц, лице его, увенчанном бумажным колпаком, очень ясно видно было, как пробегали облака сомнения: к какому роду причислить своих избавителей? Полдюжины полуодетых, или, лучше сказать, полураздетых, людей с небритыми бородами и бог весть какого племени, заставляли его думать, что он переменял только грабителей, не избегнув грабежа. Восклидания: «*genadistete Good*¹, два аршина с четвертью!» и потом *aa*, которое переходило в *oo* и кончилось на *ээ* — двугласных, составляющих основу голландского языка и нрава, доказывали, что ни ум, ни сердце его не на месте. Зато милая дочка его была гораздо признательнее и доверчивее; неожиданный переход от страха к радости так поразил ее, что она чуть не кинулась на шею к Белозору и, схватив его за руку, в несвязных восклицаниях благодарила за избавление. Он раскланивался, она приседала, оба краснели, не зная сами отчего; старик поглядывал на ту и на другого.

Наконец, всмотревшись хорошенько в открытое, благородное лицо юноши, голландец будто отдохнул.

— Кому одолжен я столь важною услугою? — спросил он по-французски, приподнимаясь с кресел и снимая колпак.

— Человеку, брошенному бурей на ваши берега, который просит у вас не только гостеприимства, но и убежища, — отвечал Белозор. — Я русский офицер! — с сим словом он сбросил с себя шинель и показал аксельбант свой.

— Русский офицер! — вскричал голландец, опускаясь в кресла, как будто эта весть придавила его.

Такое начало не много предвещало добра Белозору. Он знал, что в Нидерландах была тьма партизанов нового французского короля Луциана, и легко могло стать, что хозяин был одним из них.

— Могу ли надеяться найти в вас друга или по край-

¹ Милосердный бог (голл.).

ней мере великодушного неприятеля? Если вы не решитесь скрыть нас у себя на время, то не предавайте французам.

— *Stoor, stoor*¹, молодой человек! — вскричал с жаром голландец. — Август ван Саарвайерзен никогда не был предателем, и все голландцы друзья русским со времен вашего Великого Питера, в особенности я; у двоюродного деда моей жены учился он плотничать в Заардаме. Я так же ненавижу французов, как и ты: от всего сердца. Проклятые эти мыши сгрызли наш кредит, как свечку, своею континентальною системою и заставили меня, первого суконного фабриканта в Флессингенском округе, работать на своих грабителей солдатские сукна. Правда, я от этого подряда не в накладе, но слава, слава моих сукон пропадает теперь... А какие у меня делались сукна! Мягче бархата, крепче кожи — и шириной в два аршина с четвертью, *sapperloot!*² Ты у меня безопасен на несколько дней вместе со своими земноводными; вот моя рука, и дело в шляпе. Ступай-ка, приятель, сними свой свежепросольный мундир, и потом за рюмкою мы потолкуем, как все уладить.

Ван Саарвайерзен вывел матросов в поварню и поручил избавленной поварихе угощать их, и скоро они уже разговаривали между собою, болтая каждый без умолку по пальцам и языками, будто понимая друг друга как нельзя лучше. Виктору же указал он небольшую комнату, принес ему стеганый халат, сухого белья — одним словом, ухаживал как за сыном.

Через четверть часа наш герой явился в столовую, хотя странность наряда пугала его более, чем неприличие в нем показаться на глаза красавице. Необходимость, впрочем, служила ему и убеждением и извинением; только он никак не согласился надеть на голову пеньковый парик от простуды, несмотря на все увещания хозяина.

Ужин был подан.

Белозор будто ожил, мало что ожил — будто вновь одушевился. Благоприятная температура комнаты, вкусные блюда, славное вино, а что всего важнее, близость миловидной девушки развернули его ум и чувства необыкновенною веселостию. Он чокался с хозяином, сме-

¹ Стой, стой! (голл.)

² Тьфу! (голл.)

ялся с дочкой его, бросал ему шутки, ей приветы и, несмотря на промен пламенных взглядов, не забывал работать ложкой и вилкою. Таков человек, милостивые государи, такова вся природа: жаворонок с неба летит на землю за червячком.

Получив хорошее воспитание, ограниченное, так сказать, столичною жизнью, он свободно мог изъясняться по-французски, а немецкий язык был ему почти природным по матери, урожденной эстландке, и потому беседа их была тем живее, тем непринужденнее. Иной, взглянув со стороны, подумал бы, что Белозор вырос в доме Саарвайерзена.

— Ну, герр Виктор,— сказал хозяин, отдыхая от смеха,— ты чудо малый, и мы с тобой скоро не расстанемся!

— Не нахожу слов выразить мою благодарность...

— Да, пожалуйста, и не ищи: ты вперед заплатил за постой. Знаешь ли, от какой потери спас ты меня своим неожиданным приходом? Sapperloot! Это не безделица: я получил сегодня от французского комиссарства за сукна двадцать тысяч золотых латников; но четверо мародеров, наверно, захватили бы их в плен, если б успели сделать пролом в этом сундуке. Ты очень кстати упал, как с облаков.

— Скажите лучше, выброшен из кита, словно Иона; однако ж, если мне удалось испугать нескольких бездельников, самому придется бегать добрых людей не лучше их. Я думаю, завтра вы нарядите нас в мучные мешки, герр Август?

— Не думаешь ли, приятель, что Август ван Саарвайерзен, первый фабрикант своей области, живет на мельнице? Два аршина с четвертью! Нет, брат, это случаем остался я здесь ночевать, запоздав счетами с своим мельником. Карету я послал в город кой за какими покупками, и завтра мы преспокойно покатаемся в ней на завод мой — флаамгауз. Матросов твоих оденем в фризовые куртки и, пускай не погневаются, запрем на заводе в особую комнату, и вон ни ногой: выдадим их за машинных мастеров для станков нового изобретения; такие секреты у нас не редкость. Тебя же пожалуем в дальние родственники; будто приехал из Франкфурта погостить и поучиться порядку; а между тем приищем верных людей, которые бы взялись доставить вас мимо

брантвахты на флот. Теперь это нелегкая вещь: строгость неимоверная, время осеннее; но пусть говорят что угодно, а мы докажем, что золото плавает на воде!

Белозор чуть не прыгал на стуле от удовольствия; мысль, что он проведет несколько дней близ Жанни (так называлась дочь хозяина), делала его счастливецem. Несколько дней — это целый век для юноши, так, как червонец — неистощимая казна для дитяти. Воображение надувало своим газом шар его надежды, и сердце мечтателя летело с ним за облака. Прелесть романической встречи занимала его более, чем истинное желание. Полон любовной чепухой, раскланялся он с добродушным голландцем и с резвою его дочкою, — и сон, как пуховик, охватил восторженника своими ласкательными крылами.

ГЛАВА III

*In slumber, I pry thee how is it,
That souls are oft taking the air,
And paying each other a visit,
While bodies are — Heaven knows where?*

*Thomas Moore*¹

Расскажите, пожалуйста, каким образом бывает во сне, что души прогуливаются (это спрашивает Мур) и платят друг другу визиты, между тем как тела бог весть где? Этот же самый вопрос повторял сам себе Виктор, пробужденный звоном серебряного колокольчика в комнате Саарвайерзена от сладкого сна и еще сладчайшего мечтанья, в котором образ милой голландочки играл, кажется, не последнюю роль.

Он улыбнулся и вздохнул, заметив, что прильнул устами к подушке, которую страстно прижимал к груди своей, но, вспомня, что одно ласковое слово наяву лучше сонного поцелуя, он поспешно вскочил с постели, повернул кран, вделанный в стене, и, с помощью душистого мыла, щеточек и гребеночек, сгладил с лица своего все следы кораблекрушения. Туалет юноши короток: ему стоит только освежить то, что даровала природа, между

¹ Как это происходит, спрашиваю я тебя, что во сне души путешествуют по воздуху и посещают одна другую, в то время как тела их находятся бог знает где? *Томас Мур (англ.)*.

тем как человеку в летах надо не только скрыть недостатки, но еще подделать красоты, которых уже нет. К большому удовольствию, Виктор нашел на месте халата франтовской сюртук, привезенный уже из города. Преобразившись, таким образом, в гражданина и закрутив перед зеркалом черные свои волосы в крупные кудри, Виктор явился в общую комнату, в которой дымился уже самовар, как жертвенник.

— Поздняя птичка, поздняя птичка! — сказал Саарвайерзен, протягивая к нему руку. — Долгий сон, два аршина с четвертью!

Но когда Жанни, подняв на него свои голубые глаза, произнесла свой: «*Bonjour, M. Victor*»¹, — голос у него замер вместе с дыханием и лицо загорелось как утреннее небо: так прелестна, так очаровательна показалась ему голландочка. Волосы трубами распадались по статным плечам ее из-под легкого кружевного чепца, живописно сдернутого лентою. Вдохновенный фламандскою поэзией, я бы сказал, что румянец на щечках ее подобился розам, плавающим на молоке. В ямочках, напечатленных улыбкою, таились микроскопического роста амурсы; два полушара, будто негодую друг на друга, пробивались сквозь ревшивую ткань утреннего платья, и легкий стан, который, кажется, манил руку обнять себя, и, наконец, две ножки, обутые в зеленые атласные башмачки, ножки, кои обращали в клевету укор путешественников, будто в Голландии нет стройных следков, — ножки, которые сам причудливый Пушкин мог бы поместить вместо эпиграфа какой-нибудь поэмы, — одним словом, все, от гребенки до булавки, восхищало в ней нашего героя. Жанни с кофейником в руке олицетворяла для него Гебею, разливающую нектар небожителям, который потягивали они, конечно, не от жажды, но от скуки, и он признавался мне, что никак не рассердился бы на случай, если бы с этой полубогиней повторилось несчастье, не терпимое этикетом олимпийского двора, за которое она отставлена была без мундира и удалена от пресветлых очей тучегонителя Зевса.

Он был еще в том золотом возрасте, когда мы не ищем связей, но жаждем любви и, послушные внушениям сердца, предаемся ей беззаветно, требуем нераздель-

¹ Здравствуйтe, г: Виктор (фр.).

ной взаимности. Впоследствии испытанные и, может быть, усталые в игре любви, мы гоняемся более за умом, нежели за чувством, и блестящие дамы увлекают нас скорей, чем застенчивые девушки. Тогда вкус наш притуплен; ему нужна острота для возбуждения, и, сидя подле прелестной скромницы, только из учтивости поглощаем мы зевоту и потихоньку шепчем с Байроном: то ли дело дама! Для нее не нужно переводчика, чтобы понять, о чем говорится, и, водя вас за нос и приклеивая вам нос, она дарит приятнейшими часами; а девушки умеют только прелестно краснеть, притом же они так пахнут бутербродом (toasts)!

Виктор, как мы уже сказали, не достиг еще до этой премудрости и, любя душой, искал только души, которая бы вполне отвечала ему, любил для того, чтобы любить, а не умничать. Сердце его полетело навстречу девственному сердцу Жанни, которая недавно бросила куклы и еще не привыкла к автоматам — одноземцам своим. Семнадцать лет — роковое время даже по Брюсову календарю, а Брюсов календарь, как вам известно, безошибочный оракул, и появление Викторовой звезды на сердечном горизонте милой голландочки грозило каким-то чудным сочетанием планет.

Приятная наружность, веселый, откровенный нрав, а всего более бесстрашие его для спасения утопающих, помощь, им оказанная, и опасность, висящая над его головою, — все это вместе заронило в грудь Жанни такие искры, которые не хуже греческого огня зажгли бы сердце в воде, не только во фламандском тумане. Как ни малоопытен был новичок наш, однако ж заметил, что если перед ним не спускали еще флага, по крайней мере салютовали равным числом вздохов — вещь, равно лестная его самолюбию, как и радостная для его склонности. В короткое время их знакомства они уже бегло изъяснялись пламенным наречием взоров и в один час говорили друг другу столько новостей посредством этого телеграфа, что сердцу было на целую неделю работы пояснять и дополнять недосказанное. Жаль, право, что в наш избретательный век не приспособят этого наглядного, или, лучше сказать, ненаглядного, средства ко взаимному обучению. Я уверен, что самый тупой ученик, с помощью пары женских глазок, в несколько заседаний станет понимать обо всем, как славный Пико де ла Мирандола,

который на двенадцатом году выдерживал ученые споры на всех живых, мертвых и полумертвых языках.

Занят или, лучше сказать, поглощен созерцанием своей Жанни, молодой моряк очень рассеянно отвечал на вопросы и шутки хозяина; но, к счастью, тот, прихлебывая звездистый кофе, дымя трубкою и пробегая листок купеческой газеты, мало обращал внимания на все, что не носило на себе вида нумерации.

Скрипнувшая дверь заставила, однако ж, всех обратить на нее взоры; входящий в комнату был человек высокий, худощавый, в черном фраке, скроенном еще во времена Рюйтера, в плисовых штанах с тяжелыми пряжками и в дымчатых шерстяных чулках, замкнутых в обширные башмаки. Лицо его походило на солнечные часы,— так выставлялся вперед тонкий нос его; мигая, он так высоко подымал брови и так бросал зрачками, как будто они хотели перепрыгнуть через нос, чтобы повидаться. Он беспрестанно силился улыбнуться, но, правду сказать, оставался при одном желании. Очень значительно покрякивая, стал он раскланиваться, и при каждом сгибе осанистая коса его перекатывалась со стороны на сторону: казалось, хребет его и его коса (то есть хвостик, прицепленный разумнейшим из существ к своему затылку) были рождены друг для друга; невозможно было представить себе эту спину без косы или эту косу без такой спинки. Чудак этот был бухгалтер Саарвайерзена — занятие, которое можно было угадать по исполинской книге, которую тащил он под руку; на ней, на зеленом сердечке, написано было заглавными буквами: «Groos Buch»¹.

— Добро пожаловать! — вскричал хозяин, завидя его.— Мы тебя только и ждали. Дай-ка твоего табачку, Гензиус!

Гензиус, который был, так сказать, двуногою табакеркою хозяина, скрипнул систематически крышкою и с почетом поднес табак Саарвайерзену.

— Ну, что новенького в городе? — спросил тот, понюхивая.

Рот Гензиуса растворился, как шлюз.

— Ничего,— отвечал он.

¹ «Главная книга» (голл.).

— Что говорят оранжисты, что делают наполеоновцы?

— То же, что и прежде,— возразил преважно бухгалтер.

— Ну, брат Гензиус, из тебя и пробочником не вытянешь весточки; будь я король, я бы как раз произвел тебя в тайные советники. Расписался ли по крайней мере ван Заатен в получении последней отправки сукон?

Этот вопрос навел Гензиуса на родную колею; он с торжествующим видом раскрыл книгу и указал на страницу, унизанную нулями, как бурмицкими зернами. Лицо хозяина просияло.

— Чудная сделка, славный барыш,— ворчал он про себя.— Право, завод мой не воздушные вавилонские сады и мой кредит крепче пирамиды фараонов. Ну, господа, теперь можно и отправляться im Goodens naamen (во имя божие).

Все было готово к отъезду в одну минуту. Карета, запряженная четверкою огромных фризских коней, потрясла шоссе, подъезжая, и путешественники покатались в ней к столице фабриканта: Хозяин с дочерью поместился в задней половине, Гензиус и Виктор — в передней, и он так был доволен, так восхищен, сидя против милой голландочки, что, сколь ни новы были для него окружающие предметы, сколь ни любопытно путешествие по чуждой земле, он ни разу не выглянул за окошко. Многие с нетерпением скачут по дороге, не наслаждаясь удовольствием ехать от излишнего желания доехать; напротив, мой Виктор был счастлив путешествием, одним путешествием; он желал бы сделать из него вечное движение; весь мир его качался тогда на одних с ним рессорах. Он умолял только судьбу, чтобы она наслала на колесницу их морскую качку, чтобы дорога была круче и ухабистей,— и знаете ли, для чего? Чтобы колено его могло коснуться колена красавицы — опыт, который ему удался только однажды и оставил сладостное ощущение навсегда. Очень любопытно бы знать, какой степени электричества доступно колено хорошенькой женщины? Виктор уверял меня, что он почувствовал тогда удар, как от прикосновения к электрической рыбке, а что всего замечательнее, удар этот произошел, несмот-

ря на то, что ни в одном из них не было отрицательного электричества. Предлагаю эту задачу на разрешение гг. физиологов.

Итак, милостивые государи, вы бы напрасно ждали от Виктора кудрявых рассказов о своей поездке, о том, пуста или населена была дорога, живописно или однообразно местоположение, по горам или по болотам ехал, о том, что встретил он достойного внимания и недостойного памяти, ни очень любопытных рассуждений о характере народа, основанных на фигуре кровель, на счетах трактирщиков и на ухватках почтальонов, ни встреч, никогда не бывалых, ни историй, никогда не случившихся, — одним словом, ничего, составляющего основу романических путешествий. Но зато он очень хорошо познакомился со всеми прихотями Жанны и мог описать вам топографию малейшего родимого пятнышка на ее лице.

Между тем плавно зыблущаяся карета быстро неслась далее, приближалась и приблизилась к мете. Виктор был в каком-то забытьи; он не замечал не только ученых толков Саарвайерзена о постройке и поправке плотин, не только серебряной табакерки Гензиуса, которую тот подносил, потчужа гостя, к самому носу, но даже времени и пространства. Такие часы сладостны и невозвратны; многими крестами означены они в истории нашего сердца, и увы! — крестами надгробными; они драгоценнее для нашей памяти целых годов, заметных для света и, может быть, славных или выгодных для самих себя, но пустынных для души, с которой обрывают они радости зимнею своею рукою.

Приехали... Дверцы распахнулись... Виктор очнулся, наконец, как лунатик, пробужденный на колокольне; но когда нежная ручка, опершись на его руку при выходе из кареты, нежно пожала ее, когда ангельская улыбка отвечала на его приветствие, когда серебристый голос произнес: «Вот ваша темница, Виктор!» — то он готов был божиться, что дом Саарвайерзена, построенный в тяжелом фламандском вкусе, осьмое чудо света и во сто раз прелестнее всех мавританских замков в Альгамбре, — верьте после этого описаниям любовников!

Попросту сказать, дом этот, построенный на обширной площади, весьма походил на карточный. Он сложен

был из нештукатуренных, но гладких кирпичей, и высокая кровля его убрана в узор муравленою черепицею. Возвышение, заменяющее крыльцо, простиралось во всю длину дома, и висячий балкон служил оному навесом. Окна нижнего жилья были до самого пола; в середине над прилепом (карнизом) чернелись часы, которые, словно аргусовыми очами, глядели на два крыла строений, в которых помещены были службы и фабрика. Двор, несмотря на осеннее время, был чист как стекло; стены, вымытые мылом и вытертые щетками, лоснились; окна сверкали ясными стеклами, рамы и двери — лаком и бронзой; необыкновенный порядок был виден во всем.

Жанни, как ветер, порхнула в объятия своей матери, голландской барыни в полном смысле слова. Вообразите себе барашка, сделанного из масла, которого произвела рука домашнего ваятеля для увенчания кулича о светлой, и вы схватите нечто похожее на фроу (vrouw) Саарвайерзен, прибавя, разумеется, к этому целые пуки брабантских кружев, ключей и приседаний. Иль если вы видели в Эрмитаже куклу хозяйки Петра Первого, вы видели мать Жанни. Впрочем, никто в свете не мог быть добрее и ласковее ее.

Волей и неволей потащили молодца осматривать комнаты; неумолимые хозяин и хозяйка терзали его, как журналисты читателей при академической выставке; каждая редкость была ему колесом пытки. Виктор слушал, крепя сердце.

Внутренность покоев, то обитых богатыми восточными тканями, то убранных резьбою на орехе, отличалась более чудесностью и богатством, нежели вкусом и красотою. Огромные японские вазы из синего с золотом фарфора стояли, прегордо надувшись, по углам, и в них красовались бархатные и парчовые цветы, разливая земное благоухание. Дело затейливых одноземцев Конфуция, восковые и фарфоровые мандарины насмешливо качали головками на закраинах каминов, и только одни картины Теньера, ван дер Неера, ван Остада, Рембрандта, Вувермана и других известных живописцев фламандской школы заслуживали внимание.

— Каков этот Ван-Дик, дружище,— а? — сказал хозяин.— Закладую его против мускатного ореха, если в самом Брюсселе найдется ему пара! А этот портрет нашего героя Витта? От него поневоле сторонишься, чтоб не задеть за нос,— так он выходит из рам. Вот вид морского сражения, за которое расстреляли англичане своего адмирала Бинга для ободрения прочих; настоящее Зюйдерзее со своими желтыми валами; небо тает, дым разлетается,— чудо, а не картина! Этот кальян выменял или, правду сказать, выманил; я у английского путешественника,— он принадлежал шах-Аббасу. Эти часы, в виде петуха, достал я прямо из Кантона. Они подарены императором Юнтчаном Мудрым мандарину, которому он очень милостиво отрубил голову за возмущение, поднятое иезуитами... Это кинжал Типпо-Саиба, эта вилка от того самого ножа, которым убит Генрих IV, это...— Но, милостивые государи, у меня нет прекрасной дочери, для которой бы вы стали, подобно Виктору, слушать все описания игрушек, и редкостей, и сосудов, орудий домашних, а потом: почему это так, а не иначе, и вновь: почему иначе, а не так, как у прочих.

Через вседневную, потом праздничную спальни добрались, наконец, до торжественной, и она, как десерт, заключила пластический обзор. Госпожа Саарвайерзен с гордым видом показывала чужеземцу вышитые ею ковры, кружева, одеяло и наслаждалась изумлением его при виде брачной кровати, истинного памятника ее искусства, который, по ее мнению, передаст ее славу позднеjšíм потомству. Десять уступов подушек мал мала меньше восходили к бессмертию двумя пирамидами, и красный атлас проглядывал на них сквозь батистовые наволочки, словно заря. Кружевной полог спускался к ним навстречу, подобно туману, и стеганное хитрыми узорами голубое покрывало вздымалось морем. Смертный, который бы дерзнул лечь на это божественное ложе, конечно бы, утонул в жарких волнах гагачьего пуха, и потому оно от незапамятных времен назначалось только покоить взоры.

Посвященный во все элевзинские таинства Саарвайерзенова дома, Виктор отдохнул за столом от скуки и усталости и, весело кончив вечер, заснул весьма доволен собою и судьбою.

ГЛАВА IV

*Довольно я скитался в этом мире
Вдали моих отечественных звезд:
Я видел Рим — величия погост,
Британию в морской ее порфире,
Венецию, но Поццелув мост —
Милее мне, чем Ponte de Sospiri¹.*

Мерно и однообразно текла жизнь обитателей фламгауза. Маятник счетом назначал долготу их занятия, их досугов, колокол неизменно звал к столу и к отдыху, даже к самому довольствию. Хозяин почти беспрестанно был занят надзором за фабрикой или расчетами по выделке и торговле. Хозяйка же, хотя бы по своему состоянию, могла избавить себя от хлопот за мелочными потребностями домоводства, но домоводство была единственная страсть, коей была она доступна.

Мужчина — создан для внешности, для кочевья, женщина — творение домоседное; она призвана природой для украшения внутренней жизни, очаг — ее солнце. Вы бы не усомнились в этой истине, видя, как госпожа Саарвайерзен, подобно увесистой планете, кружилась около огня, заимствуя от него свет и румянец. Как философ-путешественник, возметающий стопами властительный прах Рима и внимающий голосу гробов, вещаниям истуканов, изувеченных веками, казалось, вслушивалась она в знакомый, хотя немой язык разбитой, но склеенной посуды, на которой видны были печати всех периодов просвещения. Там чайник без носу, там безухая чашка напоминали ей урок Экклезиаста о суете мира, там несколько поколений разнообразных рюмок живописали в лицах историю Нидерландов. Как романтик нашего времени, одержимый бесом бесконечности, бродит по горам и по долам, вызывает с Манфредом или Фаустом гениев стихий и разгадывает говор листьев, шум водопада, рев моря, — она пристально внимала ропоту кастрюль, шипению теста, и тайны варенья и печенья открывались пред ней в тишине и уединении. Наконец не так старательно слагает начальник какого-нибудь отделения бумагу, за которую ожидает креста, не так лепит дипломат из форменных

¹ Известный в Венеции мост Вздохов близ площади св. Марка, соединяющий палаты дожа с темницами. (Прим. авт.)

фраз ноту в надежде быть кавалером посольства, не так рачительно выкрадывает модный стихотворец эпитеты в нелепое стихотворение, которое назовет он поэмою, как внимательно готовила она вафли, и, правду сказать, из всех упомянутых дел едва ли ее было не самое трудное и, без сомнения, гораздо полезнейшее для человечества. Что касается до изобретательности, она не уступала никакому Перкинсу, Дженкинсу и Допкинсу. Ее маринованные угри были удивлением всех хозяек за сорок миль в окружности; да, кроме того, она выдумала особый род яблочного пирожного, неизвестного дотоле в поваренных летописях, и назначала передать этот важный секрет своей дочери в день замужества, в приданое.

Итак, когда мать Жанни проводила большую часть времени в созерцании горшков, бисквитных щипцов, раков, роз и бабочек, напечатанных на формах для студней, когда отец ее являлся только домой, подобно карпам в пруде Марли,— по звону колокольчика, молодые люди были вместе, неразлучно. То Виктор, сидя подле пальцев Жанни, читал ей какие-нибудь стихотворения, то Жанни поглядывала через плечо Виктора, когда он рисовал ей что-нибудь в альбом. В междудействиях, которые можно бы назвать настоящей завязкой драмы, он рассказывал ей о русской зиме с большим жаром, она слушала с большим вниманием, даже порой вскрикивала: «Ах, как бы мне желалось это увидеть!» — «А почему же нет?..» — возражал рассказчик, уставя на нее свои выразительные очи. Жанни обыкновенно со вздохом опускала тогда свои и принималась за работу... Я, право, не знаю, о чем она тогда мечтала.

Виктор был от природы весьма веселого нрава и, оживленный желанием нравиться, становился еще любезнее; шутки его могли бы заставить самого кота смеяться, но он еще был стоик в сравнении с резвостью Жанни. Воспитанная с младенчества во французском пансионе, она приобрела все милые качества француженок, не потеряв простосердечия своей родины, и уже блистала полной красотой молодости, сохранив всю прелесть младенчества. Виктор после шумной веселости впадал нередко в глубокую задумчивость и грусть, может быть, сладчайшую самой радости, необходимую для сердца, чтобы вкушать минувшее блаженство и отдохнуть для будущего; но Жанни была игрива неизменно, чувство любви было

еще для нее забавою, а не наслаждением. Виктор бесился на такое равнодушие, и его угрюмость была новым поводом к шуткам. Она, как муха, кружилась, порхала, колола нетерпеливого и скрывалась неуловима. Так прошла целая неделя ненастного времени.

Наконец погода разгулялась, и Жанни предложила ему посмотреть сад, устроенный в настоящем голландском вкусе: дорожки, отбитые по тесьме, лужайки, усыпанные разноцветным, блестящим песком в виде звезд, кругов, многоугольников, точь-в-точь блюдо винегрета, горки наподобие миндального пирога, деревья и кусты, обстриженные стенками, столбами, шарами, так что вы можете подумать, будто здесь природа сделана столяром. Мраморные герои, полубогини и полные боги — произведения фламандского резца, несмотря на тучность свою, сбирались, кажется, отдернуть казачка, и лев с важностью стоял над водоемом, ожидая воды, которая лишь капала с морды его, как будто он получил насморк. Нигде и ничего не было видно естественного: там возвышались жестяные цветы на решетке, ограждающей лабиринт величиною в две сажени, там сгибался мостик, по которому не прошли бы рядом две курицы, там сидели деревянные китайцы под зонтиками, скрываясь от летнего солнца в октябре, там охотник с невероятным терпением метил в утку, которая двадцать лет не слетала с озера... Увидя на башенке оранжереи неподвижно стоящего аиста, Виктор спросил у своей путеводительницы:

— Не фарфоровый ли он?

Жанни засмеялась:

— Мы не язычники, господин Виктор, — возразила она, — и хотя у нас, как у египтян, эта птица в большом уважении, но мы еще не воздвигаем ей ни храмов, ни идолов.

— Жаль, очень жаль; ваш Гензиус, кажется, рожден быть великим жрецом этого долгоногого домашнего божества.

— А как нравится вам сад наш, господин критик?

— Чрезвычайно любопытен; это палата редкостей; жаль только, что я не могу видеть его в полном блеске зелени и цветов.

— В этом вы можете утешиться; невелика жатва осени после ножниц нашего садовника, и сад этот имеет не-

оцененную выгоду быть летом, как зимой, неизменно скучным. Что касается до цветов, я покажу вам их царство, где цветут они, как ваши северные красавицы, в теплицах.

Жанни растворила двери оранжереи. Башенка, сквозь которую вошли они, занята была птичником: за светлую бронзовую сеткою порхало множество мелких заморских птичек; иные клевали зёрна, рассыпанные по полу, другие увивались около гнездышек. Любимые канарейки Жанни слетелись к ней, едва она простерла руку, сядились на плечо, ели сахар из уст ее. Виктор любовался этой картиной.

— Это очень мило,— сказал он,— но я во всем вижу, что вы любите своих гостей превращать в пленников.

— Напротив, я из чужих пленников делаю гостей: выпустить этих бедняжек на волю, в нашем климате, значит погубить их безвременно.

— О, конечно, вы так добры, Жанни, так ласковы, что не только мирных канареек, но и смелого сокола заставите забыть свободу.

— Сокола, Виктор? Благодарю вас за него; теперь, слава богу, не мода носить дамам на руке этих хищных птиц, как видно на старинных картинках; я бы страшилась сокола и за себя и за маленьких питомцев моих!

— И страшились бы напрасно, Жанни: ручной сокол преучтивая птица; он бы доволен был конфетами и ласками вашими.

— Чтобы взвиться под облака и улететь?

— О нет! чтобы сидеть под кровлей вашей смиреннее голубка!

— Вы чудесный рассказчик, Виктор! Вы скоро уверите меня, что у сокола и когти для красоты; но оставим летучее племя для этих растущих мотыльков, которые к красоте воздушных детей весны присовокупляют благоухание и постоянство. Это любимое общество батюшки.

— Цветоводство — приятное занятие для преклонного возраста, как воспоминание прежних радостей, и полезный урок нам.

— О да, господин мудрец! Я сама бы любила цветы страстно, если бы они не были так изменчивы и кратковременны. Надобно иметь или тысячу сердец, или одно очень хладнокровное, чтобы видеть их увядание и утешаться вновь и вновь.

— Цветы счастливее нас, Жанни: мы изменяемся и вянем, подобно им, но они не страдают, подобно нам!

— Стало быть, и не знают наших удовольствий! Я не завидую цветам. Вы, конечно, знаток в ботанике, Виктор?

— Только любитель, Жанни, только любитель; я не отличу лупинуса от цветного гороха и знаю лилию только по гербовнику. Ваши термины: *bulbata*, *barbata*, *angustifolia*, *grandiflora*¹ — для меня арабская грамота.

— И вы, в святилище цветов, в доме известного цветослова, не краснея, хвалитесь этим?

— По крайней мере сознаюсь в своем невежестве, но не каюсь в нем. Я, как соловей персидских поэтов, обожаю розу, одну белую розу, и в этом отношении могу поспорить с первейшими ботаниками, которые слышат даже, как растёт трава, что не ошибусь в выборе прелестнейшей.

— Это не очень мудрое предпочтение, господин мудрец, и вам, чтобы хоть сколько-нибудь сохранить уважение батюшки, надо поучиться толковать с ним о листках, и лепестках, и венчиках, и пестиках всех редких цветов без лицепрятия.

— Ваш совет для меня закон, Жанни; я готов охотно не только прилепиться к цветку, подобно пчеле, но прирасти к земле, как цветок, если вы сами посвятите меня в рыцари теплицы. От кого лучше, как не от самой Флоры, могу я научиться изъяснять свои мысли о цветах, а может быть и свои чувства цветами! Не начать ли с сего дня благоуханных уроков, Жанни?

— Чем скорее, тем лучше. Вот этот цветок, например, называется малайская астра.

— То есть звезда, — тихо повторил Виктор, заглядывая в очи своей учительнице, — я знаю две звезды, которых краше не найти в целом небосклоне; к ним и по ним правил бы я всегда бег свой над бездной океана.

— Ах, оставьте, пожалуйста, в покое ваш океан и удостоьте сойти с неба...

— Ничего нет легче этого, Жанни, когда небо удостоивает сходить на землю.

— Зато ничего нет труднее, как понимать вашу поэ-

¹ Луковичные, усовидные, узколистные, крупноцветные (лат.).

вию! Вот родня вашей любимицы — rose musquée¹: вот махровая роза; вот тюб-роза.

— Прелестные цветки! Им недостает только шипов, чтобы поспорить с настоящей розой.

— В самом деле так? Я замечу это в своем травнике, Виктор... Вот китайский огонь.

— Который имеет зажигающее свойство только в ваших руках,— не правда ли?

— Вот мандрагора, про которую индийцы рассказывают, будто она кричит, когда ее срывают со стебля.

— И, верно, кричит: «не тронь меня»?

— Я не решалась никогда оскорблять ее чувствительности; теперь берегитесь, чтоб не заснуть: вот все племена маков; из них свит венец Морфея, и льется опиум в испарениях!

— Не страшусь несколько их усыпительного влияния, находясь так близко к противоядию. Я говорю по опыту, Жанни: обыкновенное приветствие ваше: «добрый ночи, Виктор» вместо доброй ночи дает мне злую бессонницу.

— Бедненький Виктор! Теперь я знаю, отчего он бредит иногда наяву! Но на чем мы остановились? На гарлемском жонкиле, на капском ранункуле, на писаном тюльпане? И то нет! Ваша рассеянность прилипчива, господин ученик; но вот кактус, который цветет однажды в год, и то ночью. Надобно несколько зорь сряду стоять на часах, чтобы иметь наслаждение увидеть пышный белый цвет его с оранжевыми окраинами; и вообразите, только два часа красуется он и потом опадает мгновенно.

— Хоть два часа, но он цветет, он манит взоры, он радует сердце прекрасных. Я бы готов был годами жизни купить подобное счастье!

Виктор пламенно глядел на Жанни, Жанни безмолвно смотрела на Виктора.

— Как здесь жарко! — сказала она, отбрасывая от лица воротник голубых песцов, и задумчиво взялась за дверную ручку.— Повторим первый урок и посмотрим, что заслужит ученик мой: место ли в углу или позволе-

¹ Мускусная роза (фр.).

ние бегать по двору? Например, скажите мне имя этого цветка? — промолвила она, сорвав тюб-розу.

— Не знаю,— отвечал Виктор, не сводя очей с очей Жанни.

— Но что ж вы знаете, боже мой?! — вскричала она.

— Любить, любить пламенно,— возразил с жаром Виктор, схватив нежную ручку ее.

— А что значит любить? — спросила она с просто-сердечием.

А что значит любить? — повторяю сам я, обращаясь к читателям... И вопрос этот, право, не так глуп, как он кажется сначала. Я много читал в книгах, еще больше слышал мнений людских об этом предмете, и ни одного согласного. Один говорит, что любить значит желать, другой, что любить — отказываться от природы; тот уверяет, что нет любви без денег, другой, что нет ее для богачей. Лишь Сократ сказал философическую истину, назвав любовь стремлением к возрождению посредством красоты, но это определение страсти — не описание ее действий, не характеристика ее феноменов; и что вы ни говорите, а, кажется, я останусь при своем вопросе.

Не дивитесь же, милостивые государи, что этот простой вопрос ужасно смутил неопытного любовника; он вовсе не был приготовлен разменивать свои чувства на мысли и мысли на выражения. Нить его идей прервалась, бодрость на дальнейшее объяснение его оставила; он произнес несколько неясных звуков, потупил очи на цветок, который Жанни держала еще в руке, и, желая найти точку опоры, сказал:

— Это колокольчик?

Должно полагать, у него крепко звенело в ушах, когда он назвал тюб-розу колокольчиком.

Жанни не могла удержаться от смеха.

— Нет, Виктор, нет, вы отчаянный ученик,— в вашей памяти, как в снегу, не расти цветам.

— Лишь бы мне не были чужды цветочные венки, прекрасная Жанни! Менее ль прелестна райская птичка оттого, что мы не знаем ее родины? Менее ль благовонна роза, если назовут ее другим именем?

— По крайней мере не менее забавно. Заметьте, Виктор, листки этой тюб-розы; колокольчики не рас-

пускаются так широко; пестики их гораздо ниже и пушистее; притом образование самого цветка...

Жанни толковала очень подробно. Виктор, казалось, слушал очень прилежно и, чтобы лучше рассмотреть цветок, поднес к самым глазам руку Жанни, на которой лежал он.

Виктор, изволите видеть, был немножко близорук. Между тем длинные локоны ее касались лица ученика, а волосы, как вам известно, есть самый сильный возбудитель электричества. Оттого прекрасному полу так нравятся гусарские усики, от того же самого и Виктор почувствовал на сердце прикосновение к своему челу кудрей красавицы... Невольно он поднял очи: перед ним дышали вешнею свежестью румяные щечки и благоухающие губки распускались как заря. Это было выше сил его. Он прильнул своими устами к устам искусительным, и вздох изумления исчез в жарком поцелуе!

Видали ль вы когда-нибудь две ясные капли росы рядом на листе винограда? Они долго дрожат, потрясемы дуновением ветерка, и вдруг, как будто одушеваясь, сливаются воедино и крупной слезой ниспадают, сверкая. Так точно слились устами наши любовники, забывая весь мир в упоении восторга. Поцелуй — сладостное чувство, милостивые государи! Новейшие физиологи недаром называли его шестым чувством, изящнейшим, нежели все прочие, и природа не без цели одарила одного человека таким нежным орудием одного — устами с чрезвычайно тонкою оболочкою. Всегда приятен вольный поцелуй, но что может сравниться с первым, девственным поцелуем любви? Соберите золото, власть, славу, даже самое обладание — все, все, что люди привыкли называть счастьем, и если вы испытали все это, сознайтесь, что оно не в состоянии дать вам радости, чистейшей сих невозвратимых мгновений.

Эти мгновения миновали для Виктора. Жанни с сердитым видом вырвалась из его объятий.

— Я никогда не ожидала от вас этого, господин Виктор, — произнесла она голосом обиженной гордости и, как серна, прыгнула за дверь теплицы.

Изумленный любовник остался на месте с распростертыми руками... Если б граната лопнула в его кармане, он бы менее был испуган, чем такую неожиданною строгостью.

*Les femmes ont l'humeur légère,
La nôtre doit s'y conformer;
Si c'est un bonheur de leur plaire,
C'est un malheur de les aimer.*

*P a r n y*¹

Виктор протирает глаза, не веря сам себе. «За что ей рассердиться? — думал он. — Кажется, она была равнодушна ко мне, благосклонно слушала мои вздоры и, если меня не обмануло зрение или самолюбие, очень понятно отвечала на пылкие взгляды. Конечно, поцелуй был неожиданный, но не похищенный силою, и, сколько могу припомнить, ее губки не убежали от моих. Теперь или ранее обманулся я?»

Волнуем сомнениями и страхом, что заслужил гнев своей любезной, Виктор как подсудимый явился в столовую; но он напрасно умоляющими взорами ловил взоры Жанни: она, как ртуть, убежала от встречи. Злая девушка с гордой холодностью и с видом обиженного достоинства уклонялась от разговоров, и когда виновный бемольным тоном обращал к ней вопрос, то односложные да или нет, словно иголки, входили ему в сердце.

В первый раз заметил он, что Гензиус несносен со своими расспросами: как ведется в России гроссбух? разделяют или соединяют в одну тетрадь *credet* и *debet*?² венецианскую или амстердамскую методу предпочитают для счетов и красными ли цифрами вписывают транспорт? — у человека, который не знал иного транспорта, кроме срывающего четыре куша с банкюмета. Заметил, что шутки хозяина длиннее двух аршин с четвертью и что страх утомительны рассуждения хозяйки о разнице, существующей между предохранением, охранением и сохранением пикулей, об упадке просвещения, что ясно доказывается введением сапогов вместо башмаков с тонкими подошвами, и, наконец, о размножении моли, верного предвестника близкого преставления света.

Между тем Жанни оставалась неизменно равнодуш-

¹ Женщины легкомысленны, и мы должны им в том потакать; если нравиться им — счастье, то любить их — несчастье. *Парни* (Фр.).

² Кредит и дебет (лат.).

ной, и тем сильнее кипел Виктор. Раздраженный таким упорством, он, наконец, убежал в свою комнату, с твердым намерением не выходить из нее ни к чаю, ни к ужину.

— Это ни на что не похоже, — говорил он сам с собою, отмеривая саженные шаги по паркету, — так молода и так упряма! Что я говорю — упряма? Так причудлива, так зла! Хорошо, что она выказала себя сначала, а то, чего доброго, пожалуй, влюбился бы в нее по уши, которые не стали бы оттого короче!

Тут он вздохнул, вспомня, какое маленькое у нее ушко; от ушка далее и далее; наконец он сел, как будто желая рассмотреть образ, носящийся перед его глазами.

— Да, да, это правда — она хороша, слова нет, что хороша, — приговаривал он, будто нехотя, — сложена — чудо! Умна, как день, но зато уж зла, как медяница, как змея с погремушками... Я поздравляю себя, что разлюбил ее, что равнодушен; нет, мало равнодушия, что ненавижу ее. Слуга покорный, мамзель Жанни, — вы можете пленять теперь на свободе эту двуногую треску — Гензиуса, я, право, сам умею платить леденцами за леденцы.

Урочный час пробил, и откормленный слуга явился в дверях.

— Самовар подан! — возгласил он однозвучно.

Виктор глядел на него, расширив глаза, как будто слуга произнес что-то на санскритском наречии.

— Пожалуйста кушать чаю! — сказал вестник.

— Кушать чаю? — повторил Виктор умильным голосом. — Сейчас иду, друг мой! Иду, но для того, чтобы показать спесивице, что значит оскорбленная любовь! — присовокупил он, оправдываясь перед собою.

С небрежным видом вошел Виктор в гостиную и, вместо того чтоб сесть по-прежнему подле Жанни, рассыпаясь жемчугом в иносказательных приветствиях, подсел к старику, хозяину, и пустился шутить с ним наперегонки. Но Жанни, которая прежде всех, бывало, показывала зубки, когда он выказывал остроумие или рассказывал что-нибудь смешное, теперь не удостоивала его шуток даже улыбкою, заводила незначущий разговор с матерью и, будто назло ему, все делала наоборот. Обыкновенно, в первой степени любовного масонства, ученики стараются узнать и угадать все вкусы, все при-

хоти, все причуды милой особы и таким нежным вниманием, такими маленькими услугами пробивать тропинку до ее сердца. Подобный обмен предупредительности уже существовал между нашими любовниками, и они оба могли перечесть по пальцам, что каждый из них любит или не любит особенно; ни одна безделица, которую только глаз любви может заметить, только сердце любви оценить, не предлагалась без взаимной придачи улыбки или слова. Напротив, теперь Жанни будто вовсе забыла привычки Виктора. Чай, вопреки его вкусу, был сладок, как варенье; ему предлагали сливок, хотя он никогда не употреблял их, и, что всего обиднее, не дослушав его речей, Жанни обращалась к другим с пустыми вопросами. Виктор выходил из себя, стараясь казаться хладнокровным. Жанни казалась ему чудовищем, но чудовищем, самым милым в свете; он готов был тогда разбраниваться с нею навек и расцеловать в пух. Беда, когда западет в ретивое страсть, которой мы не в силах ни бежать, ни победить!

Я, право, не знаю, что важнее для любовников: первая ли благосклонность или первая ссора? Беда вдвое, когда они приходят вдруг, подобно радуге в бурном дожде.

Виктор возвратился от ужина разогорчен и отчаян, видя свою покорность отвергнутой с равнодушием и свою гордость униженной перед невниманьем.

— О женщины, женщины! — восклицал он. — Существо бессердечное, легкомысленное, коварное, неблагодарное!

Он не первый и не последний вымещал на целой половине рода человеческого досаду на одну девушку. В любовных и в политических упреках обе стороны бывают обыкновенно чрезвычайно справедливы: старое и новое, небывалое и бывшее — все смешано вместе, все обрывается на голову обвиняемого; каждый умильный взгляд, каждый поклон ставится ему в благодеяние, то есть в обвинение за неблагодарность.

Злая филиппика Викторова кончилась тем, что он решился писать к жестокой.

Начинать переписку побранкой — довольно щекотливая вещь; она казалась, однако ж, самую естественною и всего более справедливою для неопытного моряка. Забавно было видеть, как он грыз перо и разрывал листы

за листами, то находя выражения свои чересчур жесткими, то некстати нежными. Не раз вскакивал он и отворял окно, будто ожидая прилива красноречия от полнолуния, или с жадностью затягивался трубкою, высасывая из нее вдохновение с дымом. Пламенные нелепости текли струей на бумагу и, подобно ракете, рассыпались звездами слов. Чего там не было! И обольстительные упреки, и нежные угрозы, и клятвы, и обеты — словом, все выходы сердечного безумия, все грезы любовной горячки, все, кроме того, что хотел сказать он, и того менее, что должен был говорить. Изъяснение это было вкратце, — и на третьем листе он дописывал начало, как вдруг ему показалось, будто буквы растут, растут перед пером его, что они, свившись хвостами и усами, начинают извиваться и прыгать, как змеи. Изумленный таким явлением, Виктор снял со свечи, протер отяжелевшие глаза, — не тут-то было! Дети азбуки не унимались: строчки бегали вкось и вдоль и словно дрались между собою, запятые и многоточия (вещь необходимая в любовном письме, как дробь в охотничьем заряде) летели со стороны на сторону, целые фразы кружились, смешивались, перескакивали бог весть куда, до того, что у Виктора зарябило в глазах. Неодолимый зев, как очарованием, разверз его челюсти, и голова тихо, тихо скатилась на неоконченное письмо.

В младенчестве слышал я сказку о добром молодце, который, украв у соседа петуха, набрел, пробираясь через кладбище, на толпу мертвецов. Забавники того света, покинув могилы, чтоб погреть свои кости на месяце, играли, перекидывая своими головами как мячом; гробовые одежды лежали рассеяны. Испуганный вор, зная, что оборотни так же боятся пения петуха, как мы стихов Котова, так давнул несчастного вестника зари, что он закричал кокареку благим матом. Смутились пляски покойников; каждый, надевая голову, какую послал ему случай, и одежду, какая попалась под руку, швырком и кувырком кидался в могилу. Наутро любопытные нашли весь гробовой мир вверх дном: известный красавец лежал с беззубой головой старухи, у старика профессора философии накинута была набекрень детская головка, отставной солдат с деревянною ногою лежал в душегрейке, а кирасирские ботфорты красовались на маленькой ножке танцовщицы.

Проснувшись на заре, точно в таком же беспорядке нашел письмо свое Виктор. Напрасно перечитывал он его сверху вниз и снизу вверх, добиваясь толку; напрасно искал он, что ему хотелось вчера выразить,— это было настоящее вавилонское смешение языков.

— Или я сегодня умнее вчерашнего,— сказал он наконец, раздирая в куски послание,— или вчера был так мудрен, что сегодня себя не понимаю. Что бы подумала обо мне Жанни, если бы я грянул в нее такую нескладицею?

Совершив *autodafé*¹ над лоскутками, Виктор вышел в сад подышать свежим воздухом и собраться с мыслями на новое объяснение. Окрестный вид был истинно фламандской школы: небо, подернутое байкою туманов, обстриженные деревья осыпаны пудрой инея; вдали фабрика, у которой длинные трубы торчали как ослиные уши, и даже аист на башенке оранжереи — все напоминало картины Вувермана. Сам не зная как, очутился он у дверей теплицы; сердце вечно влечет нас туда, где вкусило сно наслаждение, как в родину своего счастья. Из нее выходил садовник с лейкою в руке и с трубкою в зубах.

— Там никого нет? — спросил Виктор, желая сказать что-нибудь голландцу.

— О нееп, мун хегг², — отвечал тот, подвигая на сторону колпак свой, — как никого нет? Там преможество птиц и цветов.

— Утиная шутливость, друг мой! — возразил Виктор, захлопнув за собой двери.

— Соо, соо!³ — произнес голландец, пыхнув очень значительно дымом и качая головою; дальнейших объяснений думы его надобно было бы ожидать, как поздней капусты. Он удалился, улыбаясь лукаво.

Печально поглядел Виктор на милующихся канареек, быстро пробежал стопами и взорами цветники и ряды редких плодоносных и душистых деревьев; он заметил, как склоняли цветы друг к другу вспрыснутые головки свои, будто желая поделиться освежающею влагою. Пусть кто хочет говорит, что любовь есть безумие,— по моему, в ней таится искра высокой премудрости. В ней

¹ Сожжение (фр.).

² О нет, сударь (голл.).

³ Так, так! (голл.).

мы испытываем по чувству то, к чему приводит нас впоследствии философия по убеждению. Каким благородным доверием, какою чистою добротою бываем мы тогда переполнены: в каждом человеке находим тогда друга, в милом цветке, в тихом кустарнике — родного; мы считаем себя самих лучшими и верим, что точно были бы таковыми, если б это умиление, творящее около нас новый мир и украшающее старый, было прочнее, постоянное. Разница только в том, что философия исторгает человека из общей жизни и, как победителя, возвышает над природою; а любовь, побеждая его частную свободу, сливает его с природою, которую он, одушевляя, возвышает до себя. Сладостны созерцания и мудреца и любовника, хотя ощущения последнего живее, а понятия первого явственнее. Любовник, кажется, внемлет сердцем биению жизни во всем творении, гармонии блага — во всем творимом. Пред умственными взорами другого расцветают мрачные бездны, развивается свиток судьбы миров и народов. Только это двойное созерцание дает человеку вполне насладиться своим совершенством, то в самозабвении, то в забвении всех зол, его окружающих. В это время он поглощает минувшие, настоящие и будущие наслаждения, слинные в тихом восторге!

Полон подобными чувствами, если не подобными мыслями, стоял мечтатель Виктор перед кустом тюб-роз, свидетелем его счастья и горя. Душа его плавала, как индийская пери, в испарениях цветов, забыв досаду и надежду, довольная собственной любовью, одною любовью, — чувство, непонятное многим, но тем не меньше сладкое для немногих. Вдруг, вовсе неожиданно, он был исторгнут из своей задумчивости свежим, звонким поцелуем, и громкий смех, за ним последовавший, заставил его вздрогнуть, хотя вовсе не от испуга; смех этот, в свою очередь, заглушен был звуком поцелуев Викторовых, которыми осыпал он резвую Жанни, ибо это была, конечно, она.

— Полно, полноте, Виктор! — кричала красавица, заслоня уста ручками, которые отнимала опять, чтобы скрыть от лобзаний. — Я, право, опять рассержусь на вас; я возвратила вам только ваш злой поцелуй: я не хотела принимать подарков от таких дерзких людей.

Виктор остановился.

— Очень хорошо, Жанни; когда дело пошло на расчеты, возвратите мне сполна полученные теперь, и я доволен.

— Да вы несноснее нашего бухгалтера, Виктор! Легко сказать — счетом; а кто бы успел считать их? — возразила Жанни, и между тем щеки ее пылали прелестным румянцем, глаза яснили невинною веселостью. Вся она была так простосердечно игрива, — Виктор растаял.

О прежней ссоре не было и помину. Он тихо обвил руку около стройного ее стана и неприметно привлек к себе очарованную очаровательницу; но она будто убежала от милых уст, уста ее преследующих, так, что Виктор срывал поцелуи, как розы за розою.

— Мы перечтем снова, — произнес он, и между всяким словом было *тире* из звуков, которых по сию пору никто не вздумал изобразить каким-нибудь иероглифом.

В проверку счета вкрадывались ошибки, и проверка начиналась снова и снова. Я уверен, что это была первая арифметическая задача, доставившая столько удовольствия ученикам. Итоги не были еще подведены, а уже они дружески говорили ты друг другу. Никто из них не помнил, когда и кем было произнесено это слово.

— Я хотела помучить тебя, Виктор, — говорила Жанни, расправляя розовыми перстичками волосы на голове его, — но, признаться, мне дорого стоило притворство, и я целую ночь упрекала себя. Пришедши сюда полить цветы мои, я долго любовалась тобою, — примолвила она, скрывая горящее лицо на груди счастливец, — и, наконец, не выдержала, чтоб не поцеловать тебя. За что, скажи, я так люблю тебя, причудливый, злой Виктор!

— За что я обожаю тебя, коварная девушка!

— Не сердись вперед, Виктор, — ты так страшен в гневе; мне становится холодно в сердце, когда я о том вспомню.

— Не играй вперед любовью, милая Жанни! Кто так хорошо умеет притворяться равнодушным, тому недалеко до настоящего бесстрастия, — по крайней мере мысль, что ты так же легко можешь лицемерствовать в нежности, как в холодности, меня убивает!

— О нет, друг мой, — отвечала она простодушно, — я уже привыкла быть равнодушною, а люблю впервые.

— И впоследствии, Жанни?

— Однажды и навсегда, Виктор!

— Я твой до гроба! Любить тебя, Жанни, буду я и в самой вечности!

В этот раз Жанни уже не думала спрашивать, что значит любить. И Виктор не пошел бы в карман за словом, если б она о том спросила.

Удивительно, какие быстрые успехи делает в этой науке сердце человеческое в самое короткое время! Один разве животно-магнетический сон, который учит по-латыни и по-гречески в одну засыпку, может поспорить с платонической методою. Вчерашние новички становятся вдруг такими стратегиками в любовной войне, что, пожалуй, научат учителей.

Любовники наши расстались, осыпая друг друга уверениями; они поспешили в свои комнаты, чтобы наедине с собою, каплей по капле вкусить свое блаженство.

ГЛАВА VI

*«Я, Душенька, люблю Амура!»
Потом заплакала как дура;
Потом, не говоря двух слов,
Заплакал с нею рыболов,
И с ним взрыдала вся натура.*

Богданович

Каждый день с рассветом являлся Виктор в оранжерею, да и прелестная голландочка не опаздывала придти туда кормить своих канареек, лелеять свои цветы заморские. Само собой разумеется, что не забывала и милого моряка, который стал ей теперь дороже всех птичек и всех тюльпанов вместе. О чем водились у них речи, того не дошло до моего сведения. Крылатому племени всегда не до чужих песен, цветы молчаливы с природы, а от флегмы садовника можно было услышать только соо, соо, сопровождаемые весьма значительными и вовсе непонятными пуфами табачного дыма. Полагать должно, они не скучали, и хотя словарь счастливых очень ограничен,— но они не могли наговориться об одном и том же и всякий раз имели что-нибудь прибавить ко вчерашнему.

Живучи в таком элизиуме, наш лейтенант вовсе позабыл о море и флоте, о своих и неприятелях, и сколь ни горячий патриот был он, но редко вспадала ему на ум

горькая мысль, что французы идут в сердце отечества. «Нет, Русь не падет! — восклицал он, пылая. — Наполеон поскользнется в крови нашей!» — и успокаивался, и утешал себя верою, что все это скоро кончится, и оправдывал себя вопросом: что могу я сделать? Любовь безмолвила, наконец, все прочие чувства; завтра для него не существовало; он сам не жил в самом себе, — он будто променялся душою с милою.

Однако ж этот промен был невыгоден для Жанни, и она узнала сладость грусти, рассеянность завладела и ею. Домашний порядок, доселе верный как часы, совсем потерял черед под ее надзором. Однажды в пяльцах вместо какого-то узора она вышила целую строчку литер W по зубчикам косынки. В расходной тетради, вместо итога, явилась чья-то мужская голова — Юлия Цезаря, по ее сказкам матери. В часы, назначенные поварне, ей хотелось танцевать, в часы уроков на арфе — молиться. То забывала она ключи в ящике, то вместо сладкого миндаля насыпала для пирожного горького, то оставляла стул посреди комнаты — вещь, которая для матери ее была страшнее планеты, грозящей стоптать землю. Наконец уж и сам отец заметил, что дочь не в своем уме, когда она налила ему кофе без сахару и в задумчивости сорвала какой-то чудесный тюльпан, что искони считалось смертным грехом в доме его.

— Два аршина с четвертью! — вскричал он, отворив большие глаза. — Это что-нибудь да значит!

Между тем, однако ж, как Амур готовил суматоху в семье Саарвайерзена, судьба сбиралась изломать его стрелы.

Уже миновало две недели пребывания Виктора, и он, притаясь, не думал напоминать об отправлении; а старик, чрезвычайно довольный его обществом, казалось, совсем забыл, что Виктор не домашний. Даже добрая хозяйка привыкла к нему, по собственному ее признанию, будто к старому ореховому комоду, который отдан был за нею в приданое. Притом, поздняя осень делала затруднительным, если не вовсе невозможным, плавание по бурному побережью Зюйдерзее, а дурная погода избавляла от гостей, которые бы могли подозревать или угадать что-нибудь в странствующем приказчике, на которого, правду сказать, он нисколько не походил с головы до ног и с речей до поступков. Словом, все обнадежи-

вало нашего моряка, что он долго просидит на мели, а там, а там... доживем — увидим, случится — так подумаем! И между тем часы летели, и сердце отживало годы счастья.

Утром первого ноября, светел как майский мотылек, порхнул Виктор в теплицу и нашел там Жанни в горьких слезах. Долго не отвечала она нежным вопросам его, и отзвонком на них были только новые слезы, новые стелания.

— Минули мои радости,— наконец произнесла она,— Виктор меня покидает!

— Какие черные мысли, милая Жанни,— скорее замерзнет пламень, чем я изменю тебе!

— Ах! зачем ты не изменишь мне? Тогда по крайней мере я бы в гневе и в презрении нашла отраду разлуке! Менее ли я несчастна теперь, теряя тебя невинного!

— Не огорчайся, милая, будущим горем, оно далеко, еще все может перемениться к лучшему!

— Не верю я, не хочу я верить ничему лучшему, когда все, что казалось таким, меня обмануло. Зачем я полюбила тебя, Виктор!..

— Я не понимаю тебя, милая!

— Я бы рада была, чтобы ты не слышал и не понял никогда вести разлуки, если б это могло удержать тебя со мною.

— Возможно ли: мне готовят отправление?

— Оно уже решено. Батюшка сегодня поутру нанял рыбаков на большом боте, чтобы тайно провезти тебя на эскадру; завтра ночью ты отправляешься!

Безмолвен и бледен стоял Виктор перед плачущею любезною; наконец вспомнил, что он, как мужчина, должен утешать ее; но Жанни, которую горесть сделала причудливою, с сердцем отвергла его изношенное красноречие.

— Не огорчай меня, Виктор, своими утешениями, я не хочу и не могу быть покойна; с тобой вместе ладья показалась бы мне люлькою, но, воображая тебя на ней одного, я всякий час буду страшиться потопления... И потом, ты уедешь в Англию, в свою милую Россию, забудешь меня, изменишь мне, почему я знаю, может быть, станешь смеяться над простотой Жанни, когда Жанни будет плакать, горько плакать!..

Рыдания прервали слова ее.

Виктор не мог удержаться, чтоб не выронить пары две заветных слезинок, однако ж, лаская и уговаривая, уговаривая и лаская, ему удалось понемногу успокоить Жанни.

— Я откроюсь твоему родителю,— говорил он,— и буду просить руки твоей; я не вижу причин отказа и потом невозможности возвратиться к тебе: война ведь не вечна, как любовь наша. Притом еще два дня могут принести много перемен!..— Жанни поглядела исподлобья, как будто в нерешимости, утешиться ей или нет; наконец улыбка проглянула на милом лице ее, словно луч солнца сквозь вешний дождь: юность так охотно ввернется надежде и сама спешит навстречу обмана.

Уже все собрались к обеду.

Хозяин, заложив руки в карманы, преважно рассказывал Виктору о новом изобретении цилиндрических ножниц для стригальной машины. Гензиус, глядя на картину, изображающую столовые припасы, наигрывал носом песню нетерпения. Жанни, грустно подняв брови и склоня голову на плечо, украдкой поглядывала на лейтенанта, и уже хозяйка вошла в комнату с рдеющими от огня ланитами и с вестью об обеде в устах, как вдруг Саарвайерзен, взглянув на термометр за окошко, вскричал:

— Так и есть, вот болтун Монтань к нам тащится.

— Капитан Монтань! — вскричала испуганным голосом хозяйка.

— Это настоящее божеское посещение,— сказал Саарвайерзен.

— Разоренье, да и только,— сказала госпожа Саарвайерзен.

— Он для меня несноснее барабана,— сказал первый.

— Он для меня страшнее моли,— сказала вторая.

— Он переломает мои тюльпаны и оборвет цветки с лимонных дерев для настойки,— сказал хозяин.

— Передвигает с места всех мандаринов и перервет мои ковры своими варварскими каблучищами,— сказала хозяйка, брянча, однако, связкою ключей.

Делать было нечего; живучи за городом, теряют право отказывать скучным людям, и несовместно с добро-

той, не только с учтивостью, отказать приезшему из-за пятнадцати миль. Приятель-неприятель уже всходил на лестницу, и гостеприимное *прошу пожаловать* встретило его у порога, между тем как он напевал еще песню:

*Les Français ont pour la danse
Un irrésistible attrait;
Et de tout mettre en cadence
Ils ont, dit-on, le secret;
Je le crois,
Quand je vois,
Ces grands conquérants du monde
Faire danser à la ronde
Et les peuples et les rois!*¹

Двери отворились, и капитан *garde-côte*² Монтань-Люссак влетел на цыпочках в комнату. Он был человек лет тридцати пяти от роду и вершков тридцати пяти от полу, с кроликовыми глазами, с совиным носом и с настоящею французскою самоуверенностью. На нем был синий мундир с одним эполетом, и он подпирался шпажкой, которая, вместе с тонкими козьими ножками, делала его весьма похожим на треногую астроблюбу.

— *Ma foi*³,— сказал он, раскланиваясь с видом благосклонности,— недаром говорят, что в рай претрудная дорога. Ваш фламгауз, *mon bon monsieur Sarvesan*⁴,— настоящий рай Магометов, потому что одна *mademoiselle*⁵ Жанни стоит всех гурий вместе,— и с этим словом он так махнул мокрою шляпою, что брызги полетели кругом.

— Вы так любезны, капитан,— отвечала Жанни с лукавой улыбкой, вытирая платком платье,— что нет средств сухо принять ваши приветствия!

— Вы божественно снисходительны, мадемуазель Жанни,— возразил, охорашиваясь, француз, вовсе не замечая насмешки,— и я принес жертву вашей божественности — премиленький рисунок воротничка,— в нем вы

¹ Французов непреодолимо тянет к танцам; говорят, они владеют секретом все обращать в такт; я верю этому, когда вижу, как эти великие завоеватели мира заставляют и народы и королей кружиться в хороводе! (фр.)

² Береговая стража (фр.).

³ Честное слово (фр.).

⁴ Добрейший господин Сарвезан (фр.).

⁵ Мадемуазель (фр.).

покажетесь, как персик между листьями. А вам, *madame Surversant*,— сказал он, обращаясь к хозяйке,— выписал я рецепт, как сохранять в розовом варенье природный его цвет.

— Лучше бы научили вы средству сохранять ковры от мокроты,— отвечала она, с ужасом глядя на струю дождя, текущую со шляпы героя.

— Капитан — неизменный угодник дамский,— молвил хозяин, трепля его по плечу,— у него в кармане всегда найдется про них какая-нибудь игрушка и в голове запасный комплимент!

— *Par la sainte barbe* (клянусь пороховою каморою),— возразил капитан, вытягивая свой туго накрахмаленный воротник,— мое сердце готово всегда упасть к ногам прекрасных, а шпага — встретить неприятеля!

— Славно сказано, капитан,— только, видно, у вас сердце некрепко привязано, когда вы можете выкидывать его, как червонный туз; ну, а, кстати, о шпаге: много ли ей было работы пронзать и щупать тюки с запретными товарами?

— Я задавлен делами, *vrai dieu*¹, задавлен! — отвечал французик, зачесывая на обнаженный лоб скудные волосы.— Ваши соотечественники, вместо благодарности нашему доброму императору за то, что он не столкнул Голландию в море, беспрестанно заводят по всем шинкам заговоры, а забияки русские и англичане того и жди, что нагрянут на берег! Знаете ли вы, что они затеяли тайную высадку, чтоб захватить крепость и порт,— безделица! К счастью, сударь, я своею проницательностью уничтожил их замыслы и спас город: злодеи были захвачены,— и в чем, как вы думаете? В ромовых бочонках, сударь, в ромовых бочонках!

— Вам должно воздвигнуть статую во весь рост на бочонке вместо подножия,— сказал, улыбаясь, хозяин.

— Этого мало, *gepp Sans-fer, Sans-ver-Sagasin*, извините, пожалуйста, я не в ладу с голландскими именами,— вообразите себе, что эти вандалы, англичане, эти враги человечества, то есть французов, собрались нас зажарить заживо, вместе с домами и кораблями, открыли в Лондоне подписку, наняли контрабандистов, чтоб ввести потихоньку зажигательные вещества в курительном табаке,

¹ Истинный бог (фр.).

в свечах, в колбасах, в копченых рыбах, даже в помадных банках, сударыня, даже в помадных банках; все каблуки французских генералов начинены были порохом: злодеи хотели поднять на воздух каждого из нас поодиночке...

— И вы опять открыли их?

— Mais cela va sans dire (это и без слов разумеется), под крыльями французского орла и до тех пор, покуда я охранитель берегов здешних, вы можете спать как за каменной стеною.

— Не угодно ли же гению-хранителю отведать нашего обеда? — сказал хозяин, наскучив его болтаньем, — суп и железо надо обрабатывать, покуда они горячи!

Таможенный храбрец жеманно подал свой локоть хозяйке, Виктор — дочери, а сухощавый Гензиус и шаровидный хозяин, как постный сочельник и сытное рождество, замкнули шествие.

Я думаю, известно всем и каждому, что бог отдал французам майорат любезности с дамами, по крайней мере Монтань-Люссак нисколько не сомневался, что он урожденный остроумец и непобедимый человек в искусстве нравиться. Правда, что переслащенные комплименты его подернулись уже мохом со времен Франциска I, но зато он отпускал их Жанни самым новым, хотя весьма смешным образом. Обо всем другом рубил он сплеча, не краснея, и между тем не забывал ни стакана, ни тарелки. Изгоняемая из желудка и головы его пустота разрешалась безмерным хвастовством.

— А каков наш маленький капрал? Soit dit sans vous déplaire (не во гнев вам будь сказано), — сказал он, качаясь на стуле. — С каждой почтой присылает он к нам ключи какой-нибудь столицы; нас ожидают уже в Петербурге, и тамошние дамы заказали тридцать тысяч пар башмаков для встречного бала! Что это за прелестная земля Московия, когда б вы знали! Рай, а не край.

— Вы разве были там? — спросил Виктор.

— Я не был, mais c'est égal¹: мой брат собирался туда ехать. Представьте себе, что там падает осенью град в гусиное яйцо, из которого пекут превкусные хлебы; соболи водятся там в домах, как у нас мыши, а всего забавнее, что для верховой езды в горах употребляют лошадок, называемых коньяк, которые не больше собаки.

¹ Но это все равно (фр.).

— Я думаю, однако ж, что храбрые ваши одноземцы не много найдут прелести и поживы в краю, нарочно опустошенном,— сказал Белозор.

— *Bagatelle* (сущая безделица),— возразил капитан.— Что значит русские морозишки для испытанных гренадеров, которые кушали мороженое, приготовленное во льдах Альпов, и на штыках жарили крокодилово мясо на солнце Египта. *Allons chantez-moi ça*¹, я сам стоял на биваках в пирамиде Вестриса.

— Может быть, Сезостриса, хотите вы сказать,— заметила Жанни.

— *Vous y êtes, mademoiselle* (вы угадали), но это все равно, дело в том, что Московия не чета Египту; пройти ее вдоль и поперек нам так же легко, как сложить песню.

— Трудно только выйти,— сказал с насмешкою Виктор.

— А, а! господин любит пошучивать, но от этого нашим не хуже: за ними ведут огромные стада мериносов.

— Уж не хочет ли Наполеон заводить там суконные фабрики? — спросил лукаво хозяин.

— Покуда нам довольно и голландских,— отвечал капитан.— Нет, сударь, баранов едят, из кож шьют шубы, костями мостят дорогу для артиллерии и даже обсаживают ее в два ряда финиковыми косточками: надо у этих варваров образовать даже климат, и благодаря стараниям Фуше теперь он не много уступает итальянскому. Да, сударь, что Наполеону вздумалось, то свято. При торжественном вступлении его в Москву...

— В Москву?! — вскричал Виктор, едва не вскочив со стула.— Эта шутка переходит уже границы терпения!

— Шутка? Не вы ли, полно, шутите, господин странствующий рыцарь Меркуриева жезла? Видно, вы жили под землей, если не слышали этой новости; даже в Пекине все немые толкуют об этом!

Надобно сказать, что флот давно не получал известий с театра войны, а ван Саарвайерзен не хотел печалить русского вестью о взятии его отечественной столицы.

— Москва точно взята,— сказал он ему по-немец-

¹ Ну, рассказывайте (фр.).

ки, — но ваши стоят крепко; будь мужественен, Виктор, умерь себя.

Но эта весть как громом поразила юношу, и, наконец, худо скрытая досада овладела им.

Болтун продолжал по-прежнему:

— Да, сударь, перед Москвою мы разбили пятисоттысячную армию, которою командовал Суворов или Кантакузен, ou quelque chose comme cela; ¹ тут дрались даже старики с бородами по колена, которые служат им вместо лат или наших хвостов на кирасирских касках; картечь или пуля ударит, да и запутается в волосах!.. При этом деле были два полка самоедов на лыжах, — mais on enfile ça comme des grenouilles ², — в полдень все было кончено, и бояре в длинных своих кафтанах, любя французов от души, на руках внесли победителя в город. По русскому обычаю, герою поднесли в пироге запеченного китенка, по счастью, накануне пойманного в Белом море.

— Оно полторы тысячи верст от Москвы, — с презрением сказал Виктор.

— Точно так, точно так и было до Петра Великого; но он, для удобства столицы, велел подвинуть его поближе. Ручаюсь вам, сударь, что Петр был моряк, каких мало, и если б подольше поцарствовал, то весь бы свет обратил в океан и посадил на корабли. Но я удаляюсь от рассказа. К вечеру дан был бал, на котором музыку составлял звон всех московских колоколов; говорят, что эффект был восхитительный! Для редкости, два эскадрона пленных казаков отличились в народном танце, который у них известен под именем пляска. Все лица днем и все улицы ночью были иллюминированы: От избытка приверженности к вожденным гостям жители зажгли дюжину церквей и несколько кварталов.

— Чтобы все французы погибли там! — вскричал Виктор.

В этот миг слуга принес английские газеты.

— Москва освобождена... Французы бегут! — вскричал Саарвайерзен, взглянув на первый лист, и передал его Виктору. Весть об изгнании была там напечатана большими буквами. Восхищенный Виктор сначала обра-

¹ Или что-то вроде этого (фр.).

² Но их нанизывают, как лягушек. (фр.).

тел благодарные очи к небу, но потом желание укротить хвастуна вырвалось у него насмешками.

— Итак, господин капитан, ваши египетские герои бегут не оглядываясь!

— Sur ma foi¹,— вскричал тот,— это газетный вздор, это зажигательные известия английские; я никогда не видывал, чтобы французы от кого-нибудь бегали...

— Может быть, оттого, что вы бывали тогда *впереди всех*,— сказал Виктор насмешливо.

— Мне кажется, господин рыцарь аршина, вы на мой счет изволите забавляться? Douze mille bombes!²

— На ваш счет, господин герой таможни? Нимало: я бы ничего не поверил вам в долг.

— Знаете ли, кому вы говорите, сударь? Ведаете ли вы, что я происхожу по прямой линии от славного Монтаня, который так же умел владеть пером, как шпагою?

— В таком случае вы оправдали на себе басню, в которой гора породила мышь!³

— Я мышь? Я, сударь, мышь? Как старинный дворянин, я бы доказал вам дружбу, если б вы стояли острия моего клинка, но знайте, что он действует и плашмя.

— Дерзкий хвастун! Если б мы были не в доме почтенного человека, вы бы получили должную награду; впрочем, вы можете счесть, что взяли ее.

— Так знайте и вы, что если б не этот стол, я бы пронзил вас насквозь,— вскричал ретивый француз,— и с этой минуты вы можете считать себя мертвым!

Эта выходка рассмешила всех как нельзя более. Нахотавшись досыта, сам Виктор негодовал на себя за вспыльчивость. Истинно смешно было сердиться на этого шута. Согласие восстановилось за бутылкой шампанского, которую гости распили за здоровье победителей, каждый разумея в тосте кого ему хотелось.

После кофе капитан с значительным видом приблизился к хозяину, прокашлялся, как проповедник, который собирается говорить поучение, выставил вперед козлиную ножку и умильным голосом попросил хозяина

¹ Клянусь (фр.).

² Двенадцать тысяч бомб! (фр.)

³ Игра слов — montagne и Montaigne. (Прим. авт.)

удостоить его минутным, но особенным разговором о важном, очень важном деле. Слыша это, все лишние поспешили удалиться.

ГЛАВА VII

Утешься! Индия осталась за нами.

Н. Хмельницкий

О чем и как шла таинственная беседа Монтаня с хозяином, история умалчивает. Только через полчаса двери кабинета растворились, шумя, и капитан, надувшись как индейский петух, с гневным видом вышел оттуда, крутя свой хохол; между тем Саарвайерзен провожал его повторениями:

— Нос, сударь, нос! Говорю я вам — нос в два аршина с четвертью!..

Не взглянув ни на хозяйку, которая сидела с Гензиусом за пикетом, ни на Жанни, которая речитативом повторяла с Виктором песню собственного сочинения, сердитый герой перешагал через комнату, ворча, и, не поклонившись, хлопнул дверью. Слышно было, как, сходя с лестницы, он приговаривал:

— Да, да, господин Сар-сар-сер-ве-зан, вы мне дорого заплатите за эту обиду, да, да, господин Сар-сур-сир,— между тем как наконецник волочащейся по ступенькам шпаги вторил ему. Скоро раздался бряк подков двух лошадей у крыльца, и через минуту герой был далек от дому и мыслей его обитателей.

В это время Виктор и Жанни, кончив свое совещание, решительно встали оба и вошли в кабинет Саарвайерзена. Старик ходил по комнате, против своего обыкновения, весьма скоро; на лбу его еще видны были морщины досады, но он разгладил их, взглянув на дочь свою. Ласково притянул он ее к себе и поцеловал в голову.

— *Добрая девушка!* — сказал он, — не правда ли, ты еще не хочешь покинуть отца своего?

— *Для чего вы меня об этом спрашиваете, батюшка?* — робко возразила Жанни, пойманная, так сказать, врасплох.

— *Так, милая, так; мне пришло на мысль, что весною видел я молодых ласточек, которые чуть оперились*

и хотели покинуть кров родимый; бедняжки попадали из гнезда и достались на потеху школьникам. Девушки похожи на ласточек, Жанни...

— Не знаю, батюшка, только я не желала бы век разлучиться с вами, но не желала бы разлучиться и с... Батюшка, обещайте мне исполнить то, об чем я вас прошу.

— Изволь, изволь, моя милая; конечно, тебе понравилась какая-нибудь игрушка: перстенок, или шаль, или заморская птичка? Хоть райскую куплю, душенька; плуты купцы ухитрились и в раю найти товар для вас. Говори; я ничего для тебя не пожалею.

— О нет, батюшка. Я так задарена вами, что мне ничего не остается желать в этом отношении, но... но вы не рассердитесь, батюшка?

— Рассержусь, если ты долее станешь скрываться. Нужна ли тебе компаньонка позабавнее, я выпишу такую, что в три дня уморит тебя со смеху; нужна ли мадам поученее, я найду такую, перед которой и мадам Сталь — не больше как словесная пирожница; хочется ли танцмейстера, вмиг доставлю такого искусника, что протанцует тебе гавот в бутылке.

— Вы все шутите, батюшка... а я...

— А ты небось в первый раз вздумала важничать? Очень бы любопытен знать, что за дело запало тебе в голову?

— И в сердце, батюшка... Мы... я, Виктор...

— Да, кстати, друг Виктор, — сказал хозяин, прерывая ее и дружески сжимая ему руку, — знаешь ли, что нам скоро должно расстаться?

— Я для этого-то и пришел к вам, почтенный хозяин мой. Нам должно расстаться или ненадолго, или навсегда. Коротка будет речь моя: ни мой, ни ваш откровенные нравы не имеют нужды в длинных околичностях и блестящих словах... Я люблю дочь вашу, она любит меня, ваше согласие даст нам счастье. Заверенный словом вашим, я по окончании войны прилечу сюда жениться.

— Жениться!.. — вскричал с изумлением Саарвайерзен, отступая на три шага. — Жениться? Это коротко и ясно, Виктор, и быстро, хоть куда, да едва ли и не безрассудно также! Сегодня, никак, целый свет взяла охота свататься на моей дочери: не успел сжить с рук этого

фанфарона, эту таможенную мышеловку, Монтаня, и другой готов уже на смену.

— Я смею надеяться, Саарвайерзен, вы не ставите меня на одну доску с этим искателем кладов?

— Сохрани меня бог, два аршина с четвертью. Я скорей бы согласился на своей фабрике век выделывать попоны, чем позволить выставить его клеймо на лучшей моей ткани!

— Почтенный господин Саарвайерзен, я никогда бы не дерзнул искать руки вашей дочери, если б не имел на то единственного, по-моему, права: ее взаимности и пламенного желания сделать ее счастливою!..

— Любезный батюшка, я сердечно люблю Виктора! — вскричала Жанни, ласкаясь к нему.

— Ты сердечно говоришь пустяки, моя милая... Скажи-ка лучше, в котором боку у тебя сердце?.. — возразил отец. — Девушки еще за куклами так же часто говорят люблю, как дьячки *аминь*, нисколько не понимая, что это значит, и я дивлюсь только одному, как смела ты сказать это слово чужеземцу, не спросясь ни отца, ни матери, и раньше восемнадцатилетнего возраста. Что касается до тебя, Виктор, тебе немудрено было полюбить хорошенькую девушку и единственную наследницу!..

— Саарвайерзен, вы можете отказать мне в благосклонности, но не в уважении. Я имею в России независимое состояние и везде доброе имя и не полагаю, чтобы я подал вам повод сомневаться в моем бескорыстии. Отдайте мне Жанни, как она стоит перед вами, и я буду не менее счастлив, не менее благодарен... Я буду богач, когда Жанни принесет мне в приданое любовь свою и согласие ваше...

— Хорошо сказано, молодой человек, и, что еще лучше, благородно почувствовано; но подумай и посуди сам, есть ли в твоём предприятии хоть нитка благоразумия? Я знаю о тебе столько же, как о летучей рыбке, которая взлетает над морем и опять скрывается в море. Не обижаю тебя сомнением, верю всем словам твоим, хотя при записке в долговую книгу супружества надобно бы для дочери желать должайшего знакомства и вернейшей поруки, но вспомни, что каждый шаг твой здесь куплен опасностью. Монтаня уже подозревает что-то и не преминет донести своему правительству, у которого я

давно на худом счету. Я сам собираюсь отсюда убраться тихомолком, покуда минут смутные обстоятельства. Кроме того, волей и неволей мы в войне с русскими, и бог весть, когда она кончится. Да если б и кончилась скоро,— скоро ль тебе будет возможно приехать сюда? Посуди притом, каково будет нам, старикам, разлучиться с любимой дочерью...

— Даю вам священное слово каждые два года приезжать сюда на несколько месяцев; готов даже навсегда поселиться с вами...

— И этого не хочу, любезный Виктор... Жена должна для мужа покинуть все на свете, но мужу для жены стыдно забыть отечество. Скажу тебе откровенно, ты мне понравился, и будь ты одноземец мой, я бы не занкнулся назвать тебя зятем, если б даже кошелек твой можно было продеть в иголку, но отпустить дочь за тридевять земель... Она так молода, ты так ветрен, что через полгода, статья может, оба не вспомните и не захотите узнать друг друга.

— Если б нам не суждено было видеться до второго пришествия, я и там бы встретил Жанни как супругу моего сердца,— сказал Виктор.

— Никто, кроме Виктора, не будет моим мужем,— присовокупила Жанни решительно.

— Все это очень громко и очень ломко, друзья мои; вы говорите в горячке, а горячка есть болезнь, и непродолжительная. Рад верить, впрочем, что любовь ваша не полянет ни от времени, ни от препятствий, и по тому-то самому полгода-год разлуки нисколько не помешает делу. Если ты возвратишься к нам в тех же мыслях и найдешь Жанни с теми же чувствами,— с богом, я не стану противоречить, а между тем мы лучше узнаем о тебе, а Жанни испытает себя.

— Могу ли я принять это за неизменное слово? Можем ли променом колец заверить будущий союз наш?

— Что касается до моего слова, любезный Виктор, ты можешь построить на нем замок, не воздушный замок, разумеется, а другое считаю излишним. Зачем надевать на себя путы, бесполезные между людьми благородными и предосудительные, если судьба разведет вас... Ты человек военный, тебя могут убить, и тогда Жанни останется вдовою, не быв супругою. Теперь обрученье ваше походило бы на обрученье дожа с морем.

— Это не пустой обряд, почтенный Саарвайерзен, не вздорная прихоть, нет, — это утешение сердцу, это залог будущего счастья... Скрепите же его, освятите его своим благословением, дайте мне отраду считать себя не чуждым вашему семейству, дайте мне лестное право называть Жанни своею невестою, называть вас отцом своим...

Виктор склонил колено, прижимая руку старика к груди...

— Батюшка, — восклицала Жанни, возводя к нему заплаканные очи и объемя его колена, — сжальтесь, не будьте суровы, сделайте счастливыми детей своих!

— Полно, полноте, дети! — вскричал почти тронутый старик, вырываясь из их объятий. — Что это за картина венецианской школы! Что это за водевильные песни... Встаньте, утешьтесь... И я с вами разрюмился... слезы каплют у меня с лица, будто с молодого сыра. Встаньте, говорю я вам; я дал слово, и более ни слова... Не требуйте ничего лишнего, если не хотите, чтоб я отказал и в этом. Я должен быть рассудителен за вас, чтобы кто-нибудь из вас не пенял на меня. Завтра вы расстанетесь, а будущее зависит от вас самих. Дайте мне время образумиться.

Виктор ясно видел, что это полусогласие было чуть-чуть не отсроченный отказ; Жанни глотала все доказательства отеческие как зерна перцу; но делать было нечего, и они оба, поцеловав у старика руку, удалились с кисло-сладкими лицами.

Малорослый сын великой нации ехал в город, рассыпая проклятия на обе стороны; досада его раздражалась еще более тряскою рысью огромной фризской лошади, на которой он был точно миндаль на прянике. Не умея порядочно ездить, он беспрестанно скользил то вправо, то влево по широкому седлу. Спутник его, морской солдат самой разбойничьей физиономии, тащился сзади, скорчившись на тощей кляче, как на салинге, и, куря коротенькую трубку, при каждом скачке капитана приговаривал:

— Проклятые лошади!

— Лошади и люди, Брике, вода и земля — все негодное в этой несносной стороне, douze cents bombes!¹

¹ Тысяча двести бомб! (фр.)

— Это и мое мнение, *mon capitaine* ¹! — примолвил Брике.

— Это и мое убеждение, Брике, мое душевное убеждение. Что такое здешние мужчины? Гордые лавочки! Что такое здешние дамы? Бестолковые поварихи. А девушки? Это ходячие кувшины с молоком. Никакого тона, *mon cher* ², никакого умения жить в свете, ни малейшего взгляда отличать достоинства... Для них кусок лимбургского сыра с червями предпочтительнее любого дворянина с тринадцатью поколениями предков!

— Это ясно, как шоколад на воде, капитан, и я, право, расчесал себе голову, отгадывая, почему вздумалось вам удостоить это утиное племя своим выбором; правда, мамзель Саарвайерзен богата, и жениться на ней...

— Скорее женюсь я на адской машине, чем на этой голландке. Все, что я рассказывал тебе прежде, была одна шутка, *douze cents bombes*, если не шутка! Я только для забавы посватался на дочери суконника, и как ты думаешь, он принял мое предложение?

— Разумеется, кинулся к вам на шею с расстегнутыми карманами и сердцем, — отвечал лукаво Брике.

— *Rien moins que ça*, Брике, ничего менее этого: он дерзнул отказать мне...

— Вы шутите и со мною, капитан!.. Полагаю, что в его кочане немножко поболее смыслу.

— Весь его смысл не стоит пары собачьих подков, Брике; он отказал наотрез. Он вздумал, что он очень важный человек, оттого что на полу у него бархатные ковры, а на столе фарфоровые плевательницы! Велика птица! Да если б его сукном можно было обтянуть земной шар, а червонцами запрудить Зюйдерзее, я и тогда отсмею ему насмешку. Не ему чета были бургомистры амстердамские, да и те перестали ковать колеса и коней серебром, а его-то и подавно можно просеять сквозь суддебное решето.

— Не только можно, да и должно, капитан, — он застенчивый оранжист.

— Он мятежник, — это по всему видно. Во-первых, читает английские газеты.

— В-вторых, богат, как жид.

¹ Капитан! (фр.).

² Дорогой мой (фр.).

— В-третьих... да что за счеты? Виноват кругом, да и только.

— В-четвертых, держит у себя подозрительных людей.

— Каких подозрительных людей? — сказал Монтань, обернувшись к своему оруженосцу. — Про каких людей говоришь ты?

— А вот извольте видеть, *mon capitaine*: недели с две тому назад ходил я с товарищами дозором...

— Знаю, знаю, приятель, каким дозором ты ходишь: каждый гульден тебе кажется запрещенным товаром, и ты конфискуешь их в свою пользу. Я ничего не хочу слышать, Брике, но попадешься — пеняй на себя: Наполеон не любит дележа.

— Всякому свое ремесло, капитан: кто любит брать города, кто — ломать сундуки.

В том только разница, что кто ограбит королевство, тому ставят торжественные ворота, а кто крадет из-за замка, тому виселицу. Да не о том дело, приятель: о каких подозрительных особах говорил ты мне?

— Ходя дозором, как имел я честь доложить вам, увидел я, что шесть человек вошли на мельницу вашего нареченного тестя. Вот меня и взяло любопытство: дай посмотрю в комнату; влез на окно, гляжу и вижу...

— Во сне или наяву, Брике?

— Я бы желал тогда быть на моей койке, капитан, и храпеть во славу божию, вместо того чтоб дрожать, увидя там забияк, вооруженных с головы до ног и таких страшных с ног до головы, что наши саперы старой гвардии показались бы перед ними голубками; они говорили таким дьявольским языком, что у меня и до сих пор звенит в ушах.

— Это, наверно, английские зажигатели, Брике.

— Они так и глядели, капитан, как будто у них в каждой пуговице сидело по целой роте чертей. Вот и заметил я, что молодой человек, который казался их атаманом, увидел меня сквозь стекло, и все восьмеро с воплем кинулись за мною в погоню.

— Ты, помнится, сказывал, что их было шесть человек?

— Я сначала обсчитался, капитан, только знаю, что оба они в меня выстрелили; да я не дурак, ночь была претемная, кинулся на землю и прижался к ней, как

подошва. Они долго искали меня, но, видя, что ничего не видно, ждали, ждали, *да и пошел!*

— Чудеса ты рассказываешь, Брике; ну, что ж потом?

— Потом я давай бог ноги, убежал, не оглядываясь...

— И только?

— О нет, капитан, совсем не только! Сегодня, за полчаса перед этим, после вашего обеда, стою я смиренно в поварне. Выходит туда так называемый племянник хозяина закурить сигарку. Я сейчас в карман, оторвал клочок от вашего счета с президентом муниципалитета, или нет бишь, от...

— Чтоб черт взял тебя с твоими присказками! Говори коротко и просто.

— Чего проще этого, капитан, что он раскурил сигарку и сказал мне: «Спасибо, друг мой!»

— Я тебе отблагодарствую этим бичом так, что ты и вперед закаешься терзать меня своими семимильными рассказами!

— Тут каждое слово — дело, капитан. Вот извольте видеть, как он раскурил сигарку, глядь я, а н это тот самый молодой человек, который за мной гнался с мельницы.

— Может ли быть? Неужто в самом деле? Да это находка, друг мой! Теперь говори, что я не гений, я с ничего заметил в этом насмешнике врага Франции и уж пугнул за него хозяина порядком.

— А пять человек, как я узнал стороной, спрятаны у него на фабрике. Старик рассказывает, что они машинисты, да черт ему верит. Верно, бьют фальшивую монету, ведь неспроста же он так богат.

— Еще лучше, еще превосходнее, Брике!.. Теперь и у нас перестанет ходить в карманах сквозной ветер. Завтра же, чем свет, донос правительству, что такой-то фабрикант печатает у себя возмутительные прокламации, собирает оружие, а что главнее всего, держит англичан для зажжения города... Славно, Брике... бесподобно! Будет чем погреть руки!

— И давно пора, капитан, а то, право, срам Франции, что она позволяет этим кургузым жидам толстеть и богатеть. Разве даром мы великая нация?

— Как попадет к нам в лапки да пристращают в

военном суде дюжиною свинцовых пуль, так радехонек будет отдать свою Жанни за самого сатану, не только за меня, дворянина с тринадцатью поколениями... Государственная измена — это не шутка, г-н Сарвезан, — это не шутка!

Деля в мыслях добычу, капитан с достойным своим наперсником въехал в крепость при ниспадающей ночи.

ГЛАВА VIII

*Вот так-то свет идет; но почему он так,
Не ведает того ни умный, ни дурак.*

Фон-Визин

Поутру, на другой день, приказ захватить Саарвайерзена был подписан комендантом Флессингена и двенадцать солдат для исполнения этого наряжены. Отдавая, однако ж, Монтаню повеление, комендант заметил ему, что безрассудно было бы арестовать человека, всеми уважаемого и очень любимого рабочими, посреди его фабрики, где народ может возмутиться и отбить пленника; а потому советовал выманить его оттуда под каким-нибудь предлогом и потом взять в укромном месте и без шума. Капитан отдавал в заклад всех своих предков, что он смастерит дело так искусно, что сами бесы будут краснеть от зависти.

Случай — эта повивальная бабушка всего худого и доброго — натолкнул как будто нарочно капитана на долгоногого Гензиуса, который как анст шагал по кирпичной набережной мутного канала. За ним шел человек в матросской куртке, с узлом в руках. Монтань остановился: нос таможенного есть самый чувствительный инструмент в своем роде; в старину верили в чудесный прутик, открывающий клады и ключи; этот прутик в наше время осуществился в носу досмотрщика: лучше всякого ворона чуют они добычу, и будь контрабанда спрятана хоть в желудке, от них она не скроется.

«Тут что-нибудь недаром... — подумал капитан, поворачивая носом, как флюгером. — Гензиус выходит от банкира. Гм, ге! Этот рыбак — самый удалой смоглер и уж не раз вырывал у меня из-под носу лакомые ку-

ски,— верно, какая-нибудь отправка в поход. Да уж не сношения ли с неприятельским флотом?... Зачем эти сделки денежные? Почему он взял, черт ведает откуда, чужого человека, когда своя контора набита поденщиками? Что за связка у него в руках?»

И вот капитан мой уже бежал вслед за Гензиусом и, запыхавшись, схватил его за полу.

— Bonjour¹, дорогой Жензиус,— сказал он.

Гензиус кисло улыбнулся, отвечая поклоном, и хотел продолжать путь свой, но безотвязный капитан повесился у него на рукаве.

— Куда идете? — спросил он.

— Прямо по дороге,— отвечал он.

— Замысловато, господин Гензиус, очень замысловато, это доказывает, что натошак и голландский ум может летать по крайней мере как волан... Но так как я уверен, что вы не променяете добрый завтрак на всю остроту человеческого рода, то не угодно ли будет сделать мне честь: завернуть в ближайшую гостиницу? Что там за портер! Я хоть таможенный, да гляжу на все то сквозь пальцы, что цежу сквозь зубы.

— Портер? — произнес Гензиус, облизываясь, и уж ступил было в сторону, когда мысль, что ему еще куча дела по поручениям хозяина и по закупкам Белозора, остановила его, будто камень преткновения.

— Благодарю покорно,— отвечал он со вздохом,— ни минуты нет времени, до другого раза, капитан...

— И, полноте, господин бухгалтер! Сухое и перо не пишет, и чтобы подкрепить ноги, надо приласкать брюхо.

— Чувствую истину этого и не могу ею воспользоваться. Прощайте, капитан.

— Жаль, право, жаль, любезный господин Гензиус, а мне бы надо было поговорить с вами о новом подряде на сукна. Я сегодня, по поручению генерала, поеду в Фламгауз.

— И поедете напрасно; хозяин мой сегодня целый день будет считаться с мельником,— ныне начало месяца!

«На мельнице? Ага! — радостно подумал Монтань.— Золотой бочонок сам катится к нам в петерб.

¹ Здравствуйте (фр.).

Дельно! Теперь, господин счетчик, можешь идти куда хочешь: я вытащил из твоего носу червячка и без завтрака».

— Брике!—вскричал он,— следи этого архибестию рыбака Фландеркина, пошли вслед за ним человек пять издали и скажи: если увидят, что он готовится спустить лодку в море, цап его за бок и тащите ко мне на брандвахту; остальных солдат положи, когда стемнится, в засаду близ мельницы Саарвайерзена, и всех, кто в ней, захвати и веди в город за конвоем... мужчин и женщин. Смотри же не выпускай никого, а пуще всех старика.

— Будет исполнено, капитан! — отвечал Брике. — Только при дележе не забудьте, что я вас навел на дичинку, а то до сих пор начальники брали деньги, а мне оставляли одни тычки,— только из этой поживы они не брали законной себе доли.

— Будет всем пожива, — отвечал капитан, потирая руки.

Таким-то образом высокоумный Гензиус, желая избавить хозяина от посещения некстати, предал его в руки бездельников. Таким-то образом и самая извинительная ложь рано или поздно, но всегда становится вредною.

К вечеру Саарвайерзэн с Виктором и дочерью, которая настояла на том, чтобы проводить своего жениха, приехали на мельницу. Матросы их ждали там еще с прошлой ночи, и, когда стало смеркаться, все было готово к отправлению. Покуда еще хоть день, хоть час, хоть миг остается до разлуки, сердца любовников не перестают еще надеяться; они, кажется, ждут чуда, которое отвратит ее, но зато тем ужаснее бывает для них минута расставанья; она всегда для них внезапна и будто рассекает их пополам. Жанни плакала и молчала, напрасно шутил над нею отец, напрасно утешал Виктор, и, наконец, все трое уселись, как будто провожая кого-то не к избавлению, а на казнь. Время уходило: Саарвайерзэн вынул часы и, не говоря ни слова, подавил пружину; они звонко пробили пять.

Виктор встал с тяжким, глубоким вздохом; рыдая, упала Жанни на грудь отца.

— Прости, Виктор, прости навечно; я предчувствую, что мы более не свидимся, — произнесла она,—прости!

Виктор пламенно поцеловал оставленную ему руку, и его слеза капнула на нее.

— Достоянная Жанни,— сказал он,— пусть эта капля будет печатью душевного союза, и да откажет мне бог в слезах в горькие часы жизни, если я для каких бы то ни было радостей замедлю своим возвратом.

— Два аршина с четвертью! — вскричал отец, обнимая отъезжающего и вытирая о его плечо глаза свои.— Откуда набрались вы этих романтических покровок?.. Ну, утешься, причудница, успокойся, моя милая: новая весна приносит новые цветы, и коли вы в самом деле так друг друга любите, мы вас обстрижем под одну ворсу. В чудные веки мы живем, в чудные веки! — ворчал Саарвайерзен, влезая на лошадь.— Вчерась еще поутру я бы ручался, что моя Жанни не отличит петуха от курицы, а теперь? Два аршина с четвертью! И еще не дождавшись законного возраста... Смотри, пожалуй.

От мельницы шли две дороги к морю: одна прямо, по которой шел Виктор после кораблекрушения, другая правее на Дендермонд; по сей-то последней отправились наши путники. Виктор ехал безмолвен, снедая печаль в сердце. Саарвайерзен, видя, что с влюбленными плохая беседа, разговаривал с проводником, несшим фонарь. Матросы, идучи позади тихомолком, шутили промеж собою.

— Что ж мы, братцы, станем рассказывать товарищам у табачного бака, коли бог принесет на свой корабль? — сказал урядник.

— Что лягушки здесь царствуют, а люди живут как у нас лягушки,— отвечал один.

— Вот уж напрасно охаял Голландию,— возразил другой,— стыдно, где пить, тут и рюмки бить. Чего тебе здесь недоставало? Можжевеловой — хоть не пей, свежины вдоволь. Закорми чушку, она станет жаловаться, что бока отлежала.

— И впрямь, брат, грешно словом укорить наших хозяев,— чего только душеньке угодно, давали: хлеб белый как месяц, сыр объеденье да утром еще и кофей!

— Хвали, хвали хозяев, а они себе на уме: ржаной корочки допроситься я не мог, а эти опресноки оскомину набили. Видел, брат, я, что они с кофей-то одной жижицей нас потчевали, а гущу всю себе оставляли. А про сыр и говорить нечего,— весь в дырах! Небось молодые сы-

ры подальше хоронят; а уж и подметил я у них здоровенные, что твой кирпич. В одном фунте фунта два будет!

— У всякого своя заведенция...— промолвил Юрка.— В чужой монастырь со своим уставом не ходят. По мне, там такое было житье, что коли во сне увижу, так, я думаю, сыт буду.

— У лентяя вечно масленица на уме,— возразил урядник,— то ли дело между своими на службе: горя много, да уж зато и утехи вдвое. Нароботаешься на вахте до упаду, насмеешься за ужином досыта, и, не дослушав сказки, засыпаешь, убаюкан бурей в койке, и гоголем вскочишь, когда закричат: «Марсовые, наверх!» Дай бог, братцы, увидеться с земляками; хорошо в гостях, а дома лучше!

— Дай бог, дай бог обняться с нашими нетронскими!— воскликнули умиленные матросы, прибавляя шагу.

Без всяких неприятных встреч отряд достиг до берега. Темное море плескало в него тихую зыбью. Запорошенные инеем дороги и плотины, будто раскинутые холсты, тянулись вдаль и сливались с туманом, который начал подыматься. Нигде не слышно, не видно было ни души.

— Фландеркин-флаат!— произнес проводник, ударя в ладоши.— Он здесь должен был нас дожидаться.

После многих побегушек в разные стороны оказалось, что нет ни лодки, ни нанятых рыбаков в окрестности. Саарвайерзен потерял терпение: неустойка в слове была для него подлее, чем воровство, хуже, нежели убийство.

— Sapperloot!— вскричал он.— Я живьем истолку эту ходячую треску. Взять даром деньги и не исполнить слова,— это неслыханно! Я его так взогрею, что мои талеры растают у него в кармане... Проклятый пьяница!.. Верно, где-нибудь теперь прохлаждается в шинке; но будь я не я, если он не завертится кубарем от этой плети, прежде чем у него высохнут губы.

Но брань ничему не помогала. Положение Белозора и матросов его было самое критическое, и, наконец, Саарвайерзен, послав на Викторсовой лошади проводника влево, поскакал сам внутрь земли искать рыбака в его домике, восклицая, что он разбудит его кулаком своим не хуже сукновального молота и сделает из его спины клетчатую шотландскую тартану!

Мало-помалу затих его голос и тяжелая ступь лошади по шоссе. Виктор, видя, что рыболов или обманул, или изменил, решился пуститься по берегу влево, для встречи с ним или для изыскания другого способа спасения. Поравнявшись с тем местом, где выброшен был бурею на берег, заметил он нечто белое.

— Посмотри,— сказал он уряднику,— мне что-то видится впереди!

— Если б я не знал, ваше благородие, как разбило в щепы нашу четверку, я бы подумал, что это она ожила и выползла на берег, как тюлень!

В самом деле, то была шлюпка, обороченная вверх дном.

— Тише, тише, ребята! — сказал Белозор. — Мне кажется, подле ней вижу я людей, спящих под парусом; да вон на козлах блестят и ружья; это, должно быть, досмотрщики. Ползком подберемся к ним и накроем врасплох, как утят в гнезде.

Едва дыша, приближался Белозор впереди всех... Но французы спали крепким сном, и захватить их было нетрудно. С криком кинулись наши сперва на ружья, потом на сонливцев и, пригвоздив штыками углы паруса к земле, как перепелок из-под сети, вытащили поодиночке пленников, связывая им руки и клепя рот. Из четырех оставили только одного без повязки для допроса.

— С какого ты судна? — спросил его Виктор.

— Мы таможенные солдаты,— отвечал он,— с брандвахты (patache) le Friseur.

— Кто у вас капитан?

— Монтань-Люссак.

— Старый знакомый. А зачем вы на берегу?

— Не знаю; четверо наших, по приказу капитана, отправились в середину края; мы берегли шлюпку.

— Благодарю, что сохранили ее для нас. Теперь, братцы, перенесите этого молодца в шлюпку, пускай он лежит на дне вместо балласту.

Шлюпка была уже спущена на воду, и матросы, опершись на весла, с нетерпением ждали приказа отвалить.

— Не прикажете ли остальных на упокой? — сказал Юрка, замахиваясь багром на связанного солдата.

— Пошел в свое место,— гневно вскричал Виктор,— и помни, что русские не бьют лежачего. Все ли готово?

— Все до крошки! — отвечал урядник. — Крестись, ребята, весла на воду... гребите!

Между тем как это происходило на берегу, Жанни одна с своей кручиной сидела в комнате мельника. Глубокую истину заметил тот, кто сказал, что женщина, любя впервые, любит любовника, потом уже одну любовь. В первом случае вся она будто поглощена бытием друга, и малейший страх за него, кратчайшая с ним разлука для нее уже истинное бедствие. Во всех последующих любовник для нее уже не предмет, но только средство наслаждения, и, проливая слезы разлуки, она уже озирается кругом, ее сердце, как пустой дом, требует постояльца: любовь для нее уже не страсть, а привычка.

Но Жанни любила впервые и со всею пылкостью души чувствительной, с безграничным доверием доброты. В краткий век этой девственной склонности она пережила все возрасты страсти, кроме ревности, и можно представить ее отчаяние, когда тот, который, как светильник, озарил перед нею мир, лежавший дотоле перед ее очами темною громадою, увлечен был от ней судьбою, от нее, жаждущей любить, тоскующей разделить любовь свою... Сердце ее, кипящее юностью, легко прияло впечатление страсти, как плавкое стекло, и, как со стекла, чтобы сгладить это впечатление, можно было не иначе, как разбив его. В это время вбежал к ней Гензиус с бледным, вытянутым лицом...

— Где ваш батюшка? Где все они? — спросил он торпливо.

— Там, где бы желала быть и я, — отвечала Жанни, не обращая внимания на необыкновенные приемы бухгалтера.

— Ради «Groos Buch», юнгфров, скажите, по какой дороге поехал ваш батюшка? Ему грозит большая опасность!

— Батюшка в опасности?! — вскричала, вспрынув, испуганная Жанни. — За что? от кого в опасности?..

— Бургомистр Гоог Воорст ван Шпан...

— Какое мне дело до вашего бургомистра? Скорей и яснее!

— Я сам запыхался, как ветряная мельница, юнгфров... Говорил я вашему батюшке, что быть беде за русских, которых держал он на фабрике, а Монтань и подвел к этому свои итоги; он донес правительству, что

ваш батюшка держит у себя зажигатель-англичан, печатает прокламации против Наполеона и хочет изменой захватить крепость. И вот его велено заключить в темницу и судить военным судом... Спасибо за уведомление бургомистра Гоог Воорст ван Шпандербергера, а то бы...

— Заключить, судить!.. умертвить его! У тигров всегда виноват человек... Недоставало только этого к нашему несчастью... Что же вы стоите, сударь? Бегите, скачите, летите навстречу батюшке, уведомьте его; пусть он бежит за границу. Есть у него деньги с собою? Если нет, возьмите эти бриллианты, которые получены только что из переделки...

— У меня в кармане значительная сумма, взятая от банкира; при том же...

— Спешите, сударь, говорю я вам! — воскликнула Жанни, почти выталкивая Гензиуса и рассказывая ему, где и как он, наверное, найдет отца ее.— Пусть не беспокоится он о нас; с нами ничего не сделают.

— Дай бог, чтоб ничего не сделали, сударыня,—говорил Гензиус, вскарабкиваясь на каретную лошадь,—беда, если и мужчина попадет в когти этих разбойников, а храни бог, как девушка.

Удар бича, которым попотчевал мельник его буцефала, прервал речь всадника, и скоро умолк скок неопытного гонца.

Жанни была в неопишемом положении: любовь к отцу заставила ее на время забыть даже любезного, не только самую себя. Она уговорила старика слугу, приехавшего с ней за каретою, сесть верхом и ехать отыскивать отца. Кучер был проводником. Итак, она осталась одна со стариком мельником и его женою. Запершись кругом, со страхом ждали они известий... Через час слышался стук у дверей.

— Отворите,— произнес грубый голос,— отворите по приказу правительства. Если вздумаете сопротивляться, с вами поступлено будет как с мятежниками и дом ваш разграблен дотла!

Это был Брикес с командою.

— Боже мой,— вскричала хозяйка,— это голос того же разбойника, который вязал нас две недели назад! Когда господь избавит Голландию от этих гербовых злодеев!

— Что ты колдуешь там, старая ведьма? — возгла-

сил Брике. — Отворяй, или мы высалим двери прикладами.

— Что нам делать? — шептала Жанни хозяйка. — Их много, и двери недолго продержатся. Что нам делать? Мы пропали с добром и с косточками!

— О вещах не горюй, старуха, — возразил хозяин, — добрый наш господин втрое заплатит за все; но что будет с вами, сударыня!..

— Что угодно богу, — с твердостью сказала Жанни, — я скорее умру, чем живая отдамся в руки этих наглых бездельников... Хозяин, удержи их всякими средствами, а я бегу встретить своих или кинуться в воду...

С этим словом она накинула шубу свою, схватила ящик с бриллиантами и выпрыгнула в окно.

Она уже была далеко, когда треск одних за другими падающих дверей долетел до ее слуха.

Быстро, не отдыхая, бежала она по плотине к морю; страх придавал ей силы, надежда окрыляла ноги:

— Батюшка! Виктор!.. — кричала она, слыша за собою гонящихся солдат. Виктор! — повторяла она исчезающим голосом, видя отваливающую шляпку, но слабые звуки умирали на ветре. — Спаситель! — восклицала она в тоске отчаяния, но спасение ее бежало. Задыхаясь, изнемогая от усталости, простирала она руки к морю, но безжалостное заглушало мольбы ее плеском. — Виктор! — вскричала она в последний раз и упала без чувств на холодную землю.

ГЛАВА IX

...За счастьем, кажется, ты по пятам

несешься.

*А как на деле с ним сочтешься, —
Попался, как ворона в суп.*

И. Крылов

Знакомый голос проник до сердца Белозора; шляпка дала крутой оборот, взрывая волны, и через минуту Жанни лежала уже на руках друга; но между тем погоня была близка... С бранью и проклятиями бежали к берегу солдаты. Что было делать Белозору? Оставить ли невесту свою в жертву дерзости и своевольтва? Нет, нет...

Он бережно поднял драгоценное бремя и прынул в шлюпку...

— Отваливай! — вскричал он, и шлюпка ринулась с берега, как испуганный лебедь.

— Остановитесь! — летело вслед ему. — Стой! или мы будем стрелять! — кричал Брике. Ружья патруля сверкали.

— Позволяю! — отвечал Белозор, спуская курок пистолета, и Брике покатился в воду. Беглый огонь полетел в шлюпку, но мрак и волнение мешали цельности выстрелов.

Скоро выгребли беглецы из полета пуль, и матросы только смеялись, слыша, как свистят они и падают в море.

— Спасибо за парадные проводы! — кричали они беснующимся французам, и между тем с каждым взмахом веслами быстрая шлюпка, шипя, избегала на волны, как будто порываясь взлететь над ними. Однозвучное ударение в уключины и плавное колебание судна погружали Жанни в глубокий сон из бесчувствия. Прислоня голову милой к груди своей, Белозор прислушивался к ее дыханию; оно было легко и покойно, но зато Виктор был далек от покоя... Он со страхом замечал, как свежал ветер, как сильней и сильней плескалось волнение. Непостоянное течение менялось, туман несся над водами... С каждым мигом надежда добраться до флота, далеко лежащего от берега, становилась несбыточнее.

— Держись на веслах! — сказал он, желая обознаться, куда грести. Матросы безмолвно, опершись о вальки весел, глядели на воду. Непроницаемый туман клубился окрест, и только шум всплесков о водорез, только брызги их были ответом на взоры и внимание Виктора. Брошенная на волны бумажка тихо плыла влево; но кто поручится, что ветер и течение не изменились? И нет компаса, чтобы их поверить.

— Мы заблудились, ваше благородие, — сказал урядник, — если выгребем в открытое море, то погибнем без сомнения, а если снесет нас к берегу, то не миновать плена.

— И еще вернейшей смерти. Теперь с нами поступят как с беглецами, особенно за убитого... Но постой, это колокол, раз, два, три!

Било восемь склянок. Нигде так величественно не

слышится бой часов, как над бездной океана во мгле и тишине. Голос времени раздается тогда в пространстве, будто он одинокий жилец его, и вся природа с благоговением внемлет повелительным вещаниям гения веков, зиждущего незримо и неотклонимо.

Колокол затих, гудя.

— Это должна быть ваша брандвахта! — вскричал с радостью Белозор к связанному французу. — Сколько на ней команды, друг мой? Но смотри, не хвастай!

— Более чем нужно, чтобы развешать вас вместо фонарей по концам рей, — отвечал француз, ободренный близостью своих.

— Ты не будешь этим любоваться, если не перестанешь остриться некстати. Мы, русские, любим посмеяться смешному, но не берем его в уплату. Говори дело, мусье, а не то я пошлю тебя на исповедь к рыбам!

Видя, что его не шутя подняли над водою, пленный оробел.

— На судне осталось только двенадцать человек, — отвечал он.

— Тем лучше, — сказал Белозор. — Ну, товарищи, нам единственное спасение завладеть тендером. Не скрываю от вас: дело опасное, зато уж молодецкое; славы и денег будет столько, что и внучатам не прожить. Грянем, что ли, ребята?

— Грянем, Виктор Ильич, постоим за матушку-Русь, знай наших нетронских! В огонь и воду готовы! — вскричали в один голос удалые матросы.

— Вот спасибо, ребята! С вами и месяц за рога сорвать — копейка, — жить весело и умереть красно! Осмотрите же, братцы, захваченные ружья, и, как скоро привалим к борту, скачи через сетку и прямо сбивай с ног встречного и поперечного, забивай люки и вяжи или коли упорных. А между тем обвертите шейными платками вальки, чтобы они не брякали в уключинах; только бы добраться, а то все наше; пей — не хочу!

Скользя, как тихая тень, понеслась шлюпка, и скоро они разглядели одномачтовую брандвахту, которая то вздымалась на валах высоко, то с шумом ударяла своим бугшпритом в воду. За сеткою мелькала одна голова часового.

— *Qui vive?*¹ — раздалось с борта.

¹ Кто идет? (фр.)

— Отвечай отзывом,— шепотом сказал Белозор пленнику, приставя пистолет к груди.

— *Le diable à quatre* (бес вчетвером)! — закричал тот.

— *C'est un bon diable* (это добрый черт),— примолвил часовой и беспечно оборотился, чтобы вызвать наверх офицера; но Белозор перескочил в это время на палубу, не дал ему даже пикнуть, и в один миг все было исполнено по приказанию.

Палуба находилась во власти русских, а внизу никто и не подозревал о том.

Белозор, рассмотрев сквозь стеклянный люк, что в капитанской каюте сидят за столиком трое офицеров и шумно разговаривают за бутылками, потихоньку спустился по трапу (лестенке) к дверям и остановился послушать речей их.

— Ты прелюбезный злодей! — говорил Монтаню один из таможенных чиновников.

— Настоящий людоед на женские сердца! — примолвил другой.

— Небось на контрабанду и шашни не дам промаху; сам сатана мог бы у меня взять несколько билетов для науки в любовной охоте; одним камнем двух птиц зашибу.— Это говорил Монтань.

— А что, сердечко-то, верно, в золотой оправе? — произнес первый голос.

— Ха, ха, ха! — отвечал капитан.— Голландское сердце всегда в кошельке; как помокнет в тюрьме, так мой старик станет мягче своего сукна. Уж к судьям отправлен ящик с шампанским, подогреть их патриотизм; обвинение важное, и только рука Жанни выскоблит его.

— То есть, когда мы говорим рука, то, конечно, разумеем под этим не одни пальцы,— сказал другой,— но и кольца, и перстни, и все, что в ней и на ней?

— Да уж что толковать об этом; будущий тесть мой богат, и я заживу как маршал, разграбивший провинцию. За здоровье нареченной моей!

— То есть за толстоту мешков ее приданого! — вскричали оба.

— Само собой разумеется,— возразил Монтань,— что я жену считаю приданым, а гульдены, будь они старее Нового моста, своею супругою. Между тем пускай ждет старый скряга нанятой лодки, когда она у нас за

кормою, да, чай, уж теперь и сам к неожиданным гостям в гости собирается. Я велел привезти сюда только молодого забияку, который вздумал надо мной подтрунивать. Завтра опечатаем фабрику, et vogue la galère (плыви, корабль), как не отдать дочери за французца!..

— И старого дворянина,— молвил другой лукаво.

— И таможенного капитана императорской службы! — гордо воскликнул Монтань.— Господа, здоровье Наполеона! За ним мы всегда правы и всюду хозяева!

Все подняли бокалы, восклицая:

— Да здравствует маленький капрал! Подавай сюда русских, мы сотне хвосты ошиплем!..

Дверь скрипнула, и Белозор упал как звезда с неба и, напив порожний бокал, дал знак изумленным французам, чтобы они подождали...

— Здоровье императора Александра! — крикнул он; но гости поглядывали друг на друга, как будто спрашивая отгадки этой мистификации.

— Пейте, господа! — грозно воскликнул Белозор.— Или я заставляю вас выпить соленое море вместо шампанского; вы хотели ошипать сотню русских, ваше желание исполнено: я русский!

— Это уж чересчур дерзко,— вскричал Монтань, хватая Виктора за ворот.— Не бойтесь, господа, это тот самый шутник, про которого я вам рассказывал; видно, воротилась наша шляпка и привезла пленника. Смотри, пожалуй, да какой ты забияка!

Белозор хладнокровно оторвал от себя Монтаня, как кошку, и бросил его на стул.

— Что я приехал на твоей шляпке, это сущая правда, капитан! Только меня не привезли сюда, я сам за долг счел оплатить визит любезному другу. Пейте же, господа, говорю я вам, за здоровье русского царя, или я раздроблю голову упрямым... Что вы глядите на меня?.. Вы мои пленники, господа! Я имею на то трехгранные доказательства! Гей, наши!

Разбитые стекла капитанского люка, звеня, посыпались на стол, и несколько ружей, наведенных на офицеров, засверкали с палубы; они оцепенели на стульях, а храбрый капитан залез под стол.

— Вы можете вести переговоры из вашей крепости,— сказал ему Белозор,— но знайте, что прелиминар-

ная статья есть все-таки здоровье императора Александра... Да здравствует победитель Наполеона!

Французы, морщась, выпили свои бокалы.

— Теперь, господа, пожалуйте ваши шпаги; я ручаюсь вам за целость вашего имущества и невредимость ваших особ; но пусть один из вас потрудится сойти в матросскую каюту, разбудить поодиночке людей и также выслать их наверх; но я предуведомляю вас, что если вы вздумаете сопротивляться, я подниму всех на воздух; у меня тридцать человек на палубе, и ваш же фальконет наведен в пороховую камеру. Остальные останутся при мне заложниками.

Сказано—сделано. Не зная зачем и куда, вылезали матросы из люка; их хватали, вязали и укладывали, как селедок. Трое освобожденных рыбаков-голландцев помогали русским. В четверть часа судно было в полной власти их, и как ветер крепко дул с берега, то Белозор велел отрубить канат, отдал паруса и быстро покатился в океан, рассекая туман и волны. Нужно ли рассказывать, что пробужденная Жанни все еще не верила, что она видит это не во сне? Так чуждо, так необычайно казалось ей все, что происходило.

Сквозь туман, летящий клубами с болотистых поморий, повременно сверкали фонари на флоте, и, наконец, Белозор явственно разглядел крайний корабль свой «Не тронь меня!». Надобно вам сказать, что во время якорной стоянки вблизи неприятеля посылаются обыкновенно кругом каждого корабля дозорный катер, и таким-то катером встречено было судно Белозора... Молодой мичман, командовавший оным, не разглядел в тумане приближающегося и потому не мог опознать издали; но вдруг, заметя парус, выходящий из паров, дал по нем выстрел из фальконета и изо всех сил пустился грести назад. В один миг распространилась тревога по всей линии, батареи открылись и осветились, фитили засверкали везде; черные громады кораблей казались тогда стойкими чудовищами, готовыми изрыгнуть смерть и гром. Напрасно кричал Белозор, что он русский, что он ведет призовое судно,— голос его замирал в шуме ветра. Видя опасность, он направил ход прямо к носу корабля, чтобы находиться вне выстрелов боковых орудий, но эта надежда была недолговременна. Когда он находился не далее полутора кабельтова от «Не тронь меня!», погон-

ные пушки были привезены и готовы. Им даже слышно было, как лейтенант командовал:

— Обдуй фитиль! Пли!

Выстрел взревел; огненное облако озарило ночь, и ядро с плеском ударилось в воду подле тендера, прыгнуло через, разбив гафель, и пошло рикошетами далее.

— Покуда снимают с нас только шапки,— сказал Белозор, глядя на сорванный топсель,— но скоро доберутся и до головы.

— Вторая! пли! — раздалось с форкастля.

Это ядро дало всплеск подле самого носа и, свистя, перелетело вдоль тендера; оконтуженный французский офицер упал на палубу.

— Ядро виноватого найдет! — сказал один матрос.

— Не хотел бы я и за сто рублей стоять на его месте,— молвил Юрка.

— Полно дорожиться, и пятьдесят линьков было бы довольно,— возразил, шутя, урядник.

— Это еще яблочки,— сказал третий,— а вот скоро попотчуют смородиной,— держите шире карманы!..

— Что вы тут болтаете как сороки! — вскричал Белозор.— Кричите-ка громче пушек, а не то дорога нам будет расплата за непрошенные гостинцы.

— Не стреляйте! — заревели матросы на тендере.— Мы русские, мы нетронские!

Фитиль остановился над пушкою.

— Долой паруса и держите под наветренный борт, если вы русские,— раздалось сверху.

Приказ был исполнен, и скоро вооруженный баркас пристал к борту тендера. Дело объяснилось; их сочли брандером, но теперь, ступив на корабельные шканцы, Белозор не успевал отвечать на сотни вопросов, задушаемых дружескими объятиями. Все толпились кругом его, шумели, кричали: «Он воротился! Белозор воскрес!» — и никто не понимал друг друга. Наконец любопытные должны были уступить место Николаю Алексеичу, как старому другу найденного.

— Ну, брат, чародей ты, Виктор,— говорил он, обнимая друга со слезами на глазах,— на огне не горишь, на воде не тонешь. А мы про тебя у всякой селедки спрашивали,— ни слуху ни духу! И вдруг, когда полагали, тлеешь на дне морской, словно оторванный верп, ты прикатил к нам подо всеми, живехонек и здоровехонек!

— Да и прикатил-то еще не один; этот тендер вырезал я из-под батарей Флессингена; но об этом долга песня, только ты, Николай Алексеич, сократил было ее: если б еще ядро чокнулось с моею посудинкою, то встреча была бы поминками.

— И что за счеты между своими,— ты бы из воды сух вышел... Да это что у тебя за яхточка на бакштове? — примолвил лейтенант, поглядывая на Жанни, которая робко озиралась на незнакомцев.— Недаром, право, мы приняли тебя за брандера; в таких глазках больше огня, нежели нужно, чтоб поднять на воздух весь союзный флот.

— Я тебе поручаю, любезный друг, занимать мою спутницу в кают-компани, покуда я объясняюсь с капитаном.

— В уме ли ты, Виктор? Я лучше соглашусь принимать порох с сигаркою в зубах, чем провести полчаса с прекрасною девушкою.

— Это будет тебе отместкой за встречу!

Капитан принял Белозора, как отцу спасенного сына, и когда тот рассказал свое похождение вкратце, уверил его, что такой подвиг не останется без представления со стороны высшего начальства и без награды от государя. Но вдруг, переменя ласковый на строгий тон, он спросил его:

— Какую девушку привезли вы с собою?

Белозор покраснел и смешался. Капитан, качая головой, слушал доводы, почему ее необходимо должно было взять с собою.

— Все это прекрасно, Виктор Ильич,— возразил он,— и очень справедливо, но всем ли вероятно? Для людей мало быть честным, надобно и казаться таким же. Ваше самоотвержение для спасения утопающих, ваше чудесное возвращение с призом, даже громкая встреча,— все обратит на вас внимание всех офицеров соединенных флотов; но это же самое возлагает на вас тройную обязанность сохранить свое имя не только без упрека, даже без сомнения... А кто, не зная вас, не подумает, что этот роман изобретен для прикрытия любовной связи!

— Капитан!..— вскричал Белозор, вспыхнув.

— Выслушайте меня хладнокровно. Гораздо лучше узнать от друга то, что могут говорить о вас насмешники

за глазами или намекать вам о том лично. Вы будете сердиться, а над вами станут смеяться; вы будете стреляться и еще больше огласите эту сказку, придадите ей существенности. Во-первых, вспомните, как строго запрещают морские законы присутствие женщин на корабле в военное время; с какими же глазами я поеду рапортовать о том английскому адмиралу?.. Конечно, первый вопрос его будет: что она — жена или сестра господина лейтенанта?

Белозор мрачно потупил очи.

— Положим, что я представляю ему неотвергаемые причины, как бесчестно и бесчеловечно было бы оставить ее в руках французов, положим, что он всему охотно поверит, — могу ли, однако ж, я передать это убеждение всем англичанам, которые никому не уступят в злословии? Но допустим, что эта мнимая любовная выходка не только не повредит вам во мнении старых моряков, но сделает вас героем молодых; не должны ли вы позаботиться о чести этого невинного существа, которому вы случайно стали единственным покровителем? Доброе имя девушки, Виктор Ильич, — крылья мотылька: одно прикосновение уносит с него золотой пух невозвратно.

— Это был безрассудный поступок с моей стороны, — сказал Виктор печально.

— По крайней мере несчастный случай. Кто будет защищать ее от насмешек, кто будет иметь право отомстить за оскорбления? Где и с кем будет жить она на корабле, не подвергая теперь — своей скромности и всегда — своего доброго имени?

— Вы меня ужасаете!.. Но мог ли я, должен ли был поступить иначе?.. Что прикажете делать мне теперь, капитан?

— Прошу и советую, если вы цените уважение всех людей благомыслящих, женитесь на ней.

— Жениться?! — вскричал изумленный нечаянностью Белозор. — Мне жениться?..

— Конечно, вам. Вы не удостоили меня полною доверенностью, Виктор Ильич, но у влюбленных душа пробивается сквозь поры, и мне сдается, что эта девушка вам нравится, то есть очень нравится?..

— Это дело не так страшное, капитан: она моя невеста.

— Какой же я чудак! — воскликнул с радостью ка-

питан.— Уговариваю, когда надо было только намекнуть!
За чем же дело стало? По рукам, да и к налою!

— Так скоро, капитан?

— Сей же час, сию минуту!.. Не должно, чтоб ни одна заря не рассвела над ней необвенчанной, если хотите, чтобы ее честь не знала сумерек. Я уступаю вам свою каюту, и могу ли поздравить себя дружкойю?

— И другом истинным, капитан! — произнес тронутый Белозор, простирая к нему руку.— Я сам бы никак не придумал уладить дело, хотя оно было самою лестною моею мечтою, и по неопытности настроил бы хлопот и себе и другим. Но у нее есть родители, люди очень богатые... подумают...

— И раздумают; нужда переменяет даже законы. Они сначала, быть может, и посердятя, потом поплачут, а потом простят и станут благодарить. Я иду распорядиться.

Если б Виктор не любил Жанни, то красноречие самого адмирала белого флага не убедило бы его, но тут несколько слов капитана бросили искры в порох. Небольшого труда стоило ему уговорить и Жанни: необходимость брака была слишком очевидна, и когда сердце заодно с разумом, согласие на устах. Мигом поспели из тонкой меди согнутые венцы, и жених с невестою, украшенные юностью и любовью, весело приступили к брачному налою. Николай Алексеич держал венец над невестою, краснея сам пуше ее и не зная, на которую ногу ступить. Капитан нашептывал что-то на ухо жениху, и толпа офицеров окружала счастливую чету с ропотом ободрения. Вся команда, взмогшая на пушки, с любопытством глядела на обряд, не виданный под палубами; слабо озаренная батарея исчезала во тьме, и плеск валов и завывание ветра придавали какое-то священное величие этому торжеству.

Сладко сорвать поцелуй втайне, сладко получить его неожиданно, но всего сладостнее лобзание венчанья, когда в глазах всего света, не краснея, вы можете назвать милую своею. Какой-то неизъяснимый, священный восторг проник молодых, когда они слились устами, запечатлевая поцелуем союз супружества... Это был задаток будущего блаженства, будущего благополучия. Шампанское запенилось, и Жанни, стоя на пороге спальни, пылая как роза, благодарила всех присутствующих.

— Приятной ночи! — сказал капитан, раскланиваясь с лукавою улыбкою, и задернул двери.

Канва для пылкого воображения.

Поутру захваченные Монтанем голландцы возвратились на берег и привезли матери Жанниной известие о ее замужестве. Через три дня флот пошел зимовать к Чатам, и первый, кого встретили на берегу новобрачные, был Саарвайерзен. Старик плакал и смеялся, сердился и радовался вместе, но все кончилось как нельзя лучше. Через неделю получили письмо от матери, в котором она присылала свое благословение, но, между прочим, уведомляла, что она горько плакала от мысли, как несчастна была дочь ее, не имея для свадебного стола секретного яблочного пирожного и для брачной постели пуховиков гагачьих! Жанни улыбнулась и, зарумянившись, склонилась в объятия своего Виктора.

— А, а!..— сказал Саарвайерзен.— Два аршина с четвертью, видно, ты была счастлива и без яблочного пирожного.

ЭПИЛОГ

В 1822 году, под осень, я приехал в Кронштадт встретить моряка-брата, который должен был возвратиться из крейсерства на флоте. Погода была прелестная, когда возвестили, что эскадра приближается. Сев на ялик у гостиного двора, я поехал между тысячи иностранных судов, выстроенных улицами, и скоро выпрыгнул на батарею купеческой гавани; она была покрыта толпою гуляющих; одни, чтоб встречать родных, другие, чтоб поглядеть на встречи. Ленты и перья, шарфы и шали веяли радугою. Веселое жужжанье голосов словно вторило звучному плеску моря; песни, стук, скрип блоков, нагрузка, оснастка по кораблям, крик спящих между ними лодочников и торговых — словом, вся окружающая картина деятельности оживляла каждого какою-то европейскою веселостью. Только одни огромные пушки, насупись, глядели вниз через гранит бруствера и будто надувались с досады, что их топтали дамские башмаки.

Увиваясь между пестрыми рядами, меняясь вопроса-

ми со знакомыми, поклонами с полузнакомыми и приветствиями с пригоженькими, я был поражен необыкновенною красотой одной высокого роста дамы; она стояла на парапете, устремив глаза на приближающийся флот. Ветер, врываясь под соломенную ее шляпку, взвевал роскошные ее локоны и обдувал стройные формы стана,— но какого стана! Вы бы не спали три ночи и бредили три дня, если б я мог вам нарисовать его! Правой рукой держала она шелковый зонтик, а левую опирала на плечо мальчика лет осьми, миловидного, как амур. Он так нежно припадал к ней, она так ласково улыбалась ему, оба они составляли столь прелестную купу, что я загляделся и заслушался, хотя она не говорила ни слова. Есть возраст, милостивые государи, в который шум женского платья кажется нам очаровательною музыкою Золовой арфы или даже, если вы имеете романтическое ухо, гармоникой сфер.

Я несколько раз вспрыгивал рядом с нею на парапет; шпоры мои бренчали на чугуне пушки, сабля исторгала искры из гранита, но все эти проделки не выманили у прекрасной незнакомки ни одного взора, ни малейшего внимания. Самолюбие мое было обижено до конца ногтей: имея тогда красные щеки, черные усы и белый султан, я полагал, что имею право по крайней мере на ласковый взгляд каждой женщины; но это подстрекало меня; я хотел упорством победить упорство и как бог Термин прирос вблизи, любуясь ее ножками, карауля взгляды и в отместку наводя свою трубку на море.

Флот приближался как станица лебедей. Корабли катились величаво под всеми парусами, то склоняясь перед ветром набок, то снова подымаясь прямо. Легкий передовой фрегат в версте от Кронштадта начал садит свой... Белое облако вырвалось с одного из подветренных орудий, другое, третье — и тогда только грянул гром первого. Дым по очереди салютующих кораблей долго катился по морю и потом тихо, величественно начал всходить, свиваясь кудрями. Едва отгрянул и стих гул последнего выстрела, корабли, по сигналу флагмана, стали приводить к ветру, чтобы лечь на якорь. Несколько минут царствовало всеобщее молчание. Внимание всех обращено было на быстроту и ловкость, с которою команды убрали паруса, что называется *на славу*, и вдруг заревела пушка с Кроншлота,— все дрогнуло; дамы ахну-

ли, закрывая уши! Ответные семь выстрелов исполинских орудий задернули завесой дыма картину... Когда его пронесло, весь флот стоял уже в линии, и несколько шлюпок, как ласточки, махали крыльями по морю, спеша на радостное свиданье.

Адмиральский катер гордо пролетел сквозь купеческие ворота; за ним, как быстрая касатка, рассекала зыбь легкая гичка, с широкой зеленой полосой по борту. Статный штаб-офицер с двумя орденами на груди стоял в ней, сложа накрест руки, и хотя зыбко было его подножие, но он стоял твердо, будто на каменной плите.

— Это он, это твой папенька!.. — вскричала радостно красавица, указывая малютке на шлюпку, и кинулась к пристани. Вспрынув опять на ограду, она простирала руки навстречу супруга; огонь нетерпения пылал в щеках ее; взоры ее лобзали уже милого гостя... И он увидел ее, увидел сына, которого подняла она в воздух, и, отвергнувши уста, упершись ногой в край шлюпки, чтоб перебраться на берег, он был живое изображение мужественной любви. Я забыл о стане, забыл об очах и кудрях прекрасной незнакомки; я любовался уже одной душою ее, я мечтал о завидной доле счастливица — ее мужа.

— Шабаш! — крикнул урядник, и весла ударились в лад об воду. Как сокол, складывающий крылья, чтобы сильнее ударить, сложились они, и два крюка словно когти возникли пред грудью...

— С какого корабля? — спросил часовой, между тем как шлюпка описывала быстрый полукруг.

— Фрегата «Амфитриды».

— Кто офицер?

— Капитан второго ранга Белозор! — отвечал урядник. Супруги уже лежали друг у друга в объятиях.





Аммалат-бек

Кавказская быль

Посвящается Николаю Алексеевичу Полевому

Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!

Надпись дагестанского кинжала

ГЛАВА I

Была джума¹. Близ Буйнаков, обширного селения в Северном Дагестане, татарская молодежь съехалась на скачку и джигитовку, то есть на ристанье, со всеми опытами удачества. Буйнаки лежат в два уступа на крутом обрыве горы. Влево от дороги, ведущей из Дербента к Таркам, возвышается над ними гребень Кавказа, оперенный лесом; вправо берег, понижаясь не приметно, раскидывается лугом, на который плещет вечно ропотное, как само человечество, Каспийское море. Вешний день клонился к вечеру, и все жители, вызванные свежестью воздуха еще более, чем любопытством, покидали сакли свои и толпами собирались по обеим

¹ Джума соответствует нашей неделе, то есть воскресенью. Вот имена прочих дней магометанской недели: шамби (наша суббота), ихшамба (воскресенье), душамба (понедельник), сешамба (вторник), чаршамба (среда), пханшамба (четверг), джума (пятница). (Прим. авт.)

сторонам дороги. Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками (тюника), и в широких туманах¹, садились рядами, между тем как вереницы ребят резвились перед ними. Мужчины, собравшись в кружки, стоя, или сидя на коленях², или по двое и по трое, прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: «качь, качь (посторонись)!» от всадников, приготавлиющихся к скачке.

Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то, возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополи и чинары, собравшись купами и окруженные кустарниками как детьми, кажется, готовы откочевать в гору, убягая от летних жаров. Игривые стада баранов, испещренных розовыми пятнами; буйволы, упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам,— вот рамы каждого мусульманского селения. Можно себе вообразить, что в день этой джумы окрестности Буйнаков еще более оживлены были живописною пестротою народа. Солнце лило свое золото на мрачные стены саклей с плоскими кровлями и, облекая их в разнообраз-

¹ Хотя, в существе, нет никакой разницы между мужскими шальварами и женскими туманами (панталонами), но для мужчины будет обидно, если вы скажете, что он носит туманы, и наоборот. (Прим. авт.)

² Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим. А потому Н. М. Карамзин очень ошибся, переводя слова волянского летописца: «Зле те, Романе, на коленях пред ханом седиши» — «худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унижительно, как думает историк. (Прим. авт.)

ные тени, придавало им приятную наружность... Вдали тянулись в гору скрипучие арбы, мелькая между могильными камнями кладбища... Перед ним несся всадник, взвевая пыль по дороге... Горный хребет и безграничное море придавали всей картине величие, вся природа дышала теплою жизнью.

— Едет, едет! — раздалось из толпы, и все зашевелились.

Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу поезду, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала¹ со своею свитою. Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами; висячие рукава закидывались за плечи. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой термоламы. Красные шальвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими камнями. Сей владетель Тарков был высокой статный юноша, открытого лица; черные зильфляры (кудри) вились за ухом из-под шапки... легкие усы оттеняли верхнюю губу... очи сверкали гордою приветливостию. Он сидел на червонном коне, и тот крутился под ним как вихорь. Против обыкновения, не было на коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака, но легкое черкесское седло с серебром под чернетью, с расписанными потебнями и со стремянами черного хорасанского булата под золотою насечкою. Двадцать нукеров² на лихих скакунах, в чухах, блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали, избочась, сзади. Народ почтительно вставал перед своим беком и склонялся, прижимая правую руку к правому колену. Ропот и шепот одобрения разливался вслед ему между женщин.

¹ Первые шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его, Сулейман-паша, владеет наследством просто как частным имением. (Прим. авт.)

² Ну кер — общее имя для прислужников; но, собственно, это то же самое, что у древних шотландцев Henschman (прибедренник). Он всегда и везде находится при господине, служит за столом, режет и рвет руками жаркое и так далее. (Прим. авт.)

Подъехав к южному концу ристалища, Аммалат остановился. Почетные люди, старики, опираясь на палки, и старшины Буйнаков обстали его кругом, стараясь вызвать на себя приветливое слово бека, но Аммалат ни на кого не обращал особенного внимания и с холодной учтивостью отвечал односложными словами на лести и поклоны своих подручников. Он махнул рукой: это был знак начинать скачку.

Без очереди, без всякого порядка кинулись человек двадцать самых горячих ездоков скакать взад и вперед, гарцуя, перегоняя друг друга. То перерезывали они друг другу дорогу и вдруг сдерживали коней, то вновь пускали их во всю прыть с места. После этого все взяли небольшие палки, называемые джигидами, и начали на скаку метать вслед и встречу противников, то ловя их на лету, то подхватывая с земли. Иные падали долой из седла от сильных ударов, и тогда раздавался громкий смех зрителей побежденному, громкие клики приветия победителю, иногда кони спотыкались и всадники редко не падали через голову, выброшенные двойною силою коротких стремян. Затем началась стрельба.

Аммалат-бек все это время стоял поодаль, любясь на скачку. Нукеры его один по одному вмешивались в толпу джигитующих, так что под конец при нем осталось только двое. Сначала он стоял неподвижен и равнодушным взором следил подобие азиатской битвы, но мало-помалу участие стало разыгрываться в нем сильнее и сильнее... Он уже с большим вниманием смотрел на удалцов, стал ободрять их голосом и движением руки, вставать выше на стременах, и, наконец, наездническая кровь закипела в нем, когда любимый его нукер не попал на всем скаку в брошенную перед ним шапку; он выхватил у своего оруженосца ружье и стрелой полетел вперед, увиваясь между стрелками.

— Раздайся, раздайся! — послышалось кругом, и все, как дождь, рассыпалось по сторонам, дав место Аммалат-беку.

На расстоянии одной версты стояло десять шестов с повешенными на них шапками. Аммалат проскакал в один конец, крутя ружье над головою; но едва миновал крайний столб смелым поворотом, он встал на стременах, приложился назад, паф — и шапка упала наземь;

не умеряя бега, он зарядил ружье, с брошенными поводками, сбил шапку с другого, с третьего и так со всех десяти... Говор похвал раздался со всех сторон, но Аммалат, не останавливаясь, бросил ружье в руки нукера, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелом из него отбил подкову с задней ноги своего скакуна; подкова взвилась и, свистя, упала далеко назад; тогда он снова подхватил заряженное нукером ружье и велел ему скакать перед собою...

Быстрее мысли понеслись оба. На полдороге нукер вынул из кармана серебряный рубль и высоко взбросил его в воздух; Аммалат приложился вверх, не ожидая падения, но в то же самое мгновение конь его споткнулся со всех четырех ног и, бороздя пыль мордою, покатился вперед с размаху. Все ахнули, но ловкий всадник, стоявший стоймя на стремянах, не тряхнулся, не подался вперед, как будто не слышал падения,—выстрел сверкнул, и вслед за выстрелом серебряный рубль улетел далеко в народ. Толпа заревела от удовольствия: «Игид! игид (удалец)! Алла, Вал-ла-га!» Но Аммалатбек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и, бросив поводка в руки джиладара, то есть конюшего, велел сей же час подковать коня. Скачка и стрельба продолжались.

В это время подъехал к Аммалату эмджек¹ его, Сафир-Али, сын одного из небогатых беков буйнакских, молодой человек, приятной наружности и простого, веселого нрава: Он вырос вместе с Аммалатом и потому очень коротко обходился с ним. Он спрыгнул с коня и, кивнув головою, сказал:

— Нукер Мемет-Расуль измучил твоего старика безгривого жеребца², заставляет его скакать через ров шириною шагов семи.

— И он не прыгает? — вскричал нетерпеливый Аммалат.— Сейчас, сей же миг привести его ко мне.

¹ Э м д ж е к — грудной, молочный брат; от слова эмджек — сосец. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека каждый положит голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью, и обряд кончен, и неразрывное братство начато. (Прим. авт.)

² Славная в Персии порода туркменских лошадей, называемая текс. (Прим. авт.)

Он встретил коня на полдороге, не ступая в стремя, вспрыгнул в седло и полетел к утесистой рывтине, доскал, стиснул колена, но усталый конь, не надеясь на свои силы, вдруг повернул направо на самом краю, и Аммалат должен был сделать еще круг.

Во второй раз конь, подстрекаемый плетью, взвился на дыбы, чтобы перепрыгнуть через ров, но замялся, заартачился и уперся передними ногами.

Аммалат вспыхнул.

Напрасно упрашивал его Сафир-Али, чтобы он не мучил бегуна, утратившего в боях и разъездах упругость членов; Аммалат не внимал ничему и понуждал его криком, ударами обнаженной сабли. И в третий раз подскакал он к рывтине, и когда в третий раз стал с размаху старый конь, не смея прыгать, он так сильно ударил его рукоятью сабли в голову, что конь грянулся наземь бездыханен.

— Так вот награда за верную службу! — сказал Сафир-Али, с сожалением глядя на издохшего бегуна.

— Вот награда за послушанье! — возразил Аммалат, сверкая очами.

Видя гнев бека, все умолкли и отсторонились. Всадники джигитовали.

И вдруг загремели русские барабаны, и штыки русских солдат засверкали из-за холма. То была рота Куринского пехотного полка, отправленная из отряда, ходившего тогда в Акушу, возмущенную Ших-Али-ханом, изгнанным владельцем Дербента. Рота сия должна была конвоировать обоз с продовольствием из Дербента, куда и шла горною дорогою. Ротный командир, капитан ***, и с ним один офицер ехали впереди. Не доходя до ристалища, ударили отбой, и рота стала, сбросила ранцы и составила в козлы ружья, расположась на привал, но не разводя огней.

Прибытие русского отряда не могло быть новостью для дагестанцев в 1819 году; но оно и до сих пор не делает им удовольствия. Изуверство заставляет их смотреть на русских как на вечных врагов, но врагов сильных, умных, и потому вредить им решаются они не иначе как тайне, скрывая неприязнь под личиною добротства.

Ропот разлился в народе при появлении русских; женщины окольными тропинками потянулись в селе-

ние, не упуская, однако ж, случая взглянуть украдкой на пришлецов. Мужчины, напротив, поглядывали на них искоса, через плечи, и стали сходиться кучками, разумеется потолковать, каким бы средством отделаться от постоя, от подвод и тому подобного. Множество зевак и мальчишек окружили, однако, русских, отдыхающих на травке. Несколько кекхудов (старост) и чаушей (десятишников), назначенных русским правительством, поспешили к капитану и, сняв шапки, после обычных приветов: хош гялды (милости просим) и яхшимусен, тазамусен сен-немамусен (как живешь-можешь), добрались и до неизбежного при встрече с азиатцами вопроса: «что нового? на хабер?»

— Нового у меня только то, что конь мой расковался и оттого, бедняга, захромал,— отвечал им капитан, довольно чисто по-татарски.— Да вот, кстати, и кузнец,— продолжал он, обращаясь к широкоплечему татарину, который опиливал уже копыто вносъ подкованного Аммалатова бегуна.— Кунак, подкуй мне коня!.. Подковы есть готовые; стоит брякнуть молотком, и дело кончено в минуту!

Кузнец, у которого лицо загорело от горна и от солнца, угрюмо взглянул на капитана исподлобья, поправил широкий ус, падающий на давно не бритую бороду, которая бы щетинами своими сделала честь любому борову, подвинул на голове аракчин (ермолку) и хладнокровно продолжал укладывать в мешок свои орудия.

— Понимаешь ли ты меня, волчье племя? — сказал капитан.

— Очень понимаю! — отвечал кузнец.— Тебе надобно подковать свою лошадь...

— И ты сам должен подковать ее,— отвечал капитан, заметя в татарине охоту шутить словами.

— Сегодня праздник: я не стану работать.

— Я заплачу тебе за труды что хочешь; но знай, что волей и неволей ты у меня сделаешь, что я хочу.

— Прежде всех наших идет воля аллаха, а он не велел работать в джуму. Довольно грешим мы из выгоды и в простые дни... так в праздники не хочу я себе покупать за серебро уголья.

— Да ведь ты работал же сейчас, упрямая башка?

Разве не равны кони? Притом же мой настоящий мусульманин. Взгляни-ка тавро: кровный карабахский...

— Кони все равны, да не равны те, кто на них ездит, Аммалат-бек мой ага (господин).

— То есть, если бы вздумал отнекиваться, он бы велел обрезать тебе уши; а для меня ты не хочешь работать в надежде, что я не смею сделать того же? Хорошо, приятель: я точно не обрежу тебе ушей, но знай и верь, что я в твою православную спину влеплю двести самых горячих нагаек, если ты не перестанешь дурачиться. Слышал?

— Слышал, и все-таки буду отвечать по-прежнему: не кую, потому что я добрый мусульманин.

— А я заставляю тебя ковать, потому что я добрый солдат. Когда ты работал для прихоти своего бека, ты будешь работать для необходимости русского офицера: без этого я не могу выступить. Ефрейторы, сюда!!

Между тем кружок любопытных около упрямого кузнеца расширился, подобно кругу на воде от брошенного камня. В толпе иные уже ссорились за передние места, не зная, что смотреть бегут они, и, наконец, раздалось: «Этого не надо, этому не бывать, сегодня праздник, сегодня грех работать!»

Некоторые смельчаки, надеясь на число, надвинули шапки на глаза и, держась за рукоятки кинжалов, подле самого капитана стали кричать: «Не куй, Алекпер, не делай ему ничего... Вот тебе новости! Что нам за пророки эти немые русские!»

Капитан был отважен и знал очень коротко азиатцев.

— Прочь, бездельники! — закричал он гневно, положив руку на ручку пистолета. — Молчать, или я первому; кто осмелится выпустить брань из-за зубов, запечатаю рот свинцовою печатью!

Это увещание, подкрепленное штыками нескольких солдат, действовало мгновенно: кто был поробче — давай бог ноги, кто посмелее — прикусил язык. Сам набожный кузнец, видя, что дело идет не на шутку, поглядел на все стороны, проворчал: «Неджелеим (что ж мне делать)?», засучил рукава, вытащил из мешка клещи и молот и начал подковывать русскую лошадь, приговаривая сквозь зубы: «Валла билла битмы

эддым» (а это значит наравне с польским: дали буг, не позволяя).

Надобно сказать, что все это происходило за глазами Аммалата: он, едва завидел русских, как, избегая неприятной для себя встречи, сел на новоподкованного коня и поскакал в дом свой, над Буйнаками стоящий.

Между тем как это происходило на одном конце ристалища, ко фронту отдыхающей роты подъехал всадник среднего роста, но атлетического сложения; он был в кольчуге, в шлеме, в полном боевом вооружении; за ним следом тянулось пять нукеров. По запыленной их одежде, по коням в поту и пене виделось, что они совершили скорый и дальний переезд. Первый всадник, рассматривая солдат, тихим шагом проезжал вдоль составленных в козлы ружей, задел и опрокинул две пирамиды. Нукеры, следуя за господином, вместо того чтоб своротить в сторону, дерзко топтали упавшее оружие. Часовой, который еще издали кричал, чтоб они не приближались, схватил под уздцы коня панцирника, между тем как множество солдат, раздраженных таким презрением от мусульман, окружили поезд с бранью.

— Стой, кто ты? — было восклицание и вместе вопрос часового.

— Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского¹, — хладнокровно отвечал панцирник, отрывая руку часового от поводьев. — Кажется, в прошлом году я задал русским в Башлах² по себе славную поминку. Переведи ему это, — сказал он одному из своих нукеров. Аварец повторил его слова по-русски довольно понятно.

— Это Ахмет-хан! Ахмет-хан... — раздалось между солдатами. — Лови его, держите его! Тащите его на расплату за башлинское дело... Бездельники в куски изрубили наших раненых!

— Прочь, грубиян! — вскричал Султан-Ахмет-хан по-русски рядовому, который снова схватил коня за узду. — Я русский генерал!

¹ Он был родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом Аварским, жениясь на вдове хана, единственной его наследнице. (Прим. авт.)

² Тогда отряд наш, состоявший из трех тысяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев. Там был удмий Каракайдахский, аварцы, акушинцы, койсубулинцы и другие. Русские пробрались ночью — и с уроном. (Прим. авт.)

— Русский изменник! — зашумели множество голов. — Ведите его к капитану, потащим его в Дербент, к полковнику Верховскому!

— Только в ад пойду я с такими проводниками, — сказал Ахмет-хан с презрительною улыбкою и в то же мгновение поднял коня на дыбы, бросил его влево, вправо и вдруг, повернув на воздухе кругом, ударил нагайкою и был таков. Нукеры не сводили глаз с хана и с гиком кинулись за ним следом, опрокинули некоторых солдат и открыли себе дорогу. Отскакав не более как шагов на сто, хан снова поехал шагом, не оглядываясь назад, не изменяясь в лице и хладнокровно поигрывая уздечкою. Толпа татар, собравшаяся около кузнеца, привлекла его внимание.

— Что у вас за споры, приятели? — спросил у ближних Ахмет-хан, сдержав коня.

Все с уважением приложили руки ко лбу при поклоне, увидев хана. Те, которые были поробче или посмирнее, очень смутились от этой встречи: того и гляди, попадешь в беду от русских, зачем не взяли врага их, или под месть хана, если ему не уважишь. Зато все головорезы, все бездельники и все, которые с досадою смотрели на владычество русское, окружили его веселою толпою. Ему в один миг рассказали, в чем дело.

— И вы, как буйволы, смотрите, когда вашего брата запрягают в ярмо, — громко сказал хан окружающим, — когда вам в глаза смеются над вашими обычаями, топчут под ноги вашу веру! И вы плачете, как старые бабы, вместо того чтобы мстить, как прилично мужам! Труссы! труссы!

— Что мы сделаем! — возразили ему многие голова. — У русских есть пушки! есть штыки!..

— А у вас разве нет ружей, нет кинжалов? Не русские страшны, а вы робки! Позор мусульманам: дагестанская сабля дрожит перед русскою нагайкою. Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров. Ферман русского пристава для вас святее главы из Курана. Сибирь пугает вас пуше ада... Так ли поступали деды ваши, так ли думали отцы?.. Они не считали врагов и не рассчитывали, выгодно или невыгодно сопротивляться насилию, а храбро бились и славно умирали. Да и чего бояться? Разве чугунные у русских бока? Разве у их пушек нет заду? Ведь скорпионов ловят за хвост!!

Речь эта возмутила толпу. Татарское самолюбие было тронуто живо.

— Что смотреть на них? Что позволять им хозяйничать у нас, будто в своем кармане? — послышалось отовсюду. — Освободим кузнеца от работы, освободим! — закричали все и стеснили кружок около русских солдат, посреди коих Алекпер ковал капитанскую лошадь.

Смятение росло.

Довольный возбуждением мятежа, Султан-Ахметхан не желал, однако ж, замешиваться в ничтожную схватку и выехал из толпы, оставя там двух нукеров для поддержания духа запальчивости между татар, а с двумя остальными быстро поскакал в утах¹ Аммалата.

— Будь победитель! — сказал Султан-Ахметхан Аммалат-беку, который встретил его на порогге.

Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись с ним, спросил:

— Насмешка это или предсказание, дорогой гость мой?

— Зависит от тебя, — отвечал пришелец. — Настоящему наследнику шамхальства² стоит только вынуть из ножен саблю, чтобы...

— Чтобы никогда ее не вкладывать, хан? Незавидная участь: все-таки лучше владеть Буйнаками, нежели с пустым титулом прятаться в горах, как шакалу.

— Как льву, прядать с гор; Аммалат, и во дворце твоих предков опочить от славных подвигов.

— Не лучше ль не пробуждаться от сна вовсе?

— Чтобы и во сне не видать, чем должен ты владеть наяву? Русские недаром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между тем как другой рвет золотые цветы³ из твоего сада.

¹ Дом по-татарски *эвв*; *утах* — значит палаты, а *сарай* — вообще здание. *Гарам-Хане* — женское отделение (от этого происходит русское слово хоромы). В смысле дворца употребляют иногда слово *изарат*. Русские все это смешивают в одно название — *сакли*, что по-черкесски значит дом. (Прим. авт.)

² Отец Аммалата был старший в семействе и потому настоящий наследник шамхальства; но русские, завладев Дагестаном и не надеясь на его доброхотство, отдали власть меньшему брату. (Прим. авт.)

³ Игра слов, до которой азиатцы большие охотники: *кызыль* — гюллерь, собственно, значит, *розы*, но хан намекает на *кызыль* — червонец. (Прим. авт.)

— Что могу я предпринять с моими силами?

— Силы — в душе, Аммалат!.. Осмелюсь, и все преклонится перед тобою... Слышишь ли? — промолвил Султан-Ахмет-хан, когда раздались в городе выстрелы. — Это голос победы.

Сафир-Али вбежал в комнату со встревоженным лицом.

— Буйнаки возмутились, — произнес он торопливо, — толпа буянов осыпала роту и завела перестрелку из-за камней...

— Бездельники! — вскричал Аммалат, взбрасывая на плечо ружье свое. — Как смели они шуметь без меня? Беги вперед, Сафир-Али, грози моим именем, убей первого ослушника.

— Я уже унимал их, — возразил Сафир-Али, — да меня никто не слушает, потому что нукеры Султан-Ахмет-хана поджигают их, говорят, что он советовал и велел бить русских.

— В самом деле мои нукеры это говорили? — спросил хан.

— Не только говорили, да и примером ободряли, — сказал Сафир-Али.

— В таком случае я очень ими доволен, — молвил Султан-Ахмет-хан, — это по-молодецки.

— Что ты сделал, хан? — вскричал с огорчением Аммалат.

— То, что бы тебе давно следовало делать.

— Как оправдаюсь я перед русскими?!

— Свинцом и железом... Пальба загорелась, судьба за тебя работает. Сабли наголо, и пойдем искать русских...

— Они здесь? — возгласил капитан, который с десятью человеками пробился сквозь нестройные толпы татар в дом владельца.

Смущен неожиданным бунтом, в котором его могли считать участником, Аммалат приветливо встретил разгневанного гостя.

— Приди на радость, — сказал он ему по-татарски.

— Не забочусь, на радость ли пришел я к тебе, — отвечал капитан, — но знаю и испытываю, что меня встречают в Буйнаках не по-дружески. Твои татары, Аммалат-бек, осмелились стрелять в солдат моего, твоего, общего нашего царя!

— В самом деле, это очень дурно, что они стреляли в русских...— сказал хан, презрительно разлегаясь на подушках,— когда им бы должно было убивать их.

— Вот причина всему злу, Аммалат,— сказал с гневом капитан, указывая на хана.— Без этого дерзкого мятежника ни один курок не брякнул бы в Буйнаках! Но хорош и ты, Аммалат-бек... Зовешься другом русских и принимаешь врага их как гостя, укрываешь как товарища, честишь как друга. Аммалат-бек! именем главного командующего требую: выдай его.

— Капитан,— отвечал Аммалат,— у нас гость — святыня. Выдача его навлекла бы на мою душу грех, на голову — позор некупимый; уважьте мою просьбу, уважьте наши обычаи.

— Я скажу тебе в свою очередь: вспомни русские законы, вспомни долг свой; ты присягал русскому государю, а присяга велит не жалеть родного, если он преступник.

— Скорее брата выдам, чем гостя, г. капитан! Не ваше дело судить, что и как обещал я выполнять. В моей вине мне диван (суд) аллах и падишах!.. Пускай в поле бережет хана судьба, но за моим порогом, под моею кровлею я обязан быть его защитником и буду им!

— И будешь в ответе за этого изменника!

Хан безмолвно лежал во время этого спора, гордо пуская дым из трубки, но при слове *изменник* кровь его вспыхнула; он вскочил и с негодованием подбежал к капитану.

— Изменник я, говоришь ты? — сказал он.— Скажи лучше, что я не хотел быть изменником тем, кому обязан верностию. Русский падишах дал мне чин, сардарь ласкал меня, и я был верен, покуда от меня не требовали невозможного или унижительного. И вдруг захотели, чтоб я впустил в Аварию войска, чтобы позволил выстроить там крепости; но какого имени достоин бы я стал, если б продал кровь и пот аварцев, братьев моих! Да если бы я покусился на это, то неужели думаете вы, что мог бы это исполнить? Тысячи вольных кинжалов и неподкупных пуль устремились бы в сердце предателя, самые скалы рухнули бы на голову сына-отцепродавца. Я отказался от дружбы русских, но еще не был врагом их, и что ж было наградой за мое доброжелательство, за добрые советы? Я был лично, кровно

обижен письмом вашего генерала, когда предостерегал его... Ему дорого стоила в Башлах дерзость... Реку крови пролил я за несколько капель бранчивых чернил, и эта река делит меня навечно с вами.

— Эта кровь зовет мсть! — вскричал капитан сердито. — И ты не уйдешь от нее, разбойник!

— А ты от меня, — возразил вспыльчивый хан, вонзая кинжал в живот капитана, когда тот занес руку, чтобы схватить его за ворот.

Тяжело раненный капитан, простонав, упал на ковер.

— Ты погубил меня, — произнес Аммалат, всплеснув руками, — он русский и гость мой.

— Есть обиды, которых не покрывает кровля, — возразил мрачно хан. — Кости судьбы выпали; колебаться не время; запирай ворота, скличь своих, и ударим на неприятелей.

— За час еще я не имел их... Теперь нечем их отражать... У меня нет в запасе ни пуль, ни пороху; люди в разброде...

— Народ разбежался! — в отчаянии вскричал Сафир-Али. — Русские идут в гору скорым шагом. Они уж близко!!

— Если так, то поезжай со мною, Аммалат, — молвил хан. — Я ехал в Чечню, чтобы поднять ее на линии... Что будет, бог весть, но и в горах хлеб есть!.. Согласен ты?

— Едем!.. — решительно сказал Аммалат. — Теперь мне одно спасение — в бегстве... Не время теперь ни споров, ни укоров.

— Гей, коня, и шесть нукеров за мною!

— И я с тобой, — произнес со слезой в оке Сафир-Али, — с тобой в волю и в неволю.

— Нет, добрый мой Сафир-Али, нет! Ты, останешься здесь похозяйничать, чтобы свои и чужие не растащили всего дома. Снеси от меня привет жене и проводи ее к тестю, шамхалу. Не забудь меня, — и до свиданья!

Едва успели они выскочить в одни ворота, как русские вторглись в другие.

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие крики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащее к северу, прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным; на дорогах и улицах ни души... Стада овец лежали в тени скал, буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставляя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор, и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, и, наконец, взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.

— Нефтали! — закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле, у дверей которой стоял оседланный конь.

И вот стройный чеченец с подстриженной бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.

— Я вижу двух вершников,— продолжал мулла,— они объезжают селение!

— Верно, жида, либо армяне,— отвечал Нефтали,— им, конечно, не хочется нанимать проводника; да они сломят себе шею на объездной тропинке. Там и дикие козы, и наши первые удалыцы скачут оглядываясь.

— Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку¹ и навидался армян и жидов во всех сторонах... Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски,— разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и выюков. Взгляни-ка сам сверху, твоя глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала премоха по неверным, а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлым взором своим следил проезжих.

— Полдень жарок, и путь тяжел,— промолвил Сулейман,— пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького, да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кураном.

— У нас в горах и раньше Курана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье; только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

— Кажется, они земляки твои,— сказал Сулейман, ссенив глаза рукою, чтобы пристальнее взглядеться.— На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других соседей; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.

— Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими, пощеголять добычью? Это и не кровоместники и не абреки: лица их не закрыты башлыками; впрочем, одежда обманчива, и кто порука,

¹ Гаджи, собственно, значит путешественник, но придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму; шагиды редко, однако ж, ее носят. (Прим. авт.)

что это не русские беглецы? Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием... Черт силен!

— На тех, у кого слаба вера, Нефтали... Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются волосы!

— Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Эта или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин¹. Постой, приятель, я расчесу тебе твои зильфляры (кудри); через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прынул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.

— Алла акбер! — преважно сказал Сулейман и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору. Передний был в кольчуге, задний в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

— Селам алейкюм, — сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

— Алейкюм селам! — отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.

— Дай бог доброго пути, — молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.

¹ Все горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунни; напротив, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне... Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца. (Прим. авт.)

— Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам! — возразил нетерпеливо противник. — Чего ты хочешь от нас, кунак?

— Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина... Не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников в полдневный жар и не освежили, не угостили их!»

— Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости... да и быстрота для нас нужнее покоя.

— Вы едете навстречу погибели, не взявши провожатого.

— Провожатого! — воскликнул путник. — Да я знаю все туриные стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши... Отсторонись, товарищ... на божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздоры.

— Я не уступаю шагу, покуда не узнаю, кто ты и откуда.

— Дерзкий мальчишка! прочь с дороги... иль через миг твоя мать будет вымалывать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодарю судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз о бок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!!! Нефтали! отец твой убит вчерась за Терекком: узнай меня!

— Султан-Ахмет-хан! — вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшною вестию; голос его замер; он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

— Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо.

Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Аммалат-бек (это был он) — в

черные думы. У обоих платье носило следы недавнего боя, усы были опалены вспышками полки, и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу; мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста. Напротив, истомы была написана на бледном лице Аммалата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

— Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой и по росе помчались бы далее.

— Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат. Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними: мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими... и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть, слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег,— значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время, слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султан-Ахмета, пророка добыч и крови; тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что аллах дает и отнимает победу... Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом, а мои обиды неискупимы, и личная месть может заградить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом, тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня. Завтра мы будем дома; потерпи до тех пор.

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к

сердцу и ко лбу: он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу. Переправясь через Койсу по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, — столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были наши путники ехать то вправо, то влево рядами: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень, пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы; но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прыдал и оступался. Избалованный колею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудной травой в расщелинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струею бежал с нагрудника; широкие ноздри пышели отнем, и пена кипела на удилах.

— Аллах-Берекет! — воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, но в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян. Он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова. Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне... Так одна капля не наполняет, но переполняет чашу.

— Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, — говорил он, — ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. С тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.

— Оставь меня, Султан-Ахмет-хан,— сказал он решительно,— оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел: он чувствует, что мое сердце скоро замрет в когтях его... И слава богу. Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли.

— Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?.. Велика беда, что ты ранен, что конь твой пал! Рана заживет до свадьбы, коня найдем лучше прежнего, и впереди у аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня: я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!

— Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан... Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не попользуюсь ею; тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы. Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен... Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле, жена лишилась зрения, дядя и тесть шамхал ползают в Тарках перед русскими; в родине, в наследии моем пируют гяуры, и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя. Я не хочу и не должен жить!

— Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если нелюб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что для мертвеца не нужна власть и невозможна победа. Мстить русским — святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты, это не новость для воина; сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостью... Ободришь, друг Аммалат... Ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом; садись на коня, и мы еще побьем не раз русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло...

— Да, я буду жить для мести им! — вскричал он, — для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой... клянусь гробом отца: я твой! Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

— Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, — сказал он, — кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недрах утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения начали расстилать свою зеленую пелену, то вея из трещин опухами, то спускаясь с крутих длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чиндара. Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопою человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между камнями, то дремля на каменном дне водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущельях; все дышало вечернею прохладою, незнакомою жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Акок, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный вы-

стрел раздавался в горах и, как зловеющий знак, повторился стоголоском утесов. Путники остановились в недоумении: перекааты постепенно затихли.

— Это наши охотники,— сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица.— Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана: все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однакож, развлек его внимание... Удар и удар еще... Выстрелы отвечали выстрелам и, наконец, слились в жаркую перепалку.

— Там русские!— вскричал Аммалат, бьхвывая из ножи саблю, и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покатился из опавшей руки.— Хан,— сказал он, ступая на землю,— спеши на помощь своим землякам: твое лицо будет для них дороже сотни воинов.

Хан не слышал слов его: он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русские от аварских.

— Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека! И откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни?— говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою.— Прощай, Аммалат!— вскричал он наконец, услышав, как загорелась сильней пальба.— Я еду погибнуть на развалинах, разоряясь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился, поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.

— Садись верхом,— сказал он ему,— скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку... У русских свинцовые пули, а это медная, аварская¹, моя милая землячка. Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных

¹ Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды. (Прим. авт.)

краях глубокой рывины; и из них-то производилась перестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградями, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили камень и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той или другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника. Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грома, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

— У нас это обыкновенная вещь, — отвечал тот, любясь каждым удачным выстрелом. Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала; у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении; стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им и горя мало! Дстойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину; да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель. Однако темнота льется с неба и разлучает минутных врагов. Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Аммалат почти ничего не видал перед собою: двойная завеса ночи и слабости задерживала его очи; голова его кружилась; будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню. Неверной ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев, и едва перешагнул за решетчатый порог гарама, дух его занялся, смертная бледность бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, без чувств упал на узорные ковры.

ГЛАВА III

Аммалат пришел в память на заре.

Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему: оно отнимало у жизни горе, у смерти — ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат слышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни. Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалиевых пуговиц, с длинными косами, распущенными по плечам, тихо приблизилась к его ложу и так заботливо обвеяла его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетали все жилки. Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и... больше не мог он рассмотреть: веки его опали, как свинец; он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, и снова все стихло. И каждый раз потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»

Но это не был сон.

Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана. У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана. Подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце — шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики, или давал суд правым и виноватым, между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах, или замышлял новые набеги, она прилетала, как

ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце. Взмахнутый кинжал останавливался на воздухе, и часто, взглянув на нее, хан отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов; а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унижить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя; тем выше ханская дочь от самой колыбели напитывалась гордынею предков, и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества. Доселе ни один гость не был равен с нею родом; по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, но теперь час любви пробил и сердце встрепенулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидела прекрасного юношу, падающего как мертвец к ногам ее... Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил, что рана неопасна, нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как заря; в первый раз прибегла она к хитрости, чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и, наконец, ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Кажалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!», поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле

ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье...

Надо быть татариним, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

— О, мне очень хорошо теперь,— отвечал он, стараюсь приподняться,— так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета.

— Алла саха-сын (бог да сохранит тебя),— возразила она.— Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

— В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она покраснела еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горячки. С приятною надеждою засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится. Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете. Аммалат был женат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, что бы могло пробудить его спящее сердце. Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждать ее появления — приятнейшим занятием. Бывало, он вздрогнет, чуть за-

слышит ее голос; каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу, и ощущение его походило на боль, но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство между молодыми людьми скрепилось в дружбу... Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Амалата к дочери своей и втайне тому радовался; это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Амалата в покоях своих, как родного, и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сживал Амалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которую висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Амалат желания, которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем; он не думал ни о чем, он только мог чувствовать и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы — народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедные, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок, славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелки, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магомету, но до сих пор пло-

хие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений. Мечь для них — святыня, разбой — слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостью. Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Турниау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников, но всего чаще слагают свои буйные головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акушинцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов, и власть их там закон. Но имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошрины на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих, обрабатываемых каравашами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девуку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное — суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц. Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с

кинжалом на брюхе¹. Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно.

Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что недалеко появился огромный тигр и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его лютости. Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведать удачи.

— Я отведаю счастья! — вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удаливость свое перед горцами. — Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

— Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

— Неужели ты думаешь, — возразил тот гордо, — что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я надеюсь, ты поверишь тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен?

Аварец был пойман.

Отказаться было бы постыдно, и он протянул руку, развеселил лицо...

— Охотно иду с тобою, — отвечал он. — Отлагать нечего; совершим клятву в мечети, и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит: нам ли взять его кожу на чепрак или ему скушать нас.

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда. Это принадлежит одним родным, и разве случаем выпадает гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул на окна Селтанеты и тихими шагами пошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Куране, что не выдадут друг

¹ Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди. (Прим. авт.)

друга ни в битве со зверем, ни в преследовании; не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его; будут защищать друг друга, лягут рядом, не щадя жизни, и во всяком случае без шкуры зверя не вернутся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник.

Товарищи после присяги обнялись, мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

— Или оба, или ни одного! — кричали им вслед.

— Убьем или умрем! — отвечали охотники.

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные. Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селтанета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице, вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания; вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям и, в двадцатый раз обманутая, потупив очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану, далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди. И крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, на силу привлекся один до Хунзаха. Кафтап его был изодран когтями звериными, сам он бледен как смерть и в изнеможении от голода и устал. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал, и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека:

— В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким камнем и чащей, что аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне: я подкрался и наметил очень ловко; стрельнул... ан на беду зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею. Пробужден гро-

мом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала; с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами, и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня; мелкий дождь сеялся из густого тумана; был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, недалеко; там и сям обрызганы были камни кровью, только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было голосу, товарища; нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу; напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти, искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле... хоть бы отомстить зверю за смерть удалого: силы нет. Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и доброю славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне, только голод одолел меня. Дай, подумал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голоса моя перед вами: судите как положит аллах на сердце. Приговорите ли мне жить — буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть — и то воля ваша! — умру невинен. Аллах свидетель; я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винили его, хотя и все жалели.

— Всякий себя охраняет, — говорили некоторые из обвинителей. — Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства; а что он выдал товарища, это почти без сомнения! Не только выдал, может и нарочно предал, — толковали другие: они неладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности. Он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

— Трус! — сказал он вместе с гневом и огорчением узденю. — Ты пустил позор на имя аварское. Теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отомстить: ты клялся на Куране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя; ты изменил клятве, но мы не переступим завета: гибли! Даю три дня срок душе твоей, но потом, если Аммалат не найдется, тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову! — примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня своего.

Тридцать горцев помчались из Хунзаха во все стороны проводывать хоть об останках буйнакского бека. У горцев священной обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища, и они часто, как омировские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.

Несчастливого узденя повлекли на конюшню ханскую — место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен правде их обычаев.

Печальная весть скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась, но зато и не улыбалась более, не молвила слова. Ей говорила мать, она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье, она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее, она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его; но это сердце глубоко лежало от взоров, и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою; можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету; ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

«Боже мой! — думала она, — зачем, потеряв друга,

не имею права плакать о нем! Все так и смотрят на меня, чтобы посмеяться после; так и стерегут каждую слежку, чтобы поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».

— Секине! — молвила она своей прислужнице, — пойдем гулять по берегу Узени!

На треть агача¹ расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и даже изуверство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее с остроконечною каменною кровлею уже почернела от дыхания веков; плющ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой, и в зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, падал через каменный алтарь и распрядался в серебристые, вечно звучащие струны чистой воды, и потом, сочась в спай плитного пола, вился ниже и ниже. Одинокий луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селтанета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее, и все это тем более множило печаль — первую печаль ее. Переливный свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горечь ее разлилась жалобами. Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения.

И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга: перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его.

Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета, не узнали своего любимца? Нет, с другого взора она узнала Аммалата и, забыв все на свете, кинулась ему на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо, и, наконец, огонь

¹ Агач — семь верст. Он называется конным. Пешеходный — четыре версты. (Прим. авт.)

уверения, огонь восторга заблестал сквозь не обсохшие еще слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкой Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селтанеты. Он довольно слышал за минуту для своего счастья; теперь он был наверху блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей, но они уже поняли друг друга.

— И ты, ангел, любишь меня? — произнес, наконец, Аммалат, когда Селтанета, застыдясь поцелуя, уклонилась из его объятий. — Ты меня любишь?

— Сохрани, алла! — отвечала невинная девушка, опустя ресницы, но не очи. — *Любишь!* Это страшное слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали камнями девушку; с ужасом убежала я домой, но нигде не могла спрятаться. Кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила одного юношу!

— Нет, милая, не за то, что любила она, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обом, ее убили!

— Что значит *изменила*, Аммалат? Я не понимаю этого!

— О, дай бог, чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять, чтобы ты никогда не забыла меня для другого.

— Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Нуцала и Сурхая, и рада с ними свидеться, но без них не тоскую; без тебя же на свете жить не хочется!

— Для тебя готов я умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!

Шелест шагов прервал речи любящихся: то была прислужница Селтанеты.

Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно.

Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.

— Чуть завидел я павшего товарища впереди меня, я встретил зверя на лету пулею: она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться, несколько раз порывалось ко мне

и снова, развлекаемо болью, бросалось в сторону. В это время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, то на виду, то по кровавóму следу; между тем день вечерел, и когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволею принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками — волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно; облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду. В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть. Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг да около... дорога убежала меня, усталость и голод томили. Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы, но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутин, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегодняшним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку и скоро послышал крик и выстрелы: это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, слава богу!

— Слава богу, хвала и тебе! — сказал, обнимая его, хан. — Но удалство твое чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища. Промедли ты день, он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник Малой Кабарды, присылал звать тебя в набег на русских: вот достойное тебя поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве. Время не терпит; завтра чем свет тебе должно отправиться.

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он скрепя сердце отвечал, что едет охотно. Он очень чувствовал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.

Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, головою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения, боль предчувствия беды.

— Алла! — присизнесла она с горестию, — опять на-

беги, опять убийство! Когда-то перестанет литься кровь на угориях?

— Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах,— сказал хан с усмешкою.

ГЛАВА IV

Дико-прекрасен гремучий Терек в Дарьяльском ущелии. Там, как гений, черная сила из небес, борется он с природой. Инде светел и прям, как меч, рассекший гранитную стену, сверкает он между утесами. Инде, чернея от гнева, ревет и роется, как лютый зверь, под вековые громады: отрывает, рушит, катит вдаль их обломки. В бурную ночь, когда запоздалый всадник, завернувшись в косматую бурку, озираясь, едет по забережью, висящему над пучиною Терека, все ужасы, какие только породить может досужее воображение, ничто в сравнении с истинными, его одолевающими. С глухим шумом крутятся дождевые потоки под ногами, падают на голову со скал, нахмуренных над нею и каждый миг грозящих подавлением. Вдруг, как лава, прорывается молния, и вы с ужасом видите только черную, расторгнутую тучу над собою, а под собою зияющую бездну, утесы по сторонам, и навстречу вам с крутизны ревуший, прыщущий Терек, осыпанный огненной пеною. На один миг видите вы, как мутные, буйные волны его, словно адские духи, скачут, прядают, мечутся в бездну со стоном, пораженные мечом архангелов. Вслед им с грохотом катятся огромные камни. И вдруг, после ослепительного озарения молниею, вы опять погружены в черное море ночи; и вдруг за тем раздается выстрел грома, выблюющий основание скал, будто тысячи гор рушатся друг на друга: так вторят отголоски удару небес. Потом долгий протяжный гул, будто стон оторванных с корней дубов, или звук сокрушенных скал, или вой раздавленных в бездне великанов, сливается с шумом ветра, и ветер превращается в ураган, и дождь низвергается ливнем. И снова молния слепит вас, и снова гром, на который отвечает вдали рокот обвалов, оглушает... камни сыплются мимо и звучно падают в воду... Испуганный конь упирается, садится назад, фыркает, трепе-

щет, грива его хлещет в глаза всадника, и всадник творит невольную молитву...

Но зато как приветливо заглядывает утро в ущелие, на дне которого бьет, и кипит, и плещет Терек! Облака, будто раздернутый полог, клубятся от ветра, и сквозь них являются и опять исчезают ледяные вершины. Точно резные из золота, лучи солнца рисуют зубчатые силуэты вершин восточных на противоположной стене гор. Скалы блестят, еще высеребренные дождевою влагою. Ключи и горные потоки пышны пеною, летят сквозь туман с крутин, и самые туманы инде катятся вниз по ущелию, подобны потоку, инде вьются улиткой с ключа, будто дымок с хижины, инде обвивают, как чаемой, одинокую, древнюю на утесе башню, а мрачный Терек прядает по камням и кружится, будто ищет места успокоиться.

Должно признаться, однако ж, что на Кавказе нет вод, в кои бы достойно могли глядеться горы — исполины творения. Нет на нем рек плавных, нет огромных озер, и Терек между громадами, его теснящими, кажется ручейком. Под Владикавказом, вырвавшись на долину, он, кажется, рад вольному раздолью: ходит по ней широкими кругами, разбрасывая похищенные в горах валуны. Дальше, уклоняясь к северо-западу, он все еще быстр, но менее шумен, будто усталый, после трудного подвига. Наконец, охватив крутым поворотом мыс Малой Кабарды, он, как мусульманин, набожно обращается к востоку и, мирно напоая враждующие берега, несется то по грядам камней, то по глинистым отмелям упасть за Кизляром в чашу Каспия. Тут уже он терпит на себе челны и, как работник, ворочает огромные колеса плавающих мельниц. По правому берегу его, между холмами и перелесками, рассеяны аулы кабардинцев, которых мы смешиваем в одно название черкесов, живущих за Кубанью, или чеченцев, обитающих гораздо ниже к морю. Побережные аулы сии мирны только по имени, но в самом деле они притоны разбойников, которые пользуются и выгодами русского правления, как подданные России, и барышами грабежей, производимых горцами в наших пределах. Имея всюду свободный вход, они извещают единоверцев и единомышленников о движении войск, о состоянии укреплений; скрывают их у себя, когда те собираются в набег; делят и перекупают добычу при

возврате, снабжают их солью и порохом русскими и нередко участвуют лично в тайных и явных набегах. Самое дурное, что, под видом этих мирных горцев, враждующие нам народы безбоязненно переплывают Терек человека по два, по три, по пяти и среди белого дня отправляются на разбой, никем не преследуемые, ибо одежда их ничем не отлична. Наоборот, сами мирные, пользуясь этою отговоркою, нападают, когда в силах, открыто на проезжих, или похищают скот и людей украдкою, рубят без пощады, или перепродают в плен далеко.

Правду сказать, местное положение их между двумя сильными соседями поневоле заставляет так коварствовать. Зная, что русские не успеют из-за реки защитить их от мести горцев, налетающих как снег, они по необходимости, равно как по привычке, дружат однокровным, но в то же время лисят перед русскими, которых боятся.

Конечно, между ними есть несколько человек, истинно преданных русским, но большая часть даже и своим изменяет из награды, и то лишь при верном успехе, и то лишь до тех пор, покуда видит в том свою пользу. Вообще, нравственность этих мирных самая испорченная; они потеряли все доблести независимого народа и уже переняли все пороки полубразованности. Клятва для них игрушка, обман — похвальба, самое гостеприимство — промысел. Едва ли не каждый из них готов наняться поутру к русскому в кунаки, а ночью в проводники хищнику, чтобы ограбить нового друга.

Левый берег Терека унизан богатыми станицами линейских казаков, потомков славных запорожцев. Между ними кое-где есть крестьянские деревни. Казаки эти отличаются от горцев только небритою головою: оружие, одежда, сбруя, ухватки — все горское. Мило видеть их в деле с горцами: это не бой, а поединок, где каждый на славу хочет доказать превосходство силы, храбрости, искусства. Двое казаков не струсят четверых наездников, — в равном числе всегда победители. Почти все они говорят по-татарски, водят с горцами дружбу, даже родство по похищенным взаимно женам, но в поле враги неумолимые. Как ни запрещено переезжать на горную сторону Терека, но удалыцы отправляются туда вплавь, на охоту разного рода. В свою очередь, горские хищники

бродятся за Терек ночью или переплывают его на бурдюках (мехах), залегают в камыши или под навес берега, потом перелесками пробираются к дороге, чтобы увлечь в плен беспечного путника или захватить женщин на гребле сена. Случается, что самые отчаянные проводят дня по два в виноградниках при деревне, выжидая удобного случая напасть врасплох, и оттого линейский казак не ступит на порог без кинжала, не выедет в поле без ружья за спиной: он косит и пашет вооруженный.

В последнее время большими толпами горцы стали нападать только на крестьянские деревни, ибо в станицах отпор становился им очень дорог. Для угонки табунов они смело и глубоко впадают в границы наши, но в таком случае редко обходится без битвы. Самые лихие уздени стараются попасть в подобные наезды, чтобы снискать себе имя, которое ценят они выше всякой добычи.

Осенью, в 1819 году, кабардинцы и чеченцы, ободренные отсутствием главнокомандующего, собрались в числе полутора тысяч человек сделать нападение на какую-нибудь деревню за Терек, ограбить ее, увести пленников, угнать табун.

Предводителем был кабардинский князек Джембулат. Аммалат-бек, приехавший к нему с письмом от Султан-Ахмет-хана, был принят с радостью. Правду сказать, ему не дали никакого отряда, но это оттого, что у них нет никакого строя, ни порядка в войске; борзый конь и собственная запальчивость указывают каждому место в битве. Сначала думают, как завязать дело, как завлечь неприятеля, но потом нет ни повиновения, ни повеления, и случай доканчивает сражение. Обославшись с соседними узденями и наездниками, Джембулат назначил сборное место, и вдруг, по условному знаку, во всех ущелиях раздался крик: «Гарай! гарай (тревога)!», и в один час слетелись со всех сторон наездники чеченские и кабардинские. Во избежание измены никто не знал, кроме вождей, где будет ночлег, где переправа. Разделясь на небольшие кучки, пошли они по едва видным тропам в мирный аул, где должно было скрыться до ночи. В сумерках все отряды уже сошлись туда. Разумеется, мирные встретили своих земляков с распростертыми объятиями, но Джембулат, не доверяя этому, оцепил селение часовыми и объявил жителям, что если

кто покусится уйти к русским, будет изрублен в куски. Большая часть узденей разошлась по саклям кунаков или родственников, но сам Джембулат с Аммалатом и лучшими наездниками остался на чистом воздухе, подле разведенного огня, покуда освежались усталые их кони. Джембулат, простершись на бурке, опершись рукою об руку, раздумывал распорядок набега; но далека была мысль Аммалата от поля битвы; она орленком носилась над горами Аварии, и тяжело-тяжко ныло сердце разлакою. Звук металлических струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную.

На Казбек слетелись тучи,
Словно горные орлы...
Им навстречу, на скалы
Узденей отряд летучий,
Выше, выше, круче, круче,
Скачет, русскими разбит:
След их кровию кипит!

На хвостах полки погони;
Занесен и штык и меч;
Смертью сеется картечь...
Нет спасенья в силе, в броне...
«Бегу, бегу, кони, кони!»
Пали вы,— а далека
Крепость горного леска¹.

Сердце нашим русским мета...
На колени пал мулла —
И молитва, как стрела,
До пророка Магомета,
В море света, в небо света,
Полетела, понеслась:
«Иль-алла, не выдай нас».

Нет спасенья ниоткуда!
Вдруг, по манию небес,
Зашумел далекий лес:
Веет, плещет, катит грудой
Ниже, ближе, чудо, чудо!..
Мусульмане спасены
Средь лесистой крутизны!

— Так бывало в старину,— сказал с улыбкою Джембулат,— когда наши старики больше верили молитве, а

¹ Редко случались примеры, чтобы мы стрелками своими могли выжить горцев из лесу, и потому лес считают они лучшею крепостью. Вся песня переведена почти слово в слово. (Прим. авт.)

бог чаще их слушал; но теперь, друзья, лучшая надежда — своя храбрость. Наши чудеса в ножнах шушки (сабли), и нам точно должно показать их, чтобы не осрамиться. Послушай, Аммалат,— промолвил он, крутя ус свой,— не скрою от тебя, что дело может быть жаркое. Я сейчас проведал, что полковник Коцарев собрал отряд свой, но где он, но сколько у него войска, этого никто не знает.

— Чем больше будет русских, тем лучше,— отвечал Аммалат спокойно,— тем менее будет промахов.

— Зато труднее добыча!

— По мне хоть бы век ее не было: я хочу мести, ищу славы.

— Хороша лишь та слава, которая несет золотые яйца, а то, с пустыми тороками воротясь домой, стыдно жене глаза показывать. Близка зима: надобно запастись хозяйством на русский счет, чтобы угощать друзей и приятелей. Выбирай себе место, Аммалат-бек: хочешь, ступай в передовые, заскакать стадо; хочешь, останься со мной назади. Я с абреками шаг за шаг буду удерживать погоню!

— Разумеется, я буду там, где больше опасности. Но что такое абреки, Джембулат?

— Это нелегко тебе растолковать. Вот видишь, многие из самых удалых наездников иногда дают зарок года на два, на три, на сколько вздумается, не участвовать ни в играх, ни в веселиях, не жалеть своей жизни в набеггах, не щадить врагов в битве, не спускать ни малейшей обиды ни другу, ни брату родному, не знать завету на чужое, не боясь преследований или мести; одним словом, быть неприятелем каждого, чужим в семье своей, которого каждый может, если сможет, убить. В ауле они опасные соседи, потому что, встречаясь с ними, надо всегда держать курок на взводе. Зато в деле на них первая надежда¹.

— Для какой же выгоды, для какой причины берут на себя уздени такую обузу?

— Одни просто из молодечества, другие от бедности, третьи с какого-нибудь горя. Вон этот, например, высо-

¹ Это настоящие берсеркеры древних норманнов, которые, приходя в неистовство, рубили даже тозарищей. Примеры такой безумной храбрости нередки между азиатцами. (Прим. авт.)

кий кабардинец поклялся пять лет быть абреком; после того, как любовница его умерла от осы. С тех пор лучше водить дружбу с тиграми, чем с ним. Он уж три раза ранен в оплату за кровь, а все нейдет.

— Чудный обычай! Как же воротится абрек в мирную жизнь после такой жизни?

— Что тут мудреного: старое, как с гуся вода. Соседы будут радехоньки, что срок ему кончился разбойничать; а он, скинув с себя абречество, будто змеиную шкуру, станет смиреннее овна. У нас одни кровоместники помнят вчерашнее. Однако ночь стемнела; туман стелется над Терекком: пора за дело.

Джембулат свистнул, и свист его повторился во всех концах стана: вмиг собралась вся шайка. К ней присоединились многие уздени из окрестных мирных деревень. Потолковав с ними, где лучше переправиться, отряд в тишине двинулся к берегу. Аммалат-бек не мог удивиться молчаливости не только всадников, но и самих коней: ни один из них не ржал, не храпел и, будто остерегаясь, ставил копыто на землю. Отряд неслышным облаком; скоро добрались до берега Терека, который излучиною образовал в том месте мыс, и от него к противоположному берегу тянулась каменистая коса. Вода в то время была невысока и брод возможен; несмотря на это, часть отряда потянулась выше, для переправы вплавь, чтобы оттянуть казаков от главной переправы и прикрыть ее, ежели бы дали отпор. Те, которые надеялись на коней своих, прыгали прямо с берега. Другие подвязывали под передние лопатки по паре небольших мехов, надутых, как пузыри. Быстрина сносила и разносила их, и каждый выходил на сушу, где находил удобное место, чтобы вскарабкаться коню. Непроницаемая завеса тумана скрывала все движение.

Надобно знать, что по всей горской прибрежной линии тянется маячная и сторожевая цепь. По всем курганам и возвышенностям стоят конные пикеты. Проезжая мимо днем, вы видите на каждом холме высокий шест с бочонком наверху: он полон смолой и соломой и готов вспыхнуть при первой тревоге. При этом шесте обыкновенно привязана казачья лошадь, и подле нее лежит часовой. В ночь часовые удваиваются. Но, несмотря на такую предосторожность, черкесы, под буркой мрака и тумана, нередко малыми шайками протекают сквозь

цепь, будто вода сквозь сито. Точно то же случилось и теперь: зная совершенно местность, белады (проводники) из мирных вели каждую партию и тихомолком миновали курганы. В двух только местах хищники, чтобы прервать линию маяков, могущих изменить им, решились снять часовых. На один пост отправился сам Джембулат, а нашему беку велел ползком выбраться на берег, обогнуть пикет сзади, сосчитать сто и потом ударить несколько раз в огниво. Сказано — сделано. Чуть подняв голову с забережья, весьма крутого, Джембулат высмотрел казака, дремлющего над фитилем, держа в поводу лошадь. Послышав шорох, часовой встрепенулся и устремил беспокойные взоры на реку. Боясь, чтобы тот не заметил его, Джембулат метнул вверх шапку и припал за кряж.

— Проклятая утица! — сказал донец. — Им и ночью масленица: плещутся да летают, словно ведьмы киевские.

Но в это время искры, мелькнувшие в другой стороне, привлекли его внимание.

«Неужто волки? — подумал он. — Бывает, они крепко сверкают глазами».

Но искры посыпались снова, и он обомлел, вспомнив рассказы, что чеченцы дают такие сигналы, управляя ходом своих товарищей. Этот миг изумления и раздумья был мигом его гибели; кинжал, ринутый сильною рукою, свистнул, и пронзенный казак без стога упал на землю. Товарищ его был изрублен сонный, а вырванный шест с бочонком кинули в воду.

Быстро соединился весь отряд по данному знаку и разом устремился на деревню, на которую заранее предположено было напасть. Набег совершен был очень удачно, то есть вовсе неожиданно. Все крестьяне, которые успели вооружиться, были перебиты после отчаянного сопротивления; другие спрятались или разбежались. Кроме добычи, множество пленных и пленниц были наградою отваги. Кабардинцы вторгались в дома, уносили что поценнее или что второпях попадало под руку, но не жгли домов, не топтали умышленно нив, не ломали виноградников. «Зачем трогать дар божий и труд человека», — говорили они, и это правило горского разбойника, не ужасающегося никаким злодейством, есть доблесть, которую бы могли гордиться народы самые обра-

зованные, если бы они ее имели. В час все было конечно для жителей, но не для грабителей: тревога распространилась уже по всей линии. Как утренние звезды, засверкали сквозь туман маяки, и призыв к оружию раздавался во всех сторонах.

Между тем несколько человек опытных наездников обскакали большой табун, далеко в степи ходивший. Пастух был захвачен сразу. С криком и выстрелами бросились они потом на коней с полевой стороны; кони шарахнулись, взбросили гривы и хвосты на ветер и стремглав кинулись вслед за черкесом, которого на лихом скакуне нарочно оставили на речной стороне, чтобы он был водаком испуганного стада. Как добрый кормчий, зная и в туманах наизусть все опасности этого степного моря, черкес летел впереди прядающих коней, вился между постами и, наконец, избрав самое крутое место берега, спрыгнул в Терек со всего расказака. Весь табун за ним следом: только прыскала шумная пена от падения.

Занялась заря, расступились туманы и открыли картину вместе пышную и ужасную. Главная толпа наездников влачила с собою пленных, кого при стремени, кого за седлом, со связанными руками. Плач и стон и вопль отчаяния заглушались угрозами и неистовым криком победной радости. Отягощенные добычей, замедляемые в ходу стадами рогатого скота, они медленно подвигались к Тереку. Князья и лучшие наездники в кольчугах и шлемах, блистающих, переливающихся, как вода, увивались около поезда, словно молнии из сизой тучи. Вдали со всех сторон скакали линейские казаки, залегали за дубы, за кустарники и скоро завязали перепалку с высланными против них удалцами. Там и сям сверкали, гремели выстрелы; порой падал черкес с коня. Между этим передовые успели переплавить часть стада, когда пыльное облако и топот коней возвестили, что на них несется гроза. Сот шесть горцев, предводимых Джембулатом и Аммалатом, оборотили коней, чтобы отразить нападение и дать время своим убраться за реку. Без всякого порядка, с гиком и криком пустились они навстречу казакам, но ни одно ружье не было вынута из нагалища за спиною, ни одна шашка не сверкала в руках: черкес до последнего мгновения не обнажает оружия. И точно, доскакав лишь на двадцать ша-

гов, они выхватили ружья свои, выстрелили на всем скаку, забросили ружья за левую руку и ударили в пашки. Но линейские казаки, ответив им залпом, понеслись прочь, и, разгоряченные преследованием, горцы дались в обман, столь часто самими употребляемый. Казаки навели их на скрытых в опушке егерей храброго 43-го полка. Будто из земли выросли небольшие кареи, штыки склонились, и беглый огонь посыпался наперекрест. Напрасно, спешась, хотели они занять лески и с тыла ударить на наших, подоспевшая артиллерия решила дело. Опытный полковник Коцарев, гроза чеченцев, человек, которого они равно боялись храбрости и уважали праводушие, бескорыстие, распорядился действиями войск, и успех не мог быть сомнителен. Пушки развевали толпы хищников, и картечь прыснула в бегущих. Поражение было ужасно. Две пушки заскакали на мыс, невдали от которого черкесы кидались вплавь с берега, и пронизывали вдоль всю реку. С ревом прыгала картечь по вспененным волнам, и за каждым выстрелом несколько лошадей обращались вверх ногами, утопляя своих всадников. Жалко было видеть, как раненые цеплялись за хвосты и узды чужих коней, погружали их и не спасали себя; как бились усталые у крутого берега, желая выползть, обрывались, и несытая пучина уносила, поглощала их. Трупы убитых неслись между полуживыми, и кровавые полосы змеями вились по белой пене, дым катился по Тереку, и вдали снеговые вершины Кавказа, нахмуренные туманами, грозно замыкали поле боя.

Джембулат и Аммалат-бек дрались как отчаянные: двадцать раз опрокинуты и двадцать раз нападая, утомлены, но не побеждены, с сотнею удалцов переплыли они за реку, спешили, сбатовали коней¹ и завели жаркую перестрелку с другого берега, чтобы прикрыть остальных спутников. Занятые этим, они поздно заметили, что выше их плавают за реку линейские казаки наперерез им. С радостным криком перескакивали, окружали их русские. Гибель была неизбежна.

— Ну, Джембулат! — сказал бек кабардинцу, — судьба наша кончилась! Делай сам как хочешь, но я не отдамся в плен живой. Лучше умереть от пули, чем от позорной веревки.

¹ Русской коннице не худо бы перенять горский образ батовать (связывать при спешивании) коней. Мы батуем, продавая

— Не подумаешь ли ты,— возразил Джембулат,— что мои руки сделаны для цепей? Сохрани меня алла от такого поношения! Русские могут полонить мое тело, но душу — никогда, никак. Братцы, товарищи! — крикнул он к остальным,— нам изменило счастье, но булат не изменит: продадим дорого жизнь свою гяурам! Не тот победитель, за кем поле: тот, за кем слава, а слава тому, кто ценит смерть выше плену!

— Умрем! Умрем! только славно умрем! — закричали все, вонзая кинжалы в ребро коней своих, чтобы они не достались врагам в добычу, и потом, сдвинув из них завал, залегли за него, приготовляясь встретить нападающих свинцом и булатом.

Зная, какое упорное сопротивление встретят, казаки остановились, собираясь, готовясь на удар. Ядра с противоположного берега иногда ложились в круг бесстрашных горцев; порой разрывало между них гранату, осыпая их землей и осколками, но они не смущались, не прятались и, по обычаю, запели грозно-унылым голосом смертные песни, отвечая по очереди куплетом на куплет.

СМЕРТНЫЕ ПЕСНИ

Хор

Слава нам, смерть врагу,
Алла-га, алла-гу!!

Полухор

Плачьте, красавицы, в горном ауле,
Правьте поминки по нас:
Вслед за последнею меткою пульей
Мы покидаем Кавказ.

Здесь не цевница к ночному покою,
Нас убаюкает гром;
Очи не милая черной косою —
Ворон закроет крылом!
Дети, забудьте отцовский обычай:
Он не потешит вас русской добычей!

повод в повод, но для этого нужно много сторожей, и лошади имеют слишком много места бесцелься. Черкесы, напротив, вращают чрез одну лошадь головой к хвосту, продевают повод сквозь пахви соседней и потом уже петляют в узду третьей. От этого кочи не могут шевельнуться, так что можно их оставлять без надзора. (Прим. авт.)

Второй полухор

Девы, не плачьте; ваши сестрицы,
Гурии, светлой толпой,
К смелым склоняя солнца-зеницы,
В рай увлекут за собой.

Братья, вы нас поминайте за чашей:
Вольная смерть нам бесславия краше!

Первый полухор

Шумен, но краток вешний ключ!
Светел, но где он — зарницы луч?
Мать моя, звезда души,
Спать ложись, огонь туши!
Не томи напрасно ока,
У порога не сиди,
Издалека, издалека
Сына ужинать не жди.

Не ищи его, родная,
По скалам и по долам:
Спит он... ложе — пыль степная,
Меч и сердце пополам!

Второй полухор

Не плачь, о мать! твоей любовью
Мне билось сердце высоко,
И в нем кипело львиной кровью
Родимой груди молоко;
И никогда нагорной воле
Удалый сын не изменял:
Он в грозной битве, в чуждом поле,
Постигнут Азраилом, пал.
Но кровь моя на радость краю
Нетленным цветом будет цвести,
Я детям славу завещаю
А братьям — гибельную месть!

Хор

О братья! творите молитву;
С кинжалами ринемся в битву!
Ломай их о русскую грудь...
По трупам бесстрашного пути!
Слава нам, смерть врагу,
Алла-та, алла-гу!

Поражены каким-то невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно внимали страшным звукам сих песен, но, наконец, громкое *ура* раздалось с обеих сторон¹.

Черкесы вскочили с воплем, выстрелили в последний раз из ружей и, разбивая их о камни, кинулись на русских с кинжалами. Абреки, чтоб не разорваться в натиске, связались друг с другом поясками и так бросились в сечу. Она была беспощадна; все пало под штыками русских.

— Вперед, за мной, Аммалат-бек! — вскричал неистовый Джембулат, кидаясь в последнюю для него схватку. — Вперед! Для нас смерть — свобода.

Но Аммалат уже не слышал призыва: удар сзади прикладом по голове поверг его наземь, усеянную убитыми, залитую кровью.

ГЛАВА V

Письмо полковника Верховского к его невесте

Из Дербента в Смоленск

1819 года в октябре.

Два месяца — легко сказать! — два века ползло до меня, бесценная Мария, письмо твое! В это время луна дважды совершила свое путешествие около земли. Не позеришь, милая, как грустно мне жить без настоящего, даже в самой переписке. За воротами встречаешь казака, с трепетом сердца ломаешь печать, с восхищением целуешь строки, написанные милою ручкою, внушенные чистым сердцем твоим, с жадною радостью пожираешь очами письмо... В то время я счастлив, я вне себя. Но едва закрою письмо, беспокойные мысли уж тут как тут. Все это прекрасно, думается, но все это было, а я хочу знать, что есть. Здорова ль, любит ли она меня теперь по-прежнему?.. О, скоро ль, скоро ль придет блаженное время, когда ни время, ни пространство не будет разлу-

¹ Ур, ура — значит *бей* по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времени Петра, будто бы занявшего *hitta* у англичан. (Прим. авт.)

чать нас! когда выражения любви нашей не будут протывать на почте иль, наоборот, когда не станут пылать письма любовию, может быть теперь уже остывшею!! Прости, прости меня, бесценная! Все такие черные думы — припадки разлуки. Сердце близ сердца — жених всему верит, в удалении — во всем сомневается.

Ты велишь мне, то есть ты желаешь, чтобы я описывал жизнь свою день за днем, час за часом... О, какая бы грустная, скучная летопись была, если б я на то решился! Ты очень хорошо знаешь, злая женщина, что я не живу без тебя; зачем же морить меня дважды и один раз несносною разлукою? Мое бытие — след цепи на бесплодном песке. Одна служба, утомляя, если не развлекая меня, пособляет коротать время. Брошен в климат, убийственный для здоровья, в общество, удушающее душу, я не нахожу в товарищах людей, которые бы могли понять мои мысли, не нахожу в азиатцах, кто бы разделил мои чувства. Все окружающее меня так дико или так ограничено, что берет тоска и досада. Скорей добудешь огня, ударяя лед о камень, чем занимательность из здешнего быта. Но мне святыня — твое желание, и я хоть в перечне представлю прозябение последней моей недели: она еще более разнообразна, чем другие.

Помнится, я уже писал, что мы возвращаемся с главнокомандующим из похода в Акушу. Мы свое справили: Ших-Али-хан бежал в Персию; мы сожгли множество деревень; спалили сено, хлеб, покушали мятежнических баранов, и, наконец, когда снег согнал непокорных с вершин недоступных, они поклонились головою, дали заложников, и вот мы поднялись в Бурную крепость. Оттуда отряд должен был разойтись по зимним стоянкам, в том числе и мой полк в свою штаб-квартиру Дербент. Назавтра главнокомандующий хотел распрощаться с нами, отправляясь в другой поход на линию, и потому народу собралось к обожаемому начальнику более обыкновенного. Алексей Петрович вышел к нам из палатки, к чаю. Кто не знает его лица, по портрету? Но тот вовсе не знает Ермолова, кто станет судить о нем по мертвому портрету. Мне кажется, ни одно лицо не одарено такою беглостью выражения, как его! Глядя на эти черты, вылитые в исполинскую форму

старины, невольно переносишься ко временам римского величия; про него недаром сказал поэт:

Беги, чеченец, — блещет меч
Карателя Кубани;
Его дыханье — град картечь,
Глагол — перуны брани!
Окрест угрюмого чела
Толпятся роки боя...
Взглянул — и гибель протекла
За манием героя!

Надобно видеть его хладнокровие в час битвы. Надо любоваться им в день приемов, то осыпающего восточными цветами азиатцев, то смущающего их козни замечанием (напрасно прячут они свои коварные замыслы в самые сокровенные складки сердца: его глаз преследует, разрывает их, как червей, и за двадцать лет вперед угадывает их мысли и дела), то дружески открыто приветствующего храбрых офицеров своих, то с величавой осанкою пробегающего ряды гражданских чиновников, приехавших в Грузию на ловлю чинов или барышей. Забавно глядеть, как все, у которых нечиста совесть, мнутя, краснеют, бледнеют, когда он вперит в них пронзительный, медленный взор свой, — вы, кажется, видите, как перед глазами у виноватого проходят взяточные рубли, а в памяти — все его бездельничества; видите, какие картины ареста, следствия, суда, осуждения и наказания рисует им воображение, забегая в будущее. Зато как он умеет отличить достоинство одним взором, одною улыбкою, наградить отвагу словом, которое идет прямо от сердца и прямо к сердцу, — ну, право, дай бог век жить и служить с таким начальником!

Но если любопытно видеть его на службе, как приятно быть с ним запросто в беседе, куда каждый из людей, отличных чином, храбростию или умом, имеет свободный доступ; там нет чинов, нет завета: всяк говори и делай что хочешь, потому что только те, которые думают и делают как *должно*, составляют общество. Алексей Петрович шутит со всеми, как товарищ, учит, как отец: он не боится, что его увидят вблизи.

По обыкновению, во время чаю один из адъютантов его читал в этот раз вслух записки наполеоновского похода в Италию — эту поэму военного искусства, как называет ее главнокомандующий. Дивились, рассужда-

ли, спорили. Замечания Алексея Петровича были светозарны, поразительны истинною. Потом пошли гимнастические игры: беганье, прыганье через огонь, пытанье силы разными образами. Вид и вечер были прелестнейшие: лагерь раскинут был обок Тарков. Над ними висит крепость Бурная, за которую склонялось солнце; под скалою дом шамхала, потом по крутому склону город, объемлющий лагерь, и к востоку необозримая степь Каспийского моря. Татарские беки, черкесские князья, казаки с разных рек необъятной Руси, аманаты с разных гор мелькали между офицерами. Мундиры, чулки, кольчуги перемешаны были живописно; песельники, музыка гремели посреди стана, и солдаты, гордо заломив шапки набекрень, толпами гуляли вдали. Все пленяло пестротой, изумляло разнообразием, радовало свежестью, силою боевой жизни.

Капитан Бекевич похвалился, что он отсечет кинжалом¹ голову буйволу, и сейчас привели две пары этих нескладных животных. Держали заклады, спорили, сомневались; капитан улыбался, взмахнул левою рукою огромный кинжал — и рогатая голова покатила к ногам удивленных зрителей. Но за удивлением родилось желание сделать то же: давай рубить — все напрасно. В свите Алексея Петровича было много силачей и удалцов из русских и азиатцев, — но для этого нужна была не одна сила.

— Дети вы дети, — сказал главнокомандующий и встал, велел принести свою саблю, свой меч, не ударяющий дважды, как говаривал он. Притащили огромную тяжелую саблю, и Алексей Петрович, как ни был уверен в силе своей, но, подобен Улиссу в «Одиссее», намазывающему елеем лук свой, которого никто не мог натянуть, сперва попытал лезвие, раза три махнул саблей в воздухе и потом уже приступил к делу. Закладчики не успели ударить по рукам, как голова буйвола вонзилась рогами в землю. Удар был так быстр и верен, что туловище несколько минут стояло на ногах и потом тихо, тихо рухнуло. Крик изумления вырвался у всех. Алексей Петрович хладнокровно посмотрел, не иззубрилась

¹ Очень забавно неверие европейцев к тому, что кинжалом можно отрубить голову; стоит пожить неделю в Азии для убеждения в противном. Кинжал в опытной руке стоит и топора, и штыка, и сабли. (Прим. авт.)

ли сабля, стоящая несколько тысяч, и подарил ее в знак памяти капитану Бековичу.

Мы еще жужжали между собою, когда к главнокомандующему явился офицер линейских казаков с донесением от полковника Коцарева, который оставался на линии.

Прочитав рапорт, Алексей Петрович разгладил чело.

— Коцарев славно пощипал горцев, — сказал он нам. — Бездельники эти сделали набег на Терек, далеко прорвались за линию, пограбили одну деревню, но не только потеряли обратно полон, но все легли жертвою безрассудного молодечества.

Расспросив подробно есаула, как было дело, он велел привести пленников, которых нашли ранеными и оживили. Пятерых привели к главнокомандующему.

Туча налетела на его чело, когда он их увидел; брови сошлись, очи сверкнули.

— Мерзавцы! — сказал он узденям. — Вы три раза присягали не разбойничать и три раза нарушали присягу. Чего недостает вам? Лугов ли? Стад ли? Защиты ли того и другого? Так нет, вы хотите брать с русских награды за имя мирных и добычу, наводя черкесов на наши деревни, разбойничая с ними вместе! Повесить их! — сказал он грозно. — Повесить на собственных воровских арканах. Пусть только бросят жеребий: четвертому воля, — велеть ему рассказать своим товарищам, что я приду научить их держать слово и замирить по-своему.

Узденей вывели.

Остался один татарский бек, и мы лишь тогда обратили на него внимание. Это был молодой человек, лет двадцати трех, красоты необыкновенной, строен, как Аполлон Бельведерский. Он слегка поклонился главнокомандующему, когда тот подошел к нему, приподнял шапку и снова принял свою гордую, хладнокровную осанку; на лице его была написана непоколебимая покорность к судьбе своей.

Главнокомандующий смотрел ему в очи грозными своими очами, но тот не изменился в лице, не опустил ресниц.

— Аммалат-бек, — сказал, наконец, ему Алексей Петрович, — помнишь ли ты, что ты русский подданный? Что над тобой стоят русские законы?

— Мне нельзя было забыть этого,— отвечал бек,— если б в них я нашел защиту прав моих, теперь бы не стоял перед вами виновником.

— Неблагодарный мальчик! — возразил главнокомандующий.— Отец твой, ты сам враждовал против русских. Будь это при персидском владении, семьи твоей не осталось бы праха, но наш государь был так великодушен, что вместо казни даровал тебе владение. И чем заплатил ты за милость? Тайным ропотом и явным возмущением! Этого мало: ты принял и скрыл у себя закланного врага России, ты позволил ему при своих глазах предательски изрубить русского офицера! Со всем тем, если б ты принес покорную голову, я бы простил тебе за твою молодость, для обычаев ваших. Но ты бежал в горы и вместе с Султан-Ахмет-ханом злодействовал в границах русских, был разбит и снова сделал набег с Джембулатом. Ты должен знать, какая судьба ждет тебя.

— Знаю,— отвечал Аммалат-бек хладнокровно.— Меня расстреляют.

— Нет, пуля — слишком благородная смерть для разбойника,— произнес разгневанный генерал.— Арбу вверх оглоблями и узду на шею — вот тебе достойная награда.

— Все равно как ни умереть, только бы умереть скоро,— возразил Аммалат,— я прошу одной милости, не терзать меня судом, это тройная смерть.

— Ты стоишь сотни смертей, дерзкий! Но я обещаю тебе, так и быть, что завтра же тебя не станет. Нарядить военный суд,— сказал главнокомандующий, обращаясь к начальнику своего штаба.— Дело явное, улики налицо, и потому кончить все в одно заседание к моему отъезду!

Он махнул рукой, и осужденного вывели.

Участь прекрасного юноши тронула всех. Все шепталась о нем, все его жалели, тем более что не было средств его спасти. Каждый очень хорошо знал и необходимость наказания за двукратную измену и неизменную волю Алексея Петровича в делах такой гласности, а потому никто не осмеливался просить за несчастного. Главнокомандующий был необыкновенно угрюм во весь остаток вечера; гости разошлись рано. Я решился замолвить за него слово,— авось, думаю, выпрошу какое-

нибудь сблечение. Я отдернул полу внутренней палатки и потихоньку вошел к Алексею Петровичу. Он сидел один, подпершись обеими руками о стол, на котором лежало не дописанное им прямо набело донесение к государю. Алексей Петрович знал меня еще свитским офицером; мы знакомы с ним с Кульмского поля. Здесь он был всегда ко мне очень хорош, и потому посещение мое не могло для него быть новостью. Значительно улыбувшись, он сказал:

— Вижу, вижу, Евстафий Иванович, ты крадешься под мое сердце! Обыкновенно тыходишь ко мне как на батарею, а теперь чуть ступаешь на цыпочках,— это недаром: я уверен, что с просьбой за Аммалата!

— Вы угадали,— отвечал я Алексею Петровичу, не зная, с чего начать.

— Садись же и потолкуем о том,— произнес он: потом, помолчав минуты две, дружески сказал мне: — Я знаю, что про меня идет слава, будто жизнь людей для меня игрушка, кровь их — вода. Самые жестокие завоеватели скрывали под личиной милосердия кровожадность свою. Они боялись ненавистной молвы, совершая ненавистные дела; но я — я умышленно создал себе такую славу, нарочно облек себя ужасом. Хочу и должен, чтобы имя мое стерегло страхом границы наши крепче цепей и крепостей, чтобы слово мое было для азиатцев верней, неизбежнее смерти. Европейца можно убедить, усостить, тронуть кротостию, привязать прощением, закабалить благодеяниями; но все это для азиатца несомненный знак слабости, и с ними я, прямо из человеколюбия, бываю жесток неумолимо. Одна казнь сохранит сотни русских от гибели и тысячи мусульман от измены. Евстафий Иванович! Многие могут не верить словам моим, потому что всякий скрывает природную злость и личную месть под отговорками в необходимости, всякий с чувствительною ужимкою говорит: «право, я бы сердечно хотел простить, но рассудите сами: могли ли я? Что ж после этого законы? Где общая польза?» Я никогда не говорю этого; на глазах моих не видят слезинки, когда я подписываю смертные приговоры, но сердце у меня обливается кровью!

Алексей Петрович был тронут; в волнении он прошелся несколько раз по палатке, потом сел и продолжал:

— Никогда со всем тем не была столь тяжка для меня обязанность наказывать, как сегодня. Кто, подобно мне, потерся между азиатцами, тот, конечно, перестал верить Лафатеру и прекрасному лицу верит не более как рекомендательному письму; но взгляд, но поступь и осанка этого Аммалата произвели на меня необыкновенное впечатление: мне стало жаль его.

— Великодушное сердце — лучший вдохновитель разума, — сказал я.

— Сердце должностного человека, любезный друг, должно быть навытяжку перед умом. Конечно, я могу простить Аммалата, но я должен казнить его. Дагестан еще кипит врагами русских, несмотря на поклоны и уверения в преданности; самые Тарки готовы подняться при первом ветре с гор; надобно пресечь эти ковы казнию и показать татарам, что никакая порода не спасет преступника, что все равны перед лицом русского закона. Прости же я Аммалата, как раз все родственники наказанных прежде станут славить, что Ермолов побоялся шамхала.

Я заметил, что уважение к обширному родству его будет иметь доброе влияние на край. Особенно шамхал..

— Шамхал — азиатец, — прервал меня Алексей Петрович, — он будет радехонек, что этот претендент на шамхальство отправится в Елисейские. Впрочем, я столь же мало забочусь угадывать или угождать желаниям его родственников...

Видя, что главнокомандующий поколебался, я стал его упрашивать убедительнее.

— Заставьте меня служить за троих, — говорил я, — не отпускайте этот год в отпуск, только помиуйте этого юношу. Он молод, и Россия может найти в нем верного слугу. Великодушные никогда не падают напрасно.

Алексей Петрович качал головою.

— Я уже сделал много неблагодарных, — сказал он, — Впрочем, так и быть: я его прощаю, — и не вполнину: это не моя манера. Спасибо тебе, что ты помог мне решиться быть добрым, чтобы не сказать слабым. Только помни мое слово: ты хочешь взять его к себе, — не доверяйся же ему, не отогревай змея на сердце.

Я был так рад успехом, что, поблагодаря наскоро главнокомандующего, побежал в палатку, в которой со-

держался Аммалат-бек. Трое часовых окружали ее, в середине горел фонарь. Вхожу, пленник лежит на бурке; на лице сверкают слезы. Он не слышал моего прихода: так глубоко погружен был в думу,— кому весело расстаться с жизнью! Я был счастлив, что мог обрадовать его в такую горькую минуту.

— Аммалат! — сказал я.— Аллах велик, а сардар милостив,— он дарует тебе жизнь!

Восхищенный осужденник вскочил, хотел было говорить, но дух занялся в груди его, и вдруг за тем тень сомнения покрыла его лицо.

— Жизнь! — произнес он.— Я понимаю это великодушие. Истомить человека в душной тюрьме без света и воздуха или заслать его в вечную зиму, в нерассветающую ночь; погрести его заживо в утробе земли и в самой могиле мучить каторгою, отнять у него не только волю действовать, не только удобства жить, но даже средства говорить с родными о печальной судьбе своей; запрещать ему не только жалобу, но даже ропот на ветер,— и это называете вы жизнью, и этою-то бесконечною пыткой хвалитесь как неслыханным великодушием! Скажите генералу, что я не хочу такой жизни, что я презираю такую жизнь.

— Ты ошибаешься, Аммалат,— возразил я,— ты прощен вполне; останешься тем же, чем был прежде, господин своим поместьям и поступкам,— вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной, куда перепадет молва о твоём походе. Ты будешь у меня как друг, как брат родной.

Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.

— Русские меня победили! — вскричал он.— Простите, полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой и саблею. Сабля моя, сабля! — промолвил он, разглядывая драгоценный клинок свой,— пускай эти слезы смоят с тебя русскую кровь и татарскую нефть!¹ Когда и чем могу заслужить я за жизнь, за волю!

¹ Для черноты и предохранения от ржавчины клинки копят и мажут нефтью. (Прим. авт.)

Я уверен, милая Мария, ты сохранишь для меня за это дело один из самых сладостных поцелуев своих. Всегда, всегда поступая, чувствуя великодушно, я утешал себя мыслию: Мария меня похвалит за это! Но когда ж это будет, бесценная? Судьба нам мачеха. Твой траур длится, а мне главнокомандующий решительно отказал в отпуске, и я не сержусь, хоть очень досаую. Полк мой расстроен как только можно вообразить; к тому же мне поручены постройки новых казарм и поселение женатых рот. Уезжай я на месяц, и все пойдет вверх дном. Остаюсь; но что стоит эта жертва моему сердцу!

Вот уже мы три дня в Дербенте. Аммалат живет со мною. Молчит, грустит, дичится, но страх занимателен, несмотря на это. Он хорошо говорит по-русски; я заставил его учиться грамоте. Понятливости необычайной; со временем я надеюсь сделать из него премилого татарина.

(Окончание письма не касается нашего предмета.)

*Отрывок из другого письма полковника Верховского
к его невесте, полгода спустя*

Из Дербента в Смоленск

...Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусее. Татарские беки первою степенью образования считают обыкновенно беззачинное употребление вина и свинины: я, напротив, начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, прихожичаю к письму и с радостью вижу, что он пристрастился к чтению и к сочинению. Говорю пристрастился, потому что каждое его желание, прихоть, воля есть страсть пыкалая, нетерпеливая. Трудно вообразить, еще труднее понять европейцу вспыльчивость необузданных или, лучше сказать, разнузданных страстей азиатца, у которого с самого младенчества одна воля была границею желаний. Наши страсти — домашние животные или хоть и дикие звери, но ручные, смирные, выученные плясать по веревке приличий, с кольцом в носу, с обстриженными когтями; на Востоке они вольны, как тигры и львы.

Любопытно взглянуть на лицо Аммалата, каким заревом загорается оно при первом противоречии, каким огнем загораются очи при каждом споре; но зато, едва почувствует он свою ошибку, он краснеет, бледнеет, готов плакать. «Я виноват,— говорит он,— прости меня, тахсырумдан гичь (уничтожь вину), забудь, что я был виноват и что ты простил меня!» Он имеет предоброе сердце, но сердце, готовое вспыхнуть и от солнечного луча и от адской искры. Природа на зубок подарила ему все, чтобы быть человеком в нравственном и физическом смысле, но предрассудки народные и небрежность воспитания сделали все, чтоб изурочить, изувечить эти дары природы. Ум его — чудное смешение всяких несообразностей, мыслей самых нелепых и понятий самых здравых. Иногда он чрезвычайно быстро схватывает предметы отвлеченные, когда их просто излагают ему, и нередко упорно противится самым близким, самым очевидным истинам, оттого, что первые для него вовсе новы, а другие заслонены уже от него прежними верованиями и впечатлениями. Начинаю верить, что гораздо легче строить вновь, чем перестраивать старое.

Но отчего грустен и рассеян Аммалат наш? Он делает большие успехи во всем, что не требует последовательного размышления, постепенного развития; но когда дело коснется до далеких выводов, ум его походит на короткое ружье, которое бьет метко и сильно, только недалеко. Но полно, ум ли его виноват в том? Не поглощено ли его внимание чем-нибудь другим?.. Для двадцать третьего года возраста легко можно сказать, что такое это другое. Иногда он, кажется, внимательно слушает мои рассказы,— спрошу ответа, а он будто с облаков падает; иногда застаю, что слезы градом катятся у него по лицу, говорю ему, не видит и не слышит. В прошлую ночь, наконец, он метался в беспокойном сне, и слово *Селтанет*, *Селтанет* (власть, власть)! вырывается часто из уст его. Ужели властолюбие может так мучить юное сердце? Нет, нет, иная страсть волнует душу, возмущает ум Аммалата... Мне ли сомневаться в признаках божественной болезни — любви! Он влюблен; он страстно влюблен: но в кого? О, я узнаю это!.. Дружба любопытна, как женщина.

*Выдержки из записок Аммалат-бека
(Перевод с татарского)*

...Спал ли я до сих пор или теперь во сне мечтаю?.. Так этот-то новый мир называется *мыслию!*.. Прекрасный мир! Ты долго был для меня мутен и слитен, как Млечный Путь, который, говорят, составлен из тысячи тысяч сверкающих звезд! Мне кажется, я всхожу на гору познания из мрака и тумана... Каждый шаг открывает мне зренье шире и далее... Грудь моя дышит свободнее, я гляжу в очи солнцу... гляжу вниз — облака шумят под ногами!.. досадные облака! С земли вы мешаете видеть небо, с неба — разглядывать землю!

Дивлюсь, как самые простые вопросы: *отчего и как не западали мне в голову прежде?* Весь божий свет, со всем, что в нем есть худого и хорошего, виден был в душе моей, будто в море; только я знал о том столько же, как море или зеркало. На памяти, правда, сохранялось многое, но к чему мне служило это? Понимает ли сокол, для чего ему надевают на глаза шапочку? Понимает ли конь, для чего куют его? Понимал ли я, почему в одном месте необходимы горы, а в другом степи, там вечные снега, а там океаны песков? Для чего нужны бури и трепетания земли? И ты, всего чуднейший человек! Мне и на мысль не впадало, чтобы следить тебя от колыбели твоей, повешенной на кочевом вьюке, до города пышного, какого я не видал, но-каким, по слухам, восхищен!.. Сознаюсь, что я пленен уже одною оболочкою книги, не постигая смысла таинственных букв... Но Верховский не только манит меня к познанию, но дает и средства присвоить их. С ним, как с матерью молодая ласточка, пытаю новые крылья... Даль и вышина еще дивят меня, но не ужасают. Придет пора, и я облечу поднебесье!..

...Однако счастливей ли я с тех пор, как Верховский и его книги учат меня мыслить? Бывало, борзый конь, дорогая сабля, меткое ружье радовали меня, как ребенка... Теперь, познав преимущества ума над телом, для меня смешна, чуть не жалка прежняя моя похвальба стрельбой и скачкою. Стоит ли посвящать себя ремеслу, в котором последний широкоплечий нукер может побе-

дить меня?.. Стоит ли полагать славу и счастье в удальстве, которого может лишить первая рана, первый неловкий скачок? У меня вырвали эту гремушку; но чем заменили ее?.. Новыми нуждами, новыми желаниями, коих не может ни утомить, ни утолить сам алла. Я считал себя важным человеком; я убедился теперь в своем ничтожестве. Прежде за памятью моего деда или прадеда начиналась для меня ночь прошлого, со своими сказками и грезами преданий... Кавказ запирает свет мой, но я спокойно спал в этой ночи. Я полагал: быть известным в Дагестане — вершина знаменитости,— и что же? История населила прежнюю пустыню мою народами, крушившими друг друга со славою, героями, изумлявшими народы доблестию, до которой никогда нам не удастся возвыситься. И где они? Полузабыты, стлели во прахе веков. И что ж? Описание земель показало мне, что татары занимают уголок света, что они жалкие дикари в сравнении с европейскими народами и что о целом составе их, не только об их наездниках, никто не думает, не знает, да и знать не хочет! Стоит ли же труда быть светляком между червями? Стоило ли напрягать ум, чтобы убедиться в такой горькой истине?

Что мне пользы в познании сил природы, когда я не могу переменить души своей, повелевать своему сердцу! Меня учат заграждать море, а я не могу удержать слезы!.. Отвожу молнию от кровли, а не могу стряхнуть кручины!! Не довольно ли я был несчастлив одними чувствами, чтобы накликать мыслей, как ястребов! Много ли выигрывает больной, узнав, что болезнь его неисцелима!.. Мучения безнадежной любви моей стали тонее, острее, разнообразнее с тех пор, как прояснел мой разум.

Нет, я несправедлив. Чтение сокращает мне долги, как зимняя ночь, часы разлуки. Приучив меня ловить на бумагу перелетные мысли, Верховский дал мне отраду сердечную. Когда-нибудь свижусь я с Селтанетою и покажу ей эти страницы, на которых имя ее чаще, нежели имя аллы в Куране... «Вот летопись моего сердца...— скажу я ей.— Погляди сюда: в такой-то день я то-то о тебе думал, в такую-то ночь я вот как видел тебя во сне! Гю этим листкам, как по четкам алмазным, ты можешь считать мои вздыхания, мои по тебе слезы. О милая, ми-

лая! ты не раз улыбнешься моим причудливым мечтам; они дадут надолго пищу разговорам нашим!.. Но возможно ли я вспоминать прошлое, подле тебя, очаровательница?.. Нет, нет... все исчезнет тогда предо мною и вокруг меня, кроме настоящего блаженства: быть с тобою! О, как жарка и светла будет душа моя! Растопленное солнце потечет во мне, я сам буду плавать в небе, как солнце! Забвение подле тебя сладостнее самой высокой мудрости!»

Читаю рассказы о любви, о прелестях женщин, об изменах мужчин, и ни одна из них не приблизится к моей Селтанете красотой души и тела, ни на одного из них не похож сам я. Завидую любезности, уму любовников книжных, но зато как вяла, как холодна любовь их! Это луч месяца, играющий по льду! Откуда набрались европейцы фарсийского пустословия, этого пения базарных соловьев, этих цветов, варенных в сахаре? Не могу верить, чтобы люди могли пылко любить и плодovито причитать о любви своей, словно наемная плакальщица по умершим. Расточитель раскидывает сокровище на ветер горстями; любитель хранит, лелеет его, зарывает в сердце кладом!

Я молод — и спрашиваю: что такое дружба? Имею друга в Верховском, друга нежного, искреннего, предупредительного, — и не есмь друг! Чувствую, упрекаю себя, что не отвечаю ему как должно, как он заслуживает; но в моей ли это воле?.. В душе нет места никому, кроме Селтанеты; в сердце нет иного чувства, кроме любви.

...Нет, не могу читать, не могу понимать, что толкует мне полковник!.. Я обманывал себя, воображая, что мне доступна лестница наук... Я утомлен на первых ступенях, теряю терпение на первом затруднении, путаю нити, вместо того чтобы развивать их, дергаю, рву, — и добыча моя ограничивается немногими обрывками. Обнадеживание полковника принял я за собственные успехи... Но кто, но что мешает этим успехам?.. То, что составляет счастье и несчастье моей жизни: любовь. Во всем, везде вижу и слышу Селтанету, и часто одну толь-

ко Селтанету. Устранить ее от мысли моей почел бы я святотатством; да если б и захотел, то не мог бы исполнить этой решимости. Могу ли я видеть без света? Могу ли дышать без воздуха? А Селтанета мой свет, мой воздух, жизнь моя, душа моя!

...Рука моя дрожит; сердце рыщет в груди... Если б я писал кровью моею, она бы сожгла бумагу. Селтанета! Образ твой преследует меня во сне и наяву! Воображение твоих прелестей опаснее для меня их близости! Думаю, что я никогда не буду владеть ими, касаться их, может быть видеть их, бросает меня в страстную тоску: я вместе таю и неистовствую!.. Припоминаю себе каждую милую черту твоего лица, каждое положение твоего стройного стана... и эту ножку — печать любви, и эту грудь — гранату блаженства!.. Память о твоём голосе заставляет дрожать душу, как струну, готовую порваться от высокого звука... И поцелуй твой! поцелуй, в котором я выпил твою душу!.. Он сыплет розы и уголья на одинокое ложе мое... Я сгораю; жаркие уста томятся жаждою лобзания; рука хочет обвить стан твой, коснуться твоего колена!.. О, приди... прилети... чтобы я умер от наслаждения, как теперь умираю от скуки!..

Полковник Верховский, желая всеми способами рассеять печаль Амалата, вздумал потешить его охотой на кабанов, любимым занятием дагестанских беков.

На зов съехалось их человек двадцать, каждый со своими нукерами, каждый желая попытаться счастья, погарцевать на поле, похвалиться удалством.

Седой декабрь осыпал уже верхи окрестных гор порошею. По улицам Дербента кое-где лежал ледяной череп, по сверж его густыми волнами катилась грязь по зубристой мостовой. Лениво плескало море в затопленные башни сходящих в воду стен. Сквозь туман свистели крыльями стада стрепетов и дудаков; вереницы гусей с жалобным криком мелькали над валами,— все было мрачно и угрюмо; даже глупо-несносный рзв ослов, навьюченных хворостом на продажу, походил на плач по красной погоде. Присмирелые татары сидели на базарах, завертывая носы свои в шубы.

Но такая-то погода и мила охотникам.

Едва городские муллы прокричали молитву, полковник с несколькими из своих офицеров, с городскими беками и с Аммалатом ехал, или лучше сказать, плыл, верхом по грязи.

Поворотив к северу, все они выехали за город в главные ворота (Кырхлар-Капи), обитые железными пластинами. Дорога, ведущая к Таркам, бедна видами: кое-где вправо и влево гряды марены, потом обширные кладбища и только к морю редкие виноградники. Зато виды сего предместия гораздо величавее южных. Влево, на скалах, виднелись Кефары, казармы Куринского полка, а по обеим сторонам дороги лежали в живописном беспорядке огромные камни, скаченные, сброшенные и оторванные силой вод с высот нагорных.

Лес, осыпанный инеем, густел по мере приближения к Велликенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами¹.

Облава была закинута влево, и скоро слышались крик гаяльщикова, собранных с окрестных деревень. Охотники растянули цепь, кто на коне, кто спешась; скоро показались и кабаны.

Тенистые леса Дагестана, изобилующие дубами, искони служат притоном многочисленным стадам вепрей, и хотя татары, как мусульмане, считают грехом прикоснуться к нечистому животному, не только есть его мясо, но истреблять их почитают они делом достойным, по крайней мере они учатся на них стрелянию и с тем вместе показывают свое удайство, ибо преследование вепрей сопряжено с большими опасностями, требует искусства и твердости духа.

Растянутая цепь ловцов занимала большое пространство. Самые бесстрашные стрелки выбирали места самые уединенные, чтобы ни с кем не делить славы удачи и для того, что на безлюдье вернее бежит зверь.

Полковник Верховский, надеясь на свои исполинские силы и меткий глаз, забрался далеко в чащу и остановился на полянке, на которой сходилась много кабаньих

¹ Лар есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому бегляр значит беки, агалар — аги. Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном так же. (Прим. авт.)

следов. Один-одинехонек, прислонясь к суку обрушенного дуба, наживал он добычи. То вправо, то влево от него раздавались выстрелы; порой мелькал вдали кабан за деревьями; наконец послышался треск валежника, и скоро потом показался необыкновенной величины вепрь, который несся через поляну, как из пушки пущенное ядро.

Полковник приложился; пуля свистнула, и раненый вепрь вдруг остановился, как будто от изумления; но это было на миг; он с остервенением кинулся на выстрел; с оскаленных клыков его дымилась пена, глаза горели кровью, и он с визгом близился к неприятелю. Но Верховский не смутился, наживая его ближе; в другой раз брякнул курок... осечка! Отсыравший порох не вспыхнул. Что оставалось делать охотнику? У него не было даже кинжала на поясе. Бегство было бы напрасно; вблизи, как нарочно, ни одного толстого дерева; только один сухой сук возвышался от лежащего подле него дуба, и Верховский бросился на него как единственное средство спасти себя от гибели. Едва успел он взобраться аршина на полтора от земли, расшвирипелый кабан ударил в сук клыком своим; затрещал сук от удара и от тяжести, на нем висящей... Напрасно Верховский порывался вскарабкаться выше по обледенелой коре: руки его скользили, он сползал, а зверь не отходил от дерева, грыз его, поражал его своими острыми клыками, четвертью ниже ног охотника... С каждым мгновением ожидал Верховский, что он падет в жертву, и голос его умирал в пустой окружности напрасно...

Нет, не напрасно!

Конский топот раздался вблизи, и Аммалат-бек прискакал как иступленный, с поднятою шашкою. Завидя нового врага, вепрь обратился ему навстречу, но прыжок коня в сторону решил бой; удар Аммалата поверг его на землю.

Избавленный Верховский спешил обнять своего друга, но тот в запальчивости еще рубил, терзал убитого зверя.

— Я не принимаю незаслуженной благодарности! — отвечал он наконец, уклоняясь от объятий полковника. — Этот самый кабан, в глазах моих, растерзал одного табасаранского бека, моего приятеля, когда он, промахнувшись по нем, занес ногу в стремя. Я загорелся гневом, увидя кровь товарища, и пустился в погоню за кабаном.

Чаща помешала мне насесть на него по следу; я было совсем потерял его, и вот бог привел меня достигь это проклятое животное, когда оно готово было поразить еще благороднейшую жертву — вас, моего благодетеля.

— Теперь мы квиты, любезный Аммалат! Не поминай про старое. Сегодня же отомстим мы зубами этому клыкастому врагу за страх свой. Я надеюсь, ты не откажешься прикусать запрещенного мяса, Аммалат?

— И даже запить его шампанским, полковник. Не во гнев Магомету, я лучше люблю закалитьеать душу в пене вина, чем в правоверной водице.

Облава обратилась в другую сторону: вдали слышались гай и крик и бубны гонящих татар; в другой стороне по временам раздавались выстрелы. Полковнику подвели коня, и он, любуясь надвое рассеченным кабаном, потрепал по плечу Аммалата, примолвив: «Молодецкий удар!»

— В нем разразилась месть моя, — возразил тот, — а месть азиатца тяжка!

— Ты видел, ты испытал, Аммалат, — сказал ласково полковник, — как мстят за зло русские, то есть христиане, будь же это не в упрек, а в урок тебе!

И оба поскакали к цепи.

Аммалат-бек был чрезвычайно рассеян: он то не отвечал, то невпопад отвечал на вопросы Верховского, подле которого ехал, поглядывая во все стороны... Тот, думая, что он, как горячий охотник, занят поисками, оставил его и поехал далее. Наконец, Аммалат увидел, кого ждал так нетерпеливо: к нему навстречу неся эмджек его, Сафир-Али, весь забрызган грязью, на дымящейся лошади. С восклицаниями *алейкюм селам*, оба они спрыгнули с коней и сжали друг друга в объятиях.

— Итак, ты был там, ты видел ее, ты говорил в нею?! — вскричал Аммалат, снимая с себя кафтан и задыхаясь от торспливости. — По лицу вижу, что ты привез добрые вести, и вот тебе моя новая чуха за это¹. Живы ли, здоровы ли, любят ли меня по-прежнему?

— Дай образумиться, — возразил Сафир-Али. — Дай хоть дух перевести. Ты насыпал столько расспросов и сам я везу столько поручений, что они столпились, как бабы

¹ У татар непременно обыкновение отдавать вестнику чего-нибудь приятного свою верхнюю, с плеча, одежду. (Прим. авт.)

у дверей мечети, и растеряли свои башмаки. Во-первых, по твоему желанью, а по моему летанью, я был в Хунзахе. Пробрался так тихо, что не спугнул ни одного дрозда с дороги. Султан-Ахмет-хан здоров и дома. Он расспрашивал о тебе, преважно качал головою и спросил, не нужно ли тебе веретена рассучивать дербентский шелк. Ханша посылает чох селаммум (много приветствий) и столько же сладких пирожков. Я выбросил их на первом привале: все изломались, проклятые. Сурхай-хан, Нуцал-хан...

— Черт их побери одним разом!.. Что же Селтанета?

— Ага, наконец дотронулся до сердечной мозоли. Селтанета, милый мой, хороша, как небо с звездами; только на этом небе я видел зарницу лишь тогда, как о тебе разговаривал. Она чуть не кинулась мне на шею, когда наедине я открыл ей причину моего приезда. Я на-сказал ей верблюжий вьюк от тебя приветствий, уверил, что ты с любви к ней чуть жив, бедняга... а она так и заливается слезами!

— Милая, добрая душа! Что же велела мне сказать она?

— Спроси лучше, чего не велела! Говорит, что, с тех пор как ты уехал, она и во сне не радовалась, что зимний снег выпал на ее сердце и одно только свидание с милым, как вешнее солнце, может растопить его... Впрочем, если б мне дожидаться конца ее наказов, а тебе — моих пересказов, то мы оба приехали бы в Дербент с седыми бородами. Со всем тем, она чуть не выгнала меня, торопя: ей хотелось, чтобы ты ни минуты не сомневался в ее любви!

— Бесценная девушка!.. Не знаешь ты, да и сам я не умею высказать, какое блаженство мне быть с тобою, какое мученье быть в разлуке, не видеть тебя.

— То-то и есть, Аммалат; она крепко скучает, что не может наглядеться на ненаглядного; говорит: «Неужели он не может приехать хоть на денек, хоть на часок, хоть на минуточку?»

— Взглянуть на нее и потом умереть готов бы я!

— Эй, жить захочется, когда на нее взглянешь! При-смирела она против прежнего, а все еще такой живчик, что взглянет — так кровь заиграет.

— Рассказал ли ты ей, почему нельзя мне выполнить ее воли и своего страстного желания?

— Насказал таких небылиц, что ты бы подумал, будто я стихотворец персидского шаха. Расплакалась Селтанета, словно горный ключ после дождя. Рюмит да и все тут.

— Зачем же приводить ее в отчаяние! Нельзя теперь — не значит еще: навек невозможно. Знаешь женское сердце, Сафир-Али: конец надежде — для них конец любви!

— Сеешь слова на ветер, джаным (душа моя). Надежда у влюбленных — бесконечный клубок. С холодной кровью и глазам не верится, а полюбишь — так и чудесам станешь веровать. Я думаю, Селтанета надеялась бы, что ты из гроба прискачешь к ней, не то что из Дербента.

— Чем лучше гроба для меня этот Дербент? Не тем ли, что сердце чувствует истление и не может избежать его? Здесь один труп мой: душа далеко, далеко!

— Кажется, и ум у тебя нередко изволит гулять невесть где, любезный Аммалат! Чем тебе не житье у Верховского? Волен и доволен: любим как брат меньшой, лелеем словно невеста. Пусть так: мила твоя Селтанета; да ведь и Верховских немного. Разве нельзя принести в жертву дружбе хоть частичку любви?

— Разве я этого не делаю, Сафир-Али? Но, если б ты знал, чего мне это стоит: все равно если б я рвал на клочки сердце свое. Дружба — прекрасное дело, но она не заменит любви.

— По крайней мере она может утешить ее, может быть, помочь ей. Говорил ли ты об этом с полковником?

— Никак не решусь. Слова замирают на губах, когда вздумаю завести речь о любви своей. Он так рассудителен, что мне совестно скучать ему своим безумием; он так добр, что я не смею употребить во зло его терпения. Правду молвить, он своею откровенностью вызывает, ободряет мою. Вообрази себе, что он влюблен от самого младенчества в женщину, с которой вырос, и, верно бы, женился на ней, если б по ошибке его не поставили в списке убитых во время войны с фиренгами. Невеста его поплакала, и, разумеется, ее выдали замуж. Вот он летит на родину и находит свою милую женою другого. Что же бы ты думал, что бы я сделал в таком случае?

Вонзил кинжал в грудь похитителя сокровища... увез бы ее на край света, чтобы хоть час, хоть миг повладеть ею... или хоть в мести насладиться за отнятое счастье! Ничего не бывало. Он узнал, что соперник его предобрый и предостойный человек. Он имел хладнокровие подружиться с ним, имел терпенье быть часто с прежнею невестою и ни словом, ни делом не изменить новому другу со старою подругою!

— Редкий человек, если это не сказка,— молвил Сафир-Али с чувством, бросив поводя, — твердый друг!

— Зато какой ледяной любовник! Этого мало. Чтоб избавить от толков обоих супругов, он уехал сюда на службу. Недавно, к счастью ли, к несчастью ли его, умер его приятель-соперник. И что ж? Ты думаешь, он бросился скакать в Россию? Нет, служба удержала его. Главнокомандующий сказал ему несколько слов, уверил, что он необходим здесь еще на год, и он остался, питая любовь свою бумагою. Может ли такой человек, со всей своею доброю, понять страсть мою!.. Притом между нами столько разницы в летах, в понятиях! Он убивает меня своим недоступным достоинством; и все это холодит мою дружбу, вяжет искренность.

— Ты большой чудак, Аммалат: за то не любишь Верховского, что он всех более достоин любви и откровенности.

— Кто сказал тебе, что я не люблю его?.. Мне не любить его, моего воспитателя, моего благодетеля? Да и могу ли кого-нибудь не любить с тех пор, как люблю Селтанету? Я люблю весь свет, всех людей!

— Не помногу же достанется на брата,— сказал Сафир-Али.

— Стало бы ее не только напоить, но утопить весь мир! — возразил, улыбаясь, Аммалат.

— Ага! Вот что значит видеть красавиц без покрывала и потом ничего не видеть, кроме покрывала и бровей. Видно, тебе, как урмийскому соловью¹, надобна для песен клетка.

Так, разговаривая, друзья скрылись в чаще леса.

¹ Урмийская долина есть сад печальной, каменной Персии. Весною это царство роз, осенью — винограда. (Прим. авт.)

ГЛАВА VII

Отрывок из письма полковника Верховского к его невесте

Дербент, апрель.

Прилети ко мне, сердце моего сердца, милая Мария! Полюбуйся на прелестную вешнюю ночь Дагестана. Тих лежит подо мною Дербент, подобен черной полосе лавы, упавшей с Кавказа и в море застылой. Ветерок навевает мне благоухание цветущих миндальных деревьев, соловьи перекликаются в ущелье, сзади крепости; все дышит жизнью и любовью, и стыдливая природа, полная сим чувством, как невеста, задержалась дымкой туманов. И как дивно разлилось их море над морем Каспийским! Нижнее колышется, как вороненая кольчуга, верхнее ходит серебряной зыбью, озаренное полною луною, которая катится по небу, словно золотая чаша, а звезды блещут кругом нее, как разбрызганные капли. Каждый миг отражение лучей луны в парах ночи изменяет картины, упреждая самое воображение, то изумляя чудесностию, то поражая новостью. Иногда кажется, будто видишь скалы дикого берега и об них в пену разбитый прибой... Валы катятся в битву, буруны крутятся, всплески летят высоко; но безмолвно, медленно опадает волнение, и серебряные пальмы возникают из лона потопа, ветер движет их стебли, играет их долгими листьями,— и вот они распахнулись парусами корабля, скользящего по воздушному океану! Видишь, как он качается: брызги дождят на грудь его, волны скользят вдоль ребер, и где он?.. где сам я?..

Не поверишь, бесценная, какое сладостно-грустное чувство наводит на меня шум и вид моря. С ним неразлучная во мне мысль о вечности, о бесконечности, о любви нашей. Видно, сама она безгранична, как вечность. Чувствую, душа моя будто разливается и объемлет мир, подобно океану, светлыми волнами любви; она во мне и окрест меня, она единственное, великое, бессмертное во мне чувство. Искра его греет и озаряет меня в зиму горестей, в ночи сомнений. Тогда я так беззаветно люблю, так тепло верю и верую!!! Ты улыбаешься моей мечтательности, друг и подруга души моей! Ты

изумляешься этому туманному наречию!.. Не вини меня. Дух мой, как жилец иного света, не может противостоять призывному мерцанию месячного луча... отрясает могильный прах, разыгрывается и, как луч месяца, обрисовывает все предметы тускло, неопределенно. Впрочем, ты знаешь, что к одной тебе пишу я все, что ни вспадет на стекло моего волшебного фонаря-сердца, уверенный, что сердцем, а не привязчивым умом будешь ты разгадывать сказанное. Притом в августе месяце счастливый жених твой будет лично пояснять все темные места в своих письмах. Не могу вздумать без восхищения о минуте встречи нашей!.. Я считаю песчинки часов, разлучающие нас, считаю версты, между нами лежащие. Итак, в половине июня ты будешь на Кавказских водах? Итак, лишь одна ледяная цепь Кавказа останется между двумя пылкими сердцами... Как близко и как еще неизмеримо далеко будем мы друг от друга! О, сколько бы лет жизни отдал я, чтобы приблизить час свидания! Души наши обручены так давно... для чего ж разлучены доселе?..

Аммалат мой скрытен и неверчив. Я не виню. Я знаю, как трудно переломить привычки, восанные с матерним молоком и с воздухом родины. Варварский деспотизм Персии, столь долго владевший Азербиджаном, воспитал в кавказских татарах самые низкие страсти, ввел в честь самые презрительные происки. Да могло ли быть иначе в правлении, основанном на размене крупного деспотизма на мелкий, где и самая справедливость суда поражает украдкою, где хищение есть преимущество власти?.. Делай со мною, что хочешь, но позволь мне делать с нижними, что я хочу, — вот азиатское управление, честолубие и нравственность. От этого каждый, находясь между двумя врагами, привыкал прятать свои мысли, как свои деньги. От этого каждый старался лукавить перед сильным, чтобы добыть через него силу, и перед богатым, чтобы выжать из него взятку угнетением или доносом. От этого здешний татарин не скажет слова, не ступит шага даром, не подарив огурца без надежды получить за него отдарка. Грубый до дерзости с каждым, кто не облечен властью, он плашмя перед чином, перед полным карманом. Горстями сыплет лесть, отдает вам дом, детей, душу свою, для того чтоб словами уклонить от себя дело, и если делает услугу, то, верно, по расчету.

В делах денежных (это самая слабая сторона татар) червонец есть камень преткновения: трудно вообразить, до какой степени падки они до выгод! Армяне тысячу раз ниже их в характере, но едва ли они уступят им в продажности, в корыстолюбии... Et c'est tout dire¹. Мудрено ли же, что, с младенчества видя такие примеры, Аммалат хотя и сохранил в себе свойственное благородной крови отвращение ко всему низкому, но принял скрытность как необходимое оборонительное оружие противу явных злодеев своих и тайных недоброхотов? Священные узы родства почти не существуют для азиатца. У них сын — раб своего отца, брат — его соперник. Нет доверия к ближнему, потому что нет верности ни в ком. Ревность к женам и подозрение в подысках задушают братство и дружество. Ребенок, воспитанный матерью-невольницею, не знающий ласки отца и потом задушенный арабскою грамотою, скрывается в самом себе даже и от товарищей; с первых ногтей заботится только о себе. С первым пухом на бороде для него закрыты все двери и все сердца: мужья смотрят на него искоса, женщины бегут, как от зверя, и первые, самые невинные движения его сердца, первый голос человечества, первое стремление природы — суть уже преступления перед изуверским магометанством. Он не смеет открыть их родному, доверить приятелю... Он должен даже плакать тайно от других.

Все это говорю я, милая Мария, в извинение Аммалату: полтора года живет он у меня и до сих пор не открылся мне, кого любит, хотя очень мог видеть, что не из пустого любопытства, а из душевного участия хотел я вызнать тайну его сердца. Наконец он рассказал мне все, и вот как это случилось.

Вчера я выехал с Аммалатом прогуляться за город. Мы поднялись по ущелию в гору, на запад; далее и далее, выше и выше, мы незаметно очутились подле деревни Кемек, рядом с которою видна уже стена, защищавшая некогда Персию от набегов кочевых народов закавказских степей, часто громивших ее границы. Дербентская летопись (Дербент-наме) приписывает, но неверно, ее незапамятную постройку какому-то Исфендиару; вот начало молвы, передавшей сей труд Искендару, то есть

¹ И этим все сказано (фр.).

Александрю Великому, никогда в этих краях не бывавшему. Царь Нуширван отрыл, возобновил ее, поселил при ней стражу. Не раз впоследствии была она поправляема и снова падала в прах, зарастала, как теперь, вековыми деревьями. Осталось поверье, будто стена эта от Каспия шла до Черного моря¹, пересекая весь Кавказ, имея крайними *железными воротами* Дербент, а средними Дарьял; но это более чем сомнительно вообще, хотя несомненно в частном. Следы ее, видимые далеко в горах, прерываются только обрывами и ущелиями до Военной дороги, но оттуда к Черному морю, кажется, по Мингрели, нет никаких признаков продолжения.

Я с любопытством рассматривал эту огромную стену, укрепленную частыми башнями, дивясь величию древних даже в самых безумных прихотях деспотизма, величию, до которого достигнуть не дерзают и мысляю, не только исполнением, нынешние женоподобные власти-тели Востока. Чудеса Вавилона, Меридово озеро, пирамиды фараонов, бесконечная ограда Китая и эта стена, проведенная в местах диких, безлюдных, по высям хребтов, по безднам ущелий, — свидетели железной, исполинской воли и необъятной власти прежних царей. Ни время, ни землетрясения не могли совершенно разрушить трудов тленного человека, и пята тысячелетий не совсем раздавила, не совсем втоптала в землю останки древности незапамятной. Места эти возбуждали во мне еще благоговейные думы... Я бродил по следам великого Петра, я воображал его, основателя, преобразователя юного царства, на сих развалинах дряхлеющих царств Азии, из среды коих вырвал он Русь и мощной десницею вка-

¹ Я убежден, что Кавказские ворота древних, Железные ворота русских историков, находились не в Дербенте, а в Дарьяле (Далюл — узкая дорога, теснина). Что восточные историки называли иногда Дербент Темир-капи, это не доказательство: они и двадцать других городов величали тем же именем; а ныне, вопреки рассказам иных вторящих одно и то же путешественников, в целой Азии никто не знает Дербента под названием Железных ворот. Плиний описывает Дарьял очень подробно. Прокоп называет оный Каспийскими воротами, но, видимо, понимает Дарьял, а не Дербент. И, наконец, хан половецкий, разбитый Мономахом, ушел в Абазинскую землю за Железные ворота, следовательно, за Дарьял, а не Дербент, ибо через сей последний нет средства пробраться в Абхазию. Грузинские летописи приписывают построение Дарьяльского замка Мирвану, царю своему; Прокоп отдаст эту честь Александру, сыну Филиппа III (Прим. авт.)

тил в Европу. Какой огонь сверкал тогда в орлином взоре его, брошенном с выси Кавказа! Какие гениальные думы звездилась в уме, какие святые чувства вздымали героическую грудь! Великая судьба отечества развизалась перед его очами, вместе с горизонтом; в зеркале Каспия зрелась ему картина будущего благоденствия России, им посеянного, окропленного кровавым его потом. Не пустые завоевания, но победа над варварством, но благо человечества были его целью. Дербент, Бака, Астрабат — вот звенья цепи, которою хотел он опутать Кавказ и связать торговлю Индии с русской. Полубог севера! Ты, которого создала природа, чтобы польстить гордости человека и привести в отчаяние недоступным величием! Твоя тень возникла передо мной, огромна и лучезарна, и водопад веков, казалось, рассыпался в пену у твоих стоп¹. Задумчив и безмолвен ехал я далее.

Кавказская стена одета с севера тесаными плитами, чисто и крепко на извести сложенными. Многие зубцы еще целы, но слабые семена, запавшие в трещены, в спаи, раздирают камни корнями деревьев, из них произросших, и в союзе с дождями низвергают долу громады, и по развалинам всходят, будто на приступ, раины, дубы, гранаты. Орел невозмутимо вьет гнездо в башне, когда-то полной воинами, и на очаге, внутри ее, холодном уже несколько веков, лежат свежие кости диких коз, натаканые туда чакалами. Инде исчезал вовсе след развалин, и потом отрывки стены возникали снова из-под травы и леса. Так, проехав версты три вдоль, достигли мы до ворот и проехали на южную сторону, сквозь свод, подернутый мохом и заросший кустарником. Не успели мы сделать двадцать шагов, как вдруг, за огромною и высокою башнею, наткнулись на шестерых вооруженных горцев, по всем приметам принадлежащих к разбойничьим шайкам вольных табасаранцев. Они лежали в тени близ пасущихся коней своих. Я обомлел. Я тогда только раздумал, как безрассудно поступил, захав так далеко

¹ Татары с уважением вспоминают Петра. Угловая комната, в которой жил он в ханском доме в крепости Дербента, сохранялась, как она была при нем. Русские все переделали: не пощадили даже окна, из которого любовался он морем. Петр оставил здесь майора Туркула, родом венгерца, который усовершил виноделню; теперь нет в Дербенте даже порядочного уксусу!!! (Прим. авт.)

от Дербента без конюря. Скакать назад было невозможно по кустам и камням; драться с шестерыми удалцами было бы отчаянно; со всем тем я схватился за седельный пистолет; но Аммалат-бек, увидев, в чем дело, опередил меня, сказав тихо: «Не беритесь за оружие, или мы погибли».

Разбойники, заметив нас, вскочили и выправили ружья; только один широкоплечий, видный, с самым зверским лицом лезгин остался лежащим на земле; он хладнокровно приподнял голову, посмотрел на нас и махнул своим рукою. В одну минуту мы очутились в кругу их, между тем как узкая тропа вперед заграждена осталась атаманом.

— Прошу долой с коней, милые гости,— произнес он, улыбаясь; но видно было, что вторым приглашением будет пуля. Я мешкал, но Аммалат-бек проворно соскочил с коня и прямо пошел к атаману.

— Здорово,— сказал он ему,— здорово, сорвиголова! Не чаял я тебя видеть; я думал, из тебя уже давно черти лапшу сделали.

— Скоро едешь, Аммалат-бек,— отвечал тот.— Я надеюсь еще выкосить здешних орлов телами русских и вашей братьи татар, у которых киса больше, чем сердце.

— Ну что, какова ловля, Шемардан? — спросил небрежно Аммалат-бек.

— Было плохо. Русские сторожки, и разве с лезвия случалось угнать полковой табун или продать в горы человек двух солдат. С мареной и шелком громоздко возить, а персидских тканей стали мало возить на арбах. Приходилось и сегодня порыскать и повить даром поволчьи, да, спасибо, аллах смилостивился: в руки дал богатого бека и русского полковника!

У меня замерло сердце, когда я услышал эти слова.

— Не продавай сокола в небе,— возразил Аммалат,— продавай, когда посадишь его на перчатку.

Разбойник сел, схватился за курок ружья и устремил на нас пронизательные взоры.

— Послушай, Аммалат,— сказал он.— Неужели вы думаете убежать от меня? Неужто дерзнете защищаться?

— Будь покоен,— возразил Аммалат.— Что мы за глупцы — идти двум на шестерых? Любо нам золото, однако душа дороже. Попались, так нечего делать; лишь

бы ты не заломил беспутной цены за выкуп. У меня, сам ты знаешь, ни отца, ни матери, а у полковника и подавно ни роду, ни племени.

— Нет отца, так есть наследство от отца. Ведь мне с тобою не роднею считаться. Впрочем, я человек совестливый: нет червонцев, так я возьму и баранами; а про полковника ты не пой мне песен: я знаю, что за него отдадут все солдаты последнюю пуговицу с мундира. Уж коли за Швецова¹ дали выкупу десять тысяч рублевиков, за этого дадут и больше. Впрочем, увидим, увидим! Коли будете смирны... Я ведь не джеуд (жид) какой, не людоед, первиадер (всевышний), прости.

— Ну, то-то же, приятель, корми да пой нас хорошенько, так присягу даю и честью моею заверяю, мы не задумаем ни бить тебя, ни бежать от тебя.

— Верю, верю! Люблю, что без шума дело сладили. Какой ты молодец стал, Аммалат: конь не конь, ружье не ружье, загляденье, да и только! Покажи-ка, друг, кинжал свой? Верно, кубачинская насечка на ножнах?

— Нет, кизлярская, — отвечал Аммалат, покойно растягивая поясок кинжала. — Да клинок-то посмотри: диво! Гвоздь пополам, словно свечу. На этой стороне имя мастера; на, хоть сам читай: Али-уста Казанищский.

И между тем он повертывал обнаженным клинком перед глазами жадного лезгина, который хотел показать, что знает грамоте, и со вниманием разбирал связную надпись...

Но вдруг кинжал сверкнул как молния: Аммалат, улуча миг, рубнул Шемардана по голове со всего размаху, и удар был столь жесток, что кинжал остановился в зубах нижней челюсти. Труп рухнул на траву. Не сводя глаз с Аммалата, я последовал его примеру и положил из пистолета ближнего ко мне разбойника, державшего за узду моего коня. Это было знаком к бегству остальных бездельников, как будто со смертью атамана расторгся узел своры, на которую были они привязаны.

Между тем как Аммалат, по азиатскому обычаю, снимал с убитых оружие и связывал вместе поводья оставленных коней, я выговаривал ему за его притворство и клятвы перед разбойником. Он с удивлением поднял голову:

¹ За Швецова — полковник. Швецов был выкуплен офицерами Кавказского корпуса. (Прим. авт.)

— Чудный вы человек, полковник,— возразил он мне.— Этот злодей наделал исподтишка русским тьму вреда, то пожигая стоги сена, то уводя в плен одиноких солдат-дровосеков! Знаете ли, что он бы замучил, истерганил нас, для того чтобы мы пожалобнее писали к своим и тем более дали выкупу.

— Все это так, Аммалат,— сказал я,— но лгать, но клясться не должно ни в шутке, ни в беде. Разве не могли мы прямо кинуться на разбойников и начать тем, чем кончили?

— Нет, полковник, не могли. Если б я не заговорил атамана, нас бы при первом движении пронзили пулями. Притом я знаю эту сволочь весьма хорошо: они храбры только в глазах атамана, и с него надобно было начать расправу.

Я качал головою. Азиатское коварство хотя и спасло меня, но не могло мне понравиться. Какую веру могу я иметь к людям, привыкшим играть честью и душою?

Мы собрались было садиться на коней, когда услышали стон раненного мною горца. Он очнулся, приподнялся и жалобно умолял нас не покидать его на съеденье зверям лесным. Мы оба кинулись помогать несчастному, и каково было удивление Аммалата, когда он узнал в нем одного из нукеров Султан-Ахмет-хана Аварского. На вопрос, как он попал в шайку разбойников, он отвечал:

— Шайтан соблазнил меня. Хан послал меня в соседнюю деревню Кемек, с письмом к славному гакому (доктору) Ибрагиму, за какой-то травой, что, говорят, всякую болезнь как рукой снимает. На беду повстречал меня на дороге Шемардан! Пристал: поедем да поедем со мной наездничать, из Кубы едет армянин с деньгами. Не утерпело сердце молодецкое... Ох, алла, гиль алла! Вынул он из меня душу.

— Тебя послали за лекарством, говоришь ты? — спросил Аммалат.— Да кто же у вас болен?

— Наша ханум Селтанета при смерти; вот и писанье к лекарю про болезнь ее.

При этом слове он отдал Аммалату серебряную трубочку, в которую вложена была свитая бумажка.

Аммалат побледнел как смерть; руки его дрожали, очи скрылись под бровями, когда пробежал он записку... Прерывающимся голосом повторял он несвязные слова:

— Не ест, не спит уже три ночи... бредит! Жизнь ее

в опасности, спасите! Боже правды! А я здесь веселюсь, праздничая, в то время как душа души моей готова покинуть землю и оставить меня тлеющим трупом! О, да падут на голову мою все ее болезни¹, да лягу я в гроб, если этим искупится ее здоровье! Милая, прелестная девушка! Ты вянешь, роза Аварии, и на тебя простерла судьба свои железные когти! Полковник! — вскричал он наконец, схватив меня за руку. — Исполните мою единственную священную просьбу: позвольте мне хоть еще однажды взглянуть на нее...

— На кого, друг мой?

— На мою бесценную Селтанету, на дочь хана Аварского, которую люблю более, чем жизнь, чем душу свою... Она больна, она умирает, может быть, уже умерла теперь, когда я теряю слова даром! И не я принял в сердце последний взор, последний вздох ее, не я отер ледяную слезу кончины. О, зачем угли разрушенного солнца не падут на мою голову, зачем не погребет меня земля в своих развалинах?

Он упал на грудь мою и, задушенный тоскою, рыдал без слез, не могши промолвить слова.

Не время было упрекать его в недоверчивости, еще менее представлять причины, по которым ему бы неприлично было ехать ко врагу русских. Есть обстоятельства, пред которыми рассыпаются в прах все приличия, и я чувствовал, что Аммалат находился в подобных. На свой страх решил я отпустить его. Кто обяывает от чистого сердца и скоро, тот обяывает дважды, — моя любимая пословица и твердое правило. Я сжал в объятиях тоскующего татарина, и слезы наши смешались.

— Друг Аммалат! — сказал я, — спеши, куда зовет тебя сердце. Дай бог, чтобы ты привез туда выздоровление, а оттуда покой душевный... Счастливым путь!

— Прощайте, благодетель мой! — произнес он, тронутый. — И, может быть, навек. Я не ворочусь к жизни, если алла отнимет у меня Селтанету. Бог да хранит вас!

Мы завезли раненого аварца к такому Ибрагиму, взяли у него по рецепту ханскому травы целительной, и через час Аммалат-бек с четверья нукерами выехал уже из Дербента.

¹ Это самое нежное выражение татарских песен и самый обязательный привет женщине. (Прим. авт.)

Итак, загадка разгадалась: он любит. Это плохо, а еще того хуже, что он любим взаимно. Я вижу, милая, я слышу твое изумление. «Может ли то быть нечастьем для другого, чего ждешь ты для себя как благополучия?..» — спрашиваешь ты. Одно зернышко терпения, ангел души моей! Хан, отец Селтанеты, — непримиримый враг России, тем более что, будучи взыскан царскими милостями, он изменил оным; следственно, брак возможен только в таком случае, если Аммалат изменит русским или хан смирится перед ними и будет прощен; обе вещи малосбыточные. Я сам испытал горе, безнадежное в любви; я много пролил слез на уединенное изголовье мое и сколько раз жаждал могильной тени, чтобы простудить в ней бедное сердце! Могу ли же не жалеть юноши, которого люблю бескорыстно, который любит безнадежно! Но это не намостит мосту к счастью, и потому думаю, что если б он не имел несчастья быть любимым взаимно, он бы понемногу забыл ее.

«Однако, — говоришь ты (и мне кажется, я слышу твой серебристый голос, люблюсь твоей ангельскою улыбкою), — однако обстоятельства могут перемениться для них, как они переменились для нас. Неужели одно несчастье имеет привилегию быть вечным на свете?» Не спорю, милая, но со вздохом признаюсь: сомневаюсь... даже боюсь и за них и за нас. Судьба улыбается нам, надежда поет сладкие песни, но судьба — море, надежда — сирена морская; опасна тишина первого, гибельны обеты второй. Все, кажется, споспешествует нашему соединению, но вместе ли мы? Не понимаю, отчего, милая Мария, холод вникает в грудь вместе с самыми жаркими мечтами о будущем блаженстве и мысль о свидании потеряла свою определенность!.. Но это все минет, все обратится в наслаждение, когда я прижму твою ручку к устам своим, твое сердце к своему сердцу!! Ярче сверкает радуга на черном поле туч, и самые счастливейшие мгновения суть междометия горести.

ГЛАВА VIII

Аммалат загнал двух коней и бросил на дороге нукеров своих; зато к концу другого дня был уже невдалеке от Хунзаха. С каждым шагом росло его нетерпение, и с каждым мигом увеличивался страх не застать в живых

свою милую. Он затрепетал, когда показались ему из утесов верхи башен ханского дома... В глазах померкло. «Жизнь или смерть встречу я там!» — молвил он в самом себе и скрепя сердце удвоил бег коня.

Он настиг всадника, вооруженного с головы до ног; другой всадник ехал из Хунзаха ему навстречу, и едва завидели и разглядели они друг друга, пустили коней вскачь, съехались, соскочили на землю и вдруг, обнажив сабли, с ожесточением кинулись друг на друга, не вымолвя ни одного слова, как будто бы удары были обычным дорожным приветствием.

Аммалат-бек, которому они заградили узкую тропинку между скал, с изумлением смотрел на бой двух противников; он был короток. Попутный всадник упал на камни, обливая их кровью из разверстого черепа; победитель хладнокровно отирая полосу, обратил слово к Аммалату.

— Кстати приход твой! Я рад, что судьба привела тебя в свидетели нашего поединка. Бог, а не я, убил обидчика, и теперь родные его не скажут, что я умертвил врага украдкою из-за камня, не подымут на мою голову мести крови.

— За что встала ссора у тебя с ним? — спросил Аммалат. — За что заключил ты ее такой ужасною местию?

— Этот харамзада, — отвечал всадник, — не поладил со мной за подел грабленых баранов, в досаде мы всех их перерезали: не доставайся же никому... И он дерзнул выбрать жену мою. Пускай бы он лучше опозорил гроб отца и доброе имя матери, нежели тронул славу жены! Я было кинулся на него с кинжалом, да нас разняли; мы стакнулись при первой встрече рубиться, и вот аллах рассудил нас. Бек, верно, едет в Хунзах, верно, в гости к хану? — примолвил всадник.

Аммалат, заставляя своего коня перепрыгнуть через труп, лежащий поперек дороги, отвечал утвердительно.

— Не в пору едешь, бек, очень не в пору!

Вся кровь кинулась в голову Аммалата.

— Разве в доме хана случилось какое несчастье? — спросил он, удерживая коня, которого за миг прежде ударил плетью, чтобы скорей домчаться до Хунзаха.

— Не то чтобы несчастье: у него крепко была больна дочь Селтанета, и теперь...

— Умерла? — вскричал Аммалат, бледнея.

— Может быть и умерла; по крайней мере умирает. Когда я проезжал мимо ханских ворот, на дворе поднялась такая беготня и плач и вой женщин, будто русские берут Хунзах приступом... Заезжай, сделай милость...

Но Аммалат уже не слышал ничего более; он стремглав ускакал от удивленного узденя, только пыль катилась дымом с дороги, словно зажженной искрами, сыплющимися из-под копыт. Быстро прогремел он по извилистым улицам, взлетел на гору, спрыгнул с коня среди двора ханского и, задыхаясь, пробежал по переходам до комнаты Селтанеты, опрокидывая, расталкивая нукеров и прислужниц, и, наконец, не приметив ни хана, ни жены его, прорвался до самого ложа больной и почти без памяти упал при нем на колени.

Внезапный, шумный приход Аммалата возмутил печальное общество присутствующих.

Селтанета, в которой кончина пересиливала уже бытие, будто проснулась из томительного забвения горячки; щеки ее горели обманчивым румянцем, как осенний лист перед паденьем, в туманных глазах догорали последние искры души; уже несколько часов была она в совершенном изнеможении; безгласна, неподвижна, отчаянна. Ропот неудовольствия в окружающих и громкие восклицания иступленного Аммалата, казалось, воротили отлетающий дух больной... Она вспрянула... Глаза ее заблестали...

— Ты ли это, ты ли?! — вскричала она, простирая к нему руки.— Алах берекет!.. Теперь я довольна! Я счастлива,— промолвила она, опускаясь на подушки.

Улыбка сомкнула уста ее, ресницы упали, и она снова погрузилась в прежнее беспамятство.

Отчаянный Аммалат не внимал ни вопросам хана, ни выговорам ханши; никто, ничто не отвлекало его внимания от Селтанеты, не исторгало из скорби глубокой. Его насилу могли вывести из комнаты больной. Прильнув к ее порогу, он рыдал неутешно, то умоляя небо спасти Селтанету, то обвиняя, укоряя его в ее болезни. Трогательна и страшна была тоска пылкого азиатца.

Между тем появление Аммалата произвело на больную спасительное влияние. То, чего не могли или не умели сделать горные врачи, произошло от случая. Надобно было пробудить онемевшую жизненную деятельность сильным колебанием,— без этого она погибла бы

не от болезни, уже затихшей, но от изнеможения, как лампа, гаснущая не от ветра, но от недостатка воздуха. Наконец молодость взяла верх; после перелома жизнь опять разыгралась в сердце умиравшей. После долгого, кроткого сна она пробудилась с обыкновенными силами, с свежими чувствами.

— Мне так легко, матушка,— сказала она ханше, весело озираясь,— будто я вся из воздуха. Ах, как сладостно отдохнуть от болезни; кажется, и стены мне улыбаются. Да, я была очень больна, долго больна; я много вытерпела; теперь, слава аллаху, я только слаба, это пройдет скоро; я чувствую, что здоровье, как жемчуг, катится у меня по жилам. Все прошлое представляется мне в каком-то мутном сне. Мне виделось, будто я погружаюсь в холодное море и сгораю жаждою; вдали носились, будто во мраке и в тумане, две звездочки; тьма густела и густела; я погрязала ниже и ниже. И вдруг показалось мне, что кто-то назвал меня по имени и могучею рукою выдернул из леденеющего, безбрежного моря... Лицо Аммалата мелькнуло передо мной, словно наяву, звездочки вспыхнули молниею, и она змеей ударила мне в сердце; больше не помню...

На другой день Аммалату позволили видеть выздоравливающую.

Султан-Ахмет-хан, видя, что от него не добиться путного ответа, покуда сомнение не стихнет в душе, кипучей страстью, склонился на его неотступные просьбы.

— Пускай все радуются, когда я радуюсь,— сказал он и ввел гостя в комнату дочери.

Селтанету предупредили, но со всем тем волнение в ней было чрезвычайно, когда очи ее встретились с очами Аммалата, столь много любимого, столь долго и напрасно ожидаемого. Оба любовника не могли вымолвить слова, но пламенная речь взоров изъяснила длинную повесть, начертанную жгучими письменами на скрижалях сердца. На бледных щеках друг друга прочитали они следы тяжких дум и слез разлуки, следы бессонницы и кручины, страхов и ревности. Пленительна цветущая краса любимой женщины; но ее бледность, ее болезненная томность — очаровательны, восхитительны, победны! Какое чугунное сердце не растает от полного слез взора ее, который без упрёка, нежно говорит вам: «Я счастлива, я страдала от тебя и для тебя!»

Слезы брызнули из глаз Аммалата, но, вспомнив наконец, что он тут не один, он оправился, поднял голову, но голос отказывался вылиться словом, и он насилу мог сказать:

— Мы очень давно не видались, Селтанета!

— И едва не расстались навечно,— отвечала Селтанета.

— Навечно? — произнес Аммалат полуукорительным голосом.— И ты могла думать это, верить этому? Разве нет иной жизни, жизни, в которой неведомо горе, ни разлука с родными и с милыми? Если бы я потерял талисман своего счастья, с каким бы презрением сбросил я с себя ржавые, тяжкие латы бытия! Для чего бы мне тогда сражаться с роком?

— Жаль, что я не умерла, коли так,— возразила Селтанета шутя,— ты так заманчиво описываешь замогильную сторону, что хочется поскорее перепрыгнуть в нее.

— О нет, живи, живи долго для счастья, для...— любви хотел примолвить Аммалат, но покраснел и умолкнул.

Мало-помалу розы здоровья опять раскинулись на щеках довольной присутствием милого девушки. Все опять пошло обычной чередой.

Хан не уставал спрашивать Аммалата про битвы и походы и устройство войск русских; ханша скучала ему спросами о платьях и обычаях женщин их и не могла пропустить без воззвания к аллаху ни одного раза, слыша, что они ходят без туманов. Зато с Селтанетой находил он разговоры и рассказы прямо по сердцу. Малейшая безделка, друг до друга касающаяся, не была опущена без подробного описания, повторения и восклицания. Любовь, как Мидас, претворяет все, до чего ни коснется, в золото и ах! часто гибнет, как Мидас, не находя ничего вещественного для пищи.

Но с крепнущими силами, с расцветающим здоровьем Селтанеты на чело Аммалата чаще и чаще стали набегать тени печали. Иногда вдруг среди оживленного разговора он останавливался незапно, склонял голову, и и прекрасные глаза его подергивались слезною пеленою, и тяжкие вздохи, казалось, расторгали грудь; то вдруг он вскакивал, очи сверкали гневом, он с злобной улыбкою хватался за рукоять кинжала и после того, будто пораженный невидимою рукою, впадал в глубокую за-

думчивость, из которой не могли извлечь его даже ласки обожаемой Селтанеты.

Однажды, в такую минуту, любовники были глаз на глаз. С участием склонясь на его плечо, Селтанета молвила:

— Азиз (милый), ты грустишь, ты скучаешь со мной?

— Ах, не клевети на того, кто любит тебя более неба,— отвечал Аммалат,— но я испытал ад разлуки и могу ли без тоски вздумать о ней. Легче, во сто раз легче мне расстаться с жизнью, чем с тобою, черноокая!

— Ты думаешь об этом... стало быть, желаешь этого.

— Не отравляй мои раны сомнением, Селтанета. До сих пор ты знала только цвести, подобно розе, порхать, подобно бабочке; до сих пор твоя воля была единственною твоею обязанностью. Но я мужчина, я друг; судьба сковала на меня цепь неразрешимую, цепь благодарности за добро; она влечет меня к Дербенту.

— Долг! Обязанность! Благодарность! — произнесла Селтанета, печально качая головою.— Сколько золотшвейных слов изобрел ты, чтобы ими, как шалью, прикрыть свою неохоту остаться здесь. Разве не прежде ты отдал душу свою любви, нежели дружбе?.. Ты не имел права отдавать чужое! О, забудь своего Верховского, забудь русских друзей и дербентских красавиц!.. Забудь войну и славу, добытую убийствами. Я ненавижу с тех пор кровь, как увидела тебя, ею облитого. Не могу без содрогания вздумать, что каждая капля ее стоит неосуществимых слез сестре, или матери, или милой невесте. Чего недостает тебе, чтобы жить мирно, покойно в горах наших? Сюда никто не придет возмутить оружием счастья душевного. Кровля наша не каплет, плов у нас не купленного пшена, у отца моего много коней и оружия, много казны драгоценной; у меня в душе много любви к тебе. Не правда ли, милый, ты не едешь, ты останешься с нами?

— Нет, Селтанета, я не могу, я не должен здесь остаться! С тобою одной провести жизнь, для тебя кончить ее — вот моя первая мольба, мое последнее желанье; но исполнение обоих зависит от отца твоего. Священный союз связывает меня с русскими, и, покуда хан не примирится с ними, явный брак с тобою мне невозможен... и не от русских, но от хана...

— Ты знаешь отца моего,— грустно сказала Селтанета,— с некоторого времени ненависть к неверным усилилась в нем до того, что он не пожалеет принести ей в жертву и дочь и друга. Особенно он сердит на полковника за то, что убил его любимого нукера, посланного за лекарством к такому Ибрагиму.

— Я уже не раз заводил речь с Ахмет-ханом о моих надеждах, и всегдашним ответом его было: поклянись быть врагом русских, и тогда я выслушаю тебя.

— Стало быть, надобно сказать *прости* надежде?

— Зачем же надежде, Селтанета! Зачем не сказать только *прости, Авария!*

Селтанета устремила на него свои выразительные очи.

— Я не понимаю тебя,— произнесла она.

— Полюби меня выше всего на свете: выше отца и матери и милой родины, и тогда ты поймешь меня. Селтанета! жить без тебя я не могу, а жить с тобою не дают мне... Если ты любишь меня, бежим отсюда!..

— Бежать, дочери ханской бежать, как пленнице, как преступнице!.. Это ужасно! это неслыханно!

— Не говори мне этого... Если необыкновенна жертва, то необыкновенна и любовь моя. Вели мне отдать тысячу раз жизнь свою, и я кину ее с усмешкою, будто медную пулу¹; брошу в ад душу свою за тебя, не только жизнь. Ты напоминаешь мне, что ты дочь хана; вспомни, что и мой дед носил, что мой дядя носит корону шамхальскую!.. Но не по этому сану, а по этому сердцу я чувствую, что достоин тебя, и если есть позор быть счастливым вопреки злобы людей и прихотей рока, то он весь падет на мою, не на твою голову.

— Но ты забыл месть отца моего!

— Придет пора, и он сам забудет ее. Видя, что дело свершено, он отбросит неумолимость; сердце его не камень; да если б было и камень, то слезы повинные пробыют его, наши ласки его тронут!.. Счастье приголубит тогда нас крылами, и мы с гордостью скажем: «Мы сами поймали его».

¹ Пул — вообще деньги. Карапул — наша денешка, или полущка, которая произошла вовсе не от *пол-ушка*, а от татарского *пул*. Да и слово *рубль* происходит, по мнению моему, не от *рубки*, а от арабского слова *руп* (четверть); и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Ногат значит точка. (*Прим. авт.*)

— Милый мой! я мало живу на свете, а что-то в сердце говорит, что неправдой не изловить счастья!.. Пождем, посмотрим, что аллах даст. Может, и без этого средства совершится союз наш.

— Селтанета! аллах дал мне эту мысль... Вот его воля!.. Умоляю тебя: сжался надо мною... Бежим, если ты не хочешь, чтобы час брака пробил над моею могилою. Я дал честное слово возвратиться в Дербент и должен сдержать его, сдержать скоро; но уехать без надежды увидеть тебя и с опасением узнать тебя женою другого — это ужасно, это нестерпимо! Не из любви, так из сожаления раздели судьбу мою, не лишай меня рая, не доводи меня до безумства. Ты не знаешь, до какой степени может увлечь обманутая страсть: я могу забыть и гостеприимство и родство, разорвав все связи человеческие, попать ногами святыню, смешать кровь мою с драгоценною мне кровью, заставить злодеев содрогаться от ужаса при моем имени и ангелов плакать от моих дел... Селтанета! спаси меня от чужих проклятий, от своего презрения, спаси меня от самого меня!.. Нукеры мои бесстрашны, кони — ветер, ночь темна; бежим в благодатную Россию, куда перейдет гроза. В последний раз умоляю тебя; жизнь и смерть, слава и душа моя в одном слове твоём: да или нет?

Обуреваемая то страхом девическим и уважением к обычаям предков, то любовью и красноречием любовника, неопытная Селтанета, как легкая пробка, летала по мятежным бурунам противоположных страстей. Наконец она встала, с гордым, решительным видом отерла слезы, сверкавшие на ресницах, как янтарная смола на иглах ливневницы, и сказала:

— Аммалат! не обольщай меня: огонь любви не ослепит, дым ее не задушит во мне совести; я всегда буду знать, что хорошо и что худо, и очень ведаю, как стыдно, как неблагодарно покинуть дом отеческий, огорчить любимых, любящих меня родителей; знаю, и теперь измерь же цену моей жертвы: я бегу с тобою... я твоя! Не язык твой убедил, а сердце твое победило меня. Аллах судил мне встретить и полюбить тебя,— пусть же будут связаны сердца наши вечно и крепко, хотя бы терновым венком! Теперь все кончено: твоя судьба — моя судьба!

Если бы небо обняло Аммалата необъятными своими крыльями, прижав к сердцу мира, солнцу, и тогда бы вос-

торг его был не сильнее, как в эту божественную минуту. Он излился в нестройных словах и восклицаниях благодарности. Когда стихли первые порывы, любовники уловились во всех подробностях побега. Селтанета согласилась спуститься на простынях из спальни своей на крутой берег Узени. Аммалат выедет вечером из Хунзаха со своими нукерами, будто на дальнюю соколиную охоту, и окольными путями воротится к ханскому дому, когда ночь падет на землю; он на руки свои примет милую спутницу. Потом они тихомолком доберутся до коней, и тогда враги прочь с дороги!

Поцелуй запечатлел обеты, и счастливы расстались со страхом и надеждою в сердцах.

Аммалат-бék, изготоя к побегу и бою удалых нукеров своих, с нетерпением смотрел на солнце, которое, будто ревнуя, не хотело сойти с теплого неба в холодные кавказские ледники. Как жених, жаждал он ночи и, как докучного гостя, провожал он глазами светило дня. Сколь медленно шло, ползло оно к закату! Еще целый век пути оставался между желаньем и счастьем.

Безрассудный юноша! Что порука тебе за удачу? Кто уверит тебя, что твои шаги не сочтены, твои слова не пойманы на лету? Может быть, с солнцем, которое ты бранишь, закатится твоя надежда!

Часу в четвертом за полдень, в обычное время мусульманского обеда, Султан-Ахмет-хан был обыкновенно дик и мрачен. Глаза его недоверчиво блистали из-под нахмуренных бровей; долго останавливал он их то на дочери, то на молодом госте своем; иногда черты лица его принимали насмешливое выражение, но оно исчезало в румянце гнева; вопросы его были колки, разговор отрывист,— и все это пробуждало в душе Селтанеты раскаяние, в сердце Аммалата — опасение. Зато ханша-мать, словно предчувствуя разлуку с милой дочерью, была так ласкова и предупредительна, что эта незаслуженная нежность исторгала слезы у доброй Селтанеты, и взор, брошенный украдкою Аммалату, был ему пронзительным укором.

Едва совершили после обеда обычное умовенье рук, хан вызвал на широкий двор Аммалата; там ждали их оседланные кони и толпа нукеров сидела уже верхом.

— Поедем попытать удали новых моих соколов,—

сказал хан Аммалату, — вечер славный, зной опал, и мы успеем еще до сумерек заповлевать птичку-другую!

С соколом на руке безмолвно ехал хан рядом с беком; влево, по крутой скале, лепился аварец, забрасывал железные когти, на шесте прикрепленные, в трещины, и потом, на гвозде опершись, подымался выше и выше. На поясе у него привязана была шапка с семенами пшеницы; длинная винтовка висела за плечами. Хан остановился, указал на него Аммалату и значительно сказал:

— Посмотри на этого старика, Аммалат-бек. Он в опасности жизни ищет стопы земли на голом утесе, чтобы посеять на ней горсть пшеницы. С кровавым потом он жнет ее и часто кровью своею платит за охрану стада от людей и зверей. Бедна его родина; но спроси, за что любит он эту родину, зачем не променяет ее на ваши тучные нивы, на ваши роскошные паствы? Он скажет: «Здесь я делаю что хочу, здесь я никому не кланяюсь; эти снега, эти гольцы берегут мою волю». И эту-то волю хотят отнять у него русские, как отняли у вас, и этим-то русским стал ты рабом, Аммалат!

— Хан! ты знаешь, что не русская храбрость, а русское великодушие победило меня: не раб я, а товарищ их.

— Тем во сто раз хуже и постыднее для тебя! Наследник шамкалов ищет серебряного темляка, хвалится тем, что он застольник полковника!

— Умерь слова свои, Султан-Ахмет! Верховскому обязан я более чем жизнью: союз дружбы связал нас.

— Может ли существовать какая-нибудь священная связь с гяурами? Вредить им, истреблять их, когда можно, обманывать, когда нельзя, суть заповеди Курана и долг всякого правоверного.

— Хан! перестанем играть костью Магомета и грозить тем другому, чему сами не верим. Ты не мулла, я не факир... Я имею свои понятия о долге честного человека.

— В самом деле, Аммалат-бек? Не худо, однако ж, если б ты чаще держал это на сердце, чем на языке. В последний раз позволь спросить тебя: хочешь ли послушать советов друга, которого меняешь ты на гяура? Хочешь ли остаться с нами навсегда?

— Жизнь бы свою отдал я за счастье, которое предлагаешь ты мне так щедро, но я дал обет воротиться и сдержу его.

— Это решительно?

— Непременно.

— Итак, чем скорее, тем лучше. Я узнал тебя, ты меня знаешь издавна; обиняки и лесть между нами не к стати. Не скрою, что я всегда желал видеть тебя зятем своим; я радовался, что тебе полюбилась Селтанета. Плен твой на время удалил мои замыслы; твое долгое отсутствие, слухи о твоём превращении огорчали меня. Наконец ты явился к нам и все нашел по-прежнему; но ты не привез к нам прежнего сердца. Я надеялся, ты опять упадешь на прежний путь, и обманулся, горько обманулся! Жаль, но делать нечего: я не хочу иметь зятем слугу русских...

— Ахмет-хан! я однажды...

— Дай мне кончить. Твой шумный приезд, твое иступление у порога больной Селтанеты открыли всем и твою привязанность и наши взаимные намерения. Во всех горах прославили тебя женихом моей дочери... но теперь, когда разорван союз, пора рассеять и слухи. Для доброй славы моего семейства, для спокойствия моей дочери тебе должно оставить нас, и теперь же. Это необходимо, это неизменно, Аммалат! мы расстанемся добрыми друзьями; но здесь увидимся только родными, не иначе. Да обратит аллах твое сердце и приведет к нам нераздельным другом... До тех пор прости!

С этим словом хан поворотил коня и поскакал во весь опор, вправо к своему поезду.

Если б на сонного Аммалата упал гром небесный, и тогда он не был бы так изумлен, испуган, как этим неожиданным объяснением. Уже давно и пыль легла на след хана, но Аммалат все еще стоял неподвижен на том же холме, чернея в зареве заката.

ГЛАВА IX

Для укрощения мятежных дагестанцев полковник Верховский с полком своим стоял в селении Кяфир-Кумык лагерем. Палатка Аммалат-бека разбита была рядом с его палаткою, и в ней Сафир-Али, развалившись небрежно на ковре, потягивал донское, несмотря на запрещение пророка. Аммалат-бек, худой, бледный, задумчивый, лежал, склонив голову на валец, и курил трубку. Уже три месяца прошли с той поры, как он, изгнанник рая, скитался с отрядом в виду гор, куда летело его

сердце и не смела ступить нога. Тоска источила его, досада пролила желчь на его прежде радушный нрав. Он принес жертву своей привязанности к русским и, казалось, упрекал в ней каждого русского. Неудовольствие пробивалось в каждом его слове, в каждом взгляде.

— Прекрасная вещь — вино! — приговаривал Сафир-Али, преисправно осушая стаканы.— Верно, Магомету попались на аравитском солнце прокислые подонки, когда он запретил виноградный сок правоверным. Ну право, эти капли так сладки, будто сами ангелы с радости наплакали своих слез в бутылки. Эй, выпей еще хоть стаканчик, Аммалат-бек. Сердце твое всплывет на вине легче пузырька. Знаешь, что пел про него Гафиз?..

— А ты знаешь? Не докучай, добро, Сафир-Али, мне своим вздором, ни даже под именем Саади и Гафиза.

— Эка беда! Ну да хоть бы этот вздор был мой доморощенный, он не серьга, в ухе не повиснет. Небось когда заведешь сказку про свою царицу Селтанету, я гляжу тебе в рот, как тому искуснику, который ел огонь и мотал из-за щек бесконечные ленты. Тебя заставляет говорить чепуху любовь, а меня донское; вот мы и квиты!.. Ну-тка, за здравие русских!

— Что полюбились тебе эти русские?

— Скажи лучше, отчего разлюбил ты их?

— Оттого, что разглядел поближе. Право, ничем не лучше наших татар. Так же падки на выгоды, так же охочи пересуживать, и не для того чтобы исправить ближнего, а чтобы извинить себя; а про лень их и говорить нечего. Долго они властвуют здесь, а что сделали доброго, какие постановили твердые законы, какие ввели полезные обычаи, чему нас выучили, что устроили они порядочного! Верховский открыл мне глаза на недостатки моих одноземцев, но с этим вместе я увидел и недостатки русских, которые тем больше непростительны, что они знают полезное, выросли на добрых примерах и здесь, будто забыв свое назначение, свою деятельную природу, понемногу утопают в животном ничтожестве.

— Надеюсь, ты не включаешь в это число Верховского?

— Не только его, и других наберем в особый круг; зато многих ли их?

— Ангелы и в небе на перечете, Аммалат-бек, а Верховскому, право, хоть молиться можно за его правду, за

его доброту. Есть ли хоть один татарин, который бы сказал про него худо?.. Есть ли солдат, что не отдаст за него души?.. Абдул-Гамид! еще вина! Ну-тка, за здоровье Верховского!

— Избавь! Я не стану теперь пить ни за самого Магомета!

— Если у тебя сердце не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах¹ дербентских шагидов, хотя бы все имамы и шихи² не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство.

— Не выпью,— говорю я тебе.

— Послушай, Аммалат! Я готов за тебя напоить допьяна черта своей кровью, а ты не хочешь для меня выпить вина!

— То есть в этот раз не стану пить; а не стану потому, что не хочу, а не хочу потому, что кровь и без вина бродит во мне, как молодая буза.

— Пустые отговорки! Не в первый раз мы пьем, не впервые у нас кровь кипит... Скажи лучше прямо: ты сердит на полковника?

— Очень сердит!

— Можно ли узнать, за что?

— За многое. Давно уже стал подливать он каплю по капле яду в мед дружбы своей... Теперь эти капли переполнили и пролили чашу. Терпеть не могу таких полутеплых друзей! Щедр он на советы, не скуп и на поучение, то есть на все, что не стоит ему никакого труда, никакого риска.

— Понимаю, понимаю. Верно, он не пустил тебя в Аварню?

— Если бы ты носил в груди мое сердце, ты бы понял, каково было мне услышать такой отказ. Как давно манил он меня этим и вдруг отрубил самые нежные просьбы, разбил в пыль, как хрустальный кальян, самые лестные ожидания... Ахмет-хан, верно, смягчился, когда присылал сказать, что желает видеть меня, и я не могу спешить к нему, лететь к Селтанете!

¹ Тарковцы секты сунни. Яхунт — старший мулла. (Прим. авт.)

² Имам — святой; ших — пророк. (Прим. авт.)

— Поставь-ка, брат, себя на его месте и потом скажи, не так ли же бы поступил ты сам?

— Нет, не так. Я бы просто сказал с самого начала: «Аммалат! не жди от меня никакой помощи!» Я и теперь не прошу от него помощи, прошу только, чтобы он не мешал мне, так нет: он, заграждая от меня солнце всех радостей, уверяет, что делает это из участия, что это впереди принесет мне счастье!.. Не значит ли это отравлять в сонном питье?

— Нет, друг. Если оно и в самом деле так, то сонное питье дают тебе, как человеку, у которого хотят что-нибудь вырезать для исцеления. Ты думаешь об одной любви своей, Верховскому же надобно хранить без пятна и твою и свою честь, а вы оба окружены недоброхотами. Поверь, что так или иначе, только он вылечит тебя.

— Кто просит его лечить меня? Эта божественная болезнь, любовь,— моя единственная отрада! И лишит меня ее — все равно что вырвать из меня сердце за то, что оно не умеет биться по барабану...

В это время вошел в ставку незнакомый татарин, подозрительно осмотрелся кругом и с низким наклоном головы поставил перед Аммалатом туфли свои. По азиатскому обычаю это значило, что он просит тайного разговора. Аммалат понял его, кивнул головою, и оба вышли на воздух. Ночь была темна, огни погасли, и цепь часовых раскинута далеко впереди.

— Здесь мы одни,— сказал Аммалат-бек татарину.— Кто ты и что тебе надобно?

— Мое имя Самит. Я дербентский житель, секты сунни, и теперь служу в отряде, в числе мусульманских всадников. Порученье мое важнее для тебя, чем для меня... *Орел любит горы!*

Аммалат вздрогнул и недоверчиво взглянул на посланца: то была условная поговорка, которой ключ написал ему Султан-Ахмет заранее.

— Как не любить гор! — отвечал он.— В горах много ягнят для орла, много серебра для человека.

— *И булава для витязей (игидов).*

Аммалат схватил посланца за руку.

— Здоров ли Султан-Ахмет-хан? — спросил он торопливо.— Какие вести принес ты от него? Давно ли видел его семью?..

— Не отвечать, а спросить я прислан. Хочешь ли ты за мною следовать?

— Куда? Зачем?

— Ты знаешь, кто прислал меня,— этого довольно: если не веришь ему, не верь и мне,— в том твоя воля и моя выгода. Чем лезть в петлю ночью, я и завтра успею известить хана, что Аммалат не смеет выехать из лагеря!

Татарин попал в цель. Щекотливый Аммалат вспыхнул.

— Сафир-Али! — вскричал он громко.

Сафир-Али встрепенулся и выбежал из палатки.

— Вели подвезть себе и мне хоть неоседланных коней и с тем вместе сказать полковнику, что я поехал осмотреть поле за цепью: не крадется ли какой бездельник под часового. Ружье и шашку, да мигом!

Коней подвели. Татарин вскочил на своего, привязанного неподалеку, и все трое понеслись к цепи. Сказали пароль и отзыв и мимо секретов понеслись влево по берегу быстрой Узени.

Сафир-Али, который очень неохотно расстался с бутылкою, ворчал на темноту, на кусты и овраги и очень сердито покрякивал подле Аммалата, но, видя, что никто не начинает разговора, решил сам завести его.

— Прах на голову этого проводника,— сказал он.— Черт знает, куда ведет и куда заведет он нас. Пожалуй, еще продаст лезгинам ради богатого выкупа... Не верю я этим косым.

— Я и прямоглазым мало верю,— отвечал Аммалат.— Но этот косой прислан от друга. Он не изменит нам.

— А чуть задумает что-нибудь похужее, так при первом движении я распластаю его, как дыню.— Эй, приятель,— закричал Сафир-Али проводнику,— ради самого царя джинниев (духов), ты, кажется, сговорился с терновником оборвать с чухи моей галуны. Неужто не нашел ты попросторнее дороги? Я, право, не фазан и не лисица.

Проводник остановился.

— Правду сказать, я слишком далеко завел такого неженку, как ты,— возразил он.— Оставайся здесь по-

стеречь коней, покуда мы с Аммалат-беком сходим куда следует.

— Неужели ты пойдешь в лес без меня с этой разбойничьей харею? — шепнул Сафир-Али Аммалату.

— То есть ты боишься остаться здесь без меня? — возразил Аммалат, слезая с коня и отдавая ему повод. — Не поскучай, милый. Я оставляю тебя в прелюбезной беседе волков и чакалов. Слышишь, как они распевают?

— Дай бог, чтобы мне не пришлось выручать твои кости от этих певчих, — сказал Сафир-Али.

Они расстались.

Самит повел Аммалата между кустами над рекою и, прошедши с полверсты между камнями, начал спускаться книзу. С большою опасностью лезли они по обрыву, хватаясь за корни шиповника, и, наконец, после трудного пути, спустились до узкого жерла небольшой пещеры, вровень с водою. Она была вымыта потоком, когда-то быстрым, но теперь иссякшим. Известковые, трубчатые капельники и селитряные кристаллы сверкали от огня, разложенного посредине. В глуби лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клубившемся в пещере. Ружье со взведенным курком лежало у него на коленях; космы его шапки играли на ветре, который дул из расселины. Он приподнялся приветливо, когда Аммалат-бек кинулся к нему с приветом.

— Я рад тебя видеть, — сказал он, сжимая руку гостя, — рад и не скрываю чувства, которого не должно бы мне хранить. Впрочем, я не для пустого свидания ступил ногою в кляпцы и потревожил тебя. Садись, Аммалат, и посудим о важном деле.

— Для меня, Султан-Ахмет-хан?

— Для нас обоих. С отцом твоим водил я хлеб-соль; было время, когда и тебя считал я своим другом...

— Только считал?..

— Нет, ты и был им и навсегда бы остался им, если б между нами не прошел лукавец Верховский.

— Хан, ты не знаешь его.

— Не только я, скоро ты сам его узнаешь!.. Но начнем с того, что касается до Селтанеты. Аммалат, тебе известно, ей нельзя век сидеть в девках. Это был бы зазор моему дому, и я откровенно скажу тебе, что за нее уже сватаются.

Сердце будто оторвалось в Аммалате; долго не мог он собраться с духом. Наконец, оправясь, он дрожащим голосом спросил:

— Кто этот смельчак жених?

— Второй сын шамхала, Абдул-Мусселим. После тебя, по высокой крови своей, он больше других горских князей имеет права на Селтанету.

— После меня? после меня? — вскричал вспыльчивый бек, закипая гневом. — Разве меня хоронили? Разве и память моя погибла между друзьями?

— Ни память, ни сама дружба не умерла, по крайней мере в моем сердце. Но будь справедлив, Аммалат, столько же, как я откровенен. Забудь, что ты судья в своем деле, и реши: что должно нам делать? Ты не хочешь расстаться с русскими, а я не могу с ними помириться.

— О, только пожелай этого, только скажи слово, и все забыто, все прощено тебе. В этом ручаюсь я тебе своей головою и честью Верховского, который не раз мне обещал свое ходатайство. Для собственного блага, для спокойствия аварцев, для счастья твоей дочери и моего блаженства умоляю тебя: склонись к примирению, и все будет забыто, все прежнее возвращено тебе!

— Как смело ручаешься ты, доверчивый юноша, за чужую пощаду, за чужую жизнь!.. Уверен ли ты в своей собственной жизни, в собственной свободе?

— Кому нужна моя бедная жизнь? Кому дорога воля, которой не ценю я сам?

— Кому? Дитя, дитя! Неужели ты думаешь, что у шамхала не вертится под головой подушка, когда в голову забирается дума, что ты, настоящий наследник шамхальства тарковского, в милости у русского правительства.

— Я никогда не надеялся на его приязнь и никогда не побоюсь его вражды.

— Не бойся, но и не презирай ее. Знаешь ли, что гонец, посланный к Ермолову, минутою опоздал приехать и упросить его: не давать пощады, казнить тебя, как изменника. Он и прежде готов бывал убить тебя поцелуем, если б мог, а теперь, когда ты отослал к нему слепую дочь его, он не скрывает к тебе своей ненависти.

— Кто посмеет тронуть меня под защитой Верховского?

— Послушай, Аммалат, я скажу тебе побасенку: баран ушел на поварню от волков, и радовался своему счастью, и хвалился ласками приспешников. Через три дня он был в котле. Аммалат, это твоя история! Пора открыть тебе глаза. Человек, которого считал ты своим первым другом, первый предал тебя. Ты окружен, опутан изменою. Главное желание мое свидеться с тобою было долгом предупредить тебя. Святая Селтанету, мне дали от шамхала почувствовать, что через него я вернее могу примириться с русскими, нежели через безвластного Аммалата, что тебя скоро удалят так или сяк, безвозвратно, следственно, нечего бояться твоего совместничества. Я подозревал еще более и узнал более, чем подозревал. Сегодня перехватил я шамхальского нукера, которому поручены были переговоры с Верховским, и пыткой выведал от него, что шамхал дает пять тысяч червонцев, чтобы известить тебя... Верховский колеблется и хочет послать только в Сибирь навечно. Дело еще не решено, но завтра отряд идет по домам, и они согласились съехаться в твоём доме, в Буйнаках, торговаться о крови или кровавом поте твоём: будут составлять ложные доносы и обвинения, будут отравлять тебя за твоим же хлебом и ковать в чугунные цепи, суля золотые горы.

Жалко было видеть Аммалата во время этой ужасной речи. Каждое слово, как раскаленное железо, вторгалось в сердце его. Все, что доселе таилось в нём утешительного, благородного, высокого, вспыхнуло вдруг и превратилось в пепел. Все, во что он веровал так охотно и так долго, рушилось, распадалось в пожаре негодования. Несколько раз порывался он говорить, но слова умирали в каком-то болезненном стоне, и, наконец, дикий зверь, которого укротил Верховский, которого держал в усыплении Аммалат, сорвался с цепи: поток проклятий и угроз пролился из уст разъяренного бека.

— Мечь, мечь! — восклицал он. — Неумолимая мечь, и горе лицемерам!

— Вот первое достойное тебя слово, — сказал хан, скрывая радость удачи. — Довольно ползал ты змеем, подставляя голову под пяту русских; пора взвиться орлом под облака, чтобы сверху блюсти врага, недостижим его стрелами. Отражай измену изменою, смерть смертию.

— Так, смерть и гибель шамхалу, хищнику моей свободы; гибель Абдул-Мусселиму, который дерзнул простереть руку на мое сокровище!

— Шамхал? Сын его, семья его? Стоят ли они первых подвигов? Их всех мало любят тарковцы, и если мы пойдем на шамхала войною, нам все его семейство выдадут в руки. Нет, Аммалат, ты должен сперва нанести удар подле себя, сверзить своего главного врага: ты должен убить Верховского.

— Верховского! — произнес Аммалат, отступая. — Да!.. Он враг мой, но он был моим другом, он избавил меня от позорной смерти!

— И вновь продал на позорную жизнь!.. Хорош друг! Притом же ты сам избавил его от кабаньих клыков, достойной смерти свиноеду! Первый долг заплачен; остается отплатить за второй — за участь, которую он готовит тебе так коварно...

— Чувствую... это должно... Но что скажут добрые люди? Что будет вопиять совесть моя?

— Мужу ли трепетать перед бабьими сказками и плаксивым ребенком — совестью, когда идет дело о чести и мести? Я вижу, Аммалат, что без меня ты ни на что не решишься, не решишься даже жениться на Селтанете. Слушай: если ты хочешь быть достойным зятем моим, первое условие — смерть Верховского. Его голова будет — калым за невесту, которую ты любишь, которая любит тебя. Не одна месть, но и сама здравая расчетливость требует смерти полковника. Без него весь Дагестан останется без головы и оцепенеет на несколько дней от ужаса. В это время налетим мы на рассеявшихся по квартирам русских. Я сажусь на коня с двадцатью тысячами аварцев и акушинцев, и мы падем с горы на Тарки, словно снежная туча. Тогда Аммалат — шамхал дагестанский обнимет меня как друга, как тестя. Вот мои замыслы, вот судьба твоя! Выбирай любое: или вечную ссылку, или смелый удар, который сулит тебе силу и счастье. Думай, решайся; но знай, что в следующий раз мы встретимся или родными, или врагами непримиримыми!

Хан исчез.

Долго стоял Аммалат, обуреваемый, пожираемый новыми, ужасными чувствами. Наконец Самит напомнил ему, что время возвратиться в лагерь. Не зная сам как

и где, взобрался он вслед за своим таинственным провожатым на берег, нашел коня и, не отвечая ни слова на тысячи вопросов Сафир-Али, примчался в свою палатку. Там все муки душевного ада ожидали его. Тяжка первая ночь бедствия, но еще ужаснее первая ночь кровавых дум злодейства.

ГЛАВА X

— Замолчишь ли ты, змееныш? — говорила татарка старуха внуку своему, который, проснувшись перед светом, плакал от безделья. — Умолкни, говорю, или я выгоню тебя на улицу.

Старуха эта была мамка Аммалата. Сакля, в которой жила она, стояла вблизи палат бекских и подарена ей была ее воспитанником. Она состояла из двух чистенько выбеленных комнаток. Пол в обеих устлан циновками (гасиль); в частых нишах, без окон стояли сундуки, обитые жестью, и на них наложены перины, одеяла и вся рухлядь. По карнизам, на половине высоты стены, расставлены были фаянсовые чашки для плову, с жестяными на них, в виде шлемов, колпаками и повешены ребром на проволоке тарелочки, в коих просверленные скважины доказывали, что они служат не для употребления, а для красоты. Лицо старухи покрыто было морщинами и выражало какую-то злую досаду, обыкновенное следствие одинокой, безрадостной жизни всех мусульманок. Как достойная представительница своих ровесниц и землячек, она ни на одну минуту не переставала ворчать про себя и вслух бранить внука из-под стеганого своего одеяла.

— Кесь (молчи)! — вскричала, наконец, она еще сердитее, — кесь! Или я отдам тебя гоулям (чертям)! Слышишь, как они царапаются по кровле и стучатся за тобой в двери?

Ночь была ненастная, и крупный дождь по плоской кровле, составляющей вместе потолок, и стон ветра в трубе вторили ее хриплому голосу. Мальчик притих и, выпуча глаза, со страхом прислушивался. В самом деле слышалось, будто кто-то стучит в двери. Старуха перепугалась в свою очередь. Всегдашняя ее собеседница, лохматая собака подняла спросоньев морду и залаяла прелобным голосом.

Но между тем удары в дверь усилились, и незнакомый голос проревел за нею:

— Ачь капины, ахырын ахырыси (отвори дверь, наконец концов)!

Старуха побледнела.

— Аллах бисмаллах!.. — произнесла она, то обращаясь к небу, то грозя собаке, то унимая плачущего ребенка. — Цыц, проклятая! Молчи, говорю я тебе, харамзада (бездельник, сын позора)! Кто там? Какой добрый человек пойдет ни свет ни заря в дом к бедной старухе! Если ты шайтан, ступай к соседке Кичкине: ей давно пора в ад показать дорогу! Если чоуш (десятник), что правду сказать, немножко похуже шайтана, так убирайся прочь. Зятя нет дома, он в нукерах при Аммалат-беке, да меня же бек давным-давно освободил от постоя, а на угощенье приезжих дармоедов не жди от меня ни яйца, не то чтобы утенка. Разве я даром выкормила грудью Аммалата?

— Да отворишь ли ты, чертово веретено? — с нетерпением вскричал голос. — Или я из этой двери не оставляю тебе на гроб дощечки!

Хилые затворы затрещали на петлях своих.

— Милости просим, милости просим! — сказала старуха, дрожащей рукой отстегивая накладку.

Дверь распахнулась, и вошел человек среднего роста, прекрасной, но угрюмой наружности.

Он был в черкесском платье; с башлыка его и белой бурки струилась вода; он без всяких обвиняков сбросил ее на перину и начал развязывать лопасти башлыка, которые закрывали ему лицо до половины. Фатьма, вздув в это время свечу, стояла перед ним со страхом и трепетом; усатая собака, прижав хвостик, съежилась в углу, а мальчик с испугу залез в камелек, который для красы никогда не был топлен.

— Ну, Фатьма, спесива стала, — сказал незнакомец, — не узнаешь ныне старых знакомцев...

Фатьма взгляделась в черты пришельца, и у ней отлегло от сердца: она узнала Султан-Ахмет-хана, который от Кяфир-Кумыка примчался в одну ночь в Буйнаки.

— Пусть песок засыплет глаза, которые не узнали своего старого господина! — произнесла она, почтительно

сложив руки на груди.— Правду молвить, потухли они в слезах по своей родине, по Аварии. Прости, хан, старухе.

— Что твои за лета, Фатьма! Я тебя помню маленькой девочкою в Хунзахе, когда сам я насилу мог доставать воронят из гнезда.

— Чужая сторона хоть кого старит, хан! В родимых горах я бы до сих пор была свежа как яблочко, а здесь так словно снежный ком, с горы упавший на долину. Прошу сюда, хан, здесь покойнее. Да чем мне потчевать дорогого гостя? Не угодно ли чего душе ханской?

— Душе ханской угодно, чтоб ты его попотчевала своей доброй волею.

— Я в твоей воле, хан. Говори, приказывай.

— Слушай, Фатьма, мне некогда терять ни слов, ни часов. Вот зачем я приехал сюда. Сослужи мне службу языком, так будет чем потешить твои старые зубы. Я подарю тебе десять баранов и одену в шелк с головы до башмаков.

— Десять баранов и платье, шелковое платье! О, милостивый ага! О, добрый мой хан! Не видывала я здесь таких господ с тех пор, как увезли меня эти проклятые татары и выдали за немилотого... Все готова сделать, хан, хоть ухо режь.

— Резать незачем, надобно только остро держать его. Вот в чем дело: к вам сегодня приедет Аммалат с полковником, приедет и шамхал тарковский. Полковник этот приколдовал к себе молодого твоего бека и, научив есть свинину, хочет окрестить его христианином, от чего да сохранит его Магомет.

Старуха оплевывалась, возводя очи к небу.

— Чтобы спасти Аммалата, надо поссорить его с полковником. Для этого ты приди к нему, кинься в ноги, расплачься, как на похоронах, ведь слез тебе не занимать ходить к соседкам; разбожись, как дербентский лавочник, вспомня, что каждую клятву твою повезет дюжий баран, и, наконец, скажи ему, что ты подслушала разговор полковника с шамхалом, что шамхал жаловался за отсылку дочери, что он ненавидит его из боязни, чтобы он не завладел шамхальством, что он умоляет полковника позволить убить его из засады или отравить в кушанье, а тот соглашался только заслать его в Сибирь за тридевять гор. Одним словом, выдумай и распиши все покраснее. Ты искони славилась сказками; не съешь же теперь грязь

и пуще всего упирайся на то, что полковник, едуци в отпуск, возьмет его с собою в Георгиевск, чтобы разлучить с родными и преданными нукерами и оттоле скованного отправить к черту.

Султан-Ахмет прибавил к сему все нужные подробности для придания этой сказке самой правдоподобной наружности и раза два учил старуху, как ловче ввернуть их в речь.

— Ну, помни же все хорошенько, Фатьма,— сказал он, надевая бурку.— Не забудь и того, с кем имеешь дело.

— Валла, билла! Пусть будет мне пепел вместо соли, пусть нищенский чурек закроет мне глаза, пусть...

— Не корми шайтанов своими клятвами, а послужи мне речами. Я знаю, что Аммалат верит тебе крепко, и если ты для пользы же его хорошо сладишь дело, он уедет ко мне и тебя привезет туда же. Заживешь под моим крылышком припеваючи. Но повторяю тебе: если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или помешаешь своею болтовнею, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба ¹.

— Будь покоен, хан: им нечего делать ни за меня, ни со мной. Я буду хранить тайну, как могила, а на Аммалата надену сорочку свою ².

— Ну то-то же, старуха. Вот тебе золотая печать на губы; постарайся!

— Башуста, гёз-уста! ³ — вскричала старуха, с жадностью схватив червонец и целуя руки хана за этот подарок.

Султан-Ахмет-хан с презрением взглянул на это ползающее существо, выходя из сакли.

— Гадина,— проворчал он,— за барана, за кусок парчи готова бы ты продать и тело дочери, и душу сына, и счастье воспитанника.

Он не подумал, какое имя заслуживал он сам, опутывая друга коварством и нанимая для низкой клеветы, для злодейских намерений подобных существ.

¹ Кусочки жареного мяса на вертеле (шашлык). (Прим. авт.)

² То есть передаст ему свои чувства; татарское выражение. (Прим. авт.)

³ Охотно, позвольте! Слово в слово значит: на мою голову, на мои очи! (Прим. авт.)

Отрывок из письма полковника Верховского
к его невесте

Лагерь близ селения Кяфир-Кумык

Август.

...Аммалат любит, но как любит!! Никогда, и в самом пылу моей юности, не доходила любовь моя до такого иступления. Я горел, как кадило, зажженное лучом солнца, он пышет, как запаленный молниею корабль на бурном море. С тобою, Мария, мы не раз читали Шекспирова «Отелло», и только неистовый Отелло может дать идею о тропической страсти Аммалата. Он часто и долго любит говорить о своей Селтанете, и я сам люблю внимать его огнедышащему красноречию. Порой это мутный водопад, извергнутый глубокою пещерою; порой это пламенный ключ нефти бакинской. Какие звезды сыплют тогда его очи, какой зарницею играют щеки, как он прекрасен бывает тогда! В нем нет ничего идеального, но зато земное величаво, пленительно. Увлеченный, тронутый сам, я принимаю на грудь свою изнемогшего от восторга юношу, и он долго, медленными вздохами дышит и потом, склонив очи, опустив голову, будто стыдясь глядеть на свет, не только на меня, сжимает мне руку и неверною стопою уходит прочь, а после того целый день не выманишь от него слова.

Со времени возврата своего из Хунзаха он стал еще мрачнее прежнего; особенно в последние дни. Он так старательно кроет самое высокое, самое благородное чувство, сближающее человека с божеством, как будто оно позорная слабость или ужасное преступление. Он убедительно просился съездить еще раз в Хунзах повздыхать на свою красавицу, и я отказал ему, отказал для его же пользы. Я уже давно писал к Алексею Петровичу о моем баловне, и он велел привезти его с собой на воды, где он будет сам. Он хочет дать ему поручения к Султан-Ахмет-хану, которые принесут несомненные выгоды и России и Аммалату... О, как счастлив буду я его счастьем! Мне, мне будет обязан он блаженством жизни, не только пустою жизнью. Я заставлю его стать перед тобой на колени и сказать: *боготвори ее!* Если бы сердце мое не было проникнуто любовью к Марии, ты не овладел бы Селтанетой.

Вчера получил я летучку от главнокомандующего; великодушный человек! Он дает крылья счастливым вестям. Все кончено, милая, бесценная. Я еду к тебе на воды! Только доведу полк до Дербента — и в седло. Не буду знать устали днем, ни дремы ночью, покуда не отдохну в твоих объятиях. О, кто мне даст крылья на перелет! Кто даст сил вынести мое, наше благополучие!.. Я в сладком страхе сжимал грудь, чтобы не выпорхнуло сердце. Долго не мог я уснуть: воображение рисовало мне густую в тысяче видов, и в промежутках мелькали самые вздорные, но приятные заботы о свадебных безделках, подарках, урожаях; ты будешь в моем любимом зеленом цветке... не правда ли, душа моя?.. Мечты мешали мне заснуть, как сильное благоухание роз. Зато тем сладостнее, тем светлее был сон мой. Я видел тебя в сиянии зари, и раз за разом иначе, и каждый раз прелестнее, чем сперва. Сновидения вились цветочною вязью... иль нет, между ними не было никакой связи; то были чудные образы, выпадающие в калейдоскопе, столь же пестрые, столь же неуловимые. Со всем тем я проснулся сегодня грустен; пробуждение отняло у младенческой души моей любимую игрушку. Я зашел в палатку к Аммалату... Он еще спал, лицо его было бледно и сердито. Пускай сердится на меня; я предвкушаю уже благодарность бурного юноши. Я, как судьба, втайне создаю ему наслаждение...

Сегодня я прощался с здешними горами, надолго, желал бы навсегда. Я очень рад, что покидаю Азию, эту колыбель рода человеческого, в которой ум доселе остался в пленках. Изумительна неподвижность азиатского быта в течение стольких веков. Об Азию расшиблись все попытки улучшения и образования; она решительно принадлежит не времени, а месту. Индийский брамин, китайский мандарин, персидский бек, горский уздень неизменны, те же, что были за две тысячи лет. Печальная истина! Они изображают собою однообразную, хотя и пеструю, живую, но бездушную природу. Мечи и бичи покорителей не оставили на них, как на воде, никаких рубцов; книги и примеры миссионеров не произвели ни малейшего влияния. Иногда меняли они еще пороки, но никогда не приобрели чужих познаний или доблестей. Я покидаю землю плода, чтобы перенестись в землю труда, этого великого изобретателя всего полезного, одушевителя всего великого, этого будильника души человеческой,

заснувшей здесь негою, на персях прелестницы природы. И в самом деле, как прелестна здесь природа! Всклаив на высокую гору влево от Кяфир-Кумыка, я любовался на рассветающие вершины Кавказа. Глядел и не нагляделся на них! Что за дивная прелесть облекает их венцом своим! Еще тонкая завеса, сотканная из света и сумрака, лежит над нижними холмами, но далекие льды уже теплелись в небе, и небо, словно ласковая мать, припав к ним необъятным лоном, поило их млеком облаков, заботливо повивая туманною пеленою, освежая ветром тиховейным! О, как бы летом и полетела туда душа моя, туда, где священный холод простерся границею между земным и небесным! Сердце просит и жаждет вздохнуть воздухом небожителей. Хочется побродить по снегам, на которых не печатлел человек кровавых стоп своих, коих не омрачала никогда тень орла, до коих не долетали перуны и на вечно юном темени которых время — след вечности — не оставило следов своих!

Время? Мне пришла в голову странная мысль. Сколько дробных названий изобрел щепетильный человек для деления бесконечно малого отрезка времени от бесконечно великого круга вечности. Годы, месяцы, дни, часы, минуты... У бога нет ничего этого, нет даже ни вчера, ни завтра; у него все это слилось в одно вечное *ныне!*.. Увидим ли мы когда-нибудь этот океан, в котором тонем доселе? Но вопрос: к чему послужит это человеку? Неужели для удовлетворения пустого любопытства? Нет, познания истины, то есть всеразумной благодати жаждет душа человека мыслящего. Она хочет полною чашею черпать из источника света, который падает на нее изредка мелкими росинками!..

И я буду черпать ее... Тайный страх смерти тает как снег перед лучом такой надежды!.. Я буду черпать из него... Чистая любовь моя к ближнему тому залогом; свинцовые пути заблуждений — распадутся от немногих слез раскаяния, и повергну сердце свое, как жертву очистительную, перед судом, для меня не страшным!

Чудная вещь, моя милая! Едва взгляну я на горы, на море, на небо... какое-то грустное и вместе невыразимо сладостное чувство гнетет и расширяет сердце. Мысль о тебе сливается с ним, и, будто во сне, убегает от меня твой образ. Предвкушение ли это земного блаженства, которое знал я лишь по имени, или предчувствие... веч..?

О, бесценная, добрая, ангельская душа! Один взор твой — и я исцелен от мечтательности! Как счастлив я, что могу теперь с уверенностью сказать: до свиданья.

ГЛАВА XI

Яд клеветы пожигал внутренность Аммалата.

По наущению хана, кормилица его Фатъма со всеми признаками преданности и бескорыстной искренности передала ему условленную заранее сказку в тот же самый вечер, как он с Верховским приехал в Буйнаки, где встретил их шамхал, из учтивости и уважения к полковнику. Отравленная стрела вонзилась глубоко... Теперь сомнение было бы отрадою Аммалату, но убеждение, казалось, озарило все прежние дружественные и родственные связи его светом ярким, хотя и погребальным. В порыве ярости он хотел в ту же минуту утолить месть свою в крови обоих изменников, но уважение к святыне гостеприимства преодолело кровожадность. Он отложил на время убийство... Но мог ли забыть о нем? Каждый миг отсрочки, как разожженная медь, капал на его сердце. Воспоминания, доказательства, ревность, любовь вырывали оное друг у друга, и это положение было для него так ново, так странно, так страшно, что он впадал в безумие, тем более тяжкое, что должен был скрывать внутреннюю борьбу от своего прежнего друга. Так протекли целые сутки. Отряд остановился лагерем близ селения Бугдень, в котором ворота, построенные в ущелии, служащем дорогою в Акушу, замыкают оную по произволу жителей бугденских. Вот что писал Аммалат, желая хоть чем-нибудь облегчить тоску души, готовящейся на черное злодеяние...

Полночь

...Зачем бросил ты, Султан-Ахмет-хан, молнию в грудь мою? Братская дружба и братопредательство, братоубийство... Какие ужасные крайности! И между ними только один шаг, одно мгновение!..

Я не могу спать, не могу думать о другом, я прикован к этой мысли, как преступник к колоде своей. Кровавое море ходит, плещет, бушует кругом меня, и над ним сверкают только молнии вместо звезд!.. Душа моя подобна теперь голой скале, на которую слетаются одни

хищные птицы и злые духи делить добычу или готовить гибель. Верховский, Верховский! что сделал я тебе? За что хочешь ты сорвать с неба звезду моей свободы? Не за то ль, что я так нежно любил тебя! И почему ты подкрадываешься, как вор, клеветнешь, коварствуешь, лицемеришь? Сказал бы просто: «Мне нужна жизнь твоя», и я бы отдал ее безропотно... лег жертвою, как сын Ибрагима (Авраама); я бы простил тебя, если б ты посягал только на жизнь мою, но продать мою свободу, похитить у меня, заживо погребенного, Селтанету! Злодей! И ты еще дышишь!..

Но повременно, как опаленный голубь среди пожарного дыма, является мне образ твой, Селтанета!.. Отчего ж я не радостен, мечтая о тебе, как, бывало, прежде?.. Нас хотят разлучить, милая, отдать тебя другому, женить меня на могильной плите... но я приду до тебя по кровавому ковру, я исполню страшный завет, чтобы овладеть тобою. Не одних подруг зови на свадебный пир наш; зови коршунов и воронов... Всех угощу я досыта! Я заплачу богатое вено (калым)... В изголовье невесты положу я сердце, которое недавно еще ценил я дороже тронной подушки персидского падишаха¹.

...Чудная судьба!.. Невинная девушка, ты будешь виною неслыханного злодейства. Добрейшее создание, за тебя друзья станут терзать друг друга с зверскою лютою. Для тебя?.. За тебя?.. В самом ли деле за одну тебя?.. С лютою? С одной ли лютою? Верховский говорил, что убить неприятеля украдкою, врасплох — подло, низко; но если я не могу иначе сделать этого?.. Но можно ли ему верить? Хитрец хотел заранее опутать не только руку, но даже и совесть мою!.. Напрасно.

...Я зарядил теперь винтовку мою... Какой славный витой ствол... что за чудесная насечка! Она досталась мне от отца, отцу — от прадеда. Мне рассказывали про множество знаменитых из нее выстрелов, и ни один, ни один не был пущен украдкою... всегда в бою, всегда в глазах целого войска бросала она смерть; а теперь?.. Но обида, но измена, но ты, Селтанета!.. О, рука моя не дрогнет нанести удар тому, которого имя и написать она трепещет. Один заряд, один удар — и все кончено!

¹ Подушка сия, униженная дорогими камнями и жемчугом, не имеет цены. (Прим. авт.)

Заряд?.. Как он легок... Но как тяжело, может быть, станет каждое зернышко пороху на весах аллы!.. Как далеко, как невообразимо далеко забросит этот заряд душу человека!.. О, да будет проклят тот, кто изобрел тебя, серая пыль, предающая героя во власть последнего труса, поражающего издали врага, который бы одним взором обезоружил поднятую на него руку! Так, этот удар расторгнет все прежние связи мои, но он положит мне дорогу к новым. В прохладе Кавказа, на груди Селтанеты освежится вновь мое увялое сердце. Как ласточка, я совою себе гнездо на чужбине, как для ласточки, весна будет моим отечеством, я сброшу с себя все печали, как старые перья...

...Но линияют ли угрызения совести?.. Последний лезгин, завидя в бою того, с кем делил хлеб-соль, отворачивает коня в сторону и стреляет мимо, а я пронжу сердце, на котором отдыхал как брат родной! Конечно, он обманывал меня своей дружбою, но разве оттого менее был я счастлив? О, если бы этими слезами я мог выплакать гнев мой, залить ими жажду мщения, купить на них Селтанету!!

Что же медлит заря! Пускай выходит она... Я, не краснея, взгляну на солнце, не бледнея, в очи Верховскому. Сердце мое закалено против сострадания... измена зовет измену... Я решил... Скорей, скорей!

Так беспорядочно, бессвязно писал Аммалат, чтобы обмануть время и развлечь душу; так старался он обмануть самого себя, подстрекая себя местию, когда истинная вина его кровожадности, то есть желание владеть Селтанетою, пробивалась в каждом слове. Чтобы придать себе дерзости на злодеяние, он выпил много вина и, опьянелый, с ружьем кинулся к палатке полковника; но, увидя часовых у входа, раздумал: врожденное в азиатце чувство самосохранения не погасло и в самом безумии. Аммалат отложил до утра совершение убийства, но спать не мог он, но разгулять тоски своей не мог он... и, войдя снова в палатку свою, он схватил за грудь крепко спящего Сафир-Али и сильно потряс его.

— Вставай, соня! — вскричал он ему. — Уже заря.

Сафир-Али приподнялся с недовольным видом и, зевая, отвечал:

— Я вижу только винное зарево на твоих щеках. Спокойной ночи, Аммалат!

— Вставай, говорю я тебе! Мертвые должны покинуть гробы навстречу нового пришельца, которого обещал я им для беседы!

— Помилуй, братец, разве я мертвый?.. Пускай себе встают хоть сорок имамов¹ с дербентского кладбища, а я хочу спать.

— Но ты любишь пить, гяур, и ты должен пить со мною.

— Это иное дело... Наливай полнее... *Алла верды!*² Я всегда готов пить и любить.

— И врага убить!.. Ну, еще... за здоровье черта, который друзей оборачивает смертельными врагами.

— Так и быть!.. Катай за здоровье черта! Бедняжке нужно здоровье; мы вгоним его в чахотку с досады, что не удастся нас поссорить.

— Правда, правда, люди не нуждаются в нем для злобы... С Верховским и со мной он бросил бы карты... Но и ты не отстанешь, надеюсь, от меня?..

— Аммалат, я не только вино из одной бутылки, да и молоко сосал из одной груди с тобою. Я твой, если даже тебе вздумается, словно коршуну, свить себе гнездо на скале Хунзаха... Впрочем, мой бы совет...

— Никаких советов, Сафир-Али... никаких возражений!.. Теперь уже не время.

— И в самом деле, они перетонут, как мухи в вине; теперь пора спать...

— Спать, говоришь ты? Мне спать? Нет, я сказал прости сну... Мне пора пробудиться. Осмотрел ли ты ружье, Сафир-Али? Хорош ли кремень? Не отсырел ли от крови порох на полке?

— Что с тобою, Аммалат? Что у тебя за свинцовая тайна на сердце? Лицо твое страшно, речи еще страшнее...

— А дела будут еще ужаснее! Не правда ли, Сафир-Али, моя Селтанета прекрасна! Заметь это: моя Селтанета... Неужели это свадебные песни, Сафир-Али?.. Да,

¹ Мусульмане верят, что в часовне, на северном кладбище Дербента, положены сорок первых правоверных, замученных язычниками; русские суеверы подозревают, что тут схоронены сорок мучеников. (Прим. авт.)

² Приглашая пить, говорят: «бог дал», то есть за здоровье. (Прим. авт.)

да, да, понимаю... это чакалы просят добычи!.. Духи и звери! погодите немного, я насыщу вас. Гей! подайте вина, еще вина, еще крови... говорю я вам!

Аммалат упал в беспамятстве опьянения на постель; пена била клубом с его уст, судорожные движения волновали все тело; он произносил со стоном невнятные слова.

Сафир-Али заботливо раздел его, уложил, укутал и просидел остаток ночи над молочным братом своим, напрасно приискивая в уме разрешения загадочным для него речам и поведению Аммалата.

ГЛАВА XII

Поутру, перед выступлением, дежурный по отряду капитан пришел к полковнику Верховскому с рапортом и за новыми приказаниями. После обычного размена слов по службе, он со встревоженным видом сказал:

— Полковник! я обязан сообщить вам важную вещь. Вчерашний вестовой ваш, рядовой моей роты Хамитов, подслушал разговор Аммалат-бека с его кормилицею в Буйнаках. Он казанский татарин и порядочно понимает здешнее наречие. Сколько мог он разобрать и расслушать, старуха уверяла его, что вы с шамхалом собираетесь отправить его на каторгу. Аммалат бесился, бранился, говорил, что все это знает он от хана Аварского, и клялся погубить вас своею рукою. Не доверяя, однако ж, своему слуху, вестовой не решился ничего объявить, а стал присматривать за всеми его шагами. Вечерась ввечеру, говорит он, Аммалат разговаривал с каким-то издалека приехавшим всадником; на прощанье сказал он: «Скажи хану, что завтра, чуть встанет солнце, все будет кончено. Пусть готовится он сам, я с ним скоро увижусь!»

— И только, г-н капитан? — спросил Верховский.

— Более ничего не имею я сказать, но очень многое думать. Я измыкал свой век между татарами и удостоверился, полковник, что безрассудно доверяться самому лучшему из них. Родной брат небезопасен, отдыхая на руке брата.

— Тому вина зависть, капитан; Каин передал ее в вечное и потомственное владение всем людям, но преимущественно соседям Арарата. Нам же с Аммалатом нечего делить; притом же я ничего не сделал ему, кроме

добра, ничего не хочу делать, кроме благодеяний. Будьте покойны, капитан; я очень верю усердию вестового, но мало — его знанию татарского языка. Несколько сходных звуков ввели его в заблуждение; а уж раз создал в уме умысел, все прочее казалось ему доказательствами. Право, я не такой важный человек, чтобы ханы и беки делали заговоры на жизнь мою. Я очень хорошо знаю Аммалата; он вспыльчив, но доброго сердца, и не смог бы двух часов потаить злодейского умысла.

— Не ошибитесь, полковник! Аммалат все-таки азиат, а это слово — аттестат. Здесь не как у нас, здесь слово скрывает мысль, а лицо — душу. На иного взглянешь, ну, кажется, сама невинность, а попытайте иметь с ним дело: это бездна подлости, коварства и лютой.

— Вы имеете полное право так думать, любезный капитан, по опыту. Султан-Ахмет-хан дал вам памятную поминку в Буйнаках, в доме Аммалата. Но я, я не имею никакого повода подозревать в чем-либо ужасном Аммалата. Да и какую выгоду найдет он убить меня? Во мне все его блага, все надежды. Он сумасброд, но не сумасшедший; притом же, как видите, солнце высоко, а я жив и здоров. Сердечно благодарю вас, капитан, за участие, но прошу вас: не сомневайтесь в Аммалате и, видя, как ценю я старую дружбу, будьте уверены, что я буду высоко ценить и новую. Прикажите бить подъем.

Капитан вышел, сомнительно качая головою. Барабаны загремели, и выстроенный в боевой порядок отряд двинулся с ночлега далее. Утро было свежо и ясно; путь вился по зеленым валам предгорий кавказских, где, инде увенчанных лесом или кустарником. Строй был подобен стальному потоку, то катящемуся с гор, то востекающему на холмы. Туманы еще лежали в удолиях, и Верховский, въезжая на вершины, каждый раз оглядывался, чтобы полюбоваться чудною игрою зрения. Спускаясь с крутизны, строй точно будто тонул в дымной реке, подобно войску фараона, и, наконец, с глухим шумом вновь сверкали штыки из волн тумана, потом являлись головы, плечи, люди росли, вырастали, избегали на высь и снова окутывались в туманы другого ущелия.

Аммалат ехал бледен и угрюм, подле самого взвода застрельщиков. Казалось, он желал, чтобы грохот барабанов заглушил в нем голос совести. Полковник подовал его к себе и очень ласково сказал:

— Тебя надобно пожурить, Аммалат: чересчур ты начал следовать урокам Гафиза. Вспомни, что вино хороший слуга, но злой барин. Впрочем, головная боль и желчь, разлитая по твоему лицу, верно подействуют на тебя гораздо лучше слов. Ты провел буйную ночь, Аммалат?

— Бурную, мучительную ночь, полковник! Дай бог, чтобы такая ночь была последнею... Мне снились страшные сны.

— Ага, дружок! Вот каково преступать завет Магомета: правоверная совесть тебя мучила, как стены!

— Хорошо, у кого совесть спорит с одним вином.

— Какова совесть, любезный! По несчастию, она так же подвержена предрассудкам, как и сам рассудок. У каждого века, у каждого народа была своя совесть, и голос вечной, неизменной истины умолкал перед самозванкою. Так было, так есть. Что вчерась почитал инсий грехом смертным, тому завтра молится; что считают правым и славным на этом берегу, за речкой доводит до виселицы.

— Однако ж, я думаю, лицемерие и измена никогда и нигде не считались добродетелями.

— Не скажу и этого. Мы живем в таком веке, где лишь удача решит, хороши или нет были средства ее достигнуть, где люди самые совестные изобрели для себя очень покойное правило, что цель освящает средства.

Аммалак-бек в раздумье повторил эти слова, потому что их оправдывал. Яд эгоизма снова начинал в нем разыгрываться, и слова Верховского, которые считал он коварством, лились, как масло на пламя.

«Лицемер! — говорил он про себя, — час твой близок!»

И между тем Верховский, как жертва, ничего не подозревающая, ехал рядом с своим палачом. Не доезжая верст восьми до Киекпта, с горы открылось перед ними Каспийское море, и думы Верховского понеслись над ним, как лебедь.

— Зеркало вечности... — произнес он, впадая в мечтания. — Отчего не радуется сегодня меня лицо твое? Как прежде, играет на тебе солнце, словно божья улыбка, и лоно твое так же величаво дышит вечною жизнью, но это жизнь не здешнего мира! Ты кажешься мне сегодня печальною степью: ни лодки, ни корабельного паруса,

никакого признака бытия человека... Все пусто! Да, Ам-малат! — примолвил он, — мне наскучило ваше почти всегда сердитое, пустое море, ваш край, населенный болезнями и людьми, которые хуже всех болезней в свете; мне наскучила самая война с незримыми врагами, самая служба с недружными товарищами. Этого мало, что мне мешали в деле, портили, что приказывал делать... но порочили то, что я думал делать, и клеветали на сделанное. Верой и правдой служил я государю, бескорыстно — отечеству и здешнему краю; отказался я, добровольный изгнанник, ото всех удобств жизни, ото всех радостей общества, осудил свой ум на неподвижность, без книг; похоронил сердце в одиночестве, без милой... И что было мне наградою? О, скоро ль настанет минута, когда я брошусь в объятия моей невесты, когда я, усталый от службы, отдохну под сенью родной хижины на злачном берегу Днепра... когда, мирный селянин и нежный отец семейства, в кругу родных и добрых крестьян моих, буду бояться только града небесного за жатву, сражаться только с дикими зверями за стадо! Сердце поет по этом часу! Отпуск у меня в кармане, отставка обещана... так бы летом летел к невесте. И через пять дней я непременно буду в Георгиевске, а все кажется, будто пески Ливии, будто ледяное море, будто целая вечность могилы разлучают нас!..

Верховский умолк; по щекам его катились слезы; конь его, почуяв брошенные поводья, ускорил ход, и, таким образом, вдвоем с Аммалатом они далеко опередили отряд... Казалось, сама судьба предавала полковника в руки злодея.

Но жалость проникла в душу неистового, вином пылающего Аммалата, подобно лучу солнечному, упавшему в разбойничью пещеру. Он увидел тоску и слезы человека, которого столь долго считал другом своим, и колебался... «Нет, — думал он сам с собою, — до такой степени невозможно притворяться!..»

В эту минуту Верховский очнулся, поднял голову и сказал Аммалату:

— Приготовься... ты едешь со мною!

Несчастные слова! Все доброе, все благородное, возникавшее вновь в груди азиатца, в один миг было подавлено ими; мысль о предательстве, о ссылке огненным потоком протекла по всему его существу.

— С вами? — возразил он с злобною усмешкою. — С вами в Россию? О, без сомнения, если вы сами поедете!

И в порыве гнева он пустил вскачь коня своего, чтобы иметь время справиться с оружием, и вдруг обратился навстречу полковнику, пронесся мимо и стал давать быстрые круги около. С каждым скоком сильнее разгоралось в нем пламя бешенства. Ему казалось, что свистящий мимо ушей воздух жужжал ему: «Убей, убей! Это враг твой! Вспомни Селтанету...» Он схватил из-за плеча меткое ружье свое, взвел курок и, ободряя себя криком, поскакал с кровожадною решительностью к обреченной жертве.

Между тем Верховский, не питая ни малейшего подозрения, спокойно смотрел на скачку Аммалата, воображая, что он, по напутному обычаю азиатцев, хочет поджигитовать.

— Стреляй в цель, Аммалат-бек! — закричал он несущемуся на него убийце.

— Какая цель лучше груди врага! — отвечал Аммалат-бек, наскакивая, и в десяти шагах спустил курок!.. Выстрел грянул... и молча, медленно свалился полковник с седла. Испуганный конь его, вздув ноздри, ошетилив гриву, обнюхивал всадника, в руке которого замерли доселе повелительные поводья, а конь Аммалата стал вдруг перед телом, упершись передними ногами. Аммалат соскочил с него и, опершись на дымящееся ружье, несколько мгновений пристально смотрел на лицо убитого, как будто желая доказать самому себе, что он не страшится этого неподвижного взора, потухающих очей, этой холодеющей крови... Трудно было узнать, невозможно передать того, что крутилось вихрем в груди. Сафир-Али прискакал стремглав и кинулся на колени подле полковника... Приложил ухо к устам его: не дышит! ощупал сердце: не бьется!

— Он мертв! — произнес Сафир-Али отчаянным голосом.

— Мертв? Совсем мертв? Тем лучше: мое счастье свершено! — произнес Аммалат, будто пробуждаясь от сна.

— Для тебя счастье! Для тебя, братоубийцы!.. Если ты найдешь его, свет станет молиться шайтану вместо аллы.

— Сафир-Али! вспомни, что ты не судья мне! — грозно сказал Аммалат, ступая в стремя.— Следуй за мною.

— Пускай одно раскаяние преследует тебя как тень; отныне я не товарищ твой!

Пронзенный до глубины души неожиданным укором от человека, с которым связан был дружеством от младенчества, Аммалат не вымолвил слова, указал своим изумленным нукерам на ущелие и, видя погоню, как стрела ринулся в горы.

Тревога распространилась по фронту; передовые офицеры и донские казаки кинулись на выстрел, но они поздно прискакали туда; они не могли ни воспрепятствовать злодейству, ни достичь убегающего злодея. Через пять минут окровавленный труп изменнически убитого полковника окружен был толпами солдат и офицеров. Недоумение, негодование, жалость были написаны на всех лицах. Гренадеры, опершись на штыки, плакали навзрыд; и нелюбимые слезы текли у них градом по храбром любимом начальнике.

ГЛАВА XIII

Трое суток скитался Аммалат по горам Дагестана. Как мусульманин, он и в деревнях, покорных русскому владычеству, между людьми, для коих воровство, разбой и бегство — доблесть, безопасен был от всякого преследования; но мог ли уйти от сознания в собственном преступлении? Ни ум, ни сердце его не оправдывали кровавого поступка, и образ падающего с коня Верховского неотступно возникал даже перед закрытыми очами. Это еще более ожесточало, раздражало его. Азиатец, совратясь однажды с пути, быстро пробегает поприще злодейства. Завет хана, чтоб не являться перед него без головы Верховского, звенел в ушах его. Не смея открыть такого намерения нукерам своим, еще менее надеясь на их отвагу, он решился ехать к Дербенту один-одинехонек, целиком через горы и доли.

Глухая, темная ночь раскинула уже креповые крылья свои над приморскими хребтами Кавказа, когда Аммалат переехал ущелие, лежащее сзади крепости Нарынь-Кале, служащее цитаделью Дербенту. Он поднялся к развалинам башни, замыкавшей некогда кавказскую стену, по-

перек гор тянувшуюся, и привязал коня своего у подножия того кургана, с которого Ермолов громил Дербент, бывши еще артиллерийским поручиком. Зная, где хоронят чиновников, он прямо вышел на верхнее русское кладбище. Но как найти ему свежую могилу Верховского во тьме ночи? В небе ни звездочки; облака налегли на горы; горный ветер, как ночная птица, хлопал по лесу крыльями; невольный трепет проник Аммалата посреди края мертвецов, коих покой дерзал он нарушить. Прислушивается. Море бушует, напирая и отшибаясь от подводных плит. Протяжное *слушай!* часовых обтекало стены города, и вслед за ним раздавался вой чакалов, и, наконец, все стихло, сливаясь с шумом ветра. Сколько раз вместе с Верховским бодрствовал он в подобные ночи,— и где теперь он? И кто низвергнул его в могилу? И его убийца пришел теперь обезглавить труп недавнего друга, надругаться над его останками; как вор гробокопный, пришел похитить достояние могилы, спорить с чакалами о добыче.

— Чувства человеческие! — произнес Аммалат, отирая холодный пот с чела, — зачем посещаете вы сердце, которое отверглось человечества? Прочь, прочь! Мне ли бояться отнять голову у мертвеца, у которого похитил я жизнь? Ему это не потеря, а мне — сокровище... Прах бесчувствен!

Аммалат дрожащей рукой высек огня, раздул его на сухом бурьяне и пошел с ним искать новой могилы. Рыхлая земля и большой крест указали ему последнее жилище полковника. Он выдернул крест и начал разгребать им холмик; разбил еще не окрепший кирпичный свод и, наконец, сорвал крышку с гроба. Бурьян, вспыхивая, проливал неровный кровосиний блеск на предметы. Склонясь над покойником, убийца, бледнее самого покойника, глядел на труп неподвижно. Он забыл, зачем пришел туда, голова его кружилась от запаха тления, сердце в нем обратилось при виде кровоголавых червей, которые вились уже из-под платья. Прервав свою страшную работу, они, испуганные светом, расплзались, сбирались, прятались друг под друга! Наконец, ожесточась, он несколько раз взмахивал кинжалом, и всякий раз немеющая рука его падала мимо. Ни месть, ни честолюбие, ни любовь — словом, ни одна страсть, подвигшая его на убийство, не ободряли теперь на безымянное

неистовство. Отворотив голову, в каком-то забытьи стал он рубить Верховского по шее... На пятом ударе голова отделилась от туловища. С отвращением бросил он ее в приготовленный мешок и спешил вылезть из могилы. До сих пор он еще побеждал себя; но когда с страшным кладом своим карабкался вверх, когда камни с шумом обрушились под его ногами и он, осыпанный песком, снова упал на труп Верховского, присутствие духа оставило святотатца: ему казалось, что пламя охватило его, что адские духи, плеща и хохоча, взвились окрест его... С тяжким стоном вырвался, выполз он без памяти из душевной могилы и бросился бежать, страшась оглянуться. Вскочив на коня, он погнал его, не разбирая утесов и оврагов, и каждый цепляющийся за платье куст казался ему рукою мертвеца, и каждый шелест ветки и стон чакала — голосом дважды зарезанного друга.

Везде, где ни проезжал Аммалат, встречал он вооруженные толпы акулшинцев и аварлы, приезжих чеченцев и тайных хищников из татарских деревень, подвластных России. Все они спешили на сборные места, ближе к границе, между тем как беки, узденя и князьки съезжались в Хунзах, для совета с Султан-Ахмет-ханом, под предводительством и по приглашению которого собирались они ударить на Тарки. Время к тому было самое благоприятное: хлеб в амбарах, сено в стогах, и русские, взяв аманатов, в совершенной безопасности расположились на зимние стоянки. Весть об убийстве Верховского разлетелась по всем горам и весьма ободрила горцев. Весело сходились они отовсюду, везде слышались их песни о будущих битвах и добычах, а тот, за кого шли сражаться они, проезжал между ними, как беглец и преступник, скрывая лицо от солнца, не смея взглянуть никому прямо в глаза. Все, что случилось с ним, все, что видел он, теперь представлялось ему будто в удушливом сне... Он не смел сомневаться в том и не мог верить...

На третий день к вечеру доехал он до Хунзаха. Трещая от нетерпения, спрыгнул он с коня, измученного бегом, и взял из тороков роковой мешок. Передние комнаты были полны воинами. Наездники в кольчугах расхаживали или вдоль стен лежали на коврах, шепотом разговаривая между собою... но повисшие брови их, не угрюмые лица доказывали, что в Хунзахе получены,

верно, худые вести. Нукеры бегали взад и вперед торопливо, и никто не спросил, никто не проводил Аммалата, никто не обратил на него внимания. У самых дверей спальни ханской сидел Сурхай-Хан-Джинка, то есть побочный сын Султан-Ахмета, и горько плакал.

— Что это значит? — с беспокойством спросил его Аммалат. — Ты, у которого и в младенчестве не добивались слез, ты плачешь?..

Сурхай безмолвно указал на двери, и Аммалат с изумлением переступил за решетчатый порог.

Сердце раздирающее зрелище представилось глазам пришельца. Посреди комнаты на тюфяке лежал хан, обезображенный быстрою болезнью. Незримая, но уже неотразимая кончина носилась над ним, и погасающий взор встречал ее с ужасом. Грудь вздымалась высоко и потом тяжело опадала; дыхание шипело в гортани, жилы рук напрягались и снова исчезали; в нем совершалось последнее борение жизни с разрушением... Пружина бытия уже лопнула, но колеса еще двигались неровным ходом, задевая друг за друга. Едва искры памяти мелькали в нем, как падучие звезды сквозь ночь, густеющую над душою, и отражались на мертвеем лице. Жена и дочь рыдали на коленях у его ложа; старший его сын Нуцал в безмолвном отчаянии стоял в ногах, склонив чело на сжатую руку. Несколько женщин и нукеров плакали тихо поодаль.

Все это, однако ж, не поразило, не образумило Аммалата, преисполненного одною мыслию. Он твердою поступью приблизился к хану и громко сказал ему:

— Здравствуй, хан! Я привез тебе подарок, от которого бы оживился мертвец. Готовь свадьбу; вот мой выкуп за Селтанету! Вот голова Верховского! — С этим словом он бросил ее к ногам хана.

Знакомый голос пробудил на миг Султан-Ахмета от последнего сна; он поднялся с усилием, чтобы взглянуть на подарок, и трепет волной пробежал по его телу, когда он увидел мертвую голову.

— Пускай съест свое сердце тот, кто потчует умирающего такой ужасною яствою! — произнес он едва внятно. — Мне надо помириться с врагами, а не... Ах, горю! Дайте воды, воды... Зачем вы напоили меня горячею нефтью? Аммалат! я проклинаю тебя!..

Усилие истратило последние капли жизни в хане: он упал бездушным трупом на изголовье. Ханша с негодованием смотрела на кровавый, неуместный подарок Амалата; но когда увидела она, что это ускорило смерть ее мужа, вся тоска ее вспыхнула огнем гнева.

— Посол ада! — вскричала она, сверкая взором. — Любуйся: вот твои подвиги! Если б не ты, муж мой не задумал бы подымать на русских Аварлу и теперь здоров и покоен сидел бы дома; но для тебя, объезжая узденей, он упал с крутизны и слег в постелю... И ты, кровопийца, вместо того чтоб утешить больного краткими словами, чтобы молитвою и милостыней помирить его с аллахом, принес, как людоеду, мертвую голову, и чью голову? Твоего благодетеля, защитника и друга!

— На то была воля хана, — угрюмо возразил Амалат.

— Не клевети на мертвого, не марай его памяти лишнею кровью! — воскликнула ханша. — Недовольный тем, что изменнически зарезал ты человека, ты с его головою приехал сватать дочь мою у смертного одра отца, и ты надеялся получить награду от людей, заслужив мечь от бога? Безбожник, бездушник! Нет, гробом предков и саблями сыновей клянусь: ты никогда не будешь зятем моим, знакомцем, гостем моим. Удались из моего дома, изменник! У меня есть сыновья, которых можешь ты зарезать обнимая, у меня есть дочь, которую можешь ты зачаровать, отравить змеиными своими взорами. Ступай скитаться в ущельях гор, учи тигров терзать друг друга и отбивай падаль у волков. Ступай и ведай, что дверь моя не отворится для братоубийцы.

Амалат стоял, как опаленный молниею.

Все, что роптала невнятно его совесть, высказано было ему вдруг и так неожиданно, так жестоко. Он не знал, куда девать очи свои. Там лежала голова Верховского с обвинительною кровью, там виделось укорительное чело хана с печатью мучительной кончины, там встречал он грозные очи ханши... Лишь плачущие очи Селтанеты казались ему приветными звездочками сквозь дождевую тучу. К ней-то решился приблизиться он, робко произнеся:

— Селтанета! для тебя совершил я то, за что тебя теряю... Судьба хочет этого — да будет! Одно скажи мне: неужели и ты разлюбила меня, ужели и ты ненавидишь?

Знакомый милый голос проник ее сердце. Селтанета

подняла свои ресницы, блистающие слезами, свои глаза, полные тоскою; но, увидев страшное, кровью забрызганное лицо Аммалата, закрыла опять их рукою. Она указала перстом на труп отца, на голову Верховского и твердо сказала:

— Прощай, Аммалат; я жалею тебя, но не могу быть твоею.

Сказав слова сии, она пала без чувств на тело отца.

Вся природная гордость вместе с кровью прилила к сердцу Аммалата. Дух его вспыхнул негодованием.

— Так-то принимают меня здесь,— молвил он, бросая презрительный взгляд на обеих женщин.— Так-то исполняют здесь обеты. Я рад, что глаза мои прояснели. Я был слишком прост, когда ценил переходчивую любовь ветреной девушки, слишком терпелив, слушая бредни старой женщины. Вижу, что с Султан-Ахмет-ханом умерли здесь честь и гостеприимство.

Он вышел гордо.

Он дерзко заглядывал в глаза узденей, сжав рукоятку кинжала, как будто вызывая их на бой. Все, однако ж, уступали ему дорогу, но, кажется, более избегая его, чем уважая; никто не приветствовал его ни словом, ни знаком. Он вышел на двор, кликнул нукеров своих, безмолвен сел в седло и тихими шагами поехал по пустым улицам Хунзаха.

С дороги в последний раз оглянулся он на ханский дом, чернеющий в высоте и мраке, между тем как решетчатые двери блистали огнями. Сердце его облилось кровью, оскорбленное самолюбие вонзило в него железные когти свои, а напрасное злодеяние и любовь, отныне презренная, безнадежная, пролили отраву на раны. С тоскою, с гневом, с сожалением бросил он прощальный взор на гарем, в котором узнал и потерял все радости земные.

— И ты, и ты, Селтанета! — более не мог произнести он. Свинцовая гора лежала на груди; совесть его уже чувствовала страшную руку, на ней тяготеющую; минувшее его ужасало, будущее приводило в трепет... Куда приклонит он свою оцененную голову? Какая земля упокоит кости изгнанника? Не о любви, не о дружбе, не о счастии отныне будет его забота, но о скудной жизни, о скитальческом хлебе... Аммалат хотел плакать; глаза его горели... И, как богач, кипящий в огне, сердце его

молило об одной капле, об одной слезинке: залить, утолить нестерпимую жажду... Он силится плакать и не мог. Провидение отказало в этой отраде злодеям.

И куда скрылся убийца Верховского? Где влачил он жалкое свое бытие? Никто наверно не знал этого. По Дагестану ходили слухи, что он скитался между чеченцами и койсубулинцами, утратив красоту и здоровье и даже самую отвагу; но кто же мог сказать про то утвердительно? Мало-помалу запала и молва об Аммалате, хотя злодейская измена его до сих пор свежа на памяти русских и мусульман, обитателей Дагестана; до сих пор имя его никем не произносится без укора.

ГЛАВА ХІV

Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот пламенный мятеж для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку Рион, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами. Потом повели они бревенчатые траншеи, вырубая для того окрестный лес. С каждою ночью возникали новые бойницы ближе и ближе к стенам города. Внутри дома пылали от бомб, наружные стены рушились ядрами, но турецкий гарнизон, усиленный горцами, дрался отчаянно, делал смелые вылазки и на все предложения о сдаче отвечал пушечными выстрелами. Между тем осаждающие беспрестанно беспокоиваемы были кабардинскими наездниками и пешими стрелками абазехов, шапсугов, натухайцев и других свирепых горцев Черноморья, сбежавшихся, подобно чакалам, искать добычи и крови. Против них должно было строить обратные реданты, а эта двойная работа, производимая под пушечными выстрелами с крепости и ружейными из леса, в почве неровной и болотистой, очень замедляла покорение города.

Наконец накануне взятия Анапы, на единственном сухоходе с юго-восточной стороны, русские открыли

брешь-батарею. Действие ее было ужасно. По пятой очереди зубцы и бруствер были опрокинуты, орудия обнажены и сбиты. Ядра, ударяясь в каменную одежду, вспыхивали молниєю, и потом, в черной туче пыли, взлетали куски расторгнутых камней. Стена сыпалась, распадалась, но крепость, но толщина оной долго противостояли разрушительной силе чугуна, и крутым обвалом осыпанная стена не представляла еще возможности к штурму.

Для разгоревшихся орудий и долгою стрельбою утомленных артиллеристов необходим был отдых. Мало-помалу пальба стихла на всех батареях суши и моря. Густые облака дыма катились с берега и расстилались по волнам, то скрывая, то открывая опять флотилию. Изредка срывался клуб дымный с орудий крепости, и вслед за раскатами пушечного грома, отзывающегося в далеких горах, несколько пуль свистали кой-откуда. И вот все умолкло кругом, все притаилось внутри Анапы и траншей; ни одной чалмы между зубцами, ни одного граненого штыка в завалах. Только турецкие знамена по башням и русские флаги на судах гордо играли в воздухе, не омраченном ни одною струйкою дыма; только звучный голос муэдзинов раздавался далеко, призывая мусульман к полудневной молитве.

В это время с пролома, против самой брешь-батареи, спустился, или, лучше сказать, скатился, всадник на белом коне, поддерживаемый веревками, перескочил через полузасыпанный ров и как стрела ударил влево между батареей, перепорхнул через завалы, через дремлющих за ними солдат, которые не ждали и не гадали ничего подобного, и, преследуемый торопливыми их выстрелами, скрылся в лесу. Никто из всадников не успел его рассмотреть, не только за ним гнаться; все только ахали от удивления и досады и скоро забыли про удальца в тревоге, поднятой пальбою с крепости, заведенною нарочно, чтобы дать время бесстрашному вестнику убраться в горы.

К вечеру брешь-батарея, гремевшая неумолчно, почти совершила свое дело разрушения: опрокинутая стена легла мостом для осаждающих, и они с нетерпением отваги готовились к приступу, как вдруг неожиданное нападение черкесов, снявших наши ведеты и цепь, не заставило обратить огонь редантов против неистовых, дерзких горцев. Громовое *алла, гилль, алла!* понеслось навстречу им со стен Анапы. Пушечная и ружейная пальба закипела

с них вдвое сильнее, но русская картечь остановила, смешала, развеяла толпы всадников и пеших черкесов, готовых ударить на орудия в шашки, и они с грозными перекликами *гяур гяурлар* обратились назад, покидая за собой усталых. В один миг все поле было усеяно их трупами, их ранеными, которые пытались уползти, карабкались и падали снова, пораженные пулями и картечью, между тем как ядра посекали лес, а гранаты, лопааясь в нем, довершали истребление.

Но с самого начала дела до тех пор, покуда ни одного неприятеля не осталось вблизи, русские с изумлением видели перед собою статного черкеса на белом коне, который тихим шагом проезжался взад и вперед мимо наших редантов. Все узнали в нем того самого всадника, что перескочил через траншеи в полдень, вероятно для подговора черкесов напасть на русских сзади, в то время, как они хотели выпустить из ворот не удавшуюся теперь вылазку. Брызжа и урча, прыгали около него картечи. Конь его рвался на поводках, но сам он, хладнокровно поглядывая на батареи, ехал вдоль их, будто с них осыпали его цветами. Артиллеристы грызли зубы с досады, видя ненаказанную дерзость этого наездника; но выстрел за выстрелом рвали воздух и землю, но он оставался невредим, как очарованный.

— Посылай ядро! — сказал фейерверкеру молодой артиллерийский офицер, только что выпущенный из корпуса, раздосадованный всех более неудачей. — Я готов зарядить пушку своей головою: так хочется мне убить этого хвастуна. Картечью не стоит стрелять по одному: картечь — авось; ядро съест виноватого.

Так говоря, он подвинчивал клин и наводил сквозь диоптр орудие, и, верно рассчитав, в какое мгновение всадник наедет на черту прицела, встал с хобота и скомандовал роковое *пли!*

На несколько мгновений дым одел батарею мраком... Его разнесло... Испуганный конь мчал окровавленное тело всадника, запутавшегося ногами в стремях.

— Попал, убил! — закричали со всех траншей, и молодой артиллерист, набожно сняв фуражку, перекрестился и с веселым лицом спрыгнул с батареи, чтобы поймать заслуженную добычу. Ему скоро удалось схватить за поводья коня поверженного в прах черкеса, потому что он кружился, влача его сбоку. Несчастному оторвало руку

близ плеча, но он еще дышал, еще стонал и бился. Жалость взяла доброго юношу: он кликнул солдат и заботливо велел перенести раненого в траншею, послал за лекарем и при своих глазах дождался конца операции.

Ночью, когда уже все утихло, артиллерист сидел над полумертвым своим пленником, с участием рассматривая его при тусклом свете фонаря. Змеинный след тоски, проторенный на щеках слезами, глубокие морщины лба, нарезанные не летами, но страстями, и кровавые царапины обезображивали его прекрасное лицо, и на нем выражалось что-то мучительнее боли, что-то страшнее кончины. ...Артиллерист не мог удержать невольного содрогания. Пленник вздохнул тяжело и, с усилием подняв руку до лба, открыл ею свои отяжелевшие веки, произнося про себя неясные звуки, несвязные слова...

— Кровь...— сказал он, разглядывая свою руку,— все кровь! Зачем на меня надели эту кровавую рубашку?.. Я и без того плаваю в крови... Зачем же не тону в ней?.. Как холодна сегодня она... Бывало, она жгла меня... да и это не легче!! На свете было так душно... в могиле так холодно!.. Страшно быть мервецом!.. Глупец я! Искал смерти... О, дайте мне воротиться на свет!.. Дайте пожить, еще хоть денек, хоть часок пожить!.. Что такое? Что? Зачем я спрятал в могилу другого? шепчешь ты... Узнай сам, каково в ней! Узнай, каково умирать!..

Судорожное движение прервало бред его; невыразимо страшный стон вырвался из груди страдальца, и он впал в томительное забытие, в котором одна душа живет еще, чтобы страдать.

Артиллерист, тронутый до глубины сердца, приподнял голову несчастного, sprыснул ему лицо холодной водою и тер спиртом виски, чтобы привести его в чувство. Медленно открыл он очи, несколько раз потряс головою, будто желая отряхнуть с ресниц туман, и пристально устремил зрачки на лицо артиллериста, бледно озаренного мерцанием свечи. И вдруг с пронзительным криком, будто магическою силою, приподнялся он с ложа... Волосы его стали дыбом, все тело дрожало лихорадочной дрожью, руки искали что-то оттолкнуть от себя... Неописанный ужас изобразился на его лице...

— Твое имя? — вскричал он наконец, обращаясь к артиллеристу.— Кто ты, пришелец из гроба?

— Я Верховский,— отвечал молодой артиллерист. Это был выстрел прямо в сердце пленнику; лигатура на главной артерии лопнула от прилива, и кровь хлынула сквозь перевязки!.. Еще несколько трепетаний, несколько хриплений, и ледяная рука смерти задушила в груди раненого последний вздох, сохранила на челе печать последней тоски, собирающей медленность целых лет раскаяния в один быстрый миг, в который душа, отрываясь от тела, чувствует равно муки жизни и ничтожества, чувствует вдруг все угрызения минувшего и все страхи будущего. Страшно было видеть обезображенное лицо этого мертвеца.

— Он, верно, был большой грешник! — тихо сказал Верховский стоявшему подле него генеральскому переводчику, содрогаясь неволью.

— Большой злодей! — примолвил переводчик.— Мне кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать, чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски, как этот пленник. Дайте-ка мне посмотреть его оружие, не найдем ли на нем каких примет.

Говоря так, он с любопытством обнажил кинжал, снятый с убитого, и, приблизив его к фонарю, разобрал и перевел следующую надпись:

«Будь медлен на обиду — к отмщенью скор!»

— Самое разбойничье правило! — сказал Верховский.— Бедный брат мой Евстафий! Ты пал жертвою подобного изуверства.

Глаза доброго юноши наполнились слезами...

— Нет ли чего еще? — спросил он.

— Вот, кажется, имя убитого,— отвечал переводчик.— Оно: Ам мал а т - б е к!





Фрегат «Надежда»

В начале бе слово.

*Княгиня Вера *** к своей родственнице
в Москву*

О, как сердита я на тетушку Москву, что ты не со мной теперь, мой ангельчик Софья! Мне столько, столько надо рассказать тебе... а писать, право, нечего. Я так много прожила, столь многому навиделась в эту неделю!.. Я так пышно скучала, так рассеянно грустила, так неистово радовалась, что ты бы сочла меня за отаитянку на парижском бале. И поверишь ли: я уж испытала, ma chérie¹, что удивление — прескучная вещь и что новость приторнее ананасов. Двор и свет так закружили меня, что я могу выслушать самую безвкусную нелепость не поморщась, увидеть прелестнейшую картину без улыбки. Но петергофский праздник, но сам Петергоф — о, это исключение, это жемчужина исключений!.. У меня еще до сих пор рябит в глазах и в уме, звенит в ушах от грома пушек, от кликов народа, от шума фонтанов и волн, рассыпающихся звуками о берега. Внимательно мы слушали, жадно, бывало, поглощали мы описание петергофских чудес с тобою; но когда я их увидела наяву, они поглотили меня, я забыла все, даже тебя, мой ангельчик!

¹ Моя дорогая (фр.).

Я летала в небо вместе с водометом, падала вниз пуховою пеною, расстилалась благоуханною тенью по аллеям, дышащим думою, играла солнечным лучом с яхонтовыми волнами взморья. Это был день,— но что за ночь его увенчала!.. Залюбоваться надо было, как постепенно загоралась иллюминация: казалось, огненный перст чертил пышные узоры на черном покрывале ночи. Они раскидывались цветами, катились колесом, вились змеей, свивались, росли,— и вот весь сад вспыхнул!.. Ты бы сказала: солнце упало на землю и, прокатясь, рассыпалось в искры... Пламенные вязи обняли деревья, перекинулись цветными сводами чрез дороги, охватили пруды звездистыми венками; фонтаны брызнули как вулканы, горы растаяли золотом. Каналы и бассейны жадно упивались отблесками, перенимали узоры, двоили их и, наконец, потекли пожаром. Ропот народа, сливаясь с шумом падающих вод и тихо зыблемых дубрав, оживлял эту величавую картину своею дивною гармоникою... то был голос волшебника, то была песня сирены. Часу в одиннадцатом ночи весь Олимп спустился на землю. Длинные колесницы понеслись по саду, и, право, блестящие дамы двора, которые унизывали их, подобно ниткам жемчужным, могли издали показаться мечтой поэта,— так блестящи и воздушны были они... не исключая и меня. На мне тогда было глазетовое платье, которое, не знаю, право, почему, называется при дворе русским, испод белый атласный с золотом... Что за фасон, что за шитье, Софьюшка,— хоть на колени стать перед ним! Новый берет с райскою птичкою (мне подарил его вчера муж мой) очень шел ко мне, и если б я не верила зеркалам, то одобрителный около меня ропот мужчин мог бы убедить самого Фому неверующего, что твоя кузина очень недурна. Но ты ждешь, верно, описания петергофского маскарада *t'amie*¹? Боже мой! да откуда я возьму памяти или порядка!.. В голове моей образы толкуются будто мошки... Генеральские звезды гонят с неба звезды неба, учтивые рыбы Марлийского пруда пародируют вместе с гвардейскими болтунами, которым не худо бы взять у первых несколько уроков скромности, и я не могу вспомнить камер-юнкера, чуть не плачущего над раз-

¹ Мой друг (фр.).

битым лорнетом, чтобы мне не представился Самсон, раздирающий льва. Статуи Аполлона Бельведерского и Актеона танцуют передо мной польский с графиней Зизи или княжною Биби... и я, право, боюсь, что начну рассказывать тебе про комплименты князя Этьеня, а за ключу грибом, точащим воду¹.

Впрочем, все говорят, что маскарад был из самых блистательных, то есть давно не было истрчено такого множества румян и блесков, свечей и любезности. Твой дядюшка, *le cher homme*², навешал на себя столько украшений, что насмешники уверяли, будто он готовится к художественной выставке, а дородную москвитянку нашу, княгиню Z., за огромный шлейф ее, сравнивали с злоущею кометой, и совершенно даром: она так ловко носила хвост свой, как лисица. Ты помнишь, я думаю, высокого адъютанта, который смешил нас прошлую зиму своими наборными фразами, пахнувшими юфтью Буаста?.. *Eh bien, Sophie*³, про него генеральша Т. сказала, будто он доказал ей, что и башмаки есть оружие наступательное!.. Да где мне пересказать тебе все остроты или все плоскости, которые сыпались в толпе, как мишура с платьев! где мне припомнить всех, с которыми прогуливалась я, рука с рукой, в этом маскараде! Около меня змеями вились золотые и серебряные аксельбанты, и не одна генеральская канитель, не один черный ус трепетали и крутились от удовольствия, когда я произносила: *«avec plaisir, monsieur»*⁴. Ах, как мне надоели эти попугаи с белыми и черными хохлами на шляпах, милочка!.. Они, кажется, покупают свои фразы вместе с перчатками. Как наши старинные московские обеды начинались холодным, так у них неизбежно отправляется вперед вопрос: *«Vous aimez la danse, madame?»*⁵ Нет, сударь! Я готова возненавидеть танцы из-за танцоров, которые, как деревянная кукушка в часах моей бабушки, вечно поют одно и то же и наводят тоску своим кукованьем. Беда с такими кавалерами, но с прославленными остро-

¹ В Петергофе есть беседка в виде гриба, которая неожиданно обливает водой. (Прим. авт.)

² Милый человек (фр.).

³ Так вот, Софья (фр.).

⁴ С удовольствием, сударь (фр.).

⁵ Вы любите танцы? (фр.)

умцами — вдвое горе! Они жгутым крутят бедный мозг свой, чтобы выжать из него каплю розовой воды или уксуса.

— Вы привлекаете на себя все глаза и все лорнетты,— говорил мне один дипломат, покачиваясь так важно, как будто б от его равновесия зависело равновесие Европы.— И посмотрите, княгиня, как загораются, как блестят все взоры, встречаясь с вашими; *c'est un véritable feu d'artifice*¹.

— Не совсем,— отвечала я ему,— *je vois beaucoup d'artifice, mais où est donc le feu?*²

Поверишь ли, *ma chérie*, что в этом потоке голов, в этом млечном пути глаз голубых, серых, черных ни одно лицо не улыбнулось мне, как бы я желала, ни один взор не горел ко мне участием,—я не нашла в них ничего оригинального, ничего стоящего смеха или мысли. «Как мало здесь кавалеров!» — говаривали мы в Москве белокаменной; «как мало людей!» — говорю я здесь. Бесхарактерность провела по всем свой ледяной уровень. Напрасно будешь вглядываться в черты — не узнаешь век, какому народу, какому мнению принадлежат эти люди. Под улыбкой нет выражения, под словом не дороешься мысли, под орденами — сердца. Это какая-то картина, покрытая ослепительным лаком... ее дорого ценят по преданию, хотя никто не понял, что она изображает. Во весь сегодняшний вечер, в целый вечер, не удалось мне ни услышать, ни подслушать ни одной речи, которая бы врезалась в память. Говорили, говорили они,— да чего спи не говорили, а что сказали? Только один, разговаривая со мной, сделал довольно удачное сравнение.

— Посмотрите вдаль и вкруг,— сказал он,— не правда ли, что этот бал похож на английский сад? Перья и цветы на дамах качаются, как прелестный цветник от поцелуя зефира. Там тянется польский, будто живая дорожка; там купы офицеров с зыбкими султанами стоят, как пальмы. Вот Уральский хребет в шитом златоносными песками мундире! Вот пещера с отголоском, повторяющим сто раз слово я. Далее: в этом горбуне вы видите мост, который никуда не ведет; везде золотые клю-

¹ Это настоящий фейерверк (искусственный огонь) (фр.).

² Я вижу много искусственности, но где же огонь? (фр.)

чи, которые ничего не отпирают; тут погребальную урну, хранящую французский табак, и девушек, бродящих окрест с невинными мечтами овечек. Даже,— продолжал мой насмешник, лукаво взглядывая на ряды пожилых дам,— если позволено вздуть сравнение до гиперболы, мы можем найти здесь не одну живописную развалину, не один обломок Китайской стены, не одну готическую башню, из которой предрассудки выглядывают, как совы.

— *Воп Dieu!*¹, как вы злы! — возразила ему я. — Разве нельзя для сравнения найти предметов более игривых? Вы бы могли, например, поместить какой-нибудь победный памятник, какой-нибудь храм в этом саду, так же как в Царском Селе.

— В таком случае,— сказал мой партнер, раскланиваясь,— я беру на себя роль роstralной колонны; но храмом, и притом храмом любви, будете вы!

Я с улыбкой взглянула на приветника... Как жаль, что он немолод и некрасив; и потом этот долгий, тонкий нос — самая неудачная его острота...

Мы уж дома.

Любви? любви? — зачем эта мысль впелась в мое сердце, закабаленное свету, как эта живая роза в хитро-сплетенные косы мои? Почему не могу выбросить ее за окно, как я бросаю эту розу? Отчего я вздыхаю каждый раз, когда о ней услышу, и чуть не плачу, когда о ней вздумаю! О, добрая моя Софья! резвая, беззаботная подруга моего девичества! Если б ты знала, из какого тяжелого металла льются брачные венцы, если б ты поверила, что коробочка Пандоры есть необходимый свадебный подарок, ты бы пожалела меня. Столько блеску, и так мало теплоты! Бегу навстречу к мужу моему, с горячностью ласкаюсь к нему... но он принимает меня, как учитель дитя... он только терпит мои ласки, но не ищет их, не отвечает на них. Я почти только и вижу его за столом... и тогда трюфели заманчивее для него всех очей в мире. Домой привозит он только усталость от службы и скуку от искательства, и когда любовь моя просит взаимности, он, зевая, говорит приветствия!.. Нужны ли мне уборы, экипажи — он сыплет деньгами. Вздумается ли мне быть там и там — он не скажет нет, лишь бы я его

¹ Боже милостивый (фр.).

не звала с собою; а его улыбка, его радушное слово дороже мне гостинца, и за один поцелуй я бы готова неделю просидеть дома. «Это почти жалоба», — скажешь ты, моя милая. Нет, душечка! это миг нетерпения, это пройдет; я только мимоходом хотела заметить, что грустно, очень грустно не иметь прихотей, которые бы не исполнялись, между тем как единственное справедливое желание безответно и безнадежно!.. Сердце мое вянет на холодной золотой звезде... вянет... и где любовь, где самая дружба, чтоб оживить его слезою участия?!

Полночь. Темно и тихо кругом... только море, как любовник, грозит и ластится к камням Монплезира, в котором живем мы; только вдали повременно мелькают на яхтах огоньки, как неясные мысли. Грусть клонит меня ко сну... До завтра, моя милая Софья.

Петербург, 1 июля 1829 года.

*Письмо второе
от той же к той же*

Закладую свою слезу против блески, да, слезу, десять, двадцать слез даже (а это для меня не безделица, как ты знаешь, милая кузина), — ты никак не угадаешь, где я была сегодня. На гулянье верхом, на танцевальном завтраке? — скажешь ты. О, нет, это слишком обыкновенно. На смотре войск? Мимо. На фейерверке? Еще того менее. Я каталась, и знаешь ли где, и поверишь ли на чем?.. Не в пруде на пароме, не в реке на ялике, — вообрази себе... я каталась в открытом море, на сорокашестипушечном фрегате! О, я уверена, что твое московское воображение, не выдавшее нигде бури, кроме Чистых прудов, бледнеет перед мыслию о неизмеримости, об ужасах моря. Сущие пустыки, моя милочка! Мода и нас, робких женщин, может производить в героини, а раз ступивши на палубу, скоро ты приглядишься к страху, что в океане будешь как в гостиной. Ну, право, море — премилое создание, и мне так полюбилося оно с первого визита нашего знакомства, что я готова бы совершить путешествие кругом света. Вообрази себе... но нет... лучше себе припомнить, что надо начать сначала... m'y voila ¹.

¹ Итак, начинаю (фр.).

Я надеюсь, ты слышала, как нынешний государь любит флот?.. Он воскресил его, он вдохнул в него русскую силу и дал ему чистые лавры под Наварином. Государю угодно было угостить двор и посланников прогулкою по морю; и в самом деле, какое угощение от достойного внука Великого Петра могло быть царственнее, величественнее этого! Катера были готовы, утро — предель... Двор начал размещаться... Признаюсь, неохотно рассталась я с берегом; казалось, мне больно оторвать стопу от земли, и я с трепетанием сердца прыгнула в катер. Но когда весла грянули, когда длинная вереница шлюпок, из которых каждая подобилась плавучей корзине с цветами, ринулась в море, и впереди всех орлом полетел двадцативесельный катер, несущий в себе славу и надежду России; когда берега стали бегом уходить от нас, а далекий Кронштадт с дремучим лесом мачт поплыл к нам навстречу, — тогда безграничное море развилось за ним, синяя и сверкая... страх мой перелился в тихое, новое для меня наслаждение, и мне стало так хорошо в ладье, будто в колыбели когда-то.

И вот миновали мы Кронштадт и приблизились к эскадре, готовой вступить под паруса. Матросы унизывали все снасти, все реи в узор и кричали *ура!* Едва государь с высочайшим семейством взошел на адмиральский корабль, весь флот поднял якоря, и катера наши приставали к ближним кораблям наудачу... Вид был восхитительный! Упавшие паруса образовали словно плавучую стену с огромными башнями. Мы долго спорили со своими подругами о выборе: одна хотела стопушечного корабля, толстого, как наш председатель палаты; другая, более умеренная, довольствовалась семидесятным, лишь бы на нем веял флаг контр-адмирала; третья желала сесть на раззолоченную, разряженную, будто на бал, яхточку. Не знаю почему, только мне всех более понравился стройный фрегат, идеал легкости, красоты и силы. Он так гордо бросал в облака свои стрелы; долгиe флаюгера его так остроумно и прихотливо сверкали в воздухе, он сам так важно колебался на волнении... пушки его с таким любопытством выглядывали на нас из окон, что во мне родилось непреодолимое желание видеть это милое чудовище у себя под ногою. Не знаю, красивее ли всех или настойчивее всех подруг моих на катере была я, только победа осталась за мною. Офицер гвардейского

экипажа, который своєю ногою управлял кормилом нашей двенадцативесельной республики, отдал честь моему вкусу и поворотил под корму моего любимца. На поясе резвой его галереи золотыми буквами написано было: «Надежда». Это одно слово стоило предпочтения.

Висячая лестница устлана была флагами... Выходим... Вообрази себе! Нет, ты не можешь себе вообразить, что я там увидела! Не знаю, с чего начать, не знаю, можно ли кончить!.. То был новый мир, то была чудная поэма. Помост чистый, выложенный, как стол; снасти, закрученные завитками, блоки, сверкающие как серьги, сетки, сплетенные фантастическими кружевами, медь горит как золото; чугун орудий как сизое вороново крыло! И потом — эта стройная суета кругом... это необозримое раздолье перед очами!.. По звуку серебряных свистков, казалось, великан наш размахнул широко руками, чтобы поймать ветер; грудь его надулась, и он, с каждым мигом ускоряя бег, ринулся, наконец, прямо, пожирая пространство. Голова моя закружилась каким-то обаятельным вихрем, и когда глаза мои прояснели опять, они встретились с очами капитана корабля, которого не разглядела я сначала, хотя он и приветствовал нас при встрече. Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: *вот человек!* Высокий, стройный стан, благородная осанка и это не знаю что-то привлекательное в лице, несколько не правильном и столько выразительном, отличали его от прочих. Но глаза его — что это были за глаза, моя Софья! — влажные, голубые как волна моря, они сверкали и хмурились подобно волне, готовой и лелеять и поглотить того, кто ей вверится. В приемах его не было модной вертлявости; в нем заметна была даже какая-то крутость, какая-то дикость, происходящая, быть может, не от замешательства; со всем тем это очень шло к нему. Он, краснея, говорил с нами; он опускал очи перед взорами дам, и сначала голос его дрожал как металлическая струна цитры. И вот наш дикарь оправился, поднял свои огненные очи, стал рассказывать нам о всех эволюциях, о назначении каждой вещи так мило, так занимательно, так шуточно, что мы, женщины, забыли свою обычную болтовню и разве-разве влетали в гирлянду рассказа кой-какие вопросы. Я упала с облаков, *ma chérie*. Судя по слухам, я самого любезного из моряков считала немного половее

моржа, играющего на гитаре, которого показывали в кадке под качелями, а тут нечаянно встретила на досках палубы человека образованного, хотя и в шляпе без султана, даже без плюмажа,— человека, который бы украсил любой паркет столичных гостиных. Занимаясь нами, он не забывал, однако, своей обязанности, и одно слово, один взгляд его двигали громаду корабля — эту гениальную мысль, одетую в дуб и железо, окрыленную полотно.

Мы сошли вниз; какая изысканность в роскоши кают! какой тонкий вкус в украшениях! Строй орудий вооружал оба борта. Ядра низались кругом красивыми бусами. Копья, топоры и все абордажные оружия развешаны были, как галантерейные вещи. Посредине просторного дека (я замучу тебя морскими шарадами) разевал свою пасть огромный люк, то есть отверстие, сквозь которое далеко, глубоко внизу, во мраке, глаз с ужасом распознавал ряды бочек и лапу огромного запасного якоря — надежда всегда остается на дне. Мужу моему всего более понравилась чугунная кухня со всеми затеями гастрономии. Когда ему поднесли на пробу кусок говядины, назначенный для команды, он повторил фразу Лареньера: «Ainsi cuit on aurait mangé son père»¹.

Наконец капитан незаметно свел нас au fin fond de l'enfer², и сердце у нас сжалось; мы все ахнули от страха, когда он сказал нам, помахивая свечкою, что мы находимся теперь в пороховой камере, в сердце корабля. Мне уже показалось, что заряды, несмотря на уверение, что они заключены в ящиках, прыгают около меня, как шутихи, что все горит около, что я дышу, что я задыхаюсь пламенем,— я быстро выпрыгнула на свежий воздух.

— И точно, вам всех более должно было опасаться взрыва,— шутя молвил капитан,— один взор таких глаз — и какое сердце не взлетит на воздух!

Я на него взглянула.

Между тем эволюции шли своей чередою. Флот катился в открытое море; берега тонули. По приказу адмирала, высказанному флагами, корабли то строились в две линии, то обращались в другую сторону, то проре-

¹ С такою приправою можно съесть родного отца. (Прим. авт.)

² В самую глубь преисподней. (Прим. авт.)

звали одну линию другою... точно шахматы титанов; и мы так близко миновали другие корабли, что могли меняться приветами со своими знакомыми. Наконец император поднял свой штандарт, и едва победоносный орел взмахнул крылами в золотом поле — вмиг салютные выстрелы загрели со всех судов. Ах! какой это был прелестный ад! Сначала клубы дыма отдельно катились по волнам, но скоро все море превратилось в жерло вулкана. Ветер не успевал разнести одну тучу, а уж другие напирали все выше и выше, все чернее и чернее. Не говорю о громе; я думала, что я на вечность оглохну, так что и страшной трубы не услышу. С кормы любовалась я на валы дыма и моря... Капитан фрегата стоял подле, задумчиво устремя на меня очи; мы молчали, да и можно ли было говорить под говором тысячи чугунных кумушек; но мне было так весело, будто игривый сон носил меня на крылах в пространстве. Вдруг, в трех шагах от меня, раздался еще выстрел и вслед за ним крик: «Упал, упал человек, тонет!» Я обмерла. Один канонир, прибывая заряд, был оглушен нечаянным его взрывом и с подмостков¹, на которых стоял он, сброшен за борт... В один миг несчастный очутился за кормою... потеряв память, он только крутился в пенной борозде, вьющейся вслед руля. Ни одной шляпки не было спущено, а сброшенный ему поплавок плыл в другую сторону... Он уже погружался, еще миг — и он бы исчез; но в этот миг капитан бросился с борта в море, — все ахнули, все прильнули к поручням; верхние пушки умолкли; и вот он вынырнул, схватил утопающего, плывет к кораблю, но корабль уходит... человеческая воля не может вдруг сдержать разбежавшуюся громаду. Ужас оледенил нас, когда увидели, что спаситель изнемогает под тяжестью: он стал кружиться на месте, окунулся, опять всплыл, опять ушел, и долго-долго не было видно его!.. Вот золотой эполет блеснул из седой пены, но это было на два мгновения... Я уж не могла ничего видеть, и когда раздирающий душу крик: «утонул!» раздался кругом меня, я потеряла чувства...

Как сладостно возвращаться к жизни, покуда одно телесное чувствует этот возврат, покуда какая-нибудь горестная мысль не пронзит ума... Так было и со мною.

¹ Вероятно, с бизан-русленей. Между вантпоутингсов нередко прорезываются порты. (Прим. авт.)

Вдруг воспоминание о гибели великодушного капитана сжало мне сердце будто стальною перчаткою, едва-едва я стала приходить в себя. Я с криком открыла глаза — и кто бы, думаешь ты, стоял за мною, орошая меня струями воды, текущей с утопленника как с зонтика. Ты угадала — это был он!..

Закрываю письмо, как я закрыла тогда глаза, чтобы хоть минутою долее насладиться таким сновидением... я была им так счастлива!.. О, дай мне еще раз улететь из светской жизни; дай мне, как пчеле, упиться росой этого цветущего воспоминания, я хочу забыться, хочу забыть, я забываю все остальное...

Петербург, 2 июля 1829 года.

I

...E per questo, quand'io veggo che gli uomini cercano per una certa fatalità le sciangure con la lanterna, e che vegliano, sudano, piangono per fabbricarsele doloresissime, eterne — io mi sparpaglierei le cervella temendo che non mi cacciasse per capo una simile tentazione.

Ugo Foscolo¹

Две недели спустя после императорского смотра флоту в кают-компани фрегата «Надежды», часу в одиннадцатом ночи, за ужиным столом сидел один уже лекарь Стеллинский. Все прочие офицеры разошлись по своим каютам, но сын Эскулапа, по достохвальной привычке, остался для химического разложения вновь привезенного портвейна. Рассуждая и прихлебывая, потом прихлебывая и рассуждая, он дофилософствовался до премудрого сомнения: голова ли вертится на плечах, или предметы около головы? Склоняясь более к последнему мнению, лекарь, казалось, поджидал, когда подойдет к нему одна из недопитых бутылок, танцующих перед ним

¹ И потому, когда я вижу, как люди, в силу какого-то зова, ищут несчастий с фонарем в руках и как они стремятся в поте лица своего и в горести уготовить себе самые мучительные и вечные из них, — я готов пустить по ветру мои мозги, из боязни, как бы и в меня не перешло в конце концов подобное искушение. Уго Фосколо (ит.).

оптический польский. Он, правда, порывался раза два отхлопнуть эту красавицу у свечи, тускло сиявшей между бутылками как разум между страстями, но глазомер изменял желанию, и длань героя блуждала в пространстве: окаянная шейка увертывалась из-под его пальцев не хуже школьника, играющего в жмурки. На беду, качка усиливалась с каждою минутою, и борьба силы самозащиты с силой, влекущею лекаря к бутылке, по закону механики, вероятно кончилась бы тем, что его туловище отправилось бы по диагонали, проведенной от его носа под стол, но, к счастью, стол был привинчен к полу, и Стеллинский так вцепился в него руками, как будто хотел спастись на нем от потопления. В это время в кают-компанию вошел вахтенный лейтенант... его только что спустил товарищ поужинать. Скидывая измоченную дождем шинель, он уже смеялся на проделки Стеллинского.

— Эге, Флогистон Хининович,— молвил он,— ты, кажется, бедствуешь!.. Смотри, брат, не подмочи своих анатомических препаратов.

— Не бойтесь, не испортятся,— отвечал лекарь, размахнув руками как балансер на веревке шестом, отыскивая центр своей тяжести,— я их сохраняю в спирте!

— Прекрасное средство,— сказал лейтенант, глотая рюмку водки,— отличное средство, и я прошу извинить меня, господин доктор, что употребляю его теперь без вашего рецепта.

— Стократ блаженны те, которые лечатся и умирают по рецептам... Неужели вы, Нил Павлович, считаете рецепты бесполезными?

— Напротив, я считаю их преполозными — для закуривания трубок,— отвечал лейтенант, буквально врезавшись в кусок ростбифа и столь же проворно выпускающая речью, как глотая говядину.

К счастью, что портвейн служил тому и другому путем сообщения, так что слова и ростбиф расплывались, не зацепляя друг друга.

— Как, сударь, рецепты?.. ре-ре-цепты? О, *sana insania!*¹ Жечь векселя на получение здоровья!

— Скажите лучше, контрамарки на вход в кладбище. Впрочем, мне случалось не раз быть больным; не раз

¹ О, здравое безумие! (лат.)

писал мне мой доктор и рецепты вдвое длиннее своего носа, хоть нос у него являлся накануне, а сам завтра. Я очень набожно брал их между большим и указательным перстами, держал на чистом воздухе в горизонтальном положении минут по пяти...

— И потом?..— спросил лекарь, изумленный этим средством симпатической фармакопеи.

— И потом — пускал на ветер. Желудку моему от того было не хуже, а кошельку вдвое лучше.

— Вы, конечно, любите Ганемановы выжидающие средства, Нил Павлович... и, надеясь на природу, подвиньте, пожалуйста, бутылку.

— Но ты, кажется, не гомеопат, Стеллинский, не хочешь ждать, чтоб природа подала тебе бутылку, и вместо капельных приемов тратишь столько вина зараз, что им бы, по методе Ганеманна, можно было напоить допьяна всех рыб Финского залива на пятьдесят лет, не считая этого. Однако, чем черт не шутит, разве не попадают порою в цель с завязанными глазами! Итак, вам же поклон, любезный внук Эскулапа. Вместо того чтоб ловить ночью мух, пошарьте-ка в кивоте своего гения — не отыщете ль в нем какого-нибудь действительного средства против сумасшествия?

— Разве вы хотите лечиться? — лукаво спросил лекарь, между тем как лицо его сморщилось в гримасу, которую в великий пост можно было бы счесть за усмешку.

— Ай да Флогистон Кислотворович! Славно, брат; право, хоть куда. Иной подумает, что ты изобрел этот ответ натошак. Но я все-таки ложусь на прежний румб и повторяю вопрос мой. Ты теперь в восторженном состоянии, в возвышенной температуре, так что зерном пороху, которое, сгорая, расширяется в тысячу раз против прежнего объема...

— ...Sic est...¹ притом же масоны красное вино называют красным порохом... картуз в ду-ло!.. Ну, теперь я заряжен. Итак,— продолжал, крякая и охорашиваясь, лекарь,— итак, вам угодно знать лекарство против сумасшествия?.. Гм! ге! Древние, между прочим и отец медицины...

— То есть мачеха человечества...— ввернул слово лейтенант.

¹ Так и есть (лат.).

— Гиппо-по-крат, думали, что частое употребление галлебора, то есть чемерицы, или в просторечии чихотки, может помочь, то есть облегчить, или, лучше сказать, исцелить, повреждение церебральной системы... Да и почему же не так? Разве не знаем, или не видали, или не испытывали вы сами, что щепотки три гренадерского зеленчака могут протрезвить человека, ибо нос в этом случае служит вместо охранного клапана в паровых котлах, чрез который лишние пары улетают вон. А поелику и самое безумие есть не что иное, как сгущенная лимфа, или пары, или мокроты, именуемые вообще *serum*, которые, отделяясь от испорченной крови, наполняют клетчатую мозговую плеву (в это время лекарь любовался гранеными изображениями стакана, из которого он орошал цветы своего красноречия)... *gm, gel!*.. плеву и, постепенно действуя и противодействуя сперва на тунику, потом на перикраниум, а наконец и на белое существо мозга... А, это, верно, птица, или пава?.. почему Авиценна и Аверроэс, даже сам Парацельс... Пава, точно пава!.. советуют диету и кровопускание! Другие же, как, например, Бургав, действуют шпанскими мухами, вессикаториями и синапизмами; третьи, чтоб сосредоточить ум, вероятно, разбежавшийся по всему телу, бреют голову, льют холодную воду на темя и охлаждают его ледяным колпаком...

— Чтоб черт изломал грота-рей на голове проклятого выдумщика такой пытки! Мало содрать с живого кожу — так давай закапывать в лед, как бутылку вина на выморозки! Вся ваша медицина — уменье променивать кухонную латынь на чистое серебро, пока матушка-природа не унесет болезни или ваши лекарства — больного!

— Прошу извинить, Нил Павлович... медицина... за ваше здоровье... происходит от латинского слова... как бишь его... ну да к черту медицину!.. А безумие, как имел я честь доложить, делится на многие разряды. Во-первых, на головокружение, во-вторых, на ипохондрию, потом на манию, на френезию...

— И на магнезию...

— Как на магнезию? Это что за известие? Магнезия не болезнь, а углекислая известь, а френезия, напротив...

— Есть вещь, о которой вы часто говорите, которую вы редко вылечиваете и которой никогда не понимаете... Не правда ли, наш возлюбленный доктор?

— Правда на дне стакана, Нил Павлович...

— То-то ей, бедняге, и достаются одни дрожжи.

— Пускай же она и вьется в них, как пескарь,— мы обратимся к нашему предмету.

— То есть к *вашему* предмету, доктор.

— Гм! ге! Вы верно не знаете, что многие врачи причисляют к безумию головную боль, цефальгию и даже сплин!

— Не знаю, да и знать не хочу.

— Вещь прелюбопытная-с... Вообразите себе, что однажды (это было очень недавно) некто знаменитый русский медик, анатомируя тело одного матроса, нашел... то есть не нашел у него селезенки, сиречь spleen, которая и дала свое название болезни. Из этого заключили, что человек одарен в ней лишнею частию, без которой он легко бы мог жить. Правда, иные утверждают, будто в животной экономии селезенка необходима для отделения желчи, но лучшие анатомисты до сих пор находят ее пригодною только для гнезда сплина, считают украшением, помещенным для симметрии...

Медицинские лекции так еще свежо врезаны были в памяти лекаря, что он и пьяный мог говорить чепуху с равным успехом, как и натрезве; но лейтенант, который кончил уже свой ужин, остановил оратора, так сказать, на самом разлете.

— Устал я слушать твою микстуру, любезный доктор. Вам, ученым людям, все то кажется лишним, чему вы не отыщете назначения, и если б вы не носили очков и тавлинок, то, чай, и нос осудили бы в отставку без мундира. Не о том дело, можно ли жить без селезенки, а о том, что худо служить без ума. Мне кажется, исчисляя виды сумасшествия, ты пропустил самый важный, и этот вид называется любовь, и больной, зараженный ею,— капитан наш.

— Капитан?.. Вы шутите, Нил Павлович...— произнес лекарь, протирая туманные глаза и опять хватаясь за стул, как будто чувствуя, что, полный винными парами, он может улететь вверх, будто аэростат.

— Нисколько не шучу,— отвечал лейтенант.— Я повторяю тебе, что это Илья Петрович Правин, достой-

ный командир нашего фрегата,— Правин, со всеми буквами...

— Гм! ге! Вот что... так он-то болен любовью?.. С вашего позволения...

— Нет, все без моего позволения. Уж эта мне черноглазая княгиня! Она словно околдовала Илью Петровича. И то сказать, хороша собой как царская яхта, вертява как люгер и, говорят, умна как бес... Ты, я думаю, помнишь ее,— ну, ту высокую даму в черном платье, с которою в красоте изо всех наших гостей могла поспорить только фрейлина Левич... Как находишь ты, доктор, которая лучше?

— Мадера лучше,— возразил доктор.

Погруженный в созерцание бутылки, он только и слышал два последние слова.

— Мадера гораздо лучше; ближе к цели.

— То есть ближе к постели. И дельно, брат; пора твоей посудине в док на зимовку. Однако я говорю не о винах, доктор, но о дамах!

— О дамах, или, попросту, о женщинах? Гм! Да разве это не все равно? Молодая женщина и молодца как раз состарит... а старое вино помолодит и старика,— где яд, там и противоядие; где боль, там и лекарство.

— Грот-марса-фалом клянусь! оба эти зла или оба эти блага вместе приведут хоть какой ум к одному знаменателю. Уж если б выбрать меньшее зло, я бы скорей посоветовал капитану трепать почаще бутылочную, чем женскую шейку; и, по мне, пусть лучше зарится он на карточные очки, чем на очи красавицы. От вина поболит голова, от проигрыша заведется в кармане сквозной ветер, но от дам, кроме головы и кармана, зачухнет и сердце.

— Сердце! Сердце? А что оно такое, как не химическая горлянка, в которой совершается процесс кровообращения и окрашивания крови посредством вдыхаемого кислорода!.. Читали ли вы Гарвея?.. знаете ли вы трактат доктора Крейсига о болезнях сердца?

— И все-таки, я думаю, в книге этого доброго немца так же трудно найти лекарство против болезни нашего капитана, как шутку в Часослове. Право, я бы очень желал, чтобы ты, наш любезный доктор, хоть крашеной водою и пластырями, магнетизированием и шарлатанством продержал его месяца два на фрегате... Раз-

лука и диета — два смертельные врага любви. А в ось бы он развлекался службою; а в ось бы наши споры возвратили ему прежнюю веселость; а то он сам не свой теперь. Бывало, его калачом не сманишь с фрегата; ему не спалося на земле, ему душно казалось в городе, — а теперь все бы ему жить на берегу, да кататься на колесах, да лощить бульвары. Подумаешь, право, что он поймал эту глупую страстишку, как жемчужину со дна моря, в день смотра, когда прыгнул в воду спасать утопающего канонера. За него нечего было ахать: он плавает, как ньюфаундлендская собака¹, — зато сам он растаял, когда увидел, что черноглазая княгиня, от участия к нему, в обмороке...

— Да, да, да, да!.. Теперь-то я припоминаю все дело. Я застал тогда капитана на коленях перед нею; он был мокры, как тюлень, а суетился, будто муха над дорожными. Подруга ее сама обеспамятела и, вместо того чтоб помогать, кричала только: «Воды, воды, клякните соль, принесите лекаря!..»

— Скажите пожалуйста, какая напраслина!.. Ты, кажется, тогда мог сам ходить!..

— У вас все шутки, Нил Павлович! Ну, вот как я вошел, подруга ее приказывала капитану распустить ее шнуровку!..

— Вот тебе и раз! — с ужасом вскричал лейтенант. — Распустить шнуровку! Пускай бы спросили у Ильи Петровича, куда проходит и где крепится последний гитов² на каждом судне христианского и варварийского флота — он рассказал бы это, как «Отче наш», от коуша³ до бензеля⁴, а скоро ль было ему доискаться, где крепится дамский булень!..⁵ Зато уж и попалась в силоч морская птичка!.. Видно, черт возьми, не всякое *полушарие* обойти безопасно, и хорошенькая дамочка бурливее мыса Горна. С тех пор наш капитан рыскает, будто сам лукавый стоит у него на руле. Говоришь ему об

¹ Их называют иначе *sauvetage-dogs*... В Англии близ каждого опасного места лежит их множество; они, видя разбитое судно, кидаются в воду и вытаскивают утопающих; также пригоняют к берегу тюки и бочонки (Прим. авт.)

² Снасть для сдержки паруса. (Прим. авт.)

³ Кольцо желобком. (Прим. авт.)

⁴ Закрепка. (Прим. авт.)

⁵ Снасть сбоку паруса, удерживающая более в нем ветра. (Прим. авт.)

укладке трюма, а он толкует о гирляндах. Просишь переменить якорь, а он переменяет жилет. Глядит в зрительную трубку, и ему кажется, что голландский галют прогуливается по берегу в желтом платье. Налетит шквал, трещат стеньги, а он хохочет. Товарищи смеются, а он вздыхает. Мы пьем, а он смотрит в стакан, словно гадает на кофейной гуще, как тетушка Пелагея Фарафонтьевна.

— Это мания, чистая мания!.. Это столь же верно, как и то, что гиппопотам пускает себе кровь тростником, боясь апоплексии, а собаки лечат себя от бешенства водяным шильником... Это мания... ма-мания, говорю я вам...

— Зови как хочешь: от этого капитану не легче, нам не лучше. Да и, между нами будь сказано, к чему поведет такая глупая страсть? Она его не может любить: она замужем; а если и полюбит, тем хуже,— не должна. Если дело остановится на первом,— он исчахнет, но если, чего боже сохрани, дойдет до второго,— он совсем потеряет себя: он ничего не умеет делать и чувствовать вполонину... Я ведь знаю его с гардемаринского галуна до штабского эполета; от лапты на дворе Морского корпуса до картечи наваринского дела. О, как бы дорого дал я! — вскричал от глубины сердца лейтенант, проглотив разом стакан вина, будто им хотел он залить свое горе,— я отдал бы все свои призовые деньги, лишь бы увидеть моего доброго друга, Илью, в прежнем духе... Это душа в обществе, это голова в деле: добр как ангел и смел как черт!.. Я предвижу, что он настроит кучу проказ; он вовсе забудет службу, совсем покинет море... и что тогда станется с нашим лихим фрегатом, со всеми офицерами, с командою, что его так любит? Пусть лучше молния разобьет грот-мачту, пусть лучше сорвется руль с петель, пусть лучше потеряем мы весь рангут¹, нежели своего капитана! С ним все это трын-трава, а без него команда не вывернет бегом якоря, не то чтобы на славу убрать в шторм паруса и перещегоолять чистою и быстротою англичан, как мы дельвали в прошлом году в Средиземном море. *Per bacco e signor diavolo!*² Я бы готов на полгода отказаться от вина и еля, лишь

¹ Все мачты, все дерево выше палубы: (Прим. авт.)

² Клянусь самым дьяволом! (ит.)

бы вылечить Илью... хоть, признаться сказать, я считаю это так же трудным, как проглотить собаку-блок после ужина!..

Стеллинский в свою очередь говорил, не слушая лейтенанта, о медицине. Вино выказало страсти обоим — как обозначает оно в хрустале незаметные дотоле украшения.

— Должно начать лечение прохлаждающими средствами,— говорил он, зевая,— кремор-тартар... маг-мадера... потом пиявки, потом можно последовать совету славного римского врача Анахорета, который резал руки и ноги, чтоб избавить от бородавок, и сделать ампутацию да тереть против сердца чем-нибудь спиртуозным!..

Сын Эскулапа был поражен Морфеем в начале речи — участь, грозившая слушателям, если б они были тут. Голова его упала на грудь, руки повисли, и он начал материально доказывать, что, согласно с мнением нашего знаменитого корнеискателя, русский глагол *спать* происходит от слова *сопеть*.

Но прежде чем лейтенант кончил говорить, а лекарь начал храпеть, дверь каюты распахнулась с треском: в нее вбежал вахтенный мичман, бледен, испуган.

— Нил Павлыч,— сказал он, задыхаясь,— нас дрейфует¹.

— Людей наверх, пошел все наверх! — крикнул лейтенант таким голосом, что он мог бы разбудить мертвых.

С этим словом он кинулся на шканцы без шапки и без шинели,— там уже заменявший его лейтенант хлопотал, как помочь горю. Окинув опытным взором море и небо, Нил Павлович увидел, что с погодою шутить нечего. Крутые, частые валы с яростью катились друг за другом, напирая на грудь фрегата, и он бился под ними как в лихорадке. Сила ветра не позволяла валам подниматься высоко,— он гнал их, рыл их, рвал их и со всего раската бил ими как тараном. Черно было небо, но когда молнии бичевали мрак, видно было, как ниже, и ниже, и ниже катились тучи, будто готовясь задавить море. Каждый взрыв молнии разверзал на миг в небе

¹ Тацит с якорем. (Прим. авт.)

и в хляби огненную пасть, и, казалось, пламенные змеи пробегали по пенистым гребням валов. Потом чернее прежнего зияла тьма, еще сильнее хлестал ураган в обнаженные мачты, крутя и вырывая верви, свистя между блоками.

— Пошел на брасы, на топенанты¹; ходом, бегом! Надо обрасопить² реи вдоль судна. Задержал ли якорь? Есть³. Слава богу! Г. шкипер! разнесен ли канат плехта?⁴ Может, надо лечь фертоинг⁵. Сдвоить стопора на даглисте... очистить бухты!⁶ Послать топор к правой кранбалке; если крикну: «Отдай!» — разом пертулин⁷ пополам. Г. мичман! вы эполетами отвечаете, если рустов⁸ отдадут рано... не забудьте участи «Фалька»⁹. Драй, драй, бакштаги в струну вытягивай! Ну, молодцы, шевелись, поплясывай! Не то я вас завтра в ворсу истреблю! Гей вы, на марсах! все ли исправно у вас? Ага! стеньги хрустят? Эка невидаль! Треснут — так на зубочистки годятся! Боцмана! осмотреть кранцы: ¹⁰ чтоб ни одно ядро не тронулось, — теперь некогда играть в кегли. Крепко ли задраены порты?¹¹ Г. штурман, много ли фут по лоту? Сто двадцать... лихо!.. Гуляй, душа! Далеко еще килю до рачьей зимовки!

Так или почти так покрякивал Нил Павлович, прибавляя к этому, как водится, сотни побранок, которые Николай Иванович Греч сравнил с пеною шампанского. Он, казалось, попал в родную стихию: осматривал все своим глазом, успевал сам везде, и матросы, ободренные его хладнокровием, работали смело, охотно, но безмолвно, при тусклом свете фонарей. Порой, когда над головами их раздражался перун, подвижные купы их озаря-

¹ Снасти, концы поддерживаются и обращаются реи. (Прим. авт.)

² Повсрот. (Прим. авт.)

³ На морском языке есть значит да, исполнено. (Прим. авт.)

⁴ Плехт — один из больших якорей; даглист немного меньше. (Прим. авт.)

⁵ На два якоря. (Прим. авт.)

⁶ В кольца сложенные снасти. (Прим. авт.)

⁷ Вережка, на которой висит якорь. (Прим. авт.)

⁸ Цепь, поддерживающая якорь в горизонтальном положении. (Прим. авт.)

⁹ Бриг «Фальк» погиб оттого, что якорь долго висел вертикально и, качаясь, прошиб лапою скулу судна. (Прим. авт.)

¹⁰ Места, где лежат ядра. (Прим. авт.)

¹¹ Ставки амбразур. (Прим. авт.)

лись ярко и живописно — будто сейчас из-под мрачной кисти Сальватора, и только мерный стуж их бега, только пронзительный голос свистков мешался с завыванием бури и с тяжелым скрипом фрегата.

— Ай да ребята, спасибо! — сказал Нил Павлович, потирая от удовольствия руки. — За капитаном по чарке! Теперь дуй — не страшно, мы готовы встретить самый задорный шквал, откуда б он к нам ни пожаловал. Хорошо, что я не послушал вас, — продолжал он, обращаясь к подвахтенному лейтенанту, — и спустил заранее брамстенги¹: их бы срезало, как спаржу. Я, правда, с вечера предвидел бурю: солнце на закате было красно, как лицо английского пивовара, и синие редкие тучки, будто шпионы, выглядывали из-за горизонта; признаюсь, однако, не ждал я никак такого шторма: все ветры и все черти спущены, кажется, теперь со своры... того и гляди, что сорвет с якоря и выкинет на финский берег по клюкву.

— Шлюпка идет! — раздалось с баку.

— Скажи лучше, тонет, — вскричал с беспокойством Нил Павлович. — Кому это вздумалось искать верной гибели? Опрашивай!

— Кто гребет?

— Матрос.

— С какого корабля?.. Есть ли офицер?

Шум бури и волнения мешал расслушать ответы...

— Кажется, отвечают: «Надежда», — закричали на баке².

— Ослы! — загремел Нил Павлович, который в это время вскочил на фор-ванты³, чтобы лучше рассмотреть шлюпку. — Разве не видите вы двух фонарей на водорезе?⁴ Это наш капитан. Изготовить концы, послать фалрепных⁵ с фонарями к правей!

¹ Самые верхние части мачт. (Прим. авт.)

² При опросе: есть ли офицер? — с шлюпки, когда в ней командир судна, отвечают именем судна. Бак — нос судна. (Прим. авт.)

³ Лестницы веревочные у передней мачты. (Прим. авт.)

⁴ Отправляя гребное судно на берег, условливаются взаимно о числе и месте фонарей, чтобы ночью можно было опознать и найти друг друга. (Прим. авт.)

⁵ Бревки для всходящих на лестницу (трап) корабля. (Прим. авт.)

Долгая молния рассекла ночь и оказала гонимую бурю шлюпку, с изломанной мачтой, с изорванным парусом. Огромный вал нес ее на хребте прямо к борту, грозя разбить в щепы о пушки,— и вдруг он опал с ревом, и мрак поглотил все.

— Кидай концы! — кричал Нил Павлович, вися над пучиною.— Прوماх! Другой! Сорвался... Еще, еще!

Новая молния растворила небо, и на миг видно стало, как отчаянные гребцы цеплялись крючьями и скользили вдоль по борту фрегата.

— Лови, лови! — раздавалось сверху, и многие веревки летели вдруг; но вихрь подхватывал их и они падали мимо.

— Боже мой! — вскричал Нил Павлович, сплеснув руками,— они погибли...

Но они не погибли; их не унесло в открытое море. Один багор удачно вцепился в руль-тали¹, и по штормтрапу с горем пополам взобрались наши пловцы, чуть не утопленники, на ют (корму). Пустую шлюпку мигом опрокинуло вверх дном, и через четверть часа на бакштове² остался лишь один обломок шлюпочного форштевня³.

— Ты жив, ты спасен, друг мой, брат мой картечный! — говорил добрый Нил Павлович, задушая в объятиях капитана.— Как не грех тебе пускаться в такую бурю! Сорвись последний крюк — и ты бы отправился делать депутатский осмотр карасям.

Но вдруг он вспомнил долг подчиненности — отступил на два шага и преважно начал рапортовать о состоянии судна и команды. В этой сцене было много забавного и почтенного вместе. Глядя тогда на Нила Павловича, вы бы сказали: «Он прекрасный человек, он достойный солдат!» Вы бы поручились за него, что он не изменит ни одному благородному чувству, как не преступит ни одной причуды службы.

— Благодарю сердечно, благодарю всех господ за исправность,— говорил капитан окружившим его офицерам,— а вас, Нил Павлович, особенно. За вами я бы мог спать спокойно, если б вы могли повелевать так же удачно стихиями, как вахтой. Но я предвидел ужасную

¹ Снасти у руля, снаружи висящие. (Прим. авт.)

² Вервь, на которую вяжут шлюпки за кормою. (Прим. авт.)

³ Носовая основа. (Прим. авт.)

бурю и хотел разделить с вами опасность. Могу вам рассказать новости о погоде, потому что я был там, куда не достанут ночью ваши взоры. Шквал налетит сию минуту. Готов ли другой якорь?

— Готов.

— Тем лучше. На баке ало! — закричал капитан в рупор. — Из бухты вон! Отдай якорь!

Как ни силен был плеск волн и рев бури, но послышалось, когда бухнул в воду тяжкий якорь и с глухим громом покотился канат из клюза.

— Шквал с ветра, шквал идет! — раздалось на баке.

Случалось ли вам испытывать сильный шквал, на море?

Перед ним на минуту воцаряется какая-то грозная тишь, море кипит, волны мечутся, жмутся, толкутся, будто со страху; водяная метель с визгом летит над водою, — это раздробленные верхушки валов; и вот вдали, под мутным мраком, изорванным молниями, белой стеною катится вал... ближе, близко — ударил! Нет слов, нет звуков, чтоб выразить гуденье, и вой, и шорох, и свист урагана, встретившего препону; кажется, весь ад пирует и хохочет с какою-то сатанинскою злобою!.. Такой-то шквал налетел на фрегат «Надежду» и зарыл нос его в бурун, так что волна перекатилась по палубе до самой кормы.

Удар водяной массы и порыв ветра были так жестоки, что стопора¹ первого якоря лопнули, прежде чем канат второго вытянулся. Фрегат задрожал, как лист, и вдруг с невероятною быстротою кинулся по ветру. Второй канат, едва полузастопоренный, не мог сдержать корабля с разбегу, и оба вдруг пошли сучить в оба клюза.

Не каждому моряку во всю свою службу случалось видеть суматоху от высучки канатов. Это страшно и смешно вместе! Вообразите себе два каната чуть не в охват толщиной, которые с ревом и громом бегут с кубрика или из дека, где были уложены, вверх... Они вьются, как удавы, огромными кольцами, хлещут, как волны, взбрасывая на воздух все встречное — сундуки, койки, ядра, людей; и наконец, крутясь узлом через толстый

¹ Снасти, коими канат прикрепляется к кольцам (рымам), вбитым в палубу. Стопор происходит от англ. глагола to stop — останавливать. (Прим. авт.)

брус битенга¹, зажигают его трением. Это пеньковый тифон, от которого все летит вдребезги или бежит с воплем. Напрасно кидают в клюз койки и вымбовки², чтобы сдавило и заело канат, — он бежит вон неудержимо.

К счастью, на фрегате оба каната закреплены были огоном за шпор³ грот-мачты. Удары от внезапной задержки с разбегу заставили вздрогнуть весь остов, и едва-едва уцелели стеньги. Якоря забрали, фрегат стал в тот миг, когда капитан, не надеясь на канаты, послал по марсам, готовясь на обрыве вступить под паруса, чтобы жестокий норд-норд-ост не выкинул его на отмели и рифы негостеприимного берега Финляндии. Осмотрелись: люди были целы, изъян ничтожен. Волнение ходило горами, дождь лился потоком, и к довершению этой ужасно-прекрасной картины недалеко показались смерчи, или тромбы. Они очень заметны были во мраке, вздымаясь, белые, из валов, как дух бурь, описанный Камюэнсом... Голова их касалась туч, ребра увивались непрерывными молниями... Море с глухим гулом кипело и дымилось котлом около, — они вились, вытягивались и распадалась с громом, осыпая валы фосфорическими огнями. Матросы с благоговейным ужасом глядели на это редкое для них явление.

— Не прикажете ли, капитан, попотчевать этих незваных гостей ядрами? — спросил Нил Павлович.

— Прикажете только изготовить два плутонга пушек на оба борта, и стрелять тогда разве, когда какой-нибудь любопытный тифон вздумает пощупать нас за утлегарь. Мне не хочется делать тревоги в Кронштадте. Пожалуй, там подумают, что мы перепугались, что наша «Надежда» гибнет. — Так отвечал капитан Правин.

Миновалась опасность, но не буря. Ветер дул ровнее, но все еще жестоко, и фрегат, бросаемый волнением, то носом, то кормой ударялся в воду, разбрызгивая бедуны в пену, но содрогаясь, но стеноя и скрипя от каждого взмаха. Половину команды распустили по койкам; другая смиренно жалась у стенок. Нил Павлович с рупором под мышкою ходил по шканцам, заботливо взглядывая то на море, то на капитана, — а капитан, безмолвен, стоял, опершись о колесо штурвала. Свет лампы из

¹ Устой для крепления канатов. (Прим. авт.)

² Палки, которыми вращают ворот. (Прим. авт.)

³ Низ. (Прим. авт.)

нактоуза¹ падал прямо на его бледное, но выразительное лицо. Взоры его следили вереницы летящих туч и бразды молний, их рассекающих... Он не чувствовал ни ветра, ни дождя; он долго не слышал голоса друга, — душа его носилась далеко-далеко.

Наконец Нил Павлович дернул его за рукав.

— О чем замечтался ты, Илья? — спросил он с братским участием.

Правин будто проснулся.

— О чем? Как легко это спросить, зато как трудно отвечать на это! Вихорь мыслей крутился в голове, и целый водоворот мыкал мое сердце. Если б я и умел тебе высказать все это, я бы не досказал всего до седых волос. Впрочем, нет действия без причины, и если я не смогу рассказать, о чем мечтал, то не умолчу, отчего эти мечты меня обуяли. Загадка, для чего нас от всей эскадры оставили одних на кронштадтском рейде, объяснилась: наш фрегат назначен в Средиземное море; мы повезем важные бумаги союзным адмиралам и президенту Греции.

— И верно, ядра да картечи для закуски туркам! Грот-марса-рея меня убей, мне смерть хочется сцепиться на бордаж с каким-нибудь капитан-пашинским кораблем!

— Но я, милый Нил, я краснею за себя!.. Душа моя рвется надвое: одна половина хочет пустить корни в столице, между тем как другая жаждет раздолья и битвы. Итак, думал я, чем скорее, тем лучше... сегодня же, сейчас хотел бы я вырваться из оков своих... я с радостью ждал минуты, когда нас сорвет с якорей, чтобы распустить крылья и улететь из этого чада, растлевающего душу.

— Недолга песня скомандовать на марса-фалы! Не вступать под паруса в такую темную ночь, в такую бурю!..

— В бурю? — повторил рассеянно капитан, — в такую бурю! Что значит эта буря против бунтующей в моей груди?..

Нил Павлович долго и пристально глядел в лицо друга, — наконец крепко сжал ему руку и произнес:

— Бедный Илья!

Бедный Правин! — повторю и я.

¹ Шкаф, в котором хранится компас. (Прим. авт.)

*Капитан-лейтенант Правин к лейтенанту
Нилу Павловичу Какорину*

Что бы ты сказал, что бы подумал ты, добрый друг мой, если б увидел мои вчерашние сборы на вечер к княгине **? Я, я, которому, так же как и тебе, до сих пор все платье шилось парусником, я затянулся в мундир, шитый самым лучшим, то есть самым дорогим портным столицы, да и тот не угодил на меня. То, казалось мне, не выровнены пуговицы, то проглядывают кой-где преступные складки... там это, здесь не то... словом, я бы на вечер приехал на завтрашнее утро, если б бой часов не заставил меня поторопиться. Волосы мои натированы¹ были помадою, белье пробрызгано духами; галстух не галстух, перчатки не перчатки, — верчусь перед зеркалом, молодец хоть куда. Повторив несколько раз все эволюции салюта и ордер марша по гостиной, и потом ордер баталии: «спуститься по ветру, чтобы прорезать линию неприятельских стульев, потом лечь в дрейф и начать перестрелку» — плащ на плечо, наемная карета у крыльца, качу.

Крепко забилося мое ретивое, когда Каменноостровский мост задрожал под колесами моей кареты. И вот дача князя! В окнах сияет день, сквозь цветы мелькают тени, народу тьма, — храбрость моя роняет брамсели. Однако ж, снайтовя² сердце, перехожу аванзалу так осторожно, будто сквозь каменистый вход в порт Свеаборга. Имя мое из уст официанта раздается словно боевая пушка, — во мне занялся дух, и на глаза упал туман, хоть подымай сигнал: *неясно вижу!*.. Но экватор был уже перейден — ворочаться поздно; вхожу, кланяюсь без прицела, краснею будто каленое ядро, верчусь направо и налево не лучше рыскливого корабля — одним словом, чувствую сам, что я так же ловок, как выброшенный на берег кит, и мешаюсь вдвое пуще. Мужские лорнеты, казалось, сожигали меня в пепел; дамские взгляды пронизывали наперекрест, будто Конгревовы ракеты; даже ковры егозили под ногами, и проклятые зеркала, это оптическое эхо, передразнивали в

¹ То есть высмолены, от английского слова targe — смола. Тируют только стоячий такалаж. (Прим. авт.)

² Скрепя. (Прим. авт.)

двадцати видах мое замешательство. О! если б знала княгиня, как дорого стоило моему самолюбию быть на такой выставке, она бы пожалела, она бы наградила меня! Вещь, которая для всякого светского повесы была бы или незначаща или приятна, во мне обращалась в истинное самоотвержение... Приехав в надежде понравиться княгине, я уже трепетал за то, что не понравлюсь... Стень ложного стыда удушала меня. К счастью, эта сцена была непродолжительна. Толстяк хозяин поспешил ко мне на выручку, и сама хозяйка, привстав с дивана, так ободрительно меня поприветствовала, что душа моя распрямилась вдруг... Я гордо поднял голову, я окинул всех светлым оком: что значила для меня невзгода всех пустоцветов и пустозвонов гостиной, когда я был уже обласкан тою, чья единственно ласка была дорога мне! Гости поняли эту мысль, и ропот затих, и все улыбнулись мне, будто по приказу. Общественное мнение всегда склоняется к тому, кто не дорожит им нисколько.

Меня усадили в полукруге между каким-то кавалером посольства, который глядел на весь мир с вышины своей накрахмаленной косынки, и незнакомым офицером, от которого еще благоухало брайловою гулябсу¹. Первый надувал остроумием мыльные пузыри, другой заклинал гуриями не хуже любого ренегата, прочие гости занимались умножением нуля, то есть переливали из пустого в порожнее. Самый важный спор шел о лучшем средстве чистить зубы после обеда. После неизбежных переспросов я притаился в креслах и дал полный разгул глазам и мечтам своим. Ты, не добиваясь патента на пророчество, угадаешь, к какому полюсу влекся компас мой,— это была она — истинный полюс, охваченный полярным кругом светской холодной суеты. И что такое были все эти собеседники, как не льдины: блестящие, но безжизненные, носимые ветром моды вместо своей воли и порой зеленеющие чахлыми поро-

¹ Розовая вода; она в большом употреблении в Азии. Это арабские слова: гуль — роза и аб — вода, су (тоже вода) прибавляют азиатцы из невежества. У нас ее звали гуляф.

Я гуляфною водою белы руки мою!

(Песня времен Елизаветы)

(Прим. авт.)

слями, какие видел Парри в Баффиновом заливе; и это называют они цветами общества!

Но возвратимся к ней, еще к ней, опять к ней! Я пил долгими глотками сладкий яд ее взоров, — мне было так хорошо! Она шутила — я отвечал тем же... Откуда что бралось! Недаром говорят, что любовь и сводит с ума и дает ум. Когда я говорил с нею, застенчивость покидала меня; зато едва другая дама обращала ко мне слово, я краснел, я бледнел, я вертелся на стуле, будто он набит был иголками, и бедная шляпа моя чуть не пищала в руках. Ты знаешь, что я могу лепетать по-французски не хуже дымчатого попугая; но знаешь и то, что, из упрямства ли или от народной гордости, не люблю менять родного языка на чужеземный. Вот, сударь, волей и неволей господа, удостоивавшие меня своим разговором, слыша твердо произнесенный отзыв: «Я не говорю по-французски», принуждены были изъясняться со мною по-русски, и признаюсь, я не раз жалел, что не взял с собою переводчика. Охотнее всех и, к удивлению моему, чище всех говорила по-русски княгиня, — это делает честь Москве, это приводило меня в восхищение. Рад ты или не рад, а меня берет искушение послать к тебе кусочек нашего разговора, хоть я очень знаю, что разговор, как вафли, хорош только прямо с огня и в летучей пене шампанского.

Мы спорили. Княгиня верить не хотела постоянству чувствований моряков. Она называла нас кочевым народом, людьми, которые ищут двух весн в один год и гоняются за открытиями, чтобы оставить на них чугунную дощечку с надписью: *тогда-то здесь был такой-то*. Но разве *быть* значит *жить*? Или *видеть* значит *чувствовать*? Частые перемены мест не дают окрепнуть привязанностям до страсти, воспоминанию — до глубокого сожаления.

— Даже вы сами, — продолжала она, — вы — скиталец с ранних лет по далеким морям — признайтесь: надыхавшись воздухом ароматных лесов Бразилии; набродившись по чудным коралловым островам Тихого океана или по исполинским дебрям Австралии; налюбовавшись плавающими ледяными горами Южного полюса, или волканами, раскаляющими небо своим дыханием, скажите, какова показалась вам после того болотная, плоская, туманная родина?

— Прелестнее, чем прежде, княгиня! Вы меня считаете в ощущениях ветренее всякой дамы, которая, сбросив с себя украшение, на завтра забывает или, нашедши, презирает его. Чувства нельзя забыть, как моду, и прекрасный климат не замена отечеству. Эти туманы были моими пеленами, эти дожди вспоили меня, этот репейник был игрушкой моего детства. Я вырос, я дышал воздухом, в котором плавали частицы моих предков, я поглощал их в растениях. Русская земля во мне обратилась в тело и в кости. О! поверьте мне, отечество не местная привычка, не пустое слово, не отвлеченная мысль; оно живая часть нас самих; мы нераздельная мыслящая часть его, мы принадлежим ему нравственно и вещественно. И как хотите вы, чтобы в разлуке с ним мы не грустили, не тосковали? Нет, княгиня, нет! в русском сердце слишком много железа, чтобы не любить севера!

— И в вашем тоже, капитан? — спросила княгиня.

— Я русский, княгиня: я суровый славянин, как говорит Пушкин.

— Тем на этот раз хуже: я ненавижу чугунные сердца, — на них невозможно сделать никакого впечатления!

— Почему же нет, княгиня! Разгорячите этот металл, и он будет очень мягок, и потом рука времени не сотрет того, что вы на нем изобразите.

— Но для изображения чего-нибудь надо ковать молотом, а это вовсе не дамское дело.

— Терпение, княгиня, дает уменьье.

— Но всякий ли, капитан, может командовать терпением, как вы «Надеждою»? Да, кстати о «Надежде», — все ли в добром она здоровье?

— Напротив, княгиня, бури ее одолели с тех пор, как вы ее оставили.

— Надеюсь по крайней мере, — продолжала княгиня, все еще играя словами об имени моего фрегата, — надеюсь, она вас не покинула!

— Все равно почти: я очень далек от нее!

— Но, как верный рыцарь, не покидаете зато ее символа: на воротнике вашем таинственно блестят два якоря.

— Заметьте, княгиня, — примолвил я со вздохом, — они с оборванными канатами.

В это время офицер, сосед мой, наклонившись сзади меня к дипломату, сказал ему вполголоса:

— Il se pique d'esprit, ce lion marin¹.

— Oui-da,— отвечал тот.— Il s'en pique!²

— Et cette fois il n'est pas si bête qu'il en a l'air³,— примолвил первый, презрительно покачиваясь на стуле.

Я вспыхнул. Такое неслыханное забвение приличий обратило вверх дном во мне мозг и сердце; я бросил пожигающий взор на наглеца, я наклонился к нему и так же вполголоса произнес:

— Si bon vous semble, mr., nous ferons notre assaut d'esprit demain à 10 heures passées. Libre à vous de choisir telle langue qu'il vous plaira — celles de fer et de plomb y comprises. Vous me saurez gré, j'espère, de m'entendre vous dire en cinq langues européennes, que vous êtes un lâche?⁴

Не можешь представить себе, как смутился мой обидчик: он покраснел краснее своих отворотов, он окинул глазами собрание, как будто искал в нем подпоры или обороны,— но все отворотились прочь, будто ничего не слышали. Наглец и тут хотел отделаться хвастовством.

— Очень охотно!— отвечал он, играя цепочкою часов.— Только я предупреждаю вас: я бью на лету ласточку.

Я возразил ему, что не могу хвастаться таким же удалством, но, вероятно, не промахнусь по сидячей вороне.

Противнику моему пришлось плохо, но мне было едва ль не хуже его. Гнев пробегал меня дрожью; я кусал губы чуть не до крови, я бледнел как железо, раскаленное добела. Невнятные слова вырывались из моих уст, подобно клочьям паруса, изорванного бурей... Присутствие людей, в глазах которых я был унижен и еще не отомщен, меня душило... наконец я осмелился под-

¹ Он чванится своим умом, этот морской лев (фр.).

² Да, он им чванится! (фр.)

³ Но на этот раз он не такой болван, каким кажется (фр.).

⁴ Если вам удобно, сударь, мы проведем наше состязание в уме и красноречии завтра после десяти часов. Представляю вам избрать тот язык, который вам нравится,— включая сюда язык железа и свинца. Вы, надеюсь, позволите мне доставить себе удовольствие сказать вам на пяти европейских языках, что вы наглец! (фр.)

нять глаза на княгиню... Говорю: осмелился, потому что я боялся встретить в них сожаление, горчайшее самой злой насмешки... И я встретил в них участие, страсти даже. Взоры ее пролились на мою душу как масло, утешающее валы... в них, как в зеркале, отражались и гнев за мою обиду и страх за мою жизнь... они так лестно, так отрадно укоряли и умоляли меня!.. Я стих. Общество занялось прежним, будто не замечая нашего а parte; ¹ разговор катился из рук в руки. Я чувствовал себя лишним, встал, раскланялся и вышел, но уже без замешательства, без оглядок: обиженная гордость придала мне самонадеяния.

— Мы надеемся видеть вас пощаче, — молвил хозяин, прощаясь со мною.

Ступая за дверь, я обернулся... О друг мой, друг мой! я худо знаю женскую сигнальную книгу, но за взор, брошенный на меня княгинею, я бы готов был вынести тысячу обид и тысячу смертей!.. *Завтра* со своими пулями и страхами для меня исчезло... Всю ночь мне виделась только княгиня. Меня волновал только прощальный взгляд ее.

Петергоф, 17 июля 1829.

От того же к тому же
(День после)

В Кронштадт.

Брось в огонь историю кораблекрушений, любезный Нил: мое сухопутное крушение курьезнее всех их вместе, говорю я тебе. Воображаю, с каким изумлением протирали ты глаза, читая последнее письмо мое. Илья влюблен, Илья щеголь, Илья в гостинной, Илья накануне поединка!! По-твоему, все это для моряка столько же несбыточно, как прогулка Игорева флота на колесах, — и между тем все это гораздо более историческое, чем романы Вальтер Скотта. Счастливее ты, Нилушка, что не знаешь, не ведаешь, куда забросить может сердце вал страсти. Я стыжусь других, браню себя — и все-таки влекусь от одной глупости к другой. Беднягу ум

¹ Тайного разговора (фр.).

укачало на этом волнении, и он лежит да молчит и, во все глаза глядя, ни зги не видит.

Впрочем, что ни толкуй, а от прошлого не отлавируешься. Дело было сделано: поединку решено быть; недоставало только тебя в секунданты... Благодаря, однако ж, принятому поверью в Петербурге через край охотников в свидетели суда божия, как говорили в старину — *удовлетворения дворянской чести*, как говорят ныне — с одинаковою основательностью. В десять часов утра мы съехались, раскланялись друг другу с возможною любезностью, и между тем как секунданты отошли в сторону торговаться о шагах и осечках, противник мой, видно, по пословице: «утро вечера мудренее», подошел ко мне ласковый, тише воды, ниже травы.

— Мне кажется, капитан, — сказал он мне, — нам бы не из-за чего ссориться.

— Без всякого сомненья, нам не из-за чего ссориться, но драться есть повод, и весьма достаточный: я обижен вами как человек, как русский и как офицер; пули решат наше дело, — отвечал я.

— Но как решат, капитан? Убитый будет всегда виноват, а убитым можете быть и вы.

— Что ж делать, м. г.? Я ль виноват, что в вашем свете право заключено в удаче? Убьют — так убьют! Меня повезут тихомолком на кладбище, а вы поедете в театр рассказывать в междудействии о своем удальстве.

— Вы говорите об этом по преданию, капитан. Нынешний государь не терпит дуэлей; и если кто-нибудь из нас положит другого, ему отведут келью немного разве поболее той, в которую опустят покойника. Подумайте об этом, капитан!

— М. г.! обидчик вы, а не я; ваше дело было подумывать о следствиях прежде, чем так дерзко шутить насчет другого!

— Но я вовсе не полагал, что вы знаете по-французски: вы сами сказали, что не говорите на этом языке.

— Значит, вы, м. г., плохо знаете русский язык, когда слово не *говору* принимается за не понимаю!

— О! что касается до русского языка — я предаю вам его целиком! Мне вовсе неохота ломать копье за мадам грамматику; а так как я вижу, что вы благородный и достойный человек, капитан, то за удовольствия сочту кончить все по-приятельски.

— Благодарю за приятель, м. г.; я не имею привычки дружитья под влиянием пуль или пробок! Мы будем стреляться!

— Если за этим только стоит дело,—мы будем стреляться; но как философы, как люди повыше пред-рассудков — так, чтобы и волки были сыты и бараны целы. Послушайте меня,—примолвил он тихо, отводя меня в сторону,—я знаю, что я не совсем прав; но разве и вы не виноваты?.. Вы можете принять, что я говорил о вас заочно, а заочно и про царей говорят!.. Я с своей стороны будто не слышал чего-то резкого, вами в лицо мне сказанного. Сделаемтесь же как многие делаютя. Выстрелим друг в друга, но так, в сторону, мимо, понимаете? Об этом никто не будет знать: можно надуть даже самих секундантов. После выстрела я попрошу у вас извинения — и дело в шляпе, и шляпы на головах. После все станут кричать: вот истинно храбрые, благородные люди; один умел сознаться в своей ошибке, а другой остановиться в пору. Конечно, я мог бы попросить извинения и раньше; но извиняться перед дулом пистолета — это как-то нейдет, не водится, пожалуй, иной злословник скажет, будто я струсил,—а я дорого ценю свою честь!.. Итак, по рукам, любезный капитан!

Не можешь себе вообразить, какое глубокое презрение почувствовал я, видя столь бесстыдное хвастовство, прикрывающее столь расчетливое унижение; и в ком же? В человеке, который по привычке, если не по духу, должен быть храбрым или по крайней мере для мундира, если не для лица, храбрым казаться! Не могу верить, говорил маркиз Граммон, чтобы бог любил глупых. Не хочу верить, говорю я, чтобы женщина могла любить, а мужчина уважать труса. Я так взглянул на него, что он потупил глаза и покраснел до ушей. Не сказав ни слова, указал я ему на секундантов: они приближались с готовыми пистолетами; мы сбросили плащи и стали на тридцать шагов друг от друга, каждому оставалось пройти по двенадцати до среднего барьера. Марш.

У меня секундантом был один гвардеец, премилый малый и прелихой рубака... В дуэлях классик и педант, он проводил в Елисейские поля и в клинику не одного, как друг и недруг. Он дал мне добрые советы, и я вос-

пользовался ими как нельзя лучше. Я пошел быстрыми, широкими шагами навстречу, не подняв даже пистолета; я стал на место, а противник мой был еще в полудороге. Все выгоды перешли тогда на мою сторону: я преспокойно целил в него, а он должен был стрелять на ходу. Он понял это и смутился: на лице его написано было, что дуло моего пистолета показалось ему шире кремлевской пушки, что оно готово проглотить его целиком. Со всем тем стрелок по ласточкам хотел предупредить меня, заторопился, спустил курок — пуля свистнула — и мимо. Надо было видеть тогда лицо моего героя. Оно вытянулось до пятой пуговицы.

— Прошу на барьер! — сказал я ему; он не слышал, он стоял как алебастровый истукан. Наконец секунданты подвели его к барьеру; и так силен предрассудок над духом, не только умом слабых людей, что он выискал в стыде замену храбрости и принудил себя улыбнуться в тот миг, когда бы со слезами готов был спрятаться в кротовую норку, придавленную его пятою. Секундант с дипломатическою точностию поставил его боком, с пистолетом, поднятым отвесно против глаза, для того, говорил он, чтобы по возможности закрыть рукою бок, а оружием голову, хоть прятаться от пули под ложу пистолета, по мне, одно, что от дождя под бороной. Это плохое утешение для человека, по которому целят на пяти шагах, и как ни вытягивался противник мой, чтоб наименее представить площади пуле, но если б он превратился даже в астрономический меридиан, все еще оставалось довольно места, чтобы отправить его верхом на пуле в безызвестную экспедицию. Я два раза подымал пистолет и два раза опускал его поправить кремь, наслаждаясь между тем страхом хвастуна; наконец мне стало жаль его, или, прямее сказать, он стал мне так презрителен, что я подумал: «Для таких ли душ изобретал порох Бартольд Шварц, а Лепаж тратил свое искусство?» — отворотился и выпалил на воздух. Противник мой чуть не запрыгал от радости и схватил бы меня за руку, если б я не спрятал ее в карман.

— Господа! — сказал он, обращаясь к секундантам, — теперь выдержав выстрел (ему следовало сказать: «выслушав выстрел»), я долгом считаю просить у моего противника извинения... то есть прощения, — примолвил он, заметив, что мой секундант принялся снова заря-

жать пистолеты. — Я был, точно, виноват перед ним, — довольны ли вы этим? Что ж до меня касается, то отныне я стану говорить всем и каждому, что г. Правин самый храбрый и благородный офицер.

— Жалею, что не могу отплатить вам тем же, — сказал я своему противнику. — Господа! благодарю вас... Прощайте!

— Лихо! — сказал мой секундант, влезая за мной в карету. Она помчалась в город.

С.-Петербург

*От того же к тому же
(Два дня спустя)*

В Кронштадт.

Перевяжи узлом мой брейд-вымпел, любезный друг, опусти его в полстеньги, вели петь за упокой моего рассудка, — приказал он долго жить! Его стоит выкинуть теперь за борт, как пустую бутылку. Да и какая бы голова устояла против электрической батареи княгини Веры? До сих пор мне казалось, что привязанность моя к ней — одна шалость, теперь я чувствую, что в ней судьба моей жизни, в ней сама жизнь моя. Сначала в воображении моем любовные узы путались со снастями; еще фрегат наш заслонял порой милый образ своими лиселями¹ и бурное море оспаривало владычество у любви; теперь же все соединилось, слилось, исчезло в княгине; не могу ничем заняться, ничего вообразить, кроме ее: все мои мечты, все страсти мои скипелись в три магические буквы: она. Это весь мой мир, вся моя история. Но что я рассказываю, но кому говорю я! Может ли бесстрастный человек постичь меня, когда я сам себя не понимаю! Можешь ли ты, со своим медным секстаном, со своими вычислениями бесконечно малых, охватить это новое, лишь сердцу доступное небо, определить быстроту и путь этой реющей по нем кометы! По крайней мере ты можешь пожалеть меня, своего друга, — меня, который не завидует ничему в обеих жизнях: ни

¹ Паруса, сбоку других поднимаемые. (Прим. авт.)

венку гения на земле, ни крыльям серафимов в небе, ничему, кроме взаимности Веры. О! если б ты видел теперь мое сердце и если б ты был способен к поэзии, ты бы сравнил его с Мельтоновым Эмпиреем, оглашенным битвою ангелов с демонами!.. Оно — да нет у меня слов выразить, что такое переполняет, волнует, взрывает его! Может ли сказать какой-нибудь путешественник-денди, скрипя табакеркою, выточенную из лавы: «Я знаю, что такое лава!» Вот мое письмо — вот мое сердце. Не станем же переводить высокое на смешное, не станем точить игрушки из молнии. Но могу ли не говорить о ней, когда о ней одной могу я думать! Очень знаю, что мое болтанье для тебя несноснее штиля, скучнее расходной тетради офицерского стола, где все страницы испещрены рифмами: водки — селедки, шпеку свиного — уксусу ренского и тому подобными, — но если ты не хочешь, чтобы друг твой задохнулся от сердечного угара, то читай волей и неволею, что я неволею пишу.

В самый день моего глупого поединка я поскакал к княгине, несмотря ни на какие приличия. Мне хотелось показать ей, что я жив, что я не трус, ибо мысль показаться трусом в глазах всякой женщины была бы для меня нестерпима, а в ее глазах вовсе убийственна. Колокольчик прозвенел.

— Княгиня в саду, княгиня изволит прогуливаться.

— С кем?

— Одна-с!

Бросаюсь туда опрометью; сердце бьет рынду¹; замечаю ее на траверзе² и прямо прыгаю к ней наперерез, через цветник; встречаюсь, — и что ж? Останавливаюсь перед ней без слов, без дыхания... В глазах у меня кружилась огненная метель, а язык будто растаял. Бездельная опасность протекла между нами, как долгие лета разлуки, и уже сколькими чувствами надо было поделиться, сколько променять рассказов! Я был так рад и так смущен, что забыл скинуть шляпу. Хорош был я, нечего сказать; зато и она была не лучше. Румянец пропадал и выступал на белизне ее щек попеременно; она протянула навстречу ко мне руки, она готова была вскрикнуть от изумления, заплакать от радости — да, да,

¹ Сплошной звон колокола, обыкновенно в полдень. (Прим. авт.)

² То есть сбоку. (Прим. авт.)

от радости! Это не была мечта самолюбия. Сладостна, неизъяснимо сладостна была для меня эта немая сцена; отрадно это лицо, горящее ко мне участием,— и все исчезло вмиг, подобно туману, который принимаешь иногда за берег: дунет ветер и спашнет обетованную землю!

Княгиня оправилась; никакого выражения, кроме обыкновенного участия, не осталось на ее лице. Боже мой, что за хамелеон светская женщина!

— Как я рада вас видеть здоровым и невредимым, капитан,— сказала она мне.— Скажите скорей, как вы кончили вашу ссору с NN? Где он? что с ним случилось?

— Я оставил его на месте,— был ответ мой: я был уколот ее участием к моему противнику.

— Бог мой! вы убили его! — вскричала княгиня.

— Успокойтесь, княгиня, он будет долголетен на земле. Я оставил его здоровее, чем прежде поединка.

— Но зато сами стали менее прежнего добры: вы испугали меня. Сколько раскаяния дали бы вы самому себе, сколько слез родным, если б его убили. Поверите ли, что я вчуже не спала целую ночь: мне все представлялись кровавые сцены поединка и страшные следствия его для вас.

— Ценою вашего сожаления, княгиня, готов бы я купить самое злейшее несчастье и, что еще более, не роптать на него. Но не только участие — ваше мнение ценю я так высоко, что поспешил сюда нарочно: рассказать, как было у нас дело. Я уже довольно знаю свет и уверился, что он злобно осуждает дерзающих вступить в заветный круг его,— я хочу предупредить толки злоречия. Пусть другие говорят обо мне что угодно, лишь бы вы, княгиня, лишь бы вы одни худо обо мне не думали.

Я рассказал ей дуэль нашу. Я кончил... Она молчала... В глазах ее, обращенных к небу, блистали две слезы, лицо горело умилением; какое-то нектарное пламя протекло, облило мое сердце... Я сам готов был плакать, бог знает отчего; я жаждал упасть к ногам ее, распастись в прах у милых ног; я не дерзал и думать целовать их; мне довольно было бы прильнуть устами к следу ее стопы, к краю ее платья,— и я не смел того! Я был уже слишком счастлив ее присутствием, слишком несчастлив моими желаниями, я был просто безумен, друг мой! Но за этот припадок сумасшествия я бы отдал всю мудрость

веков и все собственное благоразумие! К нам приближались. Княгиня встала, закрыла на миг рукою глаза и потом, краснея, приподняла их.

— Вы не будете вперед играть так своей жизнью,— сказала она,— я требую этого, обещайте мне это.

— Вы заставите меня любить жизнь,— отвечал я,— вы... — я не сумел сказать ничего лучше; я не смел сказать ничего более. «То-то простик! — скажет какой-нибудь ловлас.— Потерять такую драгоценную для признания минуту».

Пусть так... минута эта была потеряна для любви, но не для сердца... Глаза наши встретились,— о, она меня любит, она любит меня!!

С.-Петербург

II

Frailty — the nome is, women!
*Shakespeare*¹

В кругу молодых повес и полустарых петербургских степенников всех более понравился Правину бывший секундант его, ротмистр Границын. Как представитель нашего военного дворянства, он стоял изучения, потому что крайности рисовались на его нраве резкими чертами. Правин нашел в нем и более и менее нежели ожидал. Богат, и в долгах по маковку, и за редкость с рублем в кармане. Умен, и вечно делал одни глупости. Вольнодумец, и трется в передних без всякой цели. Надо всем смеется, а не смеет ничем пренебречь; всех презирает, и все им помыкают. Храбрейший офицер, и не имеет довольно смелости, чтобы иному мерзавцу сказать нет! Благороден в душе, и краснея, бывал употреблен на недостойные поручения, участвовал в постыдных шалостях; одним словом, человек без воли. Существо, которое в светской книге животных значится под именем: *добрый малый* и *лихой малый* — название самого эластического достоинства, как резиновые корсеты: оно для неразборчивого нашего племени заключает в себе всякую всячину, начиная с людей истинно благородных

¹ Ничтожество — имя твое, женщина! Шекспир (англ.).

и отличных до игрока, поддегивающего карты, и виртуоза, подслушивающего у дверей, — терпимость истинно христианская, достойная подражания. Пускай себе возьмется французы да англичане со своим общим мнением: мы и без этого рогаля живем припеваючи.

Со всем тем любопытно, если не приятно, бывало рассидеть с ним вечер или присоседиться к нему за обедом. Где не был, чего не видал он? Хотя по привычке он большую часть жизни промаячил с пустейшими людьми, но он мог ценить живой ум в других и *случаем* читывал дельные книги. К привязчивому, чтоб не сказать наблюдательному, духу от природы прижил он невольную опытность. Он недаром проел с приятелями свое именье, недаром отдал женщинам свою молодость. От обоих осталась у него пустота в кармане и душе, а на уме — едкий окисел свинцовой истины. Им-то посыпал он щедрою рукою все свои анекдоты о походных проказах, все рассказы о столичных сплетнях. К чести Границына прибавить надобно, что он был самый откровенный болтун и самый бескорыстный злоязычник. За душой у него не схоронится, бывало, ни похвала врагу, ни насмешка приятелю, и часом он беспощадно смеялся над самим собою. Иной бы сказал: «это апостол правды», другой бы назвал его кающимся грешником; третий произвел бы в Ювеналы — бичеватели пороков! Он не был ни то, ни другое, ни третье. Не хотел он сам исправляться, не думал исправлять ближних, зато не думал и вредить им. Он был твердо убежден, что там, где ценится лишь наружность добродетелей, не укор скрытые пороки; а потому злословие есть лишь гальваническое средство пробуждать смех в притупленных сердцах. Этим исполнял он невольно наклонность нашего времени — разрушать все нелепое и все священное старины: предрассудки и рассуждения, поверья и веру. Век наш — истинный Диоген: надо всем издевается. Он катил бочку свою по распутиям всех стран, давя ею цветы и грибы без различия. «Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь», — гордо говорит он македонскому Дон-Кихоту и потом освистывает Платоново бессмертье; и потом с циническим бесстыдством хвастает своею наготою. Люди ныне не потому презирают собратий, что себя высоко ценят, напротив, потому, что и к самим себе потеряли уважение. Мы достигли

до точки замерзания в нравственности: не верим ни одной доблести, не дивимся никакому пороку.

Но, слава богу, не все таковы. Есть еще избранные небом или сохранные случаем смертные, которые убергли или согрели на сердце своем девственные понятия о человечестве и свете. Издали жизнь им кажется заветным садом, и они с неизъяснимым любопытством читают на воротах Дантову надпись: «Per me si va nella città dolente!»¹ и думают: «как жаль, что я не знаю по-итальянски: я бы разгадал эту заманчивую загадку».

Таков был Правин. Из корпуса он перешел на палубу, и как прежде каменная стена граничила его ребяческий мир, теперь его миром стал безграничный океан. Он хорошо узнал нрав моря, но где мог узнать характер людей? Знакомо ему стало лицо неба: по малейшему его румянцу, по малейшей морщинке облачной предугадывал, предсказывал он все прихоти погоды,— но лицо женщины... о, это на каждой минуте приводило его в замешательство, ставило в тупик. Какое-то темное, но верное чутье говорило ему: «не верь и половине того, что говорят и выказывают люди», но вот вопрос: которой половине не верить? Явившись в свет с твердым сомнением, с решительным намерением быть настороже от всех и от всего, таял он от первого, казалось, душой затепленного взора, готов был отдать последнюю пуговицу, не только денежку за квакерское пожатие руки. Зная страсти и обязанности только по слуху или из редких романов, им читанных, он загорелся любовью как от молнии, предался ей как дикарь, не связанный никакими отношениями. Океан взлелеял и сохранил его девственное сердце, как многоценную перлу,— и его-то, за милый взгляд, бросил он, подобно Клеопатре, в укус страсти. Оно должно было распуститься в нем все, все без остатка. Следя свою звезду-княгиню повсюду, он не мог уже снести уединения, которое прежде было ему так сладостно; уединение стало ему одиночеством, и он кинулся в рассеяние. Быть с нею или не быть с собой — вот мысль, которая овладела им, и он начал посещать гульбища, театры, гостиницы.

В один из таких дней он сошелся, в одном из лучших трактиров столицы, с ротмиетром Границыным.

¹ Через меня лежит путь в город страданий (ит.).

«А, дружище!» Сели за обед рядом; слово за слово, бокал за бокалом — языки разгулялись, и сердца зашипели, словно шампанское: «За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Ахалцых! за счастье России, за славу царя!» Было тогда чем пить, было и за что пить.

— Ну, теперь черед за женщин, за прекрасных петербургских дам! — сказал Границын Правину. — Не знаю, право, почему, только искони, где слава, тут прилетаются и дамы; уже не за тем ли разве, что сама слава — женщина? Итак, *pro teterrima causa omnis belli*¹. Я страх люблю этот английский тост: *I like the women too, forgive my folly*², как говорит Байрон. *Amour aux dames, honneur aux braves*³. Черт меня возьми! Шампанское — славный самоучитель: оно свой язык вяжет, а чужим учит!.. Я, право, скоро стану язычником, как Иосиф Сенковский: Алла верды!⁴ Пей же скорее, *amico diletto*:⁵ шампанское выдыхается так же скоро, как и добродетель женщины!

— Ты опять принялся за свою старую песню, неисцелимый грешник, — отвечал Правин, осушая бокал до капли. — Видно, брат, укололся шипами, а бранишь розы.

— Шипами! шипами строгости небось? Ха-ха-ха! да ты презабавный чудак, *mon cher*:⁶ ты своим простодушием не испортил бы ни одной классической комедии, в которой все ваши братья-моряки одного набора и одного разбора. Клянутся громом да молнией и пьют пунш вприкуску со здравым смыслом. Шипы у тафтяных роз! Ха-ха-ха! да этаких диковинок не показывал в Петербурге сам Пинетти. Впрочем, не думай, пожалуйста, будто я хочу хвастать тебе победами, как пехотный подпоручик, и божиться по киевским святцам, что нет такой дамы, которая б устояла против огня сильных моих сучков и гармонии серебряных шпор!! Удача, с одной стороны, прихоть, с другой — случай, и если мне подчас доставалось веером по пальцам, из этого следует

¹ За скрытую причину каждой войны (лат.).

² Охотник я и до женщин, — простите мне эту глупость (англ.).

³ Любовь дамам, честь храбрым (фр.).

⁴ Бог дал! — заздравное восклицание мусульман. (Прим. авт.)

⁵ Милый друг (ит.).

⁶ Дорогой мой (фр.).

только, что я не был счастлив, не то, что они были неприступны.

— Границын! помни, что унижение паче гордости!

— Испытай сам, увидишь. Стоит тебе раз попасть в *оглашенные* с какою-нибудь модницею, так расхватают по пуговкам. В этом, правда, чаще всего удается дуракам; но ведь у тебя, слава богу, на лбу не написано: *здесь живет разум!* Притом же моряк в обществе редкость и новинка. Иная красавица возьмет тебя из любопытства, чтоб увериться, не кусаешься ли ты. Другая, чтоб похвастать любезным земноводным, которого надобно держать на розовой ленточке, чтобы не юркнул в воду. Не теряй поры, Правин: я предсказываю тебе легкие победы!..

— Та беда, что я до легких побед не охотник.

— Бери вещи, как они плывут, а не как издали кажутся... Нам не перестроить на свой лад света; пристроимся же мы к его ладу. Да и правду сказать, для меня смешна эта рыцарская любовь, которая чахла, глядя на окошко своей Дульциней. Бог создал мир и человека в шесть дней, а мы станем любить вечно! Это что за известие! Любовь — весна сердца, но у весны много цветов... рви же розы и ландыши. Хорошо бордо в полбеда, но теперь лучше эперне... Посмотри на эту пену; это светская любовь, *mon cher*, — она резва и сладостна, но она мгновенна, — пей ее на полету!

— Я не понимаю тебя, Границын. Ты потчевашь меня светскими радостями, как будто бы они у тебя в погребу, как будто б мне стоит только ототкнуть пробку, чтоб они полились рекою.

— Славно, милый; право, славно! В тебе будет прок. Сперва у тебя не было и охоты, а теперь уж недостает только возможности. Вот тебе правило: смелость берет города... Я уверен, что тебе недолго носиться с пустым сердцем, как с сумою по миру... Столичные дамы такие добрые, такие чувствительные, а ты так свеж и занимателен, что грех заставить вздыхать понапрасну.

— И ты говоришь о подобных связях так легко и равнодушно, будто о трюфелях...

— Да неужели ты думаешь, что они для модного света важнее, чем трюфели? Разуверься, *mon ami!*¹

¹ Мой друг! (фр.)

Наше воспитание обстригло у страстей ногти, и потому они мало опасны. Девушки у нас расчетливы на женихов; дамы осторожны с любовниками: ни те, ни другие не захотят себя компрометировать; но разогни у последних молитвенник — и ты увидишь науку любить в переплете под крестами. Да я их за то и не виню. Откровенно говоря, смех и горе, как у нас совершаются свадьбы! Мы торопимся жить, а жениться опаздываем: всякий хочет добиться до штабских или генеральских эполетов, чтобы дороже перепродать их по рядной записи. Невеста идет в придачу к приданому, а как сочтутся на деле — смотришь, у невесты недочет душ, у жениха даже тела. И вот наш его высокоблагородие или его превосходительство, которому уже в семнадцать лет незачем было ездить в Египет за разгадкою таинств природы, изволил жениться. Жена у него профессор туалетного богословия. Рукава пух с новоизобретенным механизмом; носки башмаков тупее ума графа Сивича! Шаль продень сквозь кольцо, но вряд ли саму ее вденешь в ухо. Она скачет верхом и стреляет влет; она играет и поет, только песни ее не всегда под голос мужа. Хороша ли, нет ли она собой, но она молода, она желает нравиться и наслаждаться, она умеет спрягать глагол я хочу не хуже г-жи Линьель; а что находит она в благоверном своем супруге? Под сукном да ватую — завернутый фланелью барометр, наполненный сладкою ртутью. Находит усталого чахлого человека, который по утрам кашляет, целый день зевает и каждый вечер скучает или докучает. День-деньской он на службе, а ночь в гостях: или играет до утренних петухов, или хочет победить питухов за бокалом; он весь век будто маятник между бутылкой бургонского и стклянкой с лекарством. Хорошо еще, если он не отправляется тратить случайную искру веселости и здоровья с какой-нибудь актрисой. Таковы, брат, все мы гуси; чего же тут ждать доброго! Жена по неволе станет бегать из дома: там пахнет пустотою! Кончается тем, что дом ее будет в ложе первого яруса, отечество — в английском магазине, а рай — на балу... Глядь... молодежь увивается около нее, словно хмель, и вот какой-нибудь краснощекий франтик приглянулся ей более других. Рассыпается он в объяснениях мелким бесом, — насчет ума наши дамы неприхотливы, и если запоздает почта из Парижа, принимают и вывороченные

доморощенные нежности. Клянется он так, что ведьмы крестятся от ужаса, нередко, проигравши и прогулявши всю ночь напролет, уверяет, что бледен с отчаяния от ее жестокости. Она, разумеется, ничему этому не верит, но, с должным для чиновной дамы приличием, с ноги на ногу идет навстречу к обману для того, чтоб при случае броситься в кресло, закрыть платком глаза и сказать: «вы, сударь, камень, вы, сударь, лед, вы злодей, вы меня обольстили!» Ну долго ли до беды! хоть беды в том я никакой не вижу. А Мефистофель тут как тут с своим носом. Он, скаля зубы, уже готовит его превосходительству рожки самой лучшей работы — точеные и позолоченные.

— Ты клеветешь, — вскричал Правин, — ты сочиняешь из головы злые пасквили на общество! Я недавно трусью между вами, однако же не заметил и тени, не только следа, того разврата в нравах, какой ты проповедуешь. Мне кажется, напротив, петербургские дамы чересчур щекотливы и недоступны.

— Нет, *mon cher!* — вскричал проказник Границын, поперхнувшись от смеха, — ты из рук вон! Уж не служил ли ты, полно, под командою первого адмирала, Ноя, гардемарином? С твоею допотопною простотою не уйдешь ты у женщин далее гостиной: я тебе пророчу это. Верить щекотливости и недоступности здешних дам — так верить всякой эпитафии. Правда, потемкинский век миновал для любовников, но не для любви. Теперь дама не краснеет приехать на бал с мужем или поцеловать его в лоб при многих, а с кавалером — сервенте своим говорит о разводах, о семипольном засеве и о Викторе Гюго. Но утешься, милый: купидон возьмет свое. Она знает, что хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара, что замок ее спальни, чуть тронутый, наигрывает «*réveillez-vous, belle endormie*»¹ и что нескромный взор не упадет на трюмо, перед которым она примеривает или поправляет пелеринку у своей *marchande de modes*². Благодаря европейскому просвещению и столичному удобству у нас все репутации так же круглы и белы, как бильярдные шары, по какому бы сукну они ни катились.

¹ Проснись, спящая красавица (фр.).

² Модистка (фр.).

Доброе, чистое сердце Правина сжалось, внимая этой холодной повести о пороках общества, украшенных столь блестящею личиною смиренности.

— В самом деле,— молвил он с горькою улыбкою,— я знал не более устрицы о нравах света в корабле своем! Я постигаю в женщине слабость; могу представить, что страсть может увлечь ее; но поместить в свою голову мысль об этом глубоком, расчетливом, бесстрастном разврате — это выше сил монахов! Я видел в Турции одну баядерку: она вынула из-под подушки своей вески и медленно взвешивала предлагаемые ей червонцы, надбавляя цены, глядя в очи путника. Не так ли взвешивают твои дамы сердечную забаву, бросая в другую чашку возможность скрыть ее! Они берут оброк и с титула добродетели — уважением и с сущности порока — наслаждениями. О свет, свет! ты даже из самой невинности делаешь новый порок, заставляя порочных быть самозванцами и скрываться под краденным у тебя платьем!

— Ты напрасно горячишься,— возразил ротмистр.— Лицемерие есть невольная дань нравственности, а всякая дань — узда. Нередко знатные дамы обязаны сохранением своего имени без пятна мелочному расчету не запятнать своего платья, и я уверен, что китовые усы в старину сохранили более браков, чем в наше время разорвали их гусарские усы. Пускай же плетут пустые люди кружева из песку, называемые модою; пускай себе старушки в чепцах и фраках с важностию рассуждают о лучшем способе чихать за обедней и кланяться на выходах: без этих вздоров лучшее общество сгнило бы, как Пресненские пруды. Не бывать в лохани буре, так ему надобна мутовка. Впрочем, будем беспристрастны, топ сней. Слова нет, свет очень развратен, но совершенства, слава богу, нет и в этом. Природа — великое дело. Она хоть и не смеет горланить в гостиную, как в трагедии, но в тиши кабинета обращает в свою веру многих. Бывает, что связь, начатая минутною прихотью, очищает огнем своим сердца и переливается в долгую, бескорыстную страсть, готовую на все жертвы, выкупающую все заблуждения, страсть, которая бы сделала честь любому рыцарю средних веков и любому человеку во всех веках. Я, не верующий ни в невинность мужчин, ни в верность жен, я сам...

Границын глубоко вздохнул и умолк в раздумье... перед его очами носились образы милые, но укорительные...

— Да,— молвил он печально про себя,— да я ее не стоил!..

— Послушай, Границын, мне жаль тебя,— с чувством сказал Правин,— и я не могу понять, как, проповедуя против пороков не хуже Саллюстия, ты пляшешь по дудке, не говорю уже как Саллюстий, но как Репетилов в «Горе от ума»!

— Таковы все мы, рожденные на границе двух веков, милый мой; восемнадцатый нас тянет за ноги к земле, а девятнадцатый — за уши кверху. Не разберешь, право, что мы такое? ни рыба, ни мясо, ни Европа, ни Азия. На прошлое мы недоумки, в настоящем недоросли, а в будущем недоверки, чуть ли не Spottgeburt aus Dreck und Feuer¹. Животным привычкам нашим любо валяться в грязи-матушке; но ум уж проснулся; ум просит поест и хочет разгрызть орех современного просвещения, да жалуется, что у него болят зубы от свекольного сахара.

Правин был недоволен оборотом разговора. Макиавель и Купидон — заклятые враги друг друга. Ему хотелось получше изведать море, называемое женщиною; а когда он думал о женщинах вообще, это значило, что он разумел в особенности княгиню Веру. И вот он искусно свел разговор на прежнее.

— Неужели,— сказал он Границыну,— возвращение столичное так всеобщее? Неужели не найти дамы, на чье доброе имя, как на этот хрустальный бокал, не всползти ни одному червяку злословия?

— Я не обер-полицеймейстер, милый друг; мне ведь не подадут списков о числе рогатого племени в столице. Буало насчитал в Париже до двух Лукреций; Пушкин в целой России не находит трех пар стройных ножек,— я принимаю то и другое за клевету, и хотя суровые сердца должны быть реже, нежели маленькие следки, со всем тем я в самом Петербурге назову тебе более дюжины верных супругов.

— И, верно, в числе их поместишь жену Мирона Ильича Н. и княгиню Веру, жену князя ***?

¹ Выродки брешня и огня. Гете. (Пер. с нем. авт.)

Произнося, однако ж, последнее имя, Правин покраснел как маков цвет. Первая любовь не может равнодушно слышать любимого имени, не может без замешательства произнести его.

— Про первую ничего не скажу, и этого уж довольно к ее чести, а другая московская звездочка — гм! она так недавно блеснула на петербургском горизонте... она еще в медовых месяцах супружества, — где ей просветиться! где успеть злословию подстеречь ее, если б что и было?

Лицо Правина прояснело.

— Если б что и было! — молвил он. — Никогда и ничего не может быть.

— Ты не член ли страхового общества, Правин? — насмешливо возразил ротмистр. — Смотри, друг, обанкрутишься, если принимаешь на поруки такие ломкие вещи. Важное слово нет, а не может быть еще важнее. Постой-ка, дай бог памяти... княгиня Вера?.. гм!! князь Петр!.. он толст и прост, она красавица и мечтательница... скорее соединишь масло с шампанским!.. Ну, я раскину словно на картах... между ними улегся какой-то червонный валет — это дипломат-поэт, кудрявый архивариус коллегии иностранных дел. Этот поэт ищет себе напрокат вдохновения и пожаловал, кажется, княгиню в музы. Слепой разве не заметит, как увивается он около нее, как оборачивается следом за нею, будто подсолнечник. Куда бы княгиня ни явилась, он как гриб изпод земли вырастает; ни дать ни взять, сказочный сивка-бурка, вещий каурка. На бале у австрийского посланника он напевал ей что-то на ухо в продолжение высокосного котильона: вероятно, читал седьмую главу «Онегина»! Ну, пускай мне первый мой враг скажет: «Comment vous portez-vous?»¹ в глаза, если между ними чего-нибудь не заводится. Я старый воробей: меня, брат, не озадачат никакие маски.

— Его имя? — заботливо спросил Правин.

— Ты знаешь его в лицо, не только по имени; да если и не знаешь, так заметишь с первого взгляда, когда найдешь их вместе. Один разве бесстрастный муж или страстный влюбленный может быть так слеп, чтоб ничего тут не видеть.

¹ Как вы поживаете? (фр.)

— Его имя? — с бешенством повторил капитан.

Кровь его кипела.

— Иероним Ленович.

Как шпага, пронзило это имя сердце Правина, и на него низались уже в его памяти тысячи вероятий, тысячи сомнений. Да, точно, он сам видел их умильные взоры!.. Правин уже не слышал более, что говорил товарищ. Сердце его дрожало, будто в лихорадке, кровь то стыла, то жгла его... невнятный ропот исчезал на губах. Он пожал Границыну руку, бросил на стол ассигнацию и, не ожидая сдачи, вышел, поскакал домой. Отрывчатые восклицания и мысли сталкивались.

— Так молода и так коварна! — говорил он. — И к чему было обманывать меня сладкими речами и взорами? зачем манить к себе?.. Или она хочет забавляться, дурачить меня? держать вблизи вместо отвода? Меня дурачить! Нет, нет, этому не бывать! Скорей я стану ужасен ей, чем для кого-нибудь смешон... И кто бы мог подумать, кто бы!.. Впрочем, быть может, все это вздор, зависть, пустые сплетни... да и что мне до этого?.. чем я привязан к ней, чем она мне обязана? А хотелось бы узнать, однако же, истину — так, из одного любопытства, — я бы посмеялся ей... я бы заставил ее плакать кровью!! Но как добраться до открытия в городе, в котором редкий муж дерзнет поклясться, целуя жену свою вечером, что целует ее сегодня первый, где потому только все невинны, что в истинной невинности можно усомниться, а истинной вины нельзя доказать.

И сон не освежил Правина. Под изголовьем его шевелились ревнивые мечты, — и сколько насмешек наготовил он для первой встречи с княгиней Верою, для первой сшибки с ее угодником!

— Дай только мне увидеться с нею... — говорил он, скрежеща зубами.

И всему этому виной были слова Границына, слова, основанные на пене шампанского и на желчных догадках болтуна. Бегите, юноши, встреч, не только дружбы с подобными людьми! Они безжалостно обрывают почки добрых склонностей с души неопытной; они жгут и разрушают в прах доверие к людям; веру в чистое и прекрасное; боронят пепел своими правилами — и засевают его солью сомнения.

Капитан-лейтенант Правин
к лейтенанту Какорину

Август 1829 года, в Кронштадт.

Еду, еду к вам, завтра же еду, любезный Нил! Да и что мне делать в этом Петербурге, в этой столице раскрашенных снегов¹, как говорит Байрон. Да и какой безумец выдумал влюбляться, да и какой лукавый дернул меня за полу полюбить светскую даму?.. Любить! любить! Как дико звучит это слово в свете! Отголоски, будто в пещере, повторяют много раз: любить,— но кто отвечает вам? Камни... хуже, чем камни,— пустота! Содрогаюсь от негодования.. И я мог думать, мог верить, что любовь может уютиться в сердце, слепленном руками света! Безумец! безумец! скорее найдешь сочувствие в раззолоченном яичке для детей, на котором снаружи написаны нежности, в середине насыпаны сладости, а все вместе — дерево, крахмал и сульфальная позолота. Но что говорить о том, чего не воротить! Не возвратится и любовь моя. Поздравь меня, Нилушка, я здоров; я сбросил с себя страсть к княгине Вере, вместе с модными побрякушками. Теперь, чем скорее в море, тем лучше. Земля, кажется, горит подо мною, горит и сердце,— и лишь в туманах океанских погашу я его!

Поговорим о деле. Ты пишешь, что адмиралтейство не дает довольно мастеровых и не отпускает хороших материалов, что во всем задержки и недопуски... Все это, все эти господа меня скоро взбесят: я буду жаловаться прямо начальнику штаба, или воображают они, что после грозы для них будет роскошнее сенокос?.. Пусть разубедятся в этом. Прошли уж те времена, когда корабельные мастера строили дома из мачтовых деревьев и крыли их медною обшивкою... Теперь едва они спроворят себе и на глаголь.

Поставил ли ты козлы, чтобы переменить бизань? ² Посадил ли в должный уклон бушприт? ³ Навесь десять,

¹ This famed capital of painted snows. «Childe Harold's pilgrimage» [«Паломничество Чайльд Гарольда» (англ.)] (Прим. авт.)

² Задняя мачта. (Прим. авт.)

³ Наклонная, из носа выдающаяся мачта. (Прим. авт.)

двадцать на него бочек с водою, если упрямится... я терпеть не могу бушпритов, которые задирают нос кверху, словно дежурный камер-юнкер. Для марсовых септоров¹ просил ты рисунка сеток. Долой их, сбрось совсем прочь и прежние. Эти узорчатые плетенки напоминают мне дамские кружева... на последнем бале княгиня была вся ими изувешена. Ты, пожалуй, скажешь, что, верно, я пришел туда, увидел, победил. Увидел и возненавидел ее, друг мой... Стоит рассказать тебе, как это было: может статься, для тебя это будет любопытно, а для меня как памятно! Чудом показалось тебе, что я ездил на бал; что же будет, когда я скажу, что ездил на бал незванный и в дом мне вовсе не знакомый; что я был там только из желания взглянуть на нее, и взглянуть неприятельски. Я уж писал к тебе о своих подозрениях: я жаждал или прояснить, или рассеять их, и долго напрасно. Не находил я ее дома, не встречал в городе. Наконец узнаю, что княгиня Вера отправилась на званный вечер за город, к графу Т. Как быть? Я там незнаком, туда не зван; нетерпение мое возросло до нестерпимости, ревность — до бешенства. Решаюсь хоть умереть, а взглянуть на нее. Сажусь в наемную карету и скачу на тринадцатую версту по Петергофской дороге. Приезжаю... вхожу... встречаю хозяина, — на дороге уже изобрел я предлог посещения: граф — страстный охотник до редких книг и обладает богатою библиотекою, — я прицепился к этому. «Простите, граф, флотскому чудаку неуместность его визита, но пусть необходимость извинит меня: я могу располагать только настоящею минутою и, проездом в Ораниенбаум, решил заехать к вам с просьбою. Вот в чем дело. Я пишу записки об истории мореплавания, а ваша библиотека знаменита в целой России; только у вас можно найти книги, редчайшие самых кладов, и между прочими, я знаю, что у вас есть в оригинале путешествие испанца Гвереры в Южном океане; а оно для моего предмета необходимо. От вас зависит крайне обязать меня, ссудив этой книгою для прочтения». Граф был доволен как нельзя более... цап меня под мышку и потащил в свою библиотеку. Скрепя сердце должен я был дивиться глупостям всех

¹ Поручни. (Прим. авт.)

форматов, типографическим редкостям в ослиной и в телячьей коже, бесценным лишь потому, что их давным-давно никто не читает. Я чихал от пыли старины, я протирал себе глаза, я проклинал и книгопечатание и книгобесие, но хозяин этой кунсткамеры был неумолим и отпустил мою душу на покаяние не ранее, как перешупав спинки всех своих диковинок. Наконец, вручив мне заветные сказки испанца, пригласил в танцевальную залу,— я только того и ждал. Закрыв шляпою сердце, точно как голубка, чтоб оно не выпорхнуло, пробирался я дальше и дальше. Прелестные личики мелькали мимо в бешеном вальсе, то оперенные, то расцвеченные, то осыпанные алмазами; но как в тысячах звезд назвал бы я звезду любимую, так издали и в толпе распознал я княгиню Веру... Никогда еще не казалась она мне так прелестна, так воздушна, так идеальна! Любовь проникла и осветила все ее существо: она горела в очах, дышала устами, пробивалась лучами сквозь все поры,— зачем измена может быть столь очаровательна!.. И вдруг я заметил, к кому обращены были ее очи, кто одушевлял ее такую необычайною прелестию,— душа у меня превратилась в лед, а ум в уголь... ужасный миг!.. Итак, все, что мне говорено, все, что подозревал я,— правда! Итак, я потерял ее, не владев ею!.. Не замечая меня, она села рядом с вечным моим соперником; что-то говорила с ним вполголоса; оба они улыбались от удовольствия, и порой она задумчиво склоняла голову и глаза ее подергивались туманом мечты... О, как проклинал я тогда сладкозвучную музыку! Она мешала мне слышать разговор! она, казалось, раздирала мне слух и сердце. Кровь кипела в жилах растопленным металлом... Да избавит небо злейшего моего врага от мучений ревности,— какой еще ревности! которой я не имел права чувствовать и не смел показать; но мог ли я тогда владеть собою? Думаю, что лицо мое было страшно, потому что страшное совершалось в душе моей. В ту минуту, как они оба встали, чтобы вальсировать в свою очередь, когда она подала ему свою руку, я устремился, как тигр на добычу, я возник перед ней, как призрак-укоритель,— и я наслаждался ее смущением, я с улыбкою видел, как погас ее взор, блиставший за миг яснее алмазов ее диадемы; видел, как поблек ее румянец, как замер льстивый голос на устах! О, сладка месть, сладка! Гомер недаром

назвал ее страстью богов... Зачем же нельзя сказать того же о ревности? зачем же нету в ней, в этой адской страсти, ни одной отрадной капли, напоминающей небо!

Я отвратил мое медузино лицо от испуганной четы — и скрылся. Я мчался во весь опер... Катай, извозчик, удуши лошадей; пять, десять, двадцать рублей тебе на водку! Я летел; колеса жгли мостовую; я хотел закружить себя быстротой, упиться самозабвением, — напрасно! Чудные чувства бушевали в моей груди: то я давал полный разгул моему негодованию и смотрел на княгиню и ее Милловзора с ледяной вершины презрения. Стоит ли взора, не только вздоха, женщина, которую слепит мишура, пленяют пошлые каламбуры? Потом горячая, глубокая зависть пронизала душу: я завидовал, и чему же! блистательной ничтожности светских любезников, их кукольной развязности, их птичьей болтовне с дамами, — мало этого: я завидовал приманчивому богатству глупца, связям мерзавца, даже искусству бездельника делать огромные долги, уменью игрока обыгрывать в карты, низости продавать себя дорого или учтиво грабить других — средствам, принятым у нас в число оптовой торговли душою, которые бы дали мне возможность часто быть с нею, дивить ее, блистать в обществе, в котором золото, какими бы путями ни было добыто оно, дает все права гражданства!.. Правда, такое унижительное желание пролетело сквозь меня вмиг, но пожалей меня, что оно могло пролететь даже мимо. О любовь, любовь! ты мать и мачеха душе человеческой! ты можешь ее возвысить до звезд и утопить в луже. Ты делаешь героев или злодеев из людей с могучею душою, честолюбцев или мерзавцев из людей слабых духом... Я ненавижу тебя, я проклинаю тебя, я срываю долой твои пути! и... о, слабость недостойная — я плачу над обломком своего ярма... Хорошо, если б я мог плакать, если б я мог еще рассуждать!

С.-Петербург

Zwei liebende Herzen sind wie zwei Magnetstücken: was in der einen sich regt, muß auch die andere mit bewegen, denn es ist nur Eins, was in beiden wirkt — eine Kraft, die sie durchgeht.

Goethe¹

Фрегат «Надежду» приказано было изготовить к осени для дальнего похода. Его ввели опять в гавань для перегрузки трюма, для перемены некоторых частей рангоута и стоячего такелажа. Командир судна, Правин, был уважаем, как офицер отличной храбрости и познаний, и ему дали средства украсить фрегат свой на щегольство, со всеми прихотями, доступными боевому судну: бронзу на винты каронад, на решетки каютных люков, на кофельнагели, на поручни к трапам; дуб с резьбой и красное дерево по каютам. Терзаемый ядом ревности, Правин хотел деятельностью подавить тоску сердца и старою страстью заглушить новую. От зари до зари не сходил он с палубы, и ни одна безделка, ни малейшая подробность не ускользала от его внимания. Он все осматривал лично, все поправлял сам; своею привязчивостью он надоел даже Нилу Павловичу, а Нил Павлович сам был знаменит на флоте своею точностью.

— Слава богу,—сказал однажды тот лекарю Стеллинскому,—наш Илья образумился: служба как рукой сняла с него дурь. Я недаром говорил, что распрысканная духами модница-любовь убежит от смоляного духу, как бес от ладану!

— Если она и убежала, так вовсе от другой причины,—возразил Стеллинский.—Капитана исцелили мои фумигации... Он вовсе не замечал в рассеянности, что я подмешиваю в его курительный табак лекарственные травы.

Но исцелился ли, полно, Правин?

Между тем работы кипели, вооружение росло, и с ним вместе росло нетерпение Правина. «Скорей бы, ско-

¹ Два любящих сердца подобны двум магнитам: то, что движется в одном, должно также приводить в движение и другое, ибо в обоих действует только одно — сила, которая их пронизывает. Гете (нем.).

рей вытянуться нам на рейд, и тотчас в море, и как можно вдаль от этого проклятого Петербурга! Вовек нога моя не будет там!» — воскликнул он однажды, и через два часа Правин стоял уже над колесом бертовского парохода, как будто считая каждый оборот его, шумно роющий воду. И вот г. капитан-лейтенант и кавалер Правин в столице. Да помилюйте, как ему и не быть в столице! На обсерватории у него поверяются хронометры; из Академии наук надобно ему получить ученые инструкции, из адмиралтейства — новые карты, от начальника штаба — особенные приказания. Да и почему не остаться ему день-другой лишней? ведь не завтра подымать якорь. У него же такой надежный помощник на фрегате!.. Мы чрезвычайно богаты на доводы, когда хотим потешить свою прихоть. Стоит только вздумать да загадать — за возможностью дело не станет.

Со всем тем гордая решимость Правина: не искать, не видать княгини, была непоколебима. Мысли его, как улитковые линии, сходились всегда в одну точку, — и эта точка была она; зато сам он будто ринутый средобежною силою, все далее и далее бродил от тех мест, где бы мог встретиться с нею. Правин был поэт в прозе, поэт в душе, сам того не зная; да и есть ли на белом свете человек, который бы ни однажды не был им? Вся разница в том, что один чаще, другой реже, один глубже, другой мимолетнее. Не одни величавые красоты природы поражали и пленяли Правина, нет, он горячо любил все произведения искусства, запечатленные поэзией, в чем бы она ни проявлялась: в стихе, в смычке, в кирпиче, в бронзе — и там, где человек слил свои труды с природою, и в том, где перетворил ее по своему безотчетному идеалу. Любовь изострила в нем чувство изящного, и теперь чувство, выброшенное из русла, разливалось прямо из сердца на все предметы, одушевляло все его окружающее. Оно вод дышало для него звуками грустными, но приятными; воздух веял словно дружеской рукою в лицо. Он находил новый, но знакомый смысл в книгах; схватывал сладостные переливы в стихах, которые незадолго казались ему беззвучными; занимательность сказалась ему в наличнике дома, в колонне, в картине. Он иногда простаивал по четверти часа, любуясь какою-нибудь частью города, улицею, мостом, красивым домиком. Он не замечал усмешек и

толчков прохожих, благоговей перед монументом Петра Великого; но всего более полюбил он бродить по великолепным комнатам дворца, известного под именем Эрмитажа... это было его наслаждение, его утешение. Там казалось ему, что он снова повторяет свои путешествия, и образы мира на миг заслоняли от очей души образ ненавистный и милый. Он утихал, как дремучие болота Рюисдаля, вдыхал свежесть ночей фан-дер-Неера, летел с кораблем по желтому Немецкому морю фан-Остада. Портреты фан-Дейка шевелились, небо Рафаэля растворялось... Правин хотел удержать камни, летящие в св. Стефана Лесюерова; врубался в ряды мидян с Пуссенем, молился с блудным сыном Мурильо. Прелестные личики улыбались ему, рыцари протягивали руки, сельский праздник манил к себе. Шумная встреча штатгалтера тянулась мимо, и будто знакомые люди кивали из толпы головою, грозили перстом из окна. Влево шумел черный лес Сальватора, вправо плескалось бурное море Вернета; люди, климаты, города, небеса, океаны во весь рост развивались, росли, смешивались, меркли. То был какой-то гармонический, но безмолвный танец образов, идей, веков; то был осязаемый микрокосм души человеческой, начиная с грязной вещественности Теньера до недостижимой святости Урбино,— бесконечный как хаос, неясный как сны, уже готовые, но еще не виданные человеком.

Правин обжился, ознакомился с обитателями этого мира, в котором дремал он наяву. Но, кроме бескорыстного наслаждения рассматривать зеркальные ширмы света, закрывавшие от него досадный, настоящий свет, Эрмитаж привлекал его прямым отношением к его страсти. В комнатах, заключающих Музей Жозефины, между предестною Гебою и танцовщицею Кановы, возвышается, его же резца, чета Амура и Душеньки. Душенька эта была ни дать ни взять вылитая княгиня Вера. К ее-то подножию спешил Правин отдохнуть от забот службы... Отдыхать? О, столько же отдыхает труженик на постели, усыпанной щебнем!! Нет, он спешил туда горевать наедине и высказывать подобию изменницы свои упреки, проклинать ее и восхищаться ею.

Вы, верно, видели эту прелестную купу, одно из лучших творений Кановы! Душенька, обнявшись с Амуром, любитесь бабочкою, сидящею у нее на ладони. Вы-

сока так, как небо, чиста, как луч солнца, многоплодна, как самый климат Греции, была идея выразить сочетание души с телом, или юности с любовью, любовью Амура и Психеи. Но если группа Скопаса (поцелуй их) превосходна в отношении к искусству, в отношении полноты превосходнее группа Кановы. В той вы видите символ первобыта — страсть; в этой символ нашего времени — мысль. У современного нам художника идея жизни расцвела идеею бессмертия. Вглядитесь хорошенько в идеальные лица обоих любовников: под младенческую улыбку Душеньки вкралась уже неясная дума. Она еще усмехается рассказам своего милого, но уже мечтает о преображении, загадка эта уже томит ее. Напротив, ветреник Амур едва обращает внимание на бабочку — его глаза прильнули к Душеньке, будто бабочка к розе. Положение кисти левой руки, ласкающей плечо Душеньки, на котором она покоится, доказывает, что чувство для него сладостнее думы, а движение правой руки, кажется, молвит уже: «Пусть она летит, эта бабочка!» Со всем тем мысль невольно бросила на лицо, на осанку обоих тень важности, в противоположность с отроческими их формами. Зато какая прелесть в повороте голов, какая нега в выражении лиц, какая легкость в постановке (rose), благородство в осанке! Пламенный резец Кановы размягчил в тело мрамор, но мысль дала жизнь этому телу, сделала его прозрачным и воздушным — одним словом, вдохнула в него душу.

Вереница других сравнений, других применений мелькала в воображении Правина. Как мало лет и как много происшествий, как много исторических лиц протекло у стоп этого мрамора! Перед ним, может быть, не однажды плакала развенчанная царица французов. На нее падал мимолетный как молния взор Наполеона, безумствующего о завоевании мира. На него глядела толпа королей и полководцев — одни с рассеянностью пресыщения, другие с равнодушием невежества, многие с завистию: зачем это не мое! И где очутился этот мрамор из чертогов Тюльери? И потом, где те, которые любовались им так недавно? «Одних уж нет, другие странствуют далече!» — со вздохом думал Правин.

Поутру в какой-то праздник Правин, сам не зная как, очутился у стоп Душеньки. Он погрузился в глубокую думу, в живую грусть, любуясь милыми чертами.

«Когда я увидел тебя впервые,— думал он,— мне казалось, что ангел кликнул мою душу по имени, что ты из младости обручена мне сердцем! Безумец!.. я смеялся над этою дикою мыслию — и, влюбленный, поверил ей, предался ей... и чему после этого верить, если не верить такому лицу? Так прелестна и так коварна! столь умна и столь легкомысленна! И зачем я встретил ее, зачем дозволила она себя полюбить! Внушить такую пылкую страсть, раздуть пожар и потом развеять пепел сердца по воздуху, не уронив даже слезы участия, не только взаимности; поманить надеждой и предаться другому!..»

Правин был один-одинехонек... Он тихо колебал головою, и слезы текли неслышимо по его лицу.

— Вы плакали! — сказал кто-то подле него.

Голос этот бросил трепет во все его существо. Сладкозвучен и нежен был он. Глубокое участие отзывалось в нем. Правин обернулся: рядом с ним стояла княгиня Вера, в газовом золотошвейном платье, в полном блеске убора, и красоты, и молодости, во всем очаровании чувства... Она была лучезарна, божественна! Видно было, что она ускользнула с выхода подышать свободнее на просторе, взглянуть на мастерские произведения резца и кисти, быть может влекомая тайным предчувствием сердца,— а сердце наше вещун! недаром сказано Дмитриевым.

— Вы плакали? — повторила она; она была тронута.

Первое обаяние прелести миновало, вспышка негодования улетела с сердца Правина, но обиженное самолюбие — червь; оно не имеет ни ног, ни крыльев — оно осталось. Он отступил, поклонился княгине с холодною почтительностью и отвечал, краснея:

— Да, княгиня, я плакал, и горьки были слезы мои... Я думал, что я здесь один...

— Неужели для вас больно, капитан, что я в ваших глазах застала слезу?.. Чудные создания мужчины: не краснея могут хвастаться кровью друга и стыдятся слезы чувства!..

— По крайней мере я должен стыдиться этих слез, и признаюсь, всех менее вас желал бы я иметь свидетелем такой слабости: слез моих не видал и не увидит свет, и будьте уверены, княгиня, что они не прибавят блесков ни на чье платье!

Правин никогда не говорил княгине о любви своей, но какая женщина не понимает пламенной речи взоров, румянца щек, волнения груди, трепетания руки? Княгиня и в этот раз поняла весь укор Правина. В ее ответе видно было более чувства, чем гордости.

— Неужели вы думаете, капитан, что удел мой одна мишура и блески, что я не знаю слез горя? Но вы бросили стрелу еще далее, еще глубже: вы почти сказали, что я могу радоваться чужому горю. Скажите, чем заслужила я такое несправедливое обвинение? и от кого же?..

Правин смешался. Он был пойман, как школьник, который выскочил вперед для объяснений с учителем и оробел от его грозного взгляда. В таком случае начинают обыкновенно уверять, что и не думали ничего намекать против, что никогда бы не осмелились и подумать обвинять!.. Правин наговорил кучу подобных пошлостей.

Княгиня грустно качала головою.

— Капитан,— сказала она,— откровенность флотских вошла в пословицу,— вы хотите опровергнуть ее. Я уже несколько дней замечаю, что вы на меня сердиты.

Правин будто проснулся от сна.

— Я докажу вам на деле откровенность мою! — сказал он горячо.— Знаете ли, княгиня, на кого походит эта Душенька!

Княгиня улыбнулась с самодовольным видом, подняла глаза на мрамор и, зарумянившись, сказала:

— Многие из подруг моих находят, будто во мне есть небольшое сходство с этою статуею, но, признаюсь, я мало верю комплиментам женщин.

— Поверьте же чувству мужчины, княгиня! Сердце не обманчивый знаток. Признаюсь вам, я уже не впервые у ног этой Душеньки. Было время, что я приходил сюда любоваться ею, высказывать ей то, чего не смел говорить ее подобию и не мог таить в себе. Теперь... о, теперь совсем иное дело: я пришел излить на нее свои укоры и уронить на бесчувственный мрамор слезу тоски невыразимой. Вы сами вызвали мою откровенность — услышите же ее вполне. Да, княгиня! теперь не время притворствоваться: я не хочу этого, если б мог — не могу, если б и хотел... Не отрицайтесь, не говорите: «Нет» — вы видели, вы знали, что я люблю вас; но вы не знали, как я любил вас; вы не поняли меня, не оценили этого

сердца — сердца, переполненного к вам любовью!.. Видите ль эти царские сокровища? Видели ли вы Грановитую палату? В нее каждый век сносил свои драгоценности, свои короны, свои оружия и воспоминания, — не смейтесь же сравнению: мое сердце — это Грановитая палата! Его я бросил, его рассыпал бы я к ногам вашим: мои чувства, мои мысли, моя страсть стоили бы жемчуга и золота!.. Черпая из этой сокровищницы, я мог бы стать всем, чем бы только захотели вы меня видеть — вы, властительница, царица души моей! всем, чем вы бы велели мне быть! Сказали бы мне: *будь поэтом!* — и через год я склонил бы свою увенчанную голову перед тою, которой обязан вдохновением. Разве не поэзия высокая любовь моя! Разве нет пылу в моей душе? Я бы разбил ее в искры, и звуки, и мысли, — и свет ответил бы мне вздохами, и слезами, и рукоплесканиями! Пожелали ль бы вы увидеть меня героем — и что бы устояло против меня? И скоро я бы сжег ваше сердце лучами моей славы. Этого мало: я, жадный деятельности, я, честолюбец в душе, я, в котором внутренний голос говорит: «ты можешь быть многим», я бросил бы саблю и перо, отказался бы от милых бурь океана, ото всех радостей и обольщений земли, даже от страсти к познаниям, и весь век мой бросил бы слитком золота в поток забвенья, для того только, чтобы любоваться вами, как миром, слушать, как райскую птичку, чтобы только быть близ вас часто, дышать вашим дыханием — угождать вам, боготворить вас... но вы, вы не захотели этого...

Говоря это, Правин схватил руку княгини, между тем как его пылающие речи и взгляды пронзали сердце ее.

— Полноте, перестаньте, умолкните, капитан! — вскричала она. — Я не хочу, я не должна вас слушать. Вспомните, кто я, вспомните, что я: на руке моей сжимаете вы кольцо, — оно видимое звено невидимой, но неразрывной цепи, меня окружающей. Судьба моя — навек принадлежит другому!

Правин горестно опустил ее руку.

— О, если б одна судьба стояла между нами, я бы менее роптал. Я бы завидовал, глубоко бы завидовал человеку, которому досталась рука `ваша, но он сам позабывал бы мне, если б вы отдали мне свою душу. Было время, что я веровал в это сочетание, в это супружест-

во душ... Напрасно! Поманив меня взаимностию, вы с насмешкою отвернулись от меня, отвергли мою безграничную любовь, оттолкнули мое сердце — и не судьба, не долг супружества были тому виною, нет: иное чувство, иная любовь! Да, княгиня, я сейчас думал: «Эта Душенька вылитая княгиня Вера; жаль только, что Амур вовсе не похож на Леновича». Будь еще это, и всякий бы сказал, что Канова снимал эту чету с вас обоих, когда вы собирались вальсировать!

— Удержитесь, Правин,— с жаром прервала его княгиня.— Пустая ревность ослепляет вас: Ленович — близкий родственник моего мужа и давно жених моей двоюродной сестры, Софьи Э., единственного друга моего детства. Теперь, когда я говорю с вами, он уже в Москве, он уже у ног ее. Об ней-то, об ее-то судьбе говорили мы с ним, когда вы явились внезапно, неприглашенные, на бал к графу Т. Несчастный бал! несчастная Вера!.. внушить столько страсти, и нисколько доверия... Нет, капитан! кто любит, тот верит, до легковерности верит: это я знаю по себе; нет, сударь, вы не стоите, чтобы я оправдывалась. Боже мой, боже мой! думала ли я когда-нибудь, что из пустого подозрения, из ничтожной наружности я потеряю доброе мнение человека, которого всегда отличала, которого так много уважаю, так горячо люблю!..

Вера была увлечена досадою; досада есть лучшее средство заставить женщину высказать сердце. Но что для опытного любовника было бы делом расчета — тут было делом случая. Последние слова княгини вырвались из сердца не как признание, но как восклицанье. Она забылась,— но мог ли счастливец забыть сказанное? мог ли не верить, что признанное было истинное чувство? Нет, никогда лицемерие не говорило таким голосом, не сверкало таким взором! Все сомнения исчезли, душа растаяла в Правине, он впал в какое-то исступление восторга: осыпал поцелуями руку Веры, прижимал ее к своему сердцу.

— Оно ваше, навеки ваше, божественная женщина! — восклицал он.— Кто даст мне сил вынести мое благополучие!.. Теперь я готов сжать руку злейшему врагу как другу, обнять целый мир как брата!

Княгиня ничему не внимала, ничего не видела; казалась, с роковою тайною вылетела из нее жизнь. Скло-

нясь челом на пьедестал Душеньки, она была бледна, как та... Крупные слезы дрожали на опущенных ресницах, она вся трепетала как лист; Правин испугался...

— Что с вами, княгиня? — вскричал он.

— Удалитесь! — едва могла она произнести. — Теперь вы все знаете, будьте же великодушны — уйдите! В иной раз, в другой день мы увидимся... теперь я умру со стыда, если взгляну на вас. Когда вы дорожите хоть сколько-нибудь моим спокойствием — оставьте меня! Полон блаженства и страха, Правин удалился.

Вечеру князь Петр с озабоченным видом, но с салфеткою в руке вышел из столовой навстречу к доктору, который на цыпочках выходил из спальни княгини Веры.

— Ну что, любезный доктор, — спросил он, вытирая губы, — какова моя Верочка?

Доктор с значительною улыбкою, которую носил он неизменно на все обеды и похороны, отвечал, что слава богу, что это напрасно, что это пройдет! Доктор этот, извольте видеть, мастер был золотить пиалюли, и оттого кармашки его всегда подбиты были золотом. Не решали, впрочем, потому ли он знаменит, что искусен, или потому, что дорог.

— Преписали ли вы ей что-нибудь, доктор?

— О, за мной дело не станет, ваше сиятельство! Я настроил рецепт длиннее майского дня, и если княгиня будет в точности принимать, что я предписал ей, то лихорадка убежит от первого взвода баночек.

— Каков у нее пульс, доктор?

— Немножко неровен, ваше сиятельство, — отвечал тот, натягивая с трудом нижнюю петлю фрака на пуговицу, — да это минует, когда уймется попеременный зноб и жар; надобно потеплее укрыть княгиню.

— Что за причина ее болезни, доктор? Сегодня поутру на выходе она была весела словно ласточка, и вдруг...

— Самая естественная причина, в. с.! Извольте видеть: наша зеленая зима, которую мы условились называть летом, очень непостоянна, а дамы одеваются чересчур легко... Все зефиры, да дымки, да кисеи, да газы...

— Нельзя же в палатине ездить на выход! — заметил князь Петр с важностию.

— Нельзя же в газовом платье и не простужаться, ваше сиятельство. Притом везде сквозной ветер...

— Так вы думаете, что это от простуды, доктор?

— Без всякого сомнения, ваше сиятельство.

— Но она так тяжело вздыхает, доктор, будто у нее заложено грудь; она стала так капризна, что ни сообразить, ни вообразить нет способу... не хочет даже, чтобы я был при ней.

— Это все от простуды, ваше сиятельство.

Добрjak доктор готов был клясться иготью Эскулапа, что это от простуды.

IV

*Strudzilem ustą daremnie użyciem,
Teraz je z twemi ohce stopic ustami,
I chce rozmawiac tylko serca biciem,
I westchnieniami, i calowaniami,
I tak rozmawiac godziny, dni, lata
Do końca świata i po końcu świata.*

Mickiewicz¹

Быстро и сладостно утекают дни счастья. Минувшие радости и будущие надежды сливаются воедино устами, и миг настоящего походит на приветное лобзание друзей на пороге. Вчера, сегодня, завтра не существует для любовников, — нет для них самого времени, оно превращено в какую-то волшебную грезу, в которой воздушная нить мечтаний вьется с нитью бытия нераздельно, в которой сердце каждое биение свое считает наслаждением, — о нет! наслаждение не умеет считать, счет изобретен нуждою или тоскою.

Правин любил впервые, Правин любим стал впервые; а какая девственная любовь, какая истинная страсть не робка до простоты, не почтительна до обожания? Но скоро переживает любовник все возрасты стра-

¹ Я измучил уста тщетным переживанием,
Теперь хочу их слить с твоими устами
И хочу говорить лишь биением сердца,
И вздохами, и поцелуями.
И говорить так часы, дни и годы,
До конца мира и после конца мира.

Микевич (пол.).

сти. Вечный младенец в своем лепете, в своих прихотях, взысканиях, ссорах, не по годам, а по часам растет он своими желаниями, мужает волею, берет силу взаимностию. Бедняк искатель, он спит и видит, как бы удостоиться приветливого словца, нежного взгляда, самой ничтожной ласки. «Я бы был счастлив тогда!» — говорит он и озирается, не подслушал ли кто его, и трепещет дерзости своего воображения. Но он скоро знакомится, дружится, роднится с нею, скоро она овладевает им — и он горд, похитив первый поцелуй, как Прометей, похитив огонь с неба. Раскипаясь счастьем, словно бокал шампанского (я уверен, что счастье какой-нибудь газ и что химички на днях разложат его), он уходит через край, радость улетучивается из сердца, а природа не любит пустоты, вопреки Паскалю и водяному насосу, — и вот новые желанья проникают в ретивое, — закупорьте вы его хоть герметически. Они будто волосатики впиваются в персты, разогревают кровь лучами взора, упоют легкие воздухом, веющим с милой, топят вас в звуках ее голоса, в благоухании ее кудрей! Ночью они распускаются кактусом; днем взбегают будто кресс-салат. Проклевываются птичками... тормозат, щиплют, терзают бедное сердце — хоть из груди беги! Опять новые завоевания, опять новые причуды. Повадка балует шалуна; вчерашняя уступка для него завтрашнее право! По мне, сердце — настоящий вестминстерский кабинет: оно умеет и выканючить и выторговать и обыграть и выбить. «Если ты любишь меня!» — говорит любовник, нежно ласкаясь. «Только это, это одно — и я бог!» Но этот бог — языческий; амброзия для него пост; он готов превратиться из орла в лебедя, из лебедя в бычка. С каждым днем он становится смелее, с каждым днем он обламывает по игле, обороняющей розу, — поглядишь, вянет сама роза под жарким дыханием страсти! Знаете ли, как называю я знаменателя всех страстей и всех более любви? Я называю его — любопытство! Узнали мы, испытали мы, повладели мы — и уже знание, опыт, власть нам скучны. Мы уж хотим постичь иное, изведать лучшего, завладеть большим. *Еще, еще дальше и более* — вот границы духа человеческого, а границы эти за звездами Млечного Пути, за тенью могилы.

Но не каждому дано пересекать пути многих страстей, подобно комете, пронзающей многие солнечные си-

стемы. Не каждому удается побыть любовником, поэтом, честолюбцем, корыстолюбцем и лечь в гроб стоя же побрякушкою, которая тешила его первое ребячество. Многие глубоко врезаются в колею, катятся вдоль которой-нибудь одной дороги — и нередко с рождения души до смерти тела. Так, Наполеону выпало распутье власти, на котором первая верста была батарея под Тулоном, а последняя — остров св. Елены. Исполн-выкидыш революционного волкана, он отдал свои останки вулканической скале, горе застывшей лавы. Какой величественный, многомысленный памятник, какой чудный рифм судьбы с вещественностью!.. Багряные облака, точно огневые думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Елены... Экватор опирается на твои рамена; сизые волны океана, как столетия, с ропотом расшибаются о твои стопы, и сердце твое — гроб Наполеона, заклеенный таинственным иероглифом рока!!

Простите отступление: я увлекся Наполеоном, и мудрено ль? При жизни — он тащил за своей колесницей по грязи народы. По смерти — его гений уносит наши помыслы в область громов, свою отчизну. Впрочем, пример Наполеона везде кстати; его имя приходится на всякую руку; оно как всезначашее число 666 в Апокалипсисе. Как ненасытен был он (олицетворенное властолюбие) к завоеваниям, — почти так же ненасытны все любовники ласками. После первого письма — их перехода через Альпы — они уже вздыхают о лаврах Иены и Маренго... они забывают, что у самого Наполеона была Москва, где он чуть не сгорел, путь за Березину, где он чуть не замерз, и литовские грязи, в которых едва-едва не утонул. Горячая кровь не слишком покорна доктору философии и г-ну рассудку, и речь сердца начинается — обыкновенно — с чистейшего платонизма, а заключение у ней: «индеек малую толику!» К слову стало о платонизме: он очень похож на ледяную гору, с которой стоит раз пуститься — уж не удержишься; или, пожалуй, хоть на ковер, посланный в ноги детей, чтобы и им не больно было падать. Да, милостивые государи и милостивейшие государыни, зовите меня как вам угодно, — я зло усмехаюсь, когда слышу молодую особу или молодого человека, рассуждающих о бескорыстной дружбе платонизма, прелестного и невинного как цветок, соединяющий в чашечке своей оба пола. Усмехаюсь

точно так же, как слыша игрока, толкующего о своей чести, судью — о безмездии, дипломата — о правах человека. Опять грех сказать, будто платонизм всегда умысленный подыменник¹ эротизма; напротив, его скорей можно назвать граничной ямой, в которую падают неожиданно, чем западней, поставленной с намерением; и вот почему желал бы я шепнуть иной даме: не верьте платонизму — или иному благонамеренному юноше; не доверяйте своему разуму Платонизм — Калиостро, заговорит вас; он вытащит у вас сердце, прежде чем вы успеете мигнуть, подложит вам под голову подушку из пуха софизмов, убаюкает гармонией сфер, и вы уснете будто с маковки; зато проснетесь от жажды угара, с измятым чепчиком и, может быть, с лишним раскаянием. Притом — но неужто вы не заметили, что я шучу, что я хотел только попугать вас?.. Помилуйте, г.г.! мне ли, всегдашнему поклоннику этого милого каплуна в нравственном мире, поднять на него руку! Мне ли писать против него, когда я вслух, вполголоса всегда говорил в его пользу, писал ему похвалы стихами и прозою! Любопытные могут прочесть мою статью «Нечто о любви душ». Она напечатана в «Соревнователе просвещения и благотворения», не помню только в котором году, рядом с речью «О влиянии свирели и барабана на юриспруденцию».

«Но к делу, к делу», — говорят мне; а разве слово не дело? Юридически говоря, между ними великая разница; закон действует положительно, но мы сравниваем относительно. Конечно, человек редко говорит, что думает, еще реже исполняет, что говорит: потому нельзя обвинять, ни хвалить его, если он обещает или грозит, — но это относится к будущему; напротив, прошлое переходит в полное владение слова, оно существует только словом — слово может обличить или оправдать его. Я для того веду свою долгую присказку, чтобы доказать любезным читателям, что слова мои — факты, что намеки мои на госпожу Никто, *Mistriss Nobody* английских фарсов, летели не в бровь, а прямо в глаз; одним почерком, что нрав всех любов-

¹ Под чужим именем торгующий. Слово, употребительное между купцами. (Прим. авт.)

ников вообще — такой же, как у Правина в особенности: так бывало с другими, так было и с ним.

Да-с, Правина любил нежно, даже страстно; но сам он любил беззаветно, бешено. Правин был зверек, которого не всегда обуздаешь дамскою подвязкой. В одну и ту же минуту он роптал то на холод, то на горячность Веры.

— Не считаете ль вы меня ртутью, княгиня, которая тогда постоянна и ковка, когда заморожена? — говорил он с укором. То умоляющим голосом восклицал: — О, не гляди так на меня, очаровательница! разве хочешь ты, чтоб я истаял как воск под тропическим солнцем!

Целуя браслет, он клялся, что не завидует раю, и через час он клялся, что он самый несчастный из смертных, — зачем? Ему полюбилися пояс, заветный еще для его губ; после пояса следовало ожерелье, а там, я не знаю, право, что. Близость разлуки извиняла его порывы и восторги, его гнев и самозабвение. Лестно, но страшно было быть так любимой. Жаркие битвы должна была выдержать Вера и с бурным нравом Правина и с собственным сердцем. Каждый отказ стоил ей слез непритворных. Она плакала, и пламя погасало в Правине от немногих слез милой, как, по народному поверью, гаснет молниєю запаленный пожар от парного молока. Она противилась, как порох, смоченный небесною росой, противится искрам огнива: сотни ударов напрасны, но каждый удар сушит зерна пороха, и близок миг, когда он вспыхнет.

Как московская барышня, Вера половину своей юности прожила среди полей, другую — в столице. Но девушки в Москве имеют гораздо более свободы, чем в Петрополе, а где свобода, там и природа. Вот почему девушек находил я гораздо занимательнее в Москве, дам — в Петербурге. В первых найдете вы нередко милую простоту, в последних — остроумие; в первых — прелесть, во вторых — ловкость, которую дает лишь двор и вкус, впрочем, более дитя привычки, нежели чувства; одним словом, в Москве есть гармония, в Петербурге — тон. В Москве учатся многим иностранным языкам и много читают. В Петербурге нет времени ни для науки, ни для чтения, а владыка — язык французский. По-итальянски только поют, о Бай-

роне говорят понаслышке и боятся языка Шиллера, чтобы не изломать своего. Притом же в Петербурге столько гвардейцев и дипломатов, столько чиновников всех цветов, столько парадов, гуляний, спектаклей, визитов, выходов, что будь день о сорока восьми часах — и тогда не стало бы времени на рассеяние. Кроме того, в Москве еще пахнет Русью; в ней хоть немного характеров, зато куча оригиналов, в ней есть свои поверья, свои причуды, свои обычаи — в ней есть старина. Зато уж в Петербурге хоть мало современного, но все новое, все с молотка — и ни русского мира, ни русского слова! На площадях толкуются маймисты, на перекрестках стоят синьоры с продажными зонтиками, по набережным покачиваются англичане с руками в карманах и с годдемом в зубах, у крылец шаркают французы, в нижних этажах шевелятся немцы. Русский калач там чужестранец; благословенная бородака пробирается по стене и рада, рада, если унесет в целости свои бока от будочника или от дышла какого-нибудь посланника, который скачет разыгрывать во весь дух дипломатическую ноту. Нет дома, где бы сядились за стол, крестясь одинаково, где бы хвалили одно и то же кушанье, просили одним и тем же языком напиться. Про высший круг и говорить нечего: там от собачки до хозяина дома, от плиты тротуара до этрусской вазы — все нерусское, и в наречии и в приемах. Бары наши переважно рассуждают, какого Брюно играл Жокрисса, как была одета любовница Ротшильда на последнем рауте в Лондоне; получают телеграфические депеши о привозе свежих устриц, а спросите-ка вы их: чем живет Вологодская губерния? Они скажут: «Je ne saurais vous le dire au juste, m^r.¹; у меня нет там поместьев».

Впрочем, нравственность одна в обеих столицах: посредственность и эгоизм! Никто не заботится о том, что подумают о нас добрые люди: у них лишь то на уме, что станет говорить княгиня Марья Алексевна. Во всех личность, все частность, везде расчет. Ничего общего, ничего высокого. Княгиня Вера выросла на таком же миндальном молоке, но она была довольно счастлива, что нашла истинно добрых и умных под-

¹ Не скажу вам точно, сударь (фр.).

руг, и довольно умна сама, что их оценила. Чтение поэтов познакомило ее с прекрасным миром; она пристрастилась к нему, восхищалась им; но эта страсть дала ей другую опасность — опасность мечтательности. Не всех птиц можно стрелять сидячих: иных выгоднее на лету; Вера принадлежала к числу последних. Недоступная ничтожности вертопрахов, несоргаемая от мышьяго огня светских болтунов, закруженная вихрем света, в который только что явилась, — она была равнодушна, хотя ее не защищала любовь к человеку доброму, но пустому, но холодному, которому тетушки и судьба приковали ее, как узника к колоде. Чтобы пленить ее, надо было сперва поразить внимание чем-нибудь необыкновенным, раздражить любопытство закимательностию, — а там недалеко и любовь, потому, что сердце ее жаждало любви, как сухая губка. Так и случилось. Встреча с человеком безыскусственным, пылким, новым, который так чудно выходил из рам всего, что делается и говорится в свете, победила ее потому именно, что с этой стороны она не ждала нападения, еще меньше падения. Она, однако ж, скоро почувствовала, что любит, и письма ее к подруге стали с той поры скромнее, хотя красноречивее... она говорила обо всем, кроме своего сердца, обо всех, кроме Правина. Да и могла ли замужняя женщина делать из девушки, из невесты поверенную тайн, которых бы сама она не желала иметь? Эта неделимость, это одиночество страсти еще более одолевали Веру. Быстро увлеченная в чужой след, она, однако ж, уступала, борясь мужественно; она чувствовала что для спокойствия, если не для счастья, к светскому правилу: *sauvez les apparences*¹, необходимо было прибавить: *sauvez la conscience!*² И, надеясь на эту решимость, вместо того чтобы вытащить свой челн на берег, она смело простирала свой газовый парус против бурного дыхания страсти, — и вал, грозный вал рассыпался в прах о слабую грудь ее ладьи или, отбитый, с ропотом катился обратно.

Так прошел месяц, но месяц — век для призванной любви. Он век брожения. Думы, желанья, требования роятся, кочуют, сменяют, истребляют друг друга.

¹ Сохраняйте благопристойность (фр.).

² Сохраняйте совесть (фр.).

Корабль, будто плавающий ледник, сохранил сердце Правина девственным и в нем силы юности. Они бушевали неудержимо, особенно когда светская философия надевала на себя мундир Границына и пенила и кипятила их своими кислотами.

— Мне кажется, ты воспитан в брюхе кита,— говорил Границын, расстегивая крючки воротника своего.— Вместо того чтобы вторить своей княгине Вере в арии *di tanti palpiti*¹, тебе бы надо уверить ее, что *una rose roso fa*². Терпение — прекрасная добродетель в дромадере, но сами дромадеры, *top sheet*, нужны в степях, а не на паркете. Правда, многие пояса затянуты гордиевым узлом; зато режь их пополам, если не хочешь, чтоб другой разорвал их у тебя под носом. Право, стыдно будет, если эта белокаменная московочка проведет тебя. Вот тебе моя рука — она над твоею простотою смеется, а быть может, и сама досадует на твою застенчивость.

Эти насмешки, перемешанные с шампанским, лились прямо в сердце Правина: они то льстили, то подстрекали его страсть. «Нет,— думал он,— полно мне жеманиться. Сегодня или никогда!» И на завтра было то же, на послезавтра то же. Пламенные письма, неистовые сцены, упреки, угрозы, гнев, разлука — все было напрасно: Вера стояла непреклонна. Правин решился.

Любовь хитра на выдумки свиданий: Правин видался по несколько раз в день с княгиней, и все устраивалось будто самым естественным и случайным образом. Однажды он приехал к ней на дачу в полдень.

— Что это значит, капитан,— спросила Вера,— вы в полном мундире?

Любовь есть страсть исключительная: ей нестерпима мысль о множестве или разделе. Вот почему так скоро переходят любовники от местоимения *вы* к местоимению *ты*. Со всем тем первые приветствия встречи принадлежат свету; любовь берет свои привычки после.

— Княгиня,— сказал он, холодно поцеловав у ней руку,— я приехал к вам проститься — надолго, может навсегда.

— Вы шутите, капитан, ты меня пугаешь, Elie,—

¹ Какой трепет (ит.).

² Одного голоса еще мало (ит.).

зачем это? Разве не тысячу раз уверял ты меня, что воротиться на весну и возвратишь весну душе моей!

— Я сейчас от начальника штаба. Узнав, что фрегат мой готов, он был так добр, что позволил выбрать мне любое из двух поручений: или идти ненадолго в Средиземное море,— там что делать? ведь мир с турками почти подписан,— или отправиться на четырехлетнее крейсерство к американским берегам, частью для открытий, частью для покровительства нашей ловле у Ситхи, у Алеутских островов и близ крепости Росс. Я избираю последнее!

— Нет! ты этого не сделаешь, ты не сможешь этого сделать! И как решаешься ты, не посоветовавшись со мною? Разве я чужая твоему сердцу! — вскричала, вскочив, вспльчивая княгиня.— Я бы могла еще помириться с мыслью, что неотразимый приказ службы забросил тебя от меня далеко и надолго; но чтобы ты по своей доброй воле бросил меня на четыре года — нет, этому не бывать, никогда не бывать!

— Никогда не говорите *никогда*, княгиня! Это слово имеет вес только в устах судьбы. Вы сказали, что я по доброй воле отправлюсь отсюда,— и вы могли это сказать, вы, за чей взор отказался я от собственной воли, для кого жертвовал и обязанностями службы и обетами славы! Вы!.. Для кого ж иного мила мне жизнь? за кого ж красна была б мне смерть? за кого, если не за тебя, отдал бы я душу свою, променял на любовь твою рай и за миг счастья — вечность!! Но вы, ваше сиятельство, не удостоили снизойти до взаимности; вы любили на мерку и раскланивались чувству, когда приходили на границу, делящую удовольствие от опасности; вы в то же время думали, как бы не смять своих газовых лент, когда сердце мое разрывалось, когда я умирал у ног ваших!

— Злой человек, неблагодарный человек! Я ли не ценила тебя, я ль не делила твоей любви! Но я не разделяю твоего безумия. Тебе отдала я чистоту души и покой совести, но чести моей не отдам — она принадлежит другому.

— Как вы искусны в теологии и геральдике, ваше сиятельство! Вы до золотника знаете, что весит поцелуй на весах неба и какую тень бросает он на герб. Признаюсь вам, я не постигал никогда градусов любви по Рео-

миру. Гордостью считал я любить безмерно, беззаветно, предаваться весь — так люблю я, так желал быть любим, так — или несколько. Чувствую, что я теряю рассудок, а вы, вы не хотели бросить вздорного предрассудка!.. Помните ли, в одном письме я писал к вам: не читайте далее или исполните, что далее сказано... Зачем же вы преступили завет и отринули мольбу! Однако не думайте, княгиня, будто я ни во что ставлю ваши ласки, ваш ум, ваши достоинства! О, никто в мире не мог лучше, не мог выше оценить и ваши прелести и вашу снисходительность ко мне. Но любовь питается жертвами, доказывается пожертвованиями, *все или ничего* — ее девиз, а я измучен вашими полужестокостями, уничтожен вашими полумилостями. Ужели хотите вы, чтобы я забывал вас с другими, лишь бы — не забывался с вами! Признаюсь, это чудесная любовь!

— Боже великий! и я могла любить такого безжалостного человека!

— Любить?.. бросимте этот разговор, княгиня. Я уступаю вам пальму нежности. Я беру на себя все вины, я неблагоприятен, я жестокосерд, я все, что вам угодно. Будьте счастливы, княгиня! Люди с вашим нравом созданы для светского счастья. Они очень довольны, если на сердце у них пробьются цветки, хоть эти цветки жалкие подснежники. Еще раз — будьте счастливы. Наслаждайтесь своею любовью «с дозволения правительства»; ожидайте с поклоном прилива нежности своего супруга, за которую обязаны вы будете бутылке бургонского или перигорского пастету!

— Слезы, а не слова — ответ на такую обидную насмешку!

— Слезы — роса, княгиня. Взойдет солнце, укажет час ехать на прогулку — и они высохнут!

— Они высохнут раньше, но это будет от отчаяния!

— Отчаяние?.. это что-то новое выражение в модном словаре! Нет ли какого перстня или браслета такого имени! Ведь есть же супиры, и репантиры, и сувениры у любого золотых дел мастера. Отчаяние!!

Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука;
Пройдет печаль, настанет скука...
Красавица полюбит вновь!

С гордостью подняла княгиня свои заплаканные очи на Правина, и взор ее пронзил его укором.

— Кто так худо знал прошлое, тому напрасно братья за пророчества,— сказала она.— Любуйтесь своим жестокосердием, капитан; хвалитесь своим подвигом, смейтесь над бедным сердцем, которое вы разбили. Да, вы убиваете меня, как Авеля, зачем я принесла одни чистые плоды на жертвенник любви!.. Будьте же сестроубийцею за то, что я любила вас как брата!

— Как брата, говорите вы? Но разве братские мученья не требуют братского раздела? Впрочем, я не пришел считаться с вами, княгиня, ни укорять вас, ни умолять вас — я ожидаю одного прощального поклона... ни полслова, ни полвзора более!

Изображают вечность змеей, грызущей свой хвост,— точно так же изобразил бы я гнев... он тоже поглощает сам себя; крайности слиты и в нем. Правин, чрезвычайный во всем, увлекся несправедливым негодованием: оно, подавленное, будто льдом, хладнокровием наружным, тем сильнее крушило сердце — и вдруг заметил он губительную силу слов своих над Верою. Она была бледна, как батист; слезы застыли на лице, но она уже не плакала, не рыдала. Левая рука ее сжата была на колене, между тем как правую упиралась она в грудь свою, будто желая выдавить оттуда удушающий ее вздох; в очах, в устах ее замирал укор небу.

О! злобен тот, кто заставляет свою милую проливать горькие слезы, кто влагает в ее уста ропот на провидение; но тот, кто с усмешкою удовлетворенной мести или равнодушия может их видеть или слышать,— тот чудовище. Правин упал к ногам Веры — плакал, плакал как дитя, и речи раскаяния пролились, смешанные с горячими слезами.

— Вера, прости меня,— говорил он, обнимая ее колена, целуя ее стопы.— Ангел невинности! я оскорбил тебя, я не понимаю, что говорю. не знаю, что делаю! я безумец! Но не вини моего сердца ни за прежние обиды, ни за теперешние клеветы — у меня доброе сердце, и может ли быть злобно сердце, полное любовью, любовью к тебе!.. Зато у меня буйная кровь... у меня кровь — жидкий пламень: она бичует змеями мое воображение, она палит молниями ум!.. Я ль виноват в этом? я ли создал себя! За каждую каплю твоих слез я бы го-

тов отдать последние песчинки моего бытия, последнюю перлу счастья. Да, нет мне отныне счастья! На одной ветке распустились сердца наши — вместе должны б они цвести; но судьба разрывает, рознит нас! Пускай же океан протечет между нами, пускай бушует — он не зальет моей любви, лишь бы ты, ты, сокровище души мой, была невредима от этого пожара! Я еду, — не говори нет, ангел мой, — не могу я, не должен я остаться. Это необходимо для твоего, для моего спасения, для сохранения моего рассудка и твоей чести... Прощай!.. О! как тяжело разлучаться! Легче, легче расстаться душе с телом, чем душе с душою. И я буду жить не с тобой, вдали от тебя, не имея вечером надежды увидеться поутру; осужден буду не любоваться твоими очами, не чувствовать на сердце твоего дыхания, не слышать речей твоих, не вкушать поцелуя! и быть одному — и в этом ужасном одиночестве знать, что ты принадлежишь иному!! Скажи: какая мука превысит это, кроме муки при глазах своих видеть тебя в чужих объятиях? Прости ж, прости! Мне суждено бежать тебя всегда и всегда любить безнадежно. Душа моей души! ты была единственною радостью моей жизни; ты останешься единственною моею горестью, всегдашнею мечтою, последнею мыслию при смерти! О, я любил тебя, Вера, много люблю, — взгляни на меня попрежнему, милая, и прощай — я еду.

Столь быстрый переход от укоров к нежности, от гнева к грустному отчаянию изумил княгиню. Раздирающие душу жалобы любовника ее поколебали, его слезы победили ее. Взор княгини блеснул необычайною ясностью; прелестное лицо ее одушевилось зарею самоотвержения.

— Поезжай хоть на край света, Илья, — сказала она Правину голосом, который звучал сладостно, как весть прощения преступнику на плахе. — Поезжай, — молвила еще, целуя его голову, — но ты поедешь не один: я сама отправлюсь с тобою; с этого часа у нас одна доля, одна судьба. Тебе я жертвую всем, для тебя все перенесу! Лишь бы ты, одеваясь могильною тенью, сказал: «Вера меня любила!» Не спрашивай, как я сделаю, чтобы нам не разлучиться, — любовь научит меня. Требую одного и непременно: иди в Средиземное море, а не в Америку!

Это произошло 17 августа 1829 года, ровно в час за полдень. Так по крайней мере отмечено было красным карандашом в памятной книжке Правина.

L'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de la mort: vouloir et pouvoir.

Balzac¹

Ровно через десять дней после числа, записанного красными буквами, отличной красоты фрегат снялся с якоря и с южного кронштадтского рейда пошел в открытое море. На корме его рисовалась группа из трех особ: одного стройного флотского штаб-офицера, подле него человека небольшого роста с генеральскими эполетами и прелестной дамы. Фрегат этот назывался «Надежда»; на корме его стояли: капитан Правин, князь Петр *** и его супруга.

Обещание княгини Веры сбылось; да как и не сбылось бы оно? Если женщина решительно захочет чего-нибудь, для нее нет невозможностей. Князь Петр давно поговаривал, что ему хочется попутешествовать для поправления здоровья,— воля жены заставила его решиться, даже убедиться, что для него необходимы макароны в оригинале, устрицы прямо из Адриатического моря. Разумеется, к этому прибавил он несколько восклицаний о чистой радости дышать небом Авзонии, прогуляться по Колизею, бросить несколько русских гривенников лазаронам Неаполя и на закуску покатиться по Бренте в гондоле, дремля под напев Торкватовых октав! Князь Петр без надписи не отличил бы Караважа от Поль Поттера и не раз покупал чуть не суздальские мазилки за работу Луки Кранаха; но князь Петр, как человек, который хотел слыть ровесником века, или, как выражаются у нас, à la hauteur du siècle², скрепя сердце заглядывал иногда в энциклопедию и довольно бегло, хотя очень невпопад, толковал о художествах, о пушках Пексана, о паровой машине и примадонне Каменноостровского театра, о сморчках и политике. Вздумано — прошено. Князя Петра

¹ Человек истощает себя двумя действиями, выполняемыми инстинктивно, которые иссушают источники его существования. Два глагола выражают формы, в которые выливаются эти две причины смерти: желать и мочь. Бальзак (фр.).

² На уровне века (фр.).

не думали удерживать. Напротив, ему дали еще несколько поручений и позволили ехать до Англии на фрегате «Надежда»; это случилось так невзначай и так кстати!! Князь Петр не знал, откуда у него взялась такая охота к морю! Конечно, сборы князя Петра продолжались бы, вероятно, до заморозков: то нет дичинного бульону, или толченых рябчиков, или сушеных сливок, то не нашли настоящих Piccalilli¹, то не достали вечного Донкинсова супу в жестянках. Зато княгине недолго было уложить свое сердце, а имевши его в груди, влюбленная женщина смело может сказать: «omnia mecum porto — всё с собою ношу!»

— Я готова, мой друг,— ласково сказала она своему раздумчивому супругу,— фрегат не будет ждать нас — завтра мы перебираемся на него непременно.

Такой лаконизм не очень понравился князю Петру, который начинал уж догадываться, что как ни вкусна морская рыба, но она все-таки далее от губ, нежели теленок на рынке; но услышав, как решительно объявила княгиня его повару и камердинеру, что если они не будут во всей готовности к пути сегодня, то завтра следа их не останется в ее доме, проглотил свое *no*, — и вот он волею, а пуще того неволею — морской путешественник.

Покуда вывертывали якорь, покуда фрегат катился под ветер с парусами, трепещущими будто от нетерпения, сомнение: точно ли мы останемся на фрегате? волновало грудь Веры. Взоры ее перелетали с берегов, словно кружащихся около, на мужа, который с сожалением ловил их глазами. Зато когда фрегат взял ход и стал салютовать крепости, это торжественное прощанье с Россиею убедило Веру, что уже возврат на берег невозможен, что она долго и близко будет с Правиним; очи ее засверкали; она взглянула на море, которое разливалось впереди все шире и шире, потом на своего милого — и взор ее сказал: «Перед нами море, море блаженства!» Ни одна печальная мысль, ни малейший страх не возникали между нею и Правиним: чувство счастья казалось ей беспредельным.

Но высоко билось сердце Правина, и не одним наслаждением: какой мужчина покинет родину, не оглянувшись на нее, не вздохнувши по ней, будучи даже подле любимой особы? Сомнительная дума: увижу ль-то я тебя, и

¹ Острые пикули (англ.).

как я тебя увижу? — щемит ретивое, и сквозь слезу тускнеет синева дали.

Грустно смотрел Правин на покинутый берег отечества и с каким-то беспокойным любопытством прислушивался к перекатам ответных выстрелов с Кроншлота. С промежутками, одно за другим, гремели огромные орудия, грозно, таинственно, повелительно! Вы бы сказали: «То голос судьбы, которому вторило небо...» Правин внимал им, будто своему приговору, прочитанному на неведомом для него языке; но непостижимый смысл убегал от понятия человеческого. Наконец седьмой, последний выстрел сверкнул и грянул, как седьмая роковая пуля во Фрейшице, и постепенно гром стих. Умолкли и далекие гулы во всех четырех сторонах горизонта. Тогда черные облака дыма, слетевшие с чугунных уст, возникать стали перед очами Правина. Казалось, роковые звуки превратились в иероглифы, подобные надписи, начертанной огненным перстом на стене пиршества для Валтасара!.. Потом иероглифы сии развились чудными, вещими образами, будто переходя из мысли в существование, будто олицетворяя, дополняя собою непонятное изречение. Дунул ветер и спалнул эту величественную строфу, этот дивный очерк судьбы!.. Еще миг, и там, где витал он, весело сияло вечное солнце, бесстрастно катились вечные волны... Тайная грусть влилась в сердце Правина... «Не звук ли, не чудные ли иероглифы, не перелетный ли образ дыма сами-то мы в вечности мира!» — подумал Правин; но он взглянул на Веру, и родина с своими воспоминаниями, море с своими волнами, небо со своим солнцем, будущее со своими страхами — все, все исчезло от Правина; он видел одну ее, существовал только для нее; он был весь наслаждение, весь любовь!..

На три вещи могу я смотреть по целым часам, не замечая их бега. Три вещи для меня ненаглядны: это очи милой, это божие небо и синее море. Велико ли яблоко глаза? но в нем между тем раздольно трем мирам, то есть чувству, мысли и свету видимому. В глазе, как в яблоке познания добра и зла, таятся семена жизни и смерти. Сладостно созерцать в любимых очах игру света и теней, то есть чувства и мысли; замечать, как распускается и сжимается зрачок, на коем, как на гомеровском щите Ахиллеса, рисуется вся природа; следить, угадывать, ловить искры страсти, пронизать туман грусти и

по складам читать в глубине души понятия, склонности, ненависти; наблюдать, как на милую особу действует мир и как бы она действовала на мир. Это разговор сердец взорами, это гальваническая сплавка душ. Но любопытен и глаз каждого человека: чудный, хотя и неизданный роман таится в нем; каждый взор его есть уже глава, то в роде Жилблаза, то в роде Дон-Кихота или Роб-Роя. Как в двухчасном сне переживаем мы иногда целые годы, так в одной клубком свитой мысли, мысли, умирающей в полуродах, мысли, которой весь век четверть мига, заключается и желанье добыть, и готовность на всякое зло, чтоб добыть, и раскаянье за то совести, и страх закона, страх общего мнения, и, наконец, торжество доброго начала, которое стирает эту черную точку даже с памяти. Или, напротив, мысль чистая, как слеза, сверкает во взоре: помочь несчастному, выручить из беды друга, отдать все, погибнуть за правду,— и вслед за тем сомненье: полно, правда ли это? полно, право ли это? потом отсрочка: еще завтра успеем; потом дать, пожертвовать менее, менее, и наконец, совет себялюбия: есть люди богаче и сильнее тебя... ты что за выскочка? За этим следует обыкновенно финал самой бездушной скупости:

Ты все пела? Это дело,
Так поди же попляши.

И потом, какое быстрое сплетение намерений, выдумок, уловок, приключений; сколько злых замыслов, никогда не свершающихся; сколько слов, которые никогда не будут произнесены; сколько дивных мыслей, которые сольются с ничтожеством! И все это, как сказал я, заключенное в одном миге, в одном взоре, даже в одном сотрясении зрачка. О! кто хочет изучить китайскую грамоту души человеческой, кто желает видеть ее нагою, тот изучай их очи! Но знай тот, что он берется за ремесло могильщика, что на каждый день он будет зарывать в прах по лестной мечте, по доброму мнению о людях, что он схоронит, как родных своих, участие к ним и, наконец, собственное сердце... разобьет свой заступ о череп и уйдет в лес с базара — кладбища, которое в просторечии называют свет! Уйдет туда умереть один, отдать труп свой зверям, и птицам, и ветрам, лишь бы не потешить своею кончиною любезных братьев-человеков!!

Но неужели таково все человечество, все люди? Сохрани бог задумать, не только поверить! Поколение на-

ше — бурная, мутная волна, но и в этой волне есть легкая пена, есть чистые капли, есть перлы, вымытые со дна морей. Сколько высоких душ знал я, сколько знаю доселе! Они мирят человека с человечеством, как мирит природа человечество с его судьбою. Поверьте, если не все добро делают, то все добро признают, — а это не безделица.

Люблю я глядеться и в безбрежное небо. Когда пристально и долго смотришь в него, то заметны становятся струйки эфира, прелестно играющие по синеве... это истинная гармоника для очей. Раздольно там, привольно там шириться орлу, реять вечно вешней ласточке, жужжать незаметной мушке, порхать однодневной бабочке! Там странствуют тучи, чреватые перунами, там гуляют облака, играющие отливом радуги. Там живут звезды; оттуда живит нас солнце.

Мирные светила! вы не знаете бурь и смут наших!.. Солнце не бледнеет от злодейств земных; звезды не краснеют кровью, реками текущую по земле. Нет! они совершают пути свои беззаботно и неизменно. Солнце встает так же пышно наутро, хоть, может быть, целое поколение, целый народ исчез с лица земли после его заката, и во мраке по-прежнему распускаются ночные цветы неба — звезды по-прежнему сверкают нам огнем любви и, мнится, текут в океане благодати! Да, созерцая свод неба, мне кажется, грудь моя расширяется, растет, обнимает пространство. Солнца, будто отраженные телескопом на зеркале души, согревают кровь мою; мириады комет и планет движутся во мне; в сердце кипит жизнь беспредельности, в уме совершается вечность! Не умею высказать этого необъятного чувства, но оно просыпается во мне каждый раз, когда я топлюсь в небе... оно залог бессмертия, оно искра бога! О, я не доискиваюсь тогда, лучше ли называть его Иегова, или Dios¹, или Алла? Не спрашиваю с немецкими философами: он ли *das immerwährende Nichts* или *das immerwährende Alles*?² — но я его чувствую везде, во всем, и тут — в самом себе. О, тогда весь шар земной кажется мне не больше и не дороже медного гроша. Но жизнь, подобно удаву, наводит на меня свои обаяющие глаза, и я, как жаворонок, падаю в пасть ее с неба!!

¹ Бог (исп.).

² Вечно длящееся Ничто или вечно длящееся Все (нем.).

И ты, море, бурный друг моей юности! как горячо любил я тебя в старину, как постоянно люблю донныне! Отрок, я играл с твоими всплесками; юноша, я восхищался твоими зеркальными тишинами и грозными бурями с вышины мачты. Праздниками были мне те дни, те недели, которые мог я проводить на палубе, вырвавшись из душной столицы, сбросив свинцовые цепи педантизма. Помню, как, бывало, вахтенный лейтенант, шутя, отдавал мне рупор для псворота и с каким неизъяснимо сладким удовольствием командовал я: «право на борт» и «кливершкот отдай!». Как важно посматривал на вымпел, чтобы вовремя крикнуть: «грот-марса-булень отдай!» С этим магическим словом все реи, с рокотом блоков, переметывались на другую сторону, и корабль, подобно коню, который дрожит от ярости, но покоряется воле всадника, довершал оборот по слову тринадцатилетнего мальчика. Я высоко подымал брови, я гордо смотрел на небо, у которого уловил я ветер, на море, которое пробегал бесстрашно, на фрегат, которым повелевал по прихоти, коим мог повелевать даже по ошибке!.. Я уже постигал это; я чувствовал силу свою.

Море, море! тебе хотел я вверить жизнь мою, посвятить способности. Я бы привольно дышал твоими ураганами; валы твои сбратались бы с моим духом. Твои ветры носили бы меня из края в край, тобою разделяемые и тобою же связанные. Статься может, моя бы молодость проспала, как чайка, на твоих бурунах; статься может, отшельник света в плавучей келье, не знал бы я душевных гроз в заботе от гроз океана... но судьба судила иначе...

Ты не моя, прекрасная стихия, но все еще я люблю тебя, как разлученного со мною брата, как потерянную для себя любовницу! Сколько раз, мучим бессонницею в теплой постели, завидовал я ночам, проведенным на шлюпке, под ливнем осенним, под бурей и страхом, на драицу от смерти. Сколько раз, в противоположность тому, сожалел я, в грязи биваков, о зыбкой койке на кубрике, в которой засыпал, внимая журчанию скользящей вдоль борта воды над самым ухом и повременному оклику вахтенного лейтенанта на рулевых: «Держи вестюд-вест!» — «Есть так».— «Полшлага еще!» — «Есть».— «Держи так!» — «Есть так».

И теперь с холодным сердцем не могу я глядеть на

выбкую степь твою, по коей рыщут дружины всан, внимать твоему реву и ропоту; ты говоришь мне родным языком, ты веешь мне стариною. Люблю я мечтать, склонясь над тобою, и переживать то, чего давно нет; люблю вскачь пускать коня моего вдоль песчаного берега, разбрызгивая твою пену, и любоваться, как волны смывают мгновенный след мой!

Это мое бывшее и будущее.

Так любовался Правин черными глазами Веры, так гляделась она в голубые глаза Правина, глаза, которые чудной игрой природы осенены были черными ресницами, черными бровями и кудрями. Рука с рукой любовались они пенною колеей, взрезанной кормою, колеей, беспрестанно новой и беспрестанно исчезающей. Волны, как друзья, то улыбались им, то хмурились на них и, мерно поражая фрегат, звучали как стихи Пушкина; при солнце рассыпались радужными снопами, при луне — растопленным серебром; в темную ночь сверкали фосфорною пеною: корабль плыл в море света. И бездонное небо, то со своим ночным пологом, вышитым звездами, то с голубым шатром дня, у коего маковкой было солнце, то в бурной ризе из туч, так величаво и таинственно восставало над любящимися, что они безмолвно терялись в созерцании и в разгадывании. Очи, небо и море! море, очи и небо! Какого века было б достаточно, чтоб насытиться вами, наглядеться вами!! Но любовь дает душе тысячи граней: в них, в одно мгновение, отражается множество предметов, и все различно, все ярко, все блистательно. Так малейшая красота природы, пустая шутка офицеров за чайным столиком, смешная сказка матросов, усевшихся с трубками над лоханью воды у камбуза¹ под баком, страница книги, прочитанной вместе, давали нашим любовникам неистощимый родник споров и разговоров, порождали тысячи новых мыслей.

Правду сказать, им для этого было довольно досуга. Правин уступил гостям все свои каюты, за исключением самой маленькой в стороне. Беспечный супруг скоро привык к корабельной жизни; да и о чем было ему горевать? Повар с ним был отличный, живности вдоволь, следовательно, любимое его изящное художество, то есть Plastik des Fließenden (зодчество жидкостей), по выражению

¹ У печи. (Прим. авт.)

немецких мыслителей, шло как нельзя лучше. Потолковав с художником поварни, он целое утро играл в кают-компании с мичманами в шахматы; за обедом подливал Стеллинскому бордо; после обеда отдыхал, а там опять та же история. Между тем как князь Петр живмя жил в кают-компании, между тем как иной шалун, лукаво улыбаясь, замечал, что самая слабая его игра — шах ферязи, капитану Правину припала необыкновенная охота к письменным делам: он беспрестанно сидел за астрономическими выкладками, у коих итоги были едва ль не взоры княгини, и за журналом своих путешествий вокруг обеих гемисфер.

Взгляните на карту: какое раздолье между Тигром и Евфратом приписано было земному раю для первой четы наших праотцев; мы не такие баловни, мы попривыкли к тесноте... Эдем наш уместиться может на одной полосе земли, в четырех стенах кабинета, в скромной каюте, где вам придется жить втроем с любовью и с тридцатистифутовой пушкой. Если не верите, спросите у Правина и княгини Веры. К счастью ж Правина и княгини Веры, хотя к большой досаде всех его товарищей, бури и противные ветры замедляли их плавание, задерживали в портах, куда необходимо было зайти для освежения припасов и наливки водою. Так все относительно в этом свете. Вождеденна молния, когда указывает она потерянную дорогу. Ужасна заря, открывающая осужденному эшафот. Для путника первая блистает, как свеча пиршества; для преступника вторая, как лезвие топора. То, что рождало зевоту и побранки на устах моряков, внушало любовникам сладкие речи и еще сладчайшие поцелуи.

— Не бойся, милочка! — говорил Правин Вере, когда она страстно прижималась к его груди, внимая ударам разъяренных валов в состав фрегата.

— Мне ли бояться их, — возражала она, — когда я знаю, что каждая волна приносит мне лишнюю минуту счастья. Пускай дрожит от них дуб: мое сердце трепещет не от робости.

Оба любовника не выходили из забытья любовной горячки, забытья, оживленного наслаждениями и пламенными мечтами. Правда, минутная ревность злобно терзала сердце Правина, когда князь Петр приближался к Вере со своими насущными ласками, но тогда ее умоляющий взор, но после ее беззаветная преданность на-

граждали его терпение,— и он упокоивался. Чистое сердце — точно волшебная прялка: она выпрядает золото поэзии из самой грубой пеньки вещественности; любовь Правина, Веры была истинна: то была страсть, какой давно не видит и не верит свет. Они блаженствовали.

Я сказал, что противные ветры замедляли путешествие фрегата «Надежды»... без сомнения, любовь в том выигрывала; но едва не теряла в том служба, и очень много. Правин утопил в своей привязанности все другие заботы. Любоваться Верой, когда вместе, думать о ней, когда врозь, стало его любимым занятием. То задумчив, то рассеян, он мало обращал уже внимания на порядок управления парусами, на внутреннее устройство фрегата и команды. Только в бурях, только в опасностях пробуждался он от дремоты, схватывал трубу и грозным словом своим укрощал злобу стихий. Но с бурей утихал он сам и снова падал в досадное равнодушие ко всему, кроме предмета своей страсти.

Нил Павлович сперва лишь качал головою; потом стал пожимать плечами, а наконец без шуток начал журить Правина за его небрежение к службе.

— Я предсказывал тебе,— говорил он не раз,— что, кто начнет кривить против долга честного человека, против связей общества, тот, конечно, не минует забвения обязанностей службы. Полно ребячиться, Илья: твоя связь не доведет тебя до добра; ты можешь в эту игру проиграть здоровье и доброе имя,— кто знает, может быть, самую жизнь; а что всего хуже, ты погубишь с собой и княгиню... это прелестное создание, которое стоит лучшего света и чистой судьбы. Грешно человеку с душою вербовать ее в дружину падших ангелов.

Правин сперва оправдывался — ссылался на пример других, на силу своей страсти. Потом он отыгрывался шутками, наконец стал молчать и сердиться. Советы друга ему наскучили, выговоры его досаждали ему. Не желание блага, а тщеславие своего превосходства находил он в прямизне Какорина. Его строгость называл он бесчувственностью, его неуклончивость — гордостью. Такова бывает участь всех тех, которые не поважают нашим слабостям, которые дают лекарство, не обмазав медом края стакана. Мы терпеть не можем людей, которые угадывают наши тайные помыслы и дают им клички по шерсти; для нас обидно, когда собственная совесть

заговорит чужими устами. Кстати ли послушаться когонибудь! Да что я за ребенок? Да я разве не знаю, что делаю? У каждого свой ум-царь в голове! Я не люблю плясать по чужой дудке... Самолюбие засыплет подобными пословицами, как Санхо Панса, уколи его хоть булавкою. Холодность и принуждение разрознили старых друзей. Правин забыл, что с Нилом Павловичем делил он и детские забавы и опасности мужества; что его попечением обязан был если не жизнию, то здоровьем, ибо, жестоко раненный под Наварином, за что произвели его после в капитан-лейтенанты, он целый месяц не мог двинуться, и Нил Павлович во все время его выздоровления не спал ночей, предупреждая все его желания и нужды, снося его причуды.

О! любовь — эгоистическое растение... Оно скоро разрастается по сердцу и скоро выживает вон все другие чувства!

Между тем, несмотря на бури, несмотря на ветры, несмотря на умышленные замедления ходу от капитана, давно остались позади дебристые острова и гранитные скалы Финляндии, рыцарский Ревель, коего шпицы и башни вонзаются в небо, словно копыта великанов, и другой страж, противопоставший ему с берега Швеции, — Свеаборг, опоясанный тремя ярусами батарей. Побывав в Копенгагене, пролетев Зунд, оставя Гельсинор за собою, фрегат миновал грозные утесы Дернеуса, крайнего мыса печальной Норвегии, и вошел в Немецкое море. Наконец Норд-форландский маяк, как звезда Венеры, блеснул ночью над зыбями... «Англия!» — радостно закричал матрос с форсалинга¹; но этот блеск, этот звук зловеще поразили чувство обоих любовников... они сказали им близкую разлуку!

Князя Петра уговорили выйти на берег в Плимуте. Фрегату способнее было там освежиться, чтобы отоль прямо спуститься в океан. А князю из Плимута до Лондона предстояло любопытное путешествие, избавлявшее его от лишних хлопот нарочно ездить посмотреть Англию и возвращаться обратно. Итак, фрегат несся по Ламаншскому каналу, лоя, так сказать, лишь пену видов Англии и Франции. Кале и Дувр мелькнули как сон;

¹ Верхний перекресток веревок на передней мачте. (Прим. авт.)

скрылся и Спитгид, подобный вдали дикобразу от множества мачт, и Вайт — изумрудный перстень Англии. Берега Пертшира бежали, и, наконец, завиднелся Эдди-стонский маяк, истинный геркулесов столб, вонзенный рукою человека в подводную скалу. Величавый памятник воли — не той тиранской воли, которая воздвигла бесполезные пирамиды в бесплодных песках Египта, но воли благотворной, хранительной, которая зажигает для плывцов новые звезды, чтобы они, подобно оку провидения, неусыпно стерегли и блюли от гибели тысячи кораблей. Вправо открылся Плимут, славный своим портом, который защищен недавно великанским волнорезом (break-water) от бурь океана. Англичане велики в полезном.

Но чудесность этого волнореза, но богатство города, но прелесть окрестностей и новость предметов не утешали любовников, которым каждый дом, каждый шаг на земле напоминал: вам должно расстаться! И, наконец, час разлуки пробил. И, наконец, должно было сказать: *прощайте* — слово — задаток терзаний разлуки; слово, которое, как железный гвоздь, вытягивается в бесконечную проволоку, в струну, из которой каждый повеет ветра извлекать будет звуки печали. Должно было проститься, и проститься не так, как любовникам, как супругам, на груди друг друга, растворяя горесть слезами, иссушая слезы лобзаниями, — нет! Должно было проститься поклоном, при опасном свидетеле, задавить слезу улыбкою, задушить вздохи приветами, желать счастья, нося ад в груди своей. И этот ад всегда удел тех, которые закладывают душу свою за чужое счастье, которое украдкою рвут плоды Эдема. Настоящий владелец снимает с них счастье, как праздничный кафтан с своего раба, и он не смеет молвить слова. Он прячет в сердце и поминку о том, будто краденую вещь; он краснеет благороднейшего чувства, как низкого поступка. Правин не помнил, как он вышел из комнат князя Петра. Он очнулся уже на фрегате, при клике боцмана: «якорь встал!», которому отвечало громкое *ура* шпилевых¹. В руке его замерла карточка, всунутая в его руку княгиней Верою при расставанье. Но прежде чем прочесть ее — он прильнул к ней устами.

¹ То есть матросов, вывертывающих воротом якорь. (Прим. авт.)

Sic volo, sic jubeo,—sta pro ratione voluntas!
Juvenal¹

Тихо катился фрегат «Надежда» вдоль берегов Девоншира. Колокольни Плимута и лес мачт его гавани вращались в воды. Живописные местечки, цветущие деревни являлись и убегали, точно в стекле косморамы... Даль задергивала предметы своею синевою. Свежестью осеннею дышала земля; мирно было все в небе и на море; но вдали серые облака заволокли кругом горизонт, широкая зыбь грозно катилась в пролив, и западные склоны ее волн, встающие все круче и круче, предсказывали крепкий ветер с океана. Вечерело. Нил Павлович, ворча что-то про себя, с-заботливым видом поглядывал на туманное небо и на тусклое море,— он стоял на вахте.

— Не прикажете ли, капитан, убрать наши чепчики, то есть брамсели, разумею я, а вслед за ними и брамстенги? — спросил он Правина.

— Прикажете,— отвечал тот равнодушно.— Хоть я не вижу в этом большой нужды; посмотрите-ка: паруса наши чуть не левентих².

— Конечно, так,— возразил Нил Павлович, немного уколотый таким замечанием.— Теперь пузо³ наших парусов как передник десятилетней девочки; зато взгляните, как надуло свое море! Эдакая прожора! эдакой Фальстаф земного шара! Оно готово скушать и нас без перцу и лимонного соку! Прислушайтесь, как стало оно ворчать и разевать пасть свою!.. Нет, погоди ты, морская собака; мы еще не довольно грешны, чтобы познакомиться с твоею утробой, не исповедавшись на Афонской горе. Не придержать ли, капитан, круче к ветру, чтобы до ночи удалиться от берегов?

— Нет, Нил Павлович, мы спустимся в океан не ранее, как обогнувши мыс Лизард, чтобы, забравшись выше, далеко миновать бурливую Бискайскую бухту. До той поры держаться надó параллельно берегу.

¹ Так я хочу, так я приказываю,— да будет воля моя! доводом! Ювенал (лат.).

² То есть полощутся, висят не надувшись. (Прим. авт.)

³ Техническое выражение, округлость паруса. (Прим. авт.)

— Чтоб не прижало нас волнением к бурунам... Каменный утес — плохой сосед деревянному боку.

— Кажется, Нил Павлович не перешел еще меридиана жизни, за которым и самую робость величают осторожностью.

— Одной осторожностью больше — одним раскаянием менее, капитан!

— Риск — дело благородное, Нил Павлович! Не с вами ли ходили мы на гнилом решете между ледяных гор Южного океана, — и боялись ли тогда идти все вперед да вперед? Бывало, сменившись с вахты, чуть заснешь — смотришь, выбросило из койки, а сквозь пазы хоть звезды считай. Что такое? Стукнулись о льдину... течь заливает трюм, качка тронула из гнезда мачту! Да тонем, что ли? «Нет еще», — отвечают сверху. И мы засыпали опять богатырским сном.

— Это правда, капитан: мы засыпали, но это было оттого, что вы не были командиром судна, а я первым лейтенантом, как теперь. На нас не лежал ответ даже за свои души, нам с полгоря было тогда тонуть, не раскрыв даже одеяла, боясь простуды. Теперь иное дело: от нас бог и государь требуют сохранения корабля и людей.

Капитан не слышал окончания этой речи: он уже в глубокой думе стоял на подветренной сетке, устремив свои очи на волны.

Какое странное действие производят они на воображение тронутого человека. Игра их отражается в нем будто в зеркале. Самые мечты его колышутся, возникают, опадают в нем вещественно и, не образуясь ни во что определенное, сливаются с морем, не оставя по себе следа. Так было и с Правиным. Любовь его была глубока как море, кипуча как море, сердце его было на время оглушено разлукою, и оно очнулось лишь тут; оно пробудилось, как младенец, подкинутый безжалостною матерью к чужим воротам зимою, — и первый звук, из него вырвавшийся, был болезненный крик отчаяния. Нерасцветающий мрак, убийственный холод — вот что отныне будет его тюрьмою и пыткой. Люди не сохраняют для него в гостинец ни одной радости. Уединение не даст ни одной светлой мысли. Опустошает, как Тимур-Ленг, душу разлука, душу человека, одаренного мыслию и чувством! Он отчуждил ее, он перелил ее в бытие милой, он сплавил свои мысли с ее мыслями, свои чувства с ее чув-

ствами. Как чудные близнецы, сердца их срослись в одно целое,— и вдруг это целое разорвано, разбито, разброшено судьбою. Такой человек теряет вдруг все, потому что он все отдал; он не верит надежде, потому что забрал слишком много у прошлого, потому что он в часах истратил годы счастья. Лишь одно воспоминание вползает в развалины, как змея. О воспоминание! ты льешься тогда горячими слезами из очей, капляешь кровью из сердца. Разлука встает между любящимися, будто ледяная стена, и на ней, словно в волшебном фонаре, изображается в тысяче видах все бывшее. Вторится каждая прелесть, каждое слово неги и нежности! Чародей, она воскрешает ласки, уносившие нас до восторга, утоплавшие нас в небесном самозабвении, зажигает вновь взоры и поцелуи, и когда на устах разгорается жажда лобзаний, когда кровь пышет, когда сердце рвется слиться с другим в пламени взаимности,— рука, и уста, и сердце встречают лед и мечта тонет в мерзлой реке, подобно голубку, опаленному пожаром. Тогда, о, тогда невольно рождается вера в злое начало, в самовластие Аримана, в силу ангела тьмы! Кажется, чувствуешь тогда его мертвящее дыхание, видишь во тьме его злобные очи, внемлешь его адский смех за собою.

Мрачней, все мрачней становилось море, и с ним заодно чернели думы Правина. Грудь его вздымалась тяжело, будто свинцовые валы обливали ее своею тяжестью, будто лежала на ней колоссальная рука судьбы. Он смотрел на полет чаек: они одна по одной отставали от фрегата и с жалобным криком исчезали в туманном небе.

«С вами,— думал он,— улетают мои последние радости, и когда Англия, эта раковина, хранящая жемчужину моей души, исчезнет из глаз моих, не все ли равно, что я схороню ее в океане... Когда случай сведет нас? где могу я встретить ее? А между тем я, бедный скиталец, останусь над бездною один-одинок!»

Как обыкновенно звучат эти слова! Раскройте словарь, и вы с трудом их отыщете на странице. Как грамматическое орудие, они ничем не отличны от своих собратий; но как выражение мысли, как символ чувства, как след дела — я никогда не могу прочесть или услышать их, чтобы сердце мое не сжалось. Один бог может быть одинок без скуки, ибо в лоне его движется все.

Только бог может быть один без сожаления, потому что нет ему равного.

Предвещания, предчувствия теснились в сердце Правина: сильные страсти нас делают суеверными. Но в нем прививалась и ревность, которой не мог отрицать ничей разум.

«Она будет в Лондоне и в Париже,— думал он,— и кто порука, что в вихре рассеянности она не забудет меня! Притом, устоит ли она против обольщения, вооруженного всеми прелестями дарований, ума, славы, красоты, моды? устоит ли против собственного тщеславия? И я, неопытный, ни разу не дерзнул ей напомнить о верности, связать ее клятвою! О, как бы я желал еще хоть час побыть с нею, услышать ее обет верной, вечной любви, умолить хоть из жалости не изменять мне и, если суждено нам судьбою не видаться более, проститься с ней не равнодушным знакомцем, как это было в Плимуте, но страстным любовником, наедине, слить наши слезы и пламенным поцелуем запечатлеть пламенную любовь!»

Он вынул из кармана последние слова княгини, написанные карандашом на обороте карточки адреса лучшего трактира в местечке... (мы назовем его Ляйт-Боруг), куда собиралась ехать сегодня же княгиня, отдохнуть вдалеке от шума и пыли, покуда ссшьют ей в Плимуте английский костюм. Ей так расквалили здоровое местоположение и живописные окрестности этого Ляйт-Боруга... ей так необходимо поправить свою слабую грудь после морского путешествия. Князь придет за нею дня через три, и вместе отправятся в Лондон; и теперь княгиня должна быть уже там, и его фрегат против самого Ляйт-Боруга, и до берегу не более двух миль! Все это пришло вдруг на память Правина. Он несколько раз поворачивал карточку, и каждое слово ее казалось теперь ему чертами света,—они загорались подобно электрическому фейерверку от прикосновения проводника. Недоконченная речь: «Ангел мой, я твоя...» принимала тысячу разных смыслов, и все они сходились к одному: свиданье или смерть! Для чего ж иного она хотела ехать в Ляйт-Боруг? Для чего иного написала свое таинственное посланье на карточке адреса?..

«Свиданье или смерть!» — молвил себе Правин.

— Нил Павлович! — сказал он, быстро обернувшись

к лейтенанту, — прикажите спустить с боканцев мою десятку: я еду на берег!

— На берег? вы, капитан, едете на берег? — с изумлением спросил Нил Павлович. — Этого быть не может.

Правин важно посмотрел на лейтенанта.

— Желал бы я знать, почему не может этого быть? — с ирониею возразил он.

— Потому, что не должно, капитан!

— Нил Павлович будет, конечно, так добр, что растолкует, почему это?

— Я думаю, вы лучше всех знаете, капитан, что, глядя на вечер, опасно пускаться в прибой для шлюпки; еще опаснее ложиться в дрейф для фрегата, когда буря на носу. Притом это напрасно замедлит путь.

— Оставьте мне знать, что напрасно и что надобно. Я так хочу — и оно так будет. Прикажите сейчас спустить шлюпку!

Нил Павлович поздно заметил, что он ошибся в расчете, обращаясь к Правину как к начальнику и между тем противореча как другу, вместо того чтобы обратиться к другу и уговорить капитана.

— Ты сердисься, Илья? — сказал он, подошедши к нему ближе, — и, право, напрасно. Посмотри на небо и на море: они хмурятся на нас, будто судья на уголовного проступника. Не покидай же фрегата в такую пору: не клади на себя упрека, что ты уехал от опасности!

— Я, я, бегу от опасности? Послушай, Нил... на свете не было другого, кроме тебя, кто бы осмелился мне сказать это; и нет никого, кто бы сказал это дважды. Я довольно жил и служил, чтобы меня не подозревали в трусости!

— Илья, Илья! прочь от меня укор в подобном сомнении. Не отвага, а благоразумие тебе изменяет. Не в трусости, а в безрассудстве станут обвинять тебя; если ты поедешь... Ну, чего боже сохрани, если без тебя что случится!..

— Кажется, Нил Павлович боится ответственности, когда останется старшим.

— Не ответственности, но вреда судну и людям боюсь я. Неплохой я моряк, Илья Петрович, ты знаешь это; зато я сам знаю, что ты моряк лучше меня. Лежать в дрейфе, дожидаясь тебя в бурную ночь вблизи кам-

ней,— право, не находка. Друг, Илья! отложи свое намерение,— взяв его за руку, с чувством продолжал Нил Павлович,— волнение развело огромное — видишь; как сильно поддало!

В самом деле, вал расшибся о скулу фрегата и через сетку окропил брызгами обоих друзей. Фрегат вздрогнул, но сердце капитана осталось спокойно,— ему ничто не казалось зловещим. Любовь ослепляет самый опыт и дает какую-то темную веру, что природа может иногда изменять свои законы для любовников. Правин отряхнул брызги и тихо отвел руку Нила Павловича.

— Пустые страхи! — произнес он. — Еду, хочу ехать!..

— Твоя воля мне закон, но воля, а не прихоть. Не сердись, что я круто говорю тебе правду, я не придворный. Будь муж, Илья! Ты уж и то много потерял во мнении товарищей через свою предосудительную связь; ну да прошлое прошло, бог с ним! Распростились — basta! Нет; так давай еще амуриться. Сам посуди: стоит ли рисковать царским фрегатом и жизнью этих добрых людей, даже собственной славою, для масляных губок твоей беспутной княгини?

Капитан вспыхнул.

— Прошу вас, г. лейтенант, быть не очень тароватым на осуждение особ, которых вы хорошо не знаете. Вместо того чтобы разбирать поведение вашего капитана, лучше бы вам исполнять его приказания.

— А! — молвил тогда обиженный в свою очередь Нил Павлович, отступая и возвыся голос. — Вам угодно говорить мне как начальник подчиненному? Так позвольте мне, в лице вахтенного лейтенанта, заметить вам, капитан, что вам неприлично отлучаться со вверенного вам фрегата перед бурей, зная, что этим вы подвергнете его неминуемой опасности.

Нил Павлович брызнул маслом на огонь.

— Вы, сударь, не судья мне! Прикажите, сударь, спустить шлюпку, говорю я вам! — вскричал Правин в запальчивости. — Не заставляйте меня самого приказывать. Знайте, что если вы меня выведете из терпения, я могу забыть и прежнюю дружбу и долгую службу нашу вместе.

— Мне кажется, капитан, вы уже забываете ее, оставляя свой пост. Я гласно протестую против вашего отъезда и прошу записать мое мнение в журнал.

— Г-н штурман! — гневно воскликнул капитан, — запишите в журнал слова г-на лейтенанта Какорина и прибавьте к этому, что он арестован мною за ослушание. Отдайте, милостивый государь, ваш рупор лейтенанту Стрелкину и не выходите из вашей каюты. Шлюпку!

— Пусть нас судит бог и государь! — горестно сказал Нил Павлович, уходя. — Но вспомните мои слова, капитан... вы дорогою ценою купите горькое раскаяние!

Капитан корабля, беспрестанно находясь на службе и вблизи своих офицеров, поневоле облекается недоступностию, чтобы подчиненность не исчезла от частого товарищества. Правин, как и всякий другой, скоро привык к безусловному повиновению, а тут Нил Павлович, не умея взяться за дело, раздражил вдруг и страсть и гордость Правина будто нарочно. Затронутый за живое, он счел обязанностью сделать наперекор своему другу.

Отдав все нужные приказания молодому лейтенанту, Правин спрыгнул в катер. Десять лихих гребцов ударили в весла и скоро, выбравшись на ветер, поставили паруса. Катер покатился с волны на волну, между тем как седая пена забрасывала мгновенный след его, будто ревнуя, что утлая ладья презирает ярость могучей влаги.

VII

*И в думе нет, что наслажденье — прах,
Что случая крыло его уносит,
Что каждый маятника взмах
Цветы минутной жизни косит.*

А. Б.

Свечи догорали в комнате княгини Веры, в гостиной Ляйт-Боруга. Било три часа за полночь, и счастливец Правин вырвался из объятий своей страстной и прекрасной любовницы.

— Возможно ли! — сказал он, — уже близко утро, целая ночь испарилась, как поцелуй!

С диким восклицанием поднялась с дивана княгиня, глаза ее впились в Правина...

— О, не говори мне об утре, не напоминай о разлуке: я не пушу тебя... ты сам не покинешь меня... не

правда ли? — продолжала она с ребяческой нежностью, привлекая его на свою грудь. — Мой Илья не будет так жесток — он не предаст меня отчаянию, и не отдам тебя морю!.. Слышишь, как сечет ливень в окна, как завывает буря!..

Правин в половине поцелуя оторвал уста от коралловых уст княгини и заботливо прислушивался к шуму сражающихся стихий. Мысль о шторме, о бедствии, в котором мог быть его фрегат, прожгла его мозг. Страшно было видеть его побледневшее лицо подле томного лица княгини, подернутого прозрачным румянцем неги... Вера была тогда прелестна, как страстное желание поэта, в котором более неба, чем земли; Правин со своими мутными очами походил на раскаяние, пробужденное страхом.

— Спасите! — вскричал он, наконец, безумно, — фрегат мой тонет... Слышите ль выстрел, еще выстрел, еще?..

Буря будто притихла с усталости... какой-то гул замирал вдали, под скалой зверем ревело море... но кругом все было тихо, до того тихо, что слышно было падение капель с кровли и бой испуганного сердца княгини.

— Нет, мой бесценный, ты ошибся — то были удары грома. Может ли быть несчастлив кто-нибудь в то время, когда мы так счастливы!

Правин с какой-то неистовою негою упал в объятия Веры.

— Ты моя! Вера моя! Что ж мне нужды до всего остального, — пускай гибнут люди, пускай весь свет разлетится вдребезги! Я подыму тебя над обломками, и последний вздох мой разрешится поцелуем!.. О, как пылки, как жгучи твои уста в эту минуту, очаровательница!.. Знаешь ли, — промолвил он тише, сверкая и вращая очами как опьянелый, — ты должна любить меня, уважать меня, поклоняться мне более чем когда-нибудь... Знаешь ли, что я богаче теперь Ротшильда, самовластнее английского короля, что я облечен в гибельную силу, как судьба? Да, я могу сорить головами людей по своей прихоти и за каждый твой поцелуй платить сотнею жизней — не жизнью врагов, о нет! Это может всякий разбойник. Это слишком обыкновенно... Нет, говорю тебе, я бросаю на ветер жизнь моих люби-

Физиономия и осанка князя, весьма обыкновенные, одушевились в то время каким-то необычайным благородством. Ничто так не возвышает язык и движения человека, как негодование.

— Требования чести, м.г.? — отвечал он гордо, — и вы говорите мне о чести в спальне моей жены? Вы, которого я принял к себе в дом как друга, которому доверился как брату, и вы обольстили мою жену — эту женщину, хотел я сказать, — запятнали доброе имя, пустили позор на два семейства, отняли у меня дом и лучшую отраду мою — любовь супруги, вы, сударь, одним словом, похитили честь мою и думаете загладить все это пистолетным выстрелом, прибавя убийство к разврату? Послушайте, г-н Правин: я сам служил моему государю в поле, и служил с честью. Я не трус, м.г., но я не буду с вами стреляться; не буду потому, что нахожу вас недостойным этого. Не буду потому, что не хочу вовсе бесславить ни себя, ни жены моей. Пусть это происшествие умрет между нами, но между мной и ею с этих пор не будет менее ста верст. Чужая любовница не назовется с этих пор моею женою. Мы разъезжаемся, и навек! Она богата — стало быть, найдет и утешенье и утешителей. Это мое неизменное слово, это святая клятва моя. Для света можно сказать, будто мы поссорились за пелеринку, за модное кольцо — за что угодно. Вот все, что я имею сказать вам, только вам, сударь! Эта неблагодарная женщина не услышит от меня ни одного упрека; она не стоит не только сожаления — даже презрения. Я добр, я был слишком добр, но я не из тех добряков, которые терпят добровольно. С вами я надеюсь встречаться как можно реже, с нею — никогда! Я еду в Лондон; я оставляю вас наедине с этою бессовестною женщиною и с вашей совестью и уверен, что вы не будете долго ссориться все трое!

Обиженный супруг закрыл глаза руками, но крупные слезы прокрадывались из-под них... Он медленно отворотился... Он вышел.

Княгиня рыдала без слез, на коленях, склоня голову на подушку дивана. Правин стоял в каком-то онемении, сложа на груди руки; он не мог ничего сказать на отпор князю, потому что внутренний голос обвинял его громче обвинителя; он не мог промолвить никакого утешения

княгине, для того что не имел его сам. Эгоизм страсти предстал перед него тогда во всей наготы, в своем зверином безобразии! «Ты, ты,— вопияла в нем совесть,— разбил этот драгоценный сосуд, бросил в огонь эту зеркалу, для того чтоб одну минуту насладиться благоуханием. Ты знал, что в ней заключен был талисман счастья, завет неумолимой судьбы, слава и жизнь твоей милой, знал — и дерзко изломал печать, как ребенок ломает свою игрушку, чтобы заглянуть внутрь ее. Взгляни же теперь на душу Веры, тобою разрушенную, полюбуйся на сердце ее, которое ты вырвал и бросил в добычу раскаянию, на ум, который с этих пор будет гнездом черных мыслей, укорительных видений,— и для чего, для кого все это?.. Не лицемерь, не прячься за отговорки: все это было для себя, для собственной забавы; ты не боролся с своею страстью, не бежал от искушения, не принес себя в жертву,— нет, ты, как языческий жрец, зарезал жертву во имя истукана любви — и сам пожрал ее. В какой свет, в какое общество сбросил ты княгиню? Отныне в каждом поклоне будет она видеть обиду, в каждой улыбке — насмешку, в родном поцелуе — лобзание Иудино; везде будут казаться ей качание головою, и перемигивание, и лукавый шепот; самый невинный разговор будет колоть ее шипами, самую дружескую откровенность вообразит она вызыванием, вся жизнь ее будет горечь сомнения, и подавленные вздохи, и слезы, сжигаемые сердцем!..»

Да, ужасное похмелье дает нам упоение страстями! Изможденные телом и духом, мы пробуждаемся перед судом для того, чтоб услышать приговор неумытых жюри, которые из глубины души произносят страшное guilty — виновен!

Правин отвел очи от княгини. Уже светало, и взоры его сквозь чистое окно упали на беспредельное море. Оно было мрачно и пусто, подобно его душе. Огромные валы, словно стада китов, рыскали и плескались в пространстве, и вдруг между ними мелькнул корабль,— только образы его во мраке и тумане были так неясны, что суеверный моряк сказал бы: «Это корабль-привидение, осужденный вечно скитаться по океанам с проклятыми своими пловцами». С тяжким биением сердца, не переводя духу, следил его Правин, но корабль, одетый сумраком, исчезал, и снова обозначался, и снова сливал-

ся, как облако с облаками. Буря уменьшалась, но черные тучи ходили еще по небосклону взад и вперед, как победители, которые считают трупы убитых.

Наконец заря облила воздушную кровью и тучи и волны с востока; туманы и сомнения Правина рассеялись. Замеченное им судно было точно фрегат «Надежда», но в самом бедственном положении, без стеньг, с изломанной фок-мачтой и бушпритом, с искривленными реями. Два или три стакселя¹, поднятые вполовину, казались последними усилиями борьбы с судьбою, влекущей его на скалы. О, велик бы был тот сердцеведец, кто физиологически разложил бы тогдашнее восклицание Правина: «и это!», кто рассказал бы нам едкость отравы, проникнувшей его сердце, или степень мук от угрызения совести! Лесажев бес снимал кровли, но если б он снял череп с головы Правина и заглянул в ум его, он бы содрогнулся от ужаса и адский даже язык прильнул бы к гортани.

Стиснув рукою чело, как будто от страха, чтобы голову его не расторг вихрь мыслей, с кровавыми пятнами по лицу, с очами, кои, подобно маятнику, ходили от фрегата к княгине, от моря к любовнице, Правин был живой образ казни между двух жертв, между двух преступлений: против нравственности и службы.

Наконец долг победил страсть. Правин горячо поцеловал в лоб княгиню и произнес:

— Вера, прости меня — и прощай!! Нам должно расстаться: фрегат бедствует!

Львицей, у которой уносят последнего детенка, вскочила Вера.

— Бедствует, фрегат твой бедствует!.. И ты, злобный человек, можешь говорить мне об этом, будто я на розах, будто сама я не бедствую! Ты жалеешь дерево, жалеешь чугун и безжалостен к сердцу, тебе отданному, тобой разбитому; бросаешь меня на съеденье отчаянню. Для тебя я забыла все, отдала все,— и ты все это забываешь! Нет! Ты мой, мой навечно: я купила тебя, я выменяла тебя на мое счастье здесь, на рай мой там! Не правда ли, ангел мой! ты мой? Ты не покинешь меня в таком положении: кроме тебя, у меня нет покровителя. За час перед этим я имела имя, отечество, семью, дру-

¹ Косые паруса. (Прим. авт.)

вей,— ты оборвал с меня все это, как эти цветы; как эти цветы, растоптал ты их пятою! И я не жалею о них, куда ты со мной. Твое сердце мне будет родина, твои объятия — родные, твои речи — подруги мои; ты будешь свет мой, мир мой... О, не покидай же меня, не убивай меня!!

И она нежно обвивала Правина своими прозрачными руками; и она обольстительно шептала ему несвязные речи. Но мужчина может забыться — не забыть беды, его окружающие, и в то время, когда женщина множит любовь своими пожертвованиями, своим несчастьем, когда она в целом мире не думает ни о чем, кроме любви, мужчина самую жестокость бед возбуждается из душевного расслабления — он уже ищет, как бы поправить дело.

— Душа моя, душа моей души, прошлое невозвратно, но подумай о будущем!.. Его еще можно заставить служить нам. Я съезжу на фрегат, чтоб пособить повреждениям и не допустить до крушения. Ты теперь свободна — ты можешь ехать куда хочешь,— спеши в Италию! Там я встречу тебя в каком-нибудь приморском городе, в одном или в каждом из портов Средиземного моря. Позволь же мне отлучиться: это необходимо для спасения обломков моей чести, для спасения, может быть, пятисот моих товарищей. Честное слово тебе даю, что завтра вечером я буду в твоих объятиях... Посмотри, буря утихает!..

Долго и пристально смотрела княгиня в глаза Правина.

— Ты меня не обманываешь,— с тяжким вздохом сказала она,— но разве не может обмануть нас судьба!.. О, не ездь, мой милый... мне что-то говорит, что мы не свидимся более... по крайней мере не говори мне *прощай!* — мне ненавистно это слово. В твои руки, Илья, отдаю я свое сердце,— примолвила она, залившись слезами,— в руку бога поручаю твое.

Она упала на колени перед окном, будто умоляя свирепое море пощадить ее друга; потом очи ее слились с небом — она молилась, горячо молилась; и кто бы не сказал, видя это прелестное лицо, дышащее чистою верою, орошенное слезами умиления, что ангел молит небеса о спасении грешника. Она обратилась к Правину с улыбкою грусти, с простертыми устами, чтобы встретить

его прощальное лобзанье, проводила его взорами и упала без чувства на холодный пол гостиницы.

— Ребята! — крикнул капитан своим гребцам, лежащим подле вытащенной на берег шлюпки, — мне непременно должно быть на фрегате, — если умирать, так умирать вместе с товарищами! Едем!

— Рады стараться! — закричали в один голос удалые гребцы. Они привыкли каждое желание капитана считать святым, каждое слово правдивым и разом сдержали десятку на воду.

Но не так легко было выбраться из бухты. Шумные буруны ходили стенами и отбрасывали назад катер. Четыре раза, разгребая в упор, силились гребцы переметнуться за спорный вал — и четыре раза, черпая носом воду, уступали ярости удара. Устроив силы, улучив способный миг, удалось, наконец, им выбраться в море, но море еще кипело и бушевало, раскачанное ночью бурей. Валы сливались в огромную зыбь: вставали и падали неправильными рядами и, взбрасывая катер как щепку, грозили залить или поглотить его. Ветер бил на берег, и потому пришлось идти на гребле. Волнение выбивало из уключин весла, два человека беспрестанно отливали воду: в катер поддавало со всех сторон.

На руле сидел заслуженный урядник, который свылся с бурями и опасностями как с лишнею чаркою водки, для которого, по собственному его выражению, море было масленица, а девятый вал — милее девятого блина. Он прехладнокровно глядел то на свой нос, то на нос катера, наблюдая, чтобы он не рыскал. Казалось, все, что совершалось кругом его, было ему совершенно чуждо. Всегдашний спутник поездок капитанских, он уже ознакомился с его нравом и знал, когда можно было молвить ему слово-другое.

— Смею спросить, Илья Петрович, — сказал он капитану вполголоса, — сны иногда бывают, то есть, от бога?

— Случается, — отвечал рассеянно Правин.

— Я чай, что от бога, ваше высокоблагородие! Да и как залезть лукавому в христианскую голову, когда на ночь перекрестишь лоб!.. Я вчерась, то есть, кажись, положил крест даже на изголовье; с крестом, извольте видеть, ваше высокоблагородие, мягко спать и на камне, а все-таки привиделся мне чудный сон... Грянь, други,

грянь — проводи дальше весла!.. И такой сон, то есть, что ума-разума не приложу разгадать его... Ну, девятый прокатился! Виделось мне, будто у нас на «Надежде» смотр не смотр, праздник не праздник, только народу кишмя кишит: генералов, адмиралов, штабства — видимо-невидимо. И все словно наяву пьют и закусывают; только все молчок; такая тишь, что муху бы услышал. И вот, то есть, будто кто-то крикнул: «Смирно!» Команда наша выстроилась на шканцах, глядим, гости потянулись мимо нас, а сами заглядывают в глаза. И шли будто, шли — конца не видать. Вдруг, то есть, откуда ни возьмись, и ваше высокоблагородие — в полном мундире, только через плечо вместо ленты красный флаг: не ведь гюйс, не ведь какой сигнальный. А идете будто вы под ручку с какой-то барынею — лицо открыто, а лица не видать!.. Ну, други, ну, навались! что зазевались на зайчиков! И вот остановились будто вы, Илья Петрович, как теперь гляжу, передо мною. «Выйди вперед, Гребнев! — сказали мне и положили руку на мое плечо, да и молвите барыне: — Я и его беру с собою, он довольно послужил, надо успокоить его старые кости!» То есть, видно, в отставку выйдете, да и меня, старика, в дворецкие возьмете, — буду я себе в ту пору посвистывать в ключ вместо этого свистка. Ну, да не о том речь, в. в. — е! Глядь будто я на себя, да так и сгорел — на мне вместо куртки белая рубашка! Просыпаюсь, а сердце будто вырваться хочет, — насилу открестился. Что бы это значило, в. в.?

Правин невольно впал в глубокую думу. Смутная мысль о смерти пала на душу впервые, и в этот раз она ничего не имела в себе отрадного. Умереть, утонуть, не помирившись с совестью добрыми делами, не выкупив у прошлого проступков своих блестящими поступками!.. Он вспомнил, что тонкая дощечка отделяла его от влажной могилы, — и содрогнулся он и обозрелся кругом: море крутилось страшно; фрегат был близок, но зыбь валяла его с боку на бок так сильно, что медная обшивка обнажалась до киля, сверкая будто броня великана; потом вал снова закрывал корпус, так что чуть виднелись снизу марсы. Полкабельтова, не больше, оставалось до борта, но борт был опаснее всякой скалы: при-

бой расшибался, вся, о ребра его и широкими всплесками грозил каждый миг залить и опрокинуть катер.

— Молись, Гребнев, Николаю Угоднику, — сказал капитан, ударив урядника по плечу, — молись: матросские молитвы до неба доходны. Если мы счастливо пристанем к борту, ты будешь нянчить внуков моих.

— Крюк! — закричал урядник; с борту кричали: «Лови, лови!» Роковая минута настала. Глаз капитана не обманулся в степени опасности: сон Гребнева упал в руку...

VIII

К ночи того же дня ветер совершенно стих, море опало. Оно едва-едва дышало будто от усталости и что-то шептало, засыпая. Обломанный фрегат «Надежду» прибуksировали ближе к берегу, и он лежал уже на якоре. Работы на нем кипели; скрип блоков, треканье и удары мушкелей раздавались повсюду. Ставили запасный рей вместо потерянной мачты, переменяли стеньги, таке-лаж; починивали изломанные сетки. Помпы хрипели, будто больной; палубы изображали прекрасный отрывок хаоса. Везде царствовала суета, но в ней не было души: матросы работали без песен, без сказок; тихо перемолвливались и печально качали головою; видно было, что свершилось какое-то важное несчастье.

— Что, нет надежды? — спросил один мичман лекаря Стеллинского, который вылезал из-под сукна, коим отделялся лазарет от палубы.

— Никакой, — отвечал тот, — лекарства ему так же бесполезны теперь, как трубка табаку. Пусть подшкипер снимает с него мерку на саван.

— Жаль! Гребнев был лихой урядник. Ну, а из вчерашних, ушибленных сорвавшимся реем?

— Двое будут живы; остальные ж трое отправятся сквозь порт туда же, куда слетели семеро сверху.

— Худо, очень худо! Десять жертв с фрегата и шесть с капитанского катера — это не безделица! У меня душа замерла, когда со всего размаху ударился катер в борт, — только щепки брызнули! Одного гребца в моих глазах разможило о руслени; другого прищемило днищем и расплющило как пуговицу. Ну, да это все не

беда, лишь бы жив остался наш капитан; вы давно проведывали его, Стеллинский?

— С полчаса назад; он потерял много крови,— проклятый гвоздь с изломанной доски шлюпки глубоко вонзился ему между ребрами; я насилу мог остановить кровотечение. Однако теперь горячка стихла, и он вообще больше болен духом, чем телом: *affection mentale*¹. Он, видите, нервного сложения: на него крепко подействовало повреждение фрегата и гибель людей. Если бы нам, медикам, случалось приходиться в отчаяние от ошибок, так пришлось бы задавиться турникетом после первого дежурства в клинике.

— Слава богу, доктор, что добрые люди не вдруг привыкают к чужой гибели, притом, кроме худой славы перед своими и англичанами, не мудрено, что капитан каш поплатится за свою прогулку эполетами.

— Неужели ж его отдадут под суд за мачту?..

— Да, Стеллинский! Не дай бог попасться под военный суд: это хуже вашего консилиума,— и между тем это вероятно. Государь, правда, лично знает Правина и после наваринского дела сам назначил его командиром фрегата; начальство уважает его, но сами вы знаете, что служба ни шутить, ни лицеприятничать не любит.

— Да, да! это будет невозвратная потеря для флота!

— Впрочем, делайте вы свое дело, а мы, офицеры, обработаем свое. Разве нельзя три четверти вины пустить на ветер? С бурями так же, как с вашими болезнями, все шито да крыто.

— Дай бог, дай бог!

Лекарь вошел в капитанскую каюту.

Кто бы узнал в этом бледном, изможденном страданиями теле вчерашнего Правина, цветущего здоровьем, кипящего надеждою? Расшибленная голова его была обвязана полотенцем, лицо мерцало могильною белизною, зрачки не двигались в глазах, охваченных синим кругом,— они лишь расширялись и сжимались повременно. Подперши левою рукою голову, правой держал он за руку Нила Павловича, который сидел у него на кровати и с ним разговаривал. У обоих остатки слез дрожали на щеках.

¹ Душевное расстройство (фр.).

— Нилушка! не оправдывай меня; отлив крови — прилив рассудка: я вижу теперь, что во всем виноват сам,— один я буду в ответе. Останься я на фрегате — все бы шло хорошо. Не арестуй я тебя, мы не потеряли бы ни одного лисель-спирта. Не вини Стрельникова: он молодой офицер, он новичок-лейтенант, и если спустился под шквалом на фордевинд, не убравшись даже с ундерзейлями,— это оттого, что он никогда не бывал в подобных обстоятельствах...

— Впрочем,— сказал ласково Нил Павлович,— все зависит от того, в каком виде представим дело начальству.

— Неужели ты думаешь, друг мой, что я стану лгать в извинение? Ни в чем, никогда! Завтра же рапортую о несчастном случае императору и адмиралтейству — и все, как было, все без утайки. Ты простил меня,— может статься, накажет слегка и начальство; но могу ли я простить самому себе — успокоить совесть за смерть людей!

— Грот-марса-рей сорвался случайно. Второпях, в потемках один урядник отдал топенант вместо грот-стенг-стаксель-фала, и люди полетели долой. Это могло случиться и при тебе.

— Я уверен, что ни при мне, ни при тебе не было бы суматохи, не было бы и торопливости... А гребцы мои, а?... Правин вздернул одеяло на лицо и несколько минут безмолвствовал. Только содрогание одеяла доказывало, что он под властью ужасного чувства. Наконец, он открылся.— Нил, тебе известно все,— сказал он,— были проступки и в прежней жизни моей, но я бы отдал смерти половину дней, назначенных мне жить, и посвятил бы остальную на благодарность богу, если б можно было вычеркнуть из бытия последние двадцать четыре часа...

— И я, я преступник,— вскричал он, помолчав с минуту и потом подымаясь на ложе,— я, который играл царскою доверенностью, который обольстил, погубил любимую женщину, обидел друга, запятнал русский флот, утопил шестнадцать человек, для насыщения своей прихоти,— и я-то думаю жить! Нет! Я не переживу ни своей чести, ни своей души; я не хочу, я не должен существовать. Море взлелеяло меня, море дало мне свои бурные страсти — пускай же море и поглотит их: только в бездне его найду я покой! Если суждены мне муки за

гробом, то пусть мучусь вне тела, без сердца, одной душою!.. Это уж выигрыш!.. Смерть, ты улыбаешься мне, как Вера... Приди, приди!

Он страшно восклицал, он жадно простирал руки к какому-то незримому предмету, он был в исступлении.

— Горячка снова им овладела,— сказал на ухо Нилу Павловичу лекарь,— надо употребить утишающие средства, и завтра же будет *mens sana in corpore sano*¹!

Он заботливо уложил больного.

Нил Павлович вышел наверх отдохнуть от сильных впечатлений. Солнце садилось. Били вечернюю зорю; оба флага скатились тихо, тихо долой; ночь ниспадала прозрачна и мирна, но все было мутно в возмущенной душе доброго моряка. Участь друга свинцом налегла на сердце.

«Дорогою ценой платите вы, баловни природы, за свой ум, за свои тонкие чувства! — подумал он.— Высокы ваши наслаждения, зато как остры, как разнообразны ваши страдания!! У вас сердце — телескоп, увеличивающий все до гигантского размера. О, кто бы, глядя на Правина, не пожелал быть глупцом, всегда довольным собою, или бесчувственным камнем, ничего не терпящим от других!»

В полночь Нил Павлович потихоньку вошел в каюту капитана... На столе подле постели лежало недоконченное письмо; казалось, Правин недавно писал — чернила еще блестели на пере, на бумаге не засохли две капли крови, упавшей, вероятно, с оцарапанного лица. Сам он спокойно лежал, закрывшись весь одеялом. Рука друга подняла покров, заботливый взор его упал на лицо больного: он, казалось, спал глубоким сном. Румянец играл на щеках, но выражение бровей было болезненно; страдание смыкало уста.

«Он и во сне страдает»,— сказал про себя Нил Павлович и на цыпочках вышел вон.

— Слава богу, капитану лучше,— сказал он матросам, которые с участием толпились у дверей каюты... и они рассеялись, и по палубам пролетала шепотом отрадная весть: капитану лучше.

Ему в самом деле было лучше.

¹ В здоровом теле здоровый дух (лат.).

С минуты разлуки княгиня не отходила от окна. Солнце село, солнце взошло, солнце перекаатилось за полдень — она все сидела с тоскою в сердце, с зрительною трубою в руке, она все глядела на фрегат, в коем, не для игры слов, заключалась вся ее надежда. Она видела, как на нем исправлялось, очищалось, приходило в порядок все. Долгое наблюдение сквозь телескоп производит не только в глазу, но и в воображении какое-то странное чувство. Отдаленность с своею немой, но живою игрой людей и предметов, кажется, будто принадлежит иному свету. Смотришь на них как на тени, хочешь угадать их речи, их думы, их заботы по движениям, — внимаешь очами, и любопытство растет до горячего участия.

Часу в пятом вечера княгиня заметила необыкновенное, но стройное движение на фрегате. Матросы унизали борт корабля; что-то красное мелькнуло с борта в воду, и вслед за тем сверкнул огонь из пушки, из другой, из третьей... Гул раздался долго после!.. Потом флаг, который до сих пор спущен был до половины и перевязан узлом, упал — и в тот же миг поднялся до места распущенный... И потом звук исчез в пространстве, дым улетел к небу, и все приняло прежний вид.

Это непостижимое для Веры явление мелькнуло в стекле трубки, будто в неясном, худо запомненном сне. Княгиня протерла стекло, но все задернулось туманом в очах ее, и с них брызнули слезы. «Это от усталости!» — молвила она и в думе опустила голову на руку. Невольная дрожь пробежала по ее телу. «Какой холодный ветер!» — подумала она и закуталась шалью... Наконец неизъяснимая тоска сжала ей грудь... Она с горестию сказала: «Видно, он не придет и сегодня!» Но в голосе ее слышалась обманутая, хотя еще и не разрушенная надежда — какая-то слепая доверчивость ребенка к палачу. О, эти простые слова привели бы в трепет каждого, кто угадывал истину. Сегодня? Но вечерет ли день замогильный? рассветает ли ночь мертвецов?

И княгиня погрузилась в долгое тяжелое забытьё; забытьё без чувств и мыслей; забытьё, в котором, как в Мертвом море, нет ни зыби, ни прилива, ни отлива, не витают рыбы, не перелетают через птицы... все иссушено, все задушено!! Словом, забытьё, которое потому

только не могло назваться смертью, что оно хранило муку.

Место и время исчезли для княгини. Было одиннадцать часов ночи, когда звук мужских шагов в коридоре гостиницы пробудил ее из гробовой дремоты. Первая мысль, первый крик ее был: «Это он!», и она стремглав бросилась к дверям. Тусклый ночник едва мерцал в радужном кружке, будто глаз какого-то злого духа, но Вера ясно расслушала его походку, она узнала шотландский плащ Правина,— если не слухом и не взором, то сердцем угадала она желанного гостя,— она прыгнула к нему навстречу и с радостным *ах!* упала на грудь пришельца.

Тесно смежны в сердце женщины восторг и отчаяние, смех и слезы, смежны, как две стороны червонца. Лезвие мысли их не делит; сомнение не простирает своей плены между. Княгиня в восхищении сжимала в своих объятиях пришельца.

— Княгиня! — произнес незнакомый голос, — вы ошиблись. Я не Правин, я только посол его!

Нил Павлович подал письмо княгине.

Княгиня отпрянула от него, как будто коснулась змия.

— А Правин? Он не хотел приехать? — вскричала она с укором.— Он обманул меня... Да кому теперь можно верить, когда и самое сердце мое меня обмануло. Скажите ж скорее, жив ли, здоров ли мой Илья? Где он? Когда он приедет сюда?

Нил Павлович безмолвствовал.

Глаза Веры засверкали, как острия кинжалов.

— Я понимаю вас, г. лейтенант, — гневно произнесла она, — вы отговорили, вы не пустили его: вы всегда были против нашей любви. Ваше имя не раз отрывало Правина от моей груди... Он мрачно озирался, слыша вашу походку. Вы, это вы отняли его у меня... Но куда вы девали вашего друга, куда схоронили вы моего Илью? Отвечайте же, сударь! — вскричала она, безумно схватив его за грудь.

— Несчастная женщина! вам самим повторю я вопрос ваш — что вы сделали с Правиним? Куда, куда вы схоронили его?

— Он умер? — спросила княгиня, леденея от ужаса.

— Пусть отвечают бездны моря! Бедный друг мой

изошел кровью... но прежде крови он пролил по вас горькие слезы,— он в письме завещал мне утешить вас; но могу ли дать то, чего не имею сам,— я не бог. Он один может утолить слезами горечь и совесть,— примолвил тише Нил Павлович, в котором потеря друга превозмогла все прочие чувства.— Прощайте, княгиня, дай вам боже забвения — это единственное счастье несчастных!

Он исчез.

С трепетом открыла Вера письмо, начертанное почти во мраке смерти хладеющей рукою полумертвеца... Мы не прочтем его... Язык жизни не выразит тайн могильных — тайн, которые уносит умирающий в прах; тайн, которые истлевают сердце, как чума своим прикосновением.

Плач и жалобы — дары неба! вами откупается несчастный от половины страданий, от пытки, его терзающей. Но горе тому, для чьей тоски нет слезинки в очак, нет в устах рыдания, нет в сердце вздоха. Горе тому, в чьей душе потонут все думы, все, кроме одной вечной, неумолимой думы об одиночестве — думы о судьбе своей... думы, которая шепчет: «ты, как ястреб Прометея, будешь век терзать свое сердце!»

Это ужасно!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Выписка из «Северной пчелы» 1831 года, августа месяца)

Кронштадт... августа. Вчера пришел на здешний рейд из Средиземного моря фрегат «Надежда», под командою флота капитан-лейтенанта Какорина. Красота корабля, отличный порядок, на нем господствующий, здоровый и бодрый вид людей обратили на себя внимание и начальства и всех посетителей фрегата.

31 августа 1832 года в Петербурге было открытие Александринского театра. В семь часов вечера зала была уже полна. Партер, половина которого сходил к ложам амфитеатром, адел, как заря, красными мундирами, отворотами, лентами; блистал, как еще не потухший запад звездами. Пять поясов лож пестрелись женскими уборами; иной бы сказал: «то живые цветочные вязи, окропленные росой алмазов» — так ярки, так блестящи

были они; и между них веяли и склонялись перья над прелестными личиками, словно крылья херувимов. Тысячи свеч горели букетами по раззолоченным стенам и поручням лож; сливались в ослепительный метеор люстры. Гордо и легко смыкался потолок своими радужными облаками. Боги Олимпа с завистью смотрели на роскошь земную с высоты живописного неба. Богини, краснея от досады, чуть не прятались друг за друга, видя, что красота русских дам пересияла их. Старый грешник, Юпитер, заметив, что он одет не по вкусу времени, сердито косился на свою бороду: казалось, хотел сбрить ее и для последнего превращения облечься в гусарский доломан. Три грации морщились на петербургских красавиц, будто хлебнули амброзии, которая скислась; девять сестриц Парнаса, которые весьма поустарели со времен Гомера, ревниво смотрели на своих женихов, рассыпающихся жемчугом перед светскими вдохновительницами. Даже сова Минервы завистливо таращила глаза. Только посланница любви, Ирида, весело расправляла свои голубиные крылышки да пролаз Меркурий лукаво заглядывал в логи, будто дожидаясь письмаца. Вулкан же, глядя по головке сына своей жены с самодовольным видом немецкого барона, считал мужей, рисующихся по стенам для тени картины, и напевал песенку:

Нашего полку прибыло, прибыло!

Между тем передний занавес, бледный как туман германской поэзии, таинственно колебался между зрителями и сценою, будто занавес судьбы, скрывающий от нас даль грядущего. И все было прелесть, свет и очарование! Самый воздух был упоен благовониями и дышал негою вздохов. Он оживлялся от малейшего трепетания райских птичек, отдыхавших на головах красавиц, от волнения газа на грудях, от сладостного ропота их уст, от пылких взоров, летающих, крестящихся, словно падучие звезды, от звуков, возникающих порою из оркестра — звуков неясных, смешанных, чудных как мысли поэта впросонках... одним словом, вся зала Александринского театра и все, что в ней было, походило тогда на какой-то великолепный, волшебный сон юноши под жарким небом юга. Сердце плавало в обаятельной розовой атмосфере и в блестящем рассеянии забывало все, что тво-

рится за стенами... О, поверьте мне: светская жизнь имеет свою поэзию — зато как дорога и как редка она!

Царской фамилии еще не было, — все жужжало и колебалось в роскошном ожидании, в томлении нетерпеливости. В это время в третьем ряду кресел два человека учтиво пробирались на свои места, платясь извинениями за каждый переход через чужие ноги и поклонами за то, что протирались мимо чужих грудей. Наконец они, положив шляпы на кресла свои, вздохнули и обзрелись свободно. Один был молодой человек, в вицмундире иностранной коллегии, очень приятной наружности и окружности — система округления в лицах. Сложив накрест руки, он равнодушно оперся спиной о спинку кресел второго ряда и, едва отвечая на дальние кивания своих знакомцев, беззаботно взглядывал на ложи сквозь очки (очки есть необходимое условие дипломата, хотя не решено до сих пор, носят ли они их для того, чтоб лучше видеть глазами, или для того, чтоб меньше видели их глаза). Другой был юноша во всем цвете этого слова: жив, румян, весел, разговорчив; он был так доволен своими красными отворотами, так счастлив блеском, его окружающим, будто майская бабочка в ясный день. Он простодушно глазел на все и на всех и смеялся от чистого сердца эпиграммам своего модного соседа; смеялся с откровенностью истинно армейской. В самом деле, несмотря на четверугольный лорнет, который он довольно ловко наводил направо и налево, легко угадать было можно, что он недавно переведен из армии. Любопытным расспросам его не было конца. Кто это в мальтийском мундире? Кто эта дама в оранжевой шали? Дипломат едва успевал вернуть при каждом имени острый словцо.

И вот, когда перебрали они всех посланников и вельмож, всех красавиц и знатных дам, с шумом распахнулась дверь в одной ложе, и в нее вошли дамы блистательной красоты и наряда отличного вкуса. Будто не замечая ропота и взоров одобрения, кипящих вокруг и под ногами их, они сбросили свои шали и, поправляя газовые рукава, обратились к вошедшему за ними кавалеру с замечанием, что коридоры театра необыкновенно тесны. Кавалер этот был генерал пожилых лет, кубической фигуры, со звездами на обеих грудях и с улыбками на обеих щеках. Он отвечал что-то, склоняясь между их без чинов.

— Ах, Жозеф! — с жаром сказал дипломату наш юноша, — скажи скорей, кто эта прелестная особа по правую руку в малиновом токе? Глаза ее сыплют алмазные искры, губки раскрылись улыбкою, будто жемчужная раковина от солнечного луча... около нее как сияние, — она богиня радости!.. Имя, имя ее?

— Как, mon cher, ты разгорелся! — отвечал дипломат. — Изволь, однако, я потешу тебя: ее имя Софья Ленович — моя жена.

Жалко было видеть бедного юношу: он смутился! он не знал, из какого кармана выискать отговорок. Ленович с самодовольным видом забавлялся его смущением и шуточно продолжал:

— Да-с, это моя жена; но ты, дружок, не будешь ее поэтом. Нет, нет, стара штука. Полгода еще милости просим жаловать ко мне когда угодно: полгода ты будешь безопасен, — но потом, милый, сердись не сердись, а я тебе за твой восторг едва ли не прочту:

*Vous êtes un brave garçon, un homme honnête,—mais
Remarquez bien ma porte pour n'y entrer jamais!*¹

Эта шутка была сказана так по-дружески, что мой юноша ободрился. Желая сгладить прежние похвалы, он стал горячо хвалить другую даму, подругу жены Леновича.

— Но соседка твоей Софьи, Жозеф, прелестна как сама задумчивость, — посмотри: каждый взор ее черных глаз блестит грустью, будто слеза; каждое дыхание вырывается вздохом; и как нежно ластятся черные кудри к ее томному лицу, с какою таинственностью обвивает дымка ее воздушные формы.

— Не на варшавском ли приступе, mon cher, набрался ты этого романтического дыму? Изруби же его поскорее в стихи; поставь внизу прапорщицкую звездочку, отошли в «Молву» и будь уверен, что если ты sprysнешь всю новинку полдюжиной шампанского, приятели прокричат тебя поэтом.

— Ты можешь шутить как хочешь, но верь, что черты этой красавицы так врезались в мою память, что я вавтра же нарисую ее портрет — и всякий, кто лишь раз видел ее, увидев его, скажет: «это она!» Но кто ж она?

¹ Вы славный мальчик, честный человек, — но хорошо заметьте мою дверь, чтоб никогда туда не входить (фр.).

— Заметил ли ты генерала, сидящего за моею Софьею? Это мой дальний родственник, князь Петр***, а черноглазая дама — его жена.

— Княгиня Вера! — вскричал гвардеец с такою шумною радостью, что на него оборотились многие лорнетты. — Княгиня Вера, которая целый год увлекала все сердца и все мысли Петербурга. Вера, любимая мечта моего брата! Воротясь в двадцать девятом году отсюда, он прожужжал мне про нее уши... И наконец-то удалось мне увидеть это прекрасное создание!

— Прекрасное недолговечно на земле, — сказал со вздохом Ленович. — Эта черноглазая дама — вторая жена князя Петра, а Вера, ангел доброты и прелести, Вера, которой обязан я своим счастьем, умерла в Англии. Когда-нибудь я расскажу тебе ее печальную историю!

На глазах у Леновича, сколько ни дипломат был он, навернулись слезы... Гвардеец молчал в грустном раздумье. Но загремела музыка, занавес взвился — и судьба Веры была забыта.

Забыта? О, я готов пожать руку у того или поцеловать у той, кто назовет эту летопись сердца скучною сказкою, кто будет зевать при ее чтении, кто забудет прочтенную половину и бросит в огонь недочитанную. Забвение ждет всех, забвение безвредно. Но, может быть, какой-нибудь бездушный ловелас выдавит сладкую отраву из любви Правина и Веры, перескажет неопытности лишь то, что льстит его намерениям. Может быть, он прочтет эту тетрадь в уединенном кабинете прекрасной даме, которой доселе он говорил: «люблю вас» только взорами. И румянец страсти загорится на щеках его, и голос его задрожит будто волнением души, и послушная слеза сверкнет на ресницах... Он подстережет вздох грусти, слезу сожаления — сожаления, предтечи любви, — и упадет к ногам своей тронутой любовницы.

— О, будьте для меня Верою за то, что я обожаю вас, как Правин!.. — воскликнет он.

— Вы забыли участь их?.. — возразит она.

— У всякого своя участь... Нас ждет доля блаженства, непрерывного, неисчерпаемого блаженства! Но если б меня ждала судьба еще горше Правиною, я приемлю ее за миг счастья, — о, если б вы знали, как я люблю вас!

И его слушают, ему почти верят!

При этой мысли я готов изломать перо свое!

Но существует ли в мире хоть одна вещь, не говоря о слове, о мысли, о чувствах, в которой бы зло не было смешано с добром? Пчела высасывает мед из белладонны, а человек вываривает из нее яд. Вино оживляет тело трезвого и убивает даже душу пьяницы. Тацит, учитель добродетели, был виной изобретения нойяд¹ в ужасы революции. Бросим же смешную идею исправлять словами людей! Это забота провидения. Мы призваны сказать: так было,— пусть время извлечет из этого злое и доброе. Приморский житель ужасается вечером, видя гибель корабля, а наутро собирает останки кораблекрушения, строит из них утлую ладью, сколачивает ее костями братьев — и припеваючи пускается в бурное море.



¹ Нерон утопил мать свою на галере с окном; подобные плашкоуты заменяли гильотину. (Прим. авт.)

Примечания

РЕВЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

Впервые — в альманахе «Полярная звезда», 1825, за подписью: А. Бестужев.

Стр. 15. *Звон колоколов с Олая...*— Церковь св. Олая является памятником древнегерманского зодчества в Прибалтике. Впервые упоминается в 1267 г.

Стр. 16. *...кружева Арахны* — то есть паутина. В «Метаморфозах» Овидия упоминается героиня Арахнея, искусная рукодельница, дерзнувшая вызвать Афины на состязание в ткачестве и превращенная ею за это в паука.

Стр. 17. *Брандскугель* (нем.) — зажигательное ядро.

Греческий озонь — зажигательные снаряды.

Кираса (фр.) — металлические латы, надевавшиеся на грудь и спину для защиты от ударов холодным оружием.

Стр. 18. *...под Магольмом, под Псковом... под Нарвою!* — Имеются в виду сражения с русскими войсками в 1501—1502 гг.

Стр. 19. *Орвиетан* — особый эликсир от всех болезней, названный по имени лекаря Фероата из Орвието; впоследствии — обозначение всякого шарлатанского лекарства.

Паладин (фр.) — в средние века — рыцарь из свиты короля.

Стр. 20. *Рыцарь Иксуль* — за жестокость со своими вассалами и убийство одного из них был казнен жителями Ревеля в 1535 г.

Ратсер (нем.) — член совета магистрата.

Стр. 23. *Шпензер* (нем.) — род одежды.

Стр. 26. *Риттергауз* (нем.) — рыцарский дом в Ревеле на Вышгоре; перед ним в старину происходили рыцарские турниры.

Стр. 27. *Фрез* (фр.) — высокий плотный воротник.

Герольд (нем.) — вестник, глашатай; распорядитель на рыцарских турнирах.

Далматика — род мантии или накидки.

Стр. 28. *Киршвассер* (нем.) — вишневая водка.

Стр. 30. *Пергамин* (пергамент) — кожа животных, особым способом обработанная и служащая для написания документов и писем.

...с *фогтами* и *командорами Ордена*...— Командоры и фогты — высшие чины Ливонского ордена, назначавшиеся магистром Ордена, ведали надзором и управлением округа.

Стр. 31. *Фейерверочный бурак* — гильза с порохом, выбрасывающая огненный фонтан.

Стр. 38. *Бургомистр* (нем.) — здесь: старший член магистрата.

Ландрат (нем.) — член королевского или земского совета.

Стр. 39. *Вицбстрейбер* (нем.) — шут, остролов.

Стр. 44. Эпиграф взят из стихотворения Н. М. Языкова «Ливония» (1824).

...в *прусском Ордене, преданном Сигизмунду*...— Сигизмунд I Старый (1467—1548), польский король, в 1525 г. согласился преобразовать духовно-рыцарский Тевтонский орден в герцогство Пруссия.

Полевать — ездить в поле для военных действий.

Стр. 45. *Общество Черноголовых* — военно-торговое братство, основанное в XIV в. в Ревеле для обороны города; имело большое влияние на политическую жизнь Ревеля и всего Балтийского побережья.

ИСПЫТАНИЕ

Впервые — в журн. «Сын отечества и Северный архив», 1830, № 29—32, за подписью А. М., с пометкой: Дагестан, 1830.

Стр. 49. *Клеопатра* (69—30 гг. до н. э.) — царица Египта, прославившаяся красотой и умом.

...эта *Клеопатрина жемчужина, растаял в бокалах*.— Согласно преданию, Клеопатра поспорила с римским императором Антонием, что она за скромной трапезой может потратить 10 тысяч сестерциев; она велела подать чашу с уксусом, опустила туда жемчужину из своей серьги, которая тут же растворилась, и затем выпила этот уксус (см.: П л и н и й - С т а р ш и й. Естественная история, кн. IX, гл. 58).

Стр. 50. ...гомеровского описания *дверей*...— Имеется в виду описание двери опочивальни Телемаха в «Одиссее» Гомера.

...славный *китолов Скорезби*...— Вильям Скорезби (1789—1857) — английский мореплаватель. Свои наблюдения о северных морях изложил в сочинении «Account of arctic regions» (Лондон, 1820).

...сохрани меня Аввакум! — Имеется в виду или Аввакум Петрович (1620—1682) — протопоп, поборник русского старообрядчества, или один из библейских пророков.

...трёхбунчужный паша... — Паша — высший титул сановника Турции. Знаком их достоинства был бунчук (пучок конских волос).

Стр. 51. *Плум-пудинг* (англ.) — сливовый пудинг.

Жомини Антуан Анри (Генрих Вениаминович; 1779—1869) — военный писатель и теоретик. Родился в Швейцарии, служил в швейцарской, французской армиях. В русской армии служил с 1813 г., был генералом от инфантерии.

Люцифер (лат.) — в христианской мифологии сатана, дьявол.

«*Фрейшиц*» (нем. Freischütz) — «Волшебный стрелок», опера немецкого композитора К. Вебера (1786—1826), впервые поставленная в 1821 г.

...аппликатура *V. C. P.* со звездочкой... — сорт шампанского вина; *аппликатура* — металлическая накладка на горлышке бутылки.

Стр. 52. *Ругировать* — ставить на одну и ту же карту.

Знак Водолея — одно из зодиакальных созвездий, в которое солнце вступает в январе.

Стр. 54. ...соляной обломок *Лотовой жены*... — По библейскому преданию, жена патриарха Лота, покидающая обреченный на гибель Содом, вопреки запрещению бога обернулась и взглянула на пылающий город, за что была обращена в соляной столб.

Стр. 55. ...убрался в *Елисейские*? — В греческой мифологии Елисейские поля, или Элизий, — часть загробного мира, где пребывают праведники. Здесь: умереть.

Арендт Николай Федорович (1785—1859) — хирург, лейб-медик.

Альнаскар (Альнаскар) — отставной мичман, персонаж из комедии Н. И. Хмельницкого «Воздушные замки».

Платон (427—347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ.

Стр. 56. *Декарт* Рене (1596—1650) — выдающийся французский философ, физик, математик и физиолог.

Стр. 57. Эпиграф взят из поэмы Байрона «Дон Жуан».

Финская Пальмира (Северная Пальмира) — то есть Петербург. Пальмира — древний город в Сирии, славившийся пышностью и богатством (I тысячелетие до н. э.).

Стр. 58. *Гогарт* Вильям (1697—1764) — английский живописец и гравер, изображавший бытовые и уличные сцены.

...гуси, забыв *капитолийскую гордость*... — Гуси у древних римлян считались священными птицами и находились в Капитолии,

так как, по преданию, они спасли Рим, предупредив своим гогоанием спавших жителей о приближении врагов.

Стр. 59. *...писателю апологов...*— Аполлог — аллегорический рассказ, басня. Возможно, имеется в виду И. И. Дмитриев (1760—1837), писавший апологи.

...пустынника Галерной гавани, или Коломны, или Прядыльной улицы...— Подразумеваются популярные в журнальной литературе 20—30-х годов псевдонимы критиков.

Стр. 60. *...гирлянда с цветами из «Потерянного рая»...*— по-видимому, одна из причуд моды того времени, взятая из богатого орнаментом красочного описания эдема с его цветами, кущами, виноградными гроздьями, лаврами, миртами в поэме Джона Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай».

Изида — египетская богиня. «Покрывало Изиды» олицетворяет тайну.

Стр. 65. *Окен* Лоренс (1779—1851) — немецкий философ и естествоиспытатель.

Стр. 67. *Кастор и Поллукс* — по греческой мифологии, неразлучные братья-близнецы, сыновья Зевса и Леды.

Стр. 68. *Чичисбизм* — обычай в старой Италии, по которому замужняя женщина не может прогуливаться без сопровождения постоянного спутника.

Стр. 71. *Лавка Петелина*.— Петелин — петербургский торговец женскими нарядами.

Стр. 72. *...жили в Аркадии...*— Аркадия — страна, где протекала идиллическая, счастливая жизнь.

Стр. 77. *...в мае одно мгновение прелестнее целой недели в осень...*— неточная цитата из стихотворения А. Мицкевича «Первоцвет».

Стр. 79. *Мизогин* — ненавистник женщин.

Стр. 83. *Мария Стюарт* (1542—1587) — шотландская королева. Была казнена английской королевой Елизаветой, обвинившей ее в заговоре.

Генрих IV (1553—1610) — французский король, первый из династии Бурбонов. В 1593 г., во время гугенотских войн, перешел в католичество, в 1598 г. издал Нантский вердикт о предоставлении гугенотам свободы вероисповедания.

...восхищаться гением нашего великого Петра... и всего более под Прутом...— Имеется в виду Прутский договор 1711 г. между Россией и Турцией, подписанный Петром I.

Стр. 84. *Селадон* (фр.) — имя героя романа французского писателя д'Юрфе (1568—1625) «Астрея», ставшее нарицательным

для определения сентиментального возлюбленного, а также волокиты.

Стр. 89. *Темляк* (польск.) — петля из ремня или ленты на рукоятке холодного оружия, надеваемая на руку при нанесении удара.

Стр. 91. Эпиграф взят из трагедии Ф. Шиллера «Мария Стюарт».

Стр. 92. *Криспен* — слуга, герой комедии Лесажа «Криспен, соперник своего господина» (1707).

Стр. 93. ...*аттическою формою рук*... — здесь: изящная, стройная.

Стр. 96. *Дафнис и Меналк* — герои любовной, идиллической поэзии XVI—XVII вв.

Стр. 97. *Барабинская степь* — расположена между реками Иртыш и Обь, в пределах теперешней Новосибирской области. ...*свадебные подножки*... (устар.) — коврик, постилаемый во время обряда венчания.

Стр. 99. *Шнеллер* (нем.) — спуск у пистолета.

Стр. 102. *Мемнова статуя* — статуя в Египте, издававшая при восходе солнца дрожащий звук, что объяснялось сменой температуры дня и ночи.

СТРАШНОЕ ГАДАНЬЕ

Впервые — в «Московском телеграфе», 1831, № 5 и 6, за подписью: Александр Марлинский, с пометкой: Дагестан, 1830.

Стр. 112. *Лутковский Петр Степанович* (ок. 1800—1882) — морской офицер, друг Михаила и Александра Вестуевых; был близок к кругам декабристов. Его брат Ф. С. Лутковский (1803—1852) привлекался по делу декабристов.

Стр. 118. *Кика* — праздничный головной убор замужних женщин.

Стр. 126. «*Красавица озера*». — Имеется в виду поэма «Дева озера Лакатринского» (1810), то есть Елена Дуглас, героиня английского романиста Вальтера Скотта (1771—1832).

Стр. 130. ...с *одною барскою барынею*. — Так крепостные крестьяне иронически называли служанок в помещичьих домах.

ЛЕЙТЕНАНТ БЕЛОЗОР

Впервые — в журн. «Сын отечества и Северный архив», 1831, № 34—42, за подписью: Александр Марлинский, с пометкой: Дагестан, 1830.

Стр. 143. Эпиграф взят из стихотворения А. С. Пушкина «К морю» (1824). Первая и четвертая строки цитируются А. Марлинским неточно.

...блокировал при голландских берегах флот французский...— В 1806 г. Наполеон ввел континентальную систему для подрыва экономического и политического могущества Англии. Англия в ответ на это блокировала в ноябре 1807 г. все порты Франции, Голландии и других европейских стран, присоединившихся к системе Наполеона. С 1812 г. приняла участие в этой блокаде и Россия.

Стр. 144. *Фальшфейер* (нем.) — старинное сигнальное устройство, применяемое на судах для указания их местонахождения и для иллюминации.

Стеньга — верхняя надставная часть мачты.

Стр. 145. *Шканцы* — часть верхней палубы на военных парусных судах, где происходят официальные церемонии.

Битенг (голл.) — чугунная тумба на палубе на пути движения якорной цепи.

Льяло (голл.) — водосточный канал вдоль борта в нижней части трюма корабля.

...держим на храпу...— здесь: работа помп (насосов) с предельной силой.

Марсарей (голл.) — рей, к которым прикрепляется прямой парус.

Рангоут (голл.) — совокупность оборудования верхней палубы.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763—1831) — выдающийся русский адмирал, сподвижник Ф. Ф. Ушакова; был главнокомандующим морскими и сухопутными силами на Средиземном море во время 2-й Архипелагской экспедиции русского флота 1805—1807 гг.

Стр. 146. ...бить рынду...— звонить в колокол в полдень (от англ. ring the belle — звонить в колокол).

Сейтали (голл.) — приспособление из блоков и троса для обтягивания канатов, поддерживающих мачту, для подъема тяжестей.

Стр. 147. ...обрасопить нос...— повернуть.

Стр. 148. *Рифмарсель* (голл.) — ряд продетых сквозь парус веревок, с помощью которых можно управлять парусом трапециевидной формы.

Репетиционный фрегат — фрегат, служащий для немедленного повторения сигналов флагмана.

Стр. 149. *Выворная пушка* — пушка, подающая сигнал кораблю.

Бейдевинд (голл.) — курс парусного судна против ветра.

Шкоты (голл.) — снасть для управления парусом.

Бизань (голл.) — парус на самой задней мачте.

Стр. 150. *Ванты* (голл.) — снасти для бокового крепления мачт.

Ют — кормовая часть верхней палубы судна.

Ростра — площадка над палубой судна для установки шлюпок.

Стр. 151. Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Ричард III».

Стр. 154. *Эней* — в греческой мифологии один из троянских героев, сын царя Анхиза и богини Афродиты. Римский поэт Вергилий (70—19 гг. до н. э.) описал приключения Энея в поэме «Энеида».

Стр. 157. *...нового французского короля Луиана...* — Речь идет о брате Наполеона I, Луи Бонапарте, который был провозглашен главой Голландского королевства в 1806 г. Он проводил слишком самостоятельную политику и нарушал континентальную блокаду, вследствие чего был отстранен от власти и королевство было включено в состав Французской империи.

Стр. 159. *...выброшен из кита, словно Иона...* — Иона — один из библейских пророков; согласно легенде, он три дня пребывал в чреве кита.

Стр. 161. *Гебея* (Геба) — в греческой мифологии богиня юности, дочь Зевса и Геры; на пирах богов выполняла обязанности виночерпия.

Стр. 162. *Брюсов календарь* — настольный календарь, составленный библиотекарем В. Куприяновым под наблюдением Якова Брюса в 1709—1715 гг. Содержал астрономические данные, церковные справки и астрологические предсказания.

Пико де ла Мирандола Джованни (1463—1494) — итальянский философ и ученый эпохи Возрождения, полиглот.

Стр. 163. *Рюйтер* (или Рейтер) Михаил-Адриансон (1607—1676) — голландский адмирал.

Стр. 164. *Оранжисты* — монархическая группировка, сторонники династии принцев Оранских-Нассау в Нидерландах.

Бурмицкие верна (бурмитские) — крупные, окатные (круглые) жемчужины.

...воздушные вавилонские сады... — то есть «висячие сады» Семирамиды, легендарной ассирийской царицы. Сады эти считались в древнем мире одним из «семи чудес света».

Фризские кони — лошади из северо-восточных районов Германии, где в древние времена жило германское племя фризов.

Стр. 165. *Мета* — здесь: намеченная черта, остановка.

...мавританских замков в Альгамбре... — Имеются в виду мавританские архитектура и искусство, созданные арабскими завоева-

телями в Испании. Самым значительным памятником этой архитектуры является крепость-дворец Альгамбра около Гранады (XIII — XIV вв.).

Стр. 166. *Аргус* — в греческой мифологии стоглавый великан, зоркий страж.

Конфуций (Кун-цзы, 551—479 гг. до н. э.) — известный древнекитайский философ.

Теньер (Тенирс Давид Младший; 1610—1690) — фламандский живописец-жанрист, основатель антверпенской Академии художеств (1663).

Ван дер Неер (1603—1677) — голландский живописец-пейзажист.

Остаде — голландские живописцы: Адриан ван Остаде (1610—1685) и его брат и ученик Исаак ван Остаде (1621—1649).

Вуверман (Водверман) Филипс (1619—1668) — голландский живописец.

Ван-Дик (Ван-Дейк) Антонис (1599—1641) — выдающийся фламандский живописец, ученик Рубенса.

Стр. 167. *Витт Ян* (1625—1672) — известный нидерландский деятель.

Бинг Джон (1704—1757) — английский адмирал.

Кальян (перс.) — прибор для курения табака у восточных народов.

Аббас I (1557—1628) — иранский шах.

Типпо-Саид (Типу-Султан; 1750—1799) — правитель южноиндийского княжества Мансур в 1782—1799 гг., возглавивший борьбу против английских колонизаторов.

Элевзинские таинства — религиозные обряды, совершавшиеся в Древней Греции, в городе Элевзине.

Стр. 168. *Экклезиаст* (греч. проповедник) — одна из книг Ветхого завета, проникнутая пессимизмом.

Манфред — герой одноименной поэмы Байрона (1817).

Стр. 169. *Перкинс* — английский механик, производивший с 1823 г. опыты по применению пара высокого давления в паровых машинах.

Дженкинс, Допкинс — видимо, иронические условные имена английских изобретателей.

...являлся... подобно карпам в пруде Марли.— Марли — дворец в Петергофе (Петродворце), построен в 1721—1723 гг.; в прудах около дворца была рыба, по звону колокольчика подплывавшая к берегу и получавшая корм.

- Стр. 178. *Филиппика* (филиппики, греч.) — обличительные, гневные речи против какого-нибудь лица.
- Стр. 181. *Пери* — в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от «злых духов».
- Стр. 183. Эпиграф взят из поэмы И. Ф. Богдановича «Душенька».
- Элизиум*, элизий (лат.) — в античной мифологии — благодатное место на крайнем западе земли, где блаженствуют избранные богов.
- Стр. 189. *Франциск I* (1494—1547) — французский король; в начале своего царствования покровительствовал ученым, литераторам, художникам.
- Стр. 190. *Пирамида Вестриса*. — Здесь спутаны имена французского балетмейстера Вестриса и египетского фараона Сезостриса.
- Фуше Жозеф* (1759—1820) — буржуазный политический деятель Франции. Был членом Конвента, позднее министром полиции Наполеона I.
- Рыцарь Меркуриева жезла* — то есть всезнающий человек, разносчик вестей. Меркурий в древнегреческой мифологии — вестник богов. В руке он держал жезл.
- Стр. 192. *Монтань* (Монтень Мишель де; 1533—1592) — французский писатель и философ эпохи Возрождения, автор «Опытов».
- Стр. 193. Эпиграф взят из комедии Н. И. Хмельницкого (1789—1845) «Воздушные замки».
- Стр. 196. *...обручение дожа с морем...* — обычай в Венеции: новый дож бросал в море кольцо, что символизировало его обручение с морем.
- Стр. 201. Эпиграф взят из «Послания к слугам моим» Д. И. Фонвизина.
- Смоулср* — контрабандист.
- Стр. 205. *Тартана* — цветная шотландская материя.
- Стр. 207. *Юнгфров* (голл.) — барышня.
- Стр. 208. *Буцефал* — так звали коня Александра Македонского.
- Стр. 209. Эпиграф взят из басни И. А. Крылова «Ворона и Курица».
- Стр. 211. *Тендер* (англ.) — небольшое одномачтовое парусное спортивное судно.
- Бушприт* (голл.) — передняя мачта на парусном судне, лежащая наклонно вперед, за водорез.

Стр. 213—214. *Прелиминарная статья* — основное предварительное условие.

Стр. 214. *Фальконет* (англ.) — старинная пушка, стрелявшая свинцовыми снарядами.

Стр. 214—215. *Погонные пушки* — установленные для стрельбы прямо по носу корабля.

Стр. 215. *Обдуй фитиль!* — Фитиль — приспособление для взрывания снарядов. Здесь: очистить фитиль.

Гафель (голл.) — специальный рей, служащий для прикрепления верхней кромки паруса.

Топсель (голл.) — рейковый парус треугольной (иногда четырехугольной) формы.

Форкастель (голл.) — небольшой помост на палубе над средней частью судна.

Линьки — веревка тоньше одного дюйма, служившая на судах для телесного наказания.

Брандер (нем.) — судно, применяемое для поджогов неприлгельских судов.

Верп — малый, вспомогательный якорь.

Стр. 216. *Бакштов* (голл.) — канат, с помощью которого одно судно укрепляется за корму другого.

Стр. 220. *Эолова арфа* — в греческой мифологии — арфа повелителя ветров Эола.

Термин — в древнеримской мифологии бог — охранитель границ.

Кроншлот — отдельное укрепление к югу от Кронштадта, założенное Петром I в 1703 г.

АММАЛАТ-БЕК

Впервые — в «Московском телеграфе», 1832, № 1—4, за подписью: Александр Марлинский, с пометой: Дагестан, 1831.

Стр. 222. *Полевой Н. А.* (1796—1846) — писатель, издатель журнала «Московский телеграф».

Стр. 224. *Термалама* (термолама) — плотная шелковая или полушелковая ткань.

Чепрак (тур.) — суконная, козровая или иная подстилка под седло поверх потника.

Потebни (укр.) — кожаные лопасти по бокам седла.

...хорасанского булата... — Хорасан — северо-восточная иранская провинция, известная производством оружия.

Чуха, или *чоха* (тур.) — верхняя мужская одежда с широкими откидывающимися рукавами.

Стр. 230. *...дали буг, не позволяя...* (польск.) — далее кусты, купы (деревьев), двигаться нельзя.

Султан-Ахмет-хан Аварский (ум. в 1823 г.) — числился генералом русской службы, но вместе со своим братом Гассан-ханом вел изменническую политику, не раз выступая против русских на Кавказе.

Стр. 231. *Ферман* (фирман) — письменное повеление, приказ в мусульманских странах.

Куран (Коран) — основная «священная» книга ислама, сборник религиозно-догматических, мифологических и правовых текстов.

Стр. 234. *Сардарь* — министр двора; здесь: главнокомандующий, то есть Ермолов А. П. (1777—1861) — генерал, герой Отечественной войны.

Стр. 235. *...обижен письмом... генерала...* — Имеется в виду ответ Ермолова на письма Аварского хана в 1818 г. Главнокомандующий разгадал изменническую политику хана и предложил ему: быть подданным или врагом России.

Стр. 236. *Стамбульский диван* — в Турции совещательное собрание сановников при султানে.

Стр. 237. *Чурек* — на Кавказе хлеб особой выпечки в форме большой лепешки.

Стр. 238. *Уздень* — лицо, принадлежащее к феодальному дворянству Кабарды и Дагестана.

Стр. 254. *Омировские герои* — то есть гомеровские.

Стр. 266. *Нагалище* — ружейный чехол.

Стр. 268. *Гяур* — презрительное название всех иноверцев у лиц, исповедующих ислам, главным образом в средние века.

Стр. 273. *Аманаты* (арм.) — заложники, взятые в обеспечение договора (в Древней Руси и в некоторых восточных странах).

...голова буйвола вонзилась рогами в землю. — Н. Берг в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды он спросил Ермолова, правда ли, что он ссекал голову быка. Ермолов отвечал отрицательно. Но тут же признался: «А силен я был, это точно, ужас, как был силен» («Русская старина», 1872, т. 1, с. 989).

Стр. 277. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор книги «Физиогномические фрагменты», в которой утверждалось, что по строению лица и черепа человека можно определить его характер.

Стр. 283. *...фарсийского пустословия...* — восточного.

Стр. 289. *...во время войны с фиренгами...* — то есть с французами.

Стр. 290. ...умер его приятель-соперник.— В 1820 г. полковник Пузыревский был назначен Ермоловым правителем Имеретии, но вскоре он был убит во время карательной экспедиции.

Стр. 293. ...видна уже стена.— К западу от Дербента видны развалины стен и башни, сооружение которых приписывалось Александру Македонскому, завоевавшему Персию в IV в. до н. э.

Дербент-наме — сочинение по истории Дербента, переведенное на русский язык по приказанию Петра I.

Стр. 294. *Царь Нуширван* — царь Нуширван Справедливый происходил из династии Сасанидов, царствовал с 530 по 578 г. Ему приписывается окончательная постройка крепости Дербента, основанного в конце V или начале VI в.

...имея ...железными воротами Дербент...— Слово «Дербент» — персидское (*дер* — дверь, *бенд* — преграда, застава); у арабов Дербент назывался «главные» или «железные ворота».

Меридово озеро — знаменитое озеро в Древнем Египте, соединенное с Нилом; уровень воды в озере регулировался с помощью шлюзов.

Я бродил по следам великого Петра...— Речь идет о персидском походе Петра I в 1722 г., целью которого было расширение торговых связей между Россией и Востоком. В результате этих походов ряд районов Дагестана и Азербайджана был присоединен к России. В 1735 г. завоеванные районы были возвращены Персии.

Плиний Старший (23—79) — римский ученый и писатель, автор энциклопедического сочинения «Естественная история».

Прокопий Кесарийский (между 490 и 507—после 562 гг.) — крупнейший византийский историк, участвовал в походах против персов, вандалов и остготов. Основываясь на личных впечатлениях, написал сочинение «История войн Юстиниана с персами, вандалами и готами».

Стр. 295. *Табасаранды* — народность Дагестана, относящаяся к лезгинской группе.

Стр. 296. *Киса* — сумка; здесь: деньги.

Марена — трава, из которой добывается красная краска — крапп.

Стр. 297. ...за *Швецова* дали выкуп...— В феврале 1816 г. чеченцы взяли в плен по дороге из Дербента в Кизляр полковника Швецова. Они содержали его в тяжелых условиях и потребовали за него огромный выкуп, но освободили за уменьшенную сумму.

Стр. 298. *Гаким (хаким)* — мудрец.

Стр. 301. *Харамзада* — жулик, обманщик.

Стр. 302. *Аллах берекет!* — слава богу (бог милостивый).

Стр. 304. *Любовь, как Мидас, претворяет все...*— В греческой

мифологии Мидас — фракийский царь, от прикосновения которого все превращалось в золото.

Стр. 306. ...*корону шамхальскую*... — титул правителей в Дагестане с конца XII в. до 1867 г.; впоследствии такой титул носили только кумыкские правители.

Стр. 309. *Факир* — здесь: мусульманский аскет, давший обет нищенства.

Стр. 311. *Гафиз*, или *Хафиз* (псевдоним Мохаммеда Шемседина; 1325—1389) — таджикско-персидский поэт-лирик, автор многочисленных газелей (двустихная строфа восточного стихосложения с постоянной рифмой на конце каждого двустихия).

Саади Ширази (между 1203 и 1210—1292 гг.) — таджикско-персидский писатель и мыслитель; автор дидактической поэмы «Бустан» (1257) и сборника рассказов и поэтических афоризмов «Гулистан» (1258).

Стр. 315. *Кляпцы* — западня, ловушка, капкан.

Стр. 331. ...*подобно войску фараона*. — Имеется в виду библейский рассказ о гибели войска фараона, бросившегося в погоню за израильтянами, выведенными Моисеем из Египта, и погибшего в волнах Черного (Красного) моря.

Стр. 336. ...*Ермолов грошил Дербент*... — А. П. Ермолов принимал участие в персидском походе гр. Вал. Зубова; за штурм и взятие Дербента в мае 1796 г. был награжден орденом св. Владимира четвертой степени.

Стр. 341. *Бомбарда* — корабль, стрелявший каменными и металлическими ядрами и предназначенный для бомбардирования крепостей с моря.

Стр. 343. *Редан* (редант) — полевое укрепление, имеющее форму выступающего наружу угла.

ФРЕГАТ «НАДЕЖДА»

Впервые — в журн. «Сын отечества и северный архив», 1833, № 9—17, за подписью: Александр Марлинский, с пометой: 1832, Дагестан.

Стр. 346. *Отаитянка* — жительница острова Таити (Полинезия).

Петергофский праздник. — В Петергофе ежегодно проводился традиционный праздник-маскарад (1 и 21 июля по ст. стилю).

Стр. 347. *Сирены* — в греческой мифологии девы, пением завлекавшие моряков в опасные места.

Фома неверующий. — Имеется в виду один из евангельских

апостолов, который не верил в воскресение Христа; здесь: человек, с трудом верящий во что-нибудь.

...уточные рыбы Марлийского пруда...— Марли — дворец в Петергофе (Петродворце), построен в 1721—1723 гг.; в прудах около дворца разводили рыбу.

Стр. 348. ...Самсон, раздирающий льва...— Имеется в виду один из петергофских фонтанов.

...юфтью Буаста?..— Юфть — особый сорт мягкой кожи производства заводчика Буаста.

Стр. 350. ...роль роstralной колонны...— Ростра — украшение колонн в виде носовых частей военных судов.

...коробочка Пандоры...— то же, что «ящик Пандоры».— Пандора — в древнегреческой мифологии имя женщины, мужу которой Зевс подарил сосуд, содержащий все человеческие несчастья, пороки и болезни. Любопытная Пандора, открыв его, выпустила их на волю. Здесь: источник всяческих бедствий.

Стр. 351. ...к камням Монплезира...— Монплефир (фр.) — дворец Петра I, сооруженный в Петергофе в 1714—1725 гг.

Стр. 352. ...лавры под Наварином.— В Наваринской бухте 8 (20) октября 1827 г. произошло морское сражение между флотом Турции и Египта, с одной стороны, и флотом России, Англии и Франции, — с другой. Сражение закончилось победой последних. Разгром турок содействовал национальному возрождению Греции.

Стр. 353. Природа, как говорит Шекспир, могла бы указать на него пальцем и сказать: вот человек! — слова Антонио о Бруте из трагедии Шекспира «Юлий Цезарь».

Эволюция — здесь: маневрирование находящихся в строю кораблей.

Стр. 354. Дек — закрытая палуба судна.

Шутиха — род фейерверка.

Стр. 355. ...император поднял свой штандарт.— Императорский штандарт — особый флаг с изображением Балтийского, Белого, Каспийского и Черного морей. Его подъем означал пребывание императора на корабле.

Стр. 356. Эпиграф взят из романа «Последние письма Якопо Ортиса» (1798, письмо от 20 ноября) итальянского писателя Николо Уго Фосколо (1778—1827).

Стр. 357. Флогистон Хининович — шутовское прозвище: флогистон — название летучего вещества, по мнению химиков XVIII в., выделяющегося при горении.

Стр. 358. ...Ганемановы выжидающие средства...— гомеопатические лекарства, названные по имени основателя гомеопатии немецкого врача Самуэля Ганемана (Ханемана; 1755—1843).

Стр. 359. *Зеленчак* — крепкий нюхательный табак, приготовляемый из зеленых листьев.

Туника — у древних римлян — белая нижняя одежда; здесь: кожный покров.

Авиценна — Ибн-Сина Абу-Али (ок. 980—1037 гг.) — выдающийся ученый-энциклопедист восточного средневековья, автор известного труда по медицине «Канон врачебной науки» и по философии — «Книга исцеления».

Аверроэс Ибн-Рошд (Рушд; 1126—1198) — арабский философ, естествоиспытатель, автор многих работ по философии и медицине.

Парацельс Филипп (1493—1541) — немецкий врач и естествоиспытатель, введший в практику новые химические препараты.

Бурла Герман (1668—1738) — голландский химик, ботаник и врач, введший в практику новые лекарства.

Шпанские мухи (мушки) — пластырь из порошка, приготовленного из высушенного жучка.

Вессикаторий (фр.) — вытяжной пластырь.

Синапизм (фр.) — горчичник.

Френизия (фр.) — воспаление мозга, помешательство.

Стр. 360. *Цефалгия* (фр.) — головная боль.

Spisen, сплин — игра слов; по-английски означает селезенку и хандру.

Тавличка — плоская табакерка из бересты.

Стр. 361. *Люгер* (логгер; нем.) — небольшое двух- или трех-парусное судно.

Грот-марс-фал. — Грот-марс — полукруглая площадка на палубе корабля в месте соединения мачты со стеньгой; фал — снасти для подъема рей, парусов, флагов.

Химическая горлянка. — Горлянка — тыква, по форме сходная с бутылкой; здесь: бутылка с химическим веществом.

Гарвей (Харви) Уильям (1578—1657) — английский врач, физиолог и эмбриолог, автор «Анатомического исследования о движении сердца и крови у животных».

Крейсиг Фридрих (1770—1839) — немецкий врач, автор книги «Болезни сердца».

Часослов — книга, содержащая тексты некоторых церковных служб.

Стр. 362. *...бурливое мыса Горна*. — Мыс на острове Горн (к югу от Огненной Земли), около которого бушуют сильные ветры.

Стр. 363. *Пелагея Фарафонтьевна* — гадалка, известная в Петербурге в 20-х годах XIX в.

Водяной шильник — болотное или растущее по берегам рек растение, используемое в народной медицине.

Стр. 364. *Собака-блок* — в морской терминологии один из блоков для поднятия парусов, около которого матросы часто получали увечья.

..нашего знаменитого корнеискателя..— речь идет об этимологических увлечениях А. С. Шишкова (1754—1841), автора «Рассуждения о старом и новом слоге российского языка».

Стр. 365. *Даглист* (даглиск) — левый становой якорь.

Кран-балка — механизм для подъема и передвижения тяжелых, брусков.

Греч Николай Иванович (1787—1867) — реакционный русский журналист и писатель, издатель журнала «Сын отечества» с 1812 по 1839 г. См. коммент. к статье «Взгляд на старую и новую словесность в России».

Стр. 366. *Сальватор* (Сольватор) Роза (1615—1673) — итальянский живописец-офортист, прославившийся изображением суровой природы.

Стр. 368. *Из бухты вон!* — Бухта — снасти, сложенные в кольца; здесь команда, подаваемая перед отдачей якоря.

Стр. 369. *Камюэнс Луис* (1524—1580) — португальский поэт, автор эпической поэмы «Лузиады», описывающей путешествие Васко да Гамы.

Стр. 371. *Свеабори* — бывшая крепость в Финляндии, лежащая на островах у входа в гавань Хельсинки.

Конгревовы ракеты — ракеты, изобретенные английским инженером У. Конгривом (1772—1828).

Стр. 372—373. ..льдины... какие видел Парри в Баффиновом заливе...— Парри Уильям (1790—1855) — английский исследователь полярных стран. Баффинов залив (Баффиново море) — залив между Гренландией и Баффиновой землей (Атлантический океан), названной в честь английского исследователя полярных стран Уильяма Баффина (1584—1622).

Стр. 374. *Суровый славянин* — выражение, взятое из стихотворения Пушкина «К Овидию».

Стр. 378. *Граммон Теодуль де* (1765—1841) — маркиз, французский политический деятель.

В дуэлях классик и педант...— выражение из романа Пушкина «Евгений Онегин».

Стр. 379. *Бертольд Шварц*—французский монах; по преданию, изобрел порох в начале XIV века.

Лепаж — знаменитый французский оружейный мастер начала XIX в.

Стр. 380. *Брейд-вымпел* — флаг командира корабля.

Стр. 381. ...с *Мельтоновым Эмпиреем*... — имеются в виду горные сферы, место действия в поэме английского поэта Дж. Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай».

Стр. 383. Эпиграф взят из трагедии В. Шекспира «Гамлет».

Стр. 384. *Рогаль* — маленькая булочка, имеющая форму рога; здесь: хлеб насущный.

Ювенал Децим Юний — римский поэт-сатирик.

«*Не заслоняй солнца, не отнимай того, чего дать не можешь*». — По преданию, древнегреческий философ Диоген попросил Александра Македонского, предложившего исполнить любое его желание, только одного — не заслонять солнца.

Платон — древнегреческий философ-идеалист.

Стр. 385. «*Per te si va nella città dolente!*» — из «Божественной комедии» Данте Алигьери («Ад», песнь III, I).

...*за квакерское пожатие руки*. — Квакеры — христианская протестантская секта, возникшая в Англии в середине XVII в. и распространившаяся в США. Высшим выражением веры квакеры считали добродетель.

Стр. 386. *За Балкан, за Саганлуг! за Варну, за Ахалцых!* — Имеются в виду места сражений русских войск во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг. на Балканах и на Кавказе.

Сенковский Иосиф (Осип Иванович; 1800—1858) — русский писатель, ученый, полиглот, этнограф, объездивший Ближний Восток и Африку, специалист по арабскому, персидскому, турецкому языкам.

Пинетти — физик, демонстрировавший в Петербурге в конце XVIII — начале XIX в. различные опыты.

Стр. 389. *Адмирал Ной* — ироническое название героя библейского мифа Ноя, построившего во время всемирного потопы ковчег.

Сервент (фр.) — слуга.

...*хромоногий бес не снимет кровли с ее будуара*... — имеется в виду роман французского писателя А. Лесажа (1668—1747) «Хромой бес». Его герой — бес Асмодей — поднимал крыши домов, чтобы увидеть частную жизнь их обитателей.

Стр. 391. *Макиавель и Купидон* — заклятые враги друг друга. — Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель, автор книги «Государь», в которой оправдываются любые методы в борьбе за власть. Купидон — в древнеримской мифологии бог любви.

Буало Никола (1636—1711) — французский поэт, теоретик классицизма.

Лукреция — римлянка, жена Тарквиния Коллатина, ставшая жертвой насилия со стороны сына древнеримского царя Тарквиния Гордого (VI в. до н. э.), в результате чего покончила жизнь самоубийством. Образ Лукреции стал символом чистоты и верности.

...трих пар стройных ножек... — неточная цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин».

Стр. 394. *...раскрашенных снегов...* — выражение из поэмы Байрона «Дон Жуан», а не из «Паломничества Чайльд-Гарольда».

Глатоль — старинное название буквы «г»; здесь: в ироническом значении виселица.

Стр. 397. *Миловзор* — условный персонаж сентиментальных произведений.

Стр. 398. *Фумигация* — окуривание.

Стр. 399. *Бертовский пароход* — пароходы, построенные на машиностроительном заводе Карла Берда (ум. в 1864 г.) в Петербурге и курсировавшие в основном между Петербургом и Кронштадтом.

Средобежная — центробежная.

Стр. 400. *Монумент Петра Великого*. — Речь идет о памятнике Петру I скульптора Фальконе, открытом в Петербурге на Сенатской площади в 1782 г.

...дремучие болота Рюисдаля... — Якоб ван Рейсдал (1628—1682) — голландский живописец, график и один из крупнейших пейзажистов XVII в.

Фан-дер-Неер (Ван дер Неер) — голландский живописец-пейзажист XVII в.

Фан-Остада — Остаде — семья голландских пейзажистов.

Лесюер Эташ — французский художник XVII в., писавший картины на исторические, религиозные и мифологические темы. Здесь речь идет о его картине «Смерть св. Стефана».

Пуссен Никола — французский живописец, крупнейший представитель классицизма в искусстве XVII в.

Мурильо Бартоломе Эстебан — испанский живописец XVII в.

...сельский праздник манил к себе... — Имеется в виду картина Теньера «Сельский праздник».

Вернет (Верне). — Верне Клод Жозеф — французский художник-пейзажист, маринист.

Урбино — то есть Рафаэль.

В комнатах, заключающих музей Жозефины... — Французская императрица Мария-Роза-Жозефина, первая жена Наполеона I, устроила в окрестностях Версаля, в замке Мальмезон, музей, со-

стоящий из произведений искусств, вывезенных Наполеоном из захваченных им стран. В 1815 г. она подарила Александру I тридцать восемь картин и четыре скульптуры Антонио Кановы. Залы в Эрмитаже, где их поместили, назывались Мальмезон; Марлинский называет их музеем Жозефины.

Канова Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор-классицист.

Стр. 401. **Скопас** — известный древнегреческий скульптор и архитектор (IV в. до н. э.), представитель поздней классики. Многочисленные его работы известны по римским копиям.

«Одних уж нет, другие странствуют далече!» — выражение из поэмы персидского писателя и мыслителя Саади Ширази «Бустан».

Стр. 407. *...изотью Эскулапа* — то есть авторитетом врача.

Эпиграф взят из стихотворения А. Мицкевича «Rozmowa» («Разговор»).

Стр. 408. **Паскаль Блез (1623—1662)** — французский религиозный философ, писатель, математик и физик.

Крес (кресс)-салат — овощное однолетнее растение из семейства крестоцветных; листья употребляются в пищу как салат.

Вестминстерский кабинет. — Вестминстер — часть Лондона, где находится здание английского парламента; здесь имеется в виду английский кабинет министров.

Амброзия — в древнегреческой мифологии ароматная пища богов, дававшая им вечную юность и красоту.

Стр. 409. *...всезначащее число 666 в Апокалипсисе.* — Число 666 — «звериное число» в Апокалипсисе (одной из книг Нового завета), под видом которого якобы скрыто имя антихриста.

Иена и Маренго. — Иена — город в Германии, под стенами которого французские войска в 1806 г. разбили прусские войска. Маренго — деревня в Северной Италии, около которой в 1800 г. французские войска одержали победу над австрийской армией.

Стр. 410. **Калиостро** — имя авантюриста Джузеппе Бальзамо (1743—1794).

...статью «Нечто о любви душ». — Видимо, это шутка Бестужева — такой статьи в «Соревнователе просвещения и благотворения» нет. Нет и статьи «О влиянии свирели и барабана на юриспруденцию».

Стр. 412. **Маймисты** — финны (от финск. таа — земля, mies — муж).

Годдем (англ. God damn) — проклятие, ругательство.

Брюно (Брюне Жан-Жозеф) — актер французской труппы в Петербурге.

Стр. 414. *Вместо того, чтобы вторить... в арии di tant palpiti*, тебе бы надо уверить ее, что *inavocce rosola*...— слова из арии Розины в опере итальянского композитора Россини (1792—1868) «Севильский цирюльник».

Дромадер (дромадар) — одногорбый верблюд.

...пояса затянуты гордиевым узлом...— По преданию, Гордий, родоначальник одной из фригийских династий, привязал узлом ярмо к дышлу колесницы, подаренной им в храм Зевса. Оракул предсказал, что тот, кто развяжет узел, будет владеть Азией. Александр Македонский разрубил узел мечом.

Стр. 415. *Ситха* — остров на северо-западе Северной Америки.

Крепость Росс — русское поселение в Калифорнии, основанное в 1812 г. Российско-Американской компанией.

Теология — богословие, церковное учение.

Геральдика — составление, истолкование и изучение гербов.

Стр. 415—416. *Реомюр Рене-Антуан* (1683—1757) — французский естествоиспытатель, изобретатель спиртового термометра.

Стр. 416. *Супир* — подаренное на память колечко, надеваемое на мизинец.

«*Недолго женскую любовь...*» — стихи из поэмы Пушкина «Кавказский пленник». Третья строка читается так: «Пройдет любовь, настанет скука...».

Стр. 417. *Авель* — по библейской легенде, второй сын Адама и Евы, «пастырь овец»; убит своим братом Каином за то, что бог предпочел принять жертвоприношение Авеля.

Стр. 419. Эпиграф взят из первой главы романа французского писателя Оноре Бальзака (1799—1850) «Шагреновая кожа».

Авзония — поэтическое название Италии.

Колизей — амфитеатр, памятник древнеримской архитектуры (75—80 гг. до н. э.).

Брента — река на севере Италии.

...дремля под напев Торкватовых октав! — часть фразы — стих из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. I, строфа XLVIII). Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт, ренессансная лирика которого воспевала природу и любовь.

...не отличил бы Караважа от Поль Поттера...— Караваджо Микеланджело Меризи да (1573—1610) — итальянский живописец, основоположник реалистического направления в европейской живописи XVII в. Поттер Поль (Поттер Паулюс; 1625—1654) — голландский живописец и офортист, изображавший природу, жанровые сцены.

Кранах Лука (Кранах Лукас Старший; 1472—1553) — немецкий живописец и график.

...о пушках Пексака...— Пексан Генрих-Йозеф (1783—1854)— французский генерал, пушки которого, стрелявшие разрывными снарядами и названные бомбовыми, были приняты на вооружение в 1830 г.

Стр. 421. ...седьмая роковая пуля во Фрейшице...— По немецкому преданию, фрейшиц — вольный стрелок — находился в союзе с чертом. Каждая седьмая его пуля направлялась чертом. «Фрейшиц» — «Волшебный стрелок», опера немецкого композитора К. Вебера (1786—1826).

...надписи, начертанной огненным перстом на стене пиришества для Валтасара!..— Валтасар — сын последнего вавилонского царя. Войска персидского царя Кира, овладев Вавилоном, убили Валтасара (539 г. до н. э.). В библейской книге пророка Даниила описывался пир Валтасара («Валтасаров пир») и содержалось пророчество о его гибели.

...на гомеровском щите Ахиллеса...— Щит Ахиллеса описан Гомером в XVIII песне «Илиады».

Стр. 422. Жилблаз (Жиль Блас) — герой романа А. Р. Лесажа (1668—1747) «История Жиль Блаза из Сантильяны».

Роб-Рой — герой одноименного романа Вальтера Скотта.

Стр. 423. Йегова — искаженная форма имени бога Яхве в иудейской религии.

Алла (аллах) — бог в мусульманской религии.

Стр. 426. Гемисфера — полушарие.

...раздолье между Тигром и Евфратом...— Тигр и Евфрат — реки в Ираке, в междуречье которых, по иудантской и христианской мифологии, был рай для первых людей рода человеческого — Адама и Евы.

Эдем — в библейской легенде, земной рай; здесь: благодатный уголок земли.

Стр. 429. Эддистонский маяк — маяк, сооруженный в 1697 г. на скале в проливе Ла-Манш.

Стр. 430. Эпиграф взят из шестой сатиры Ювенала. У Ювенала эта строка читается так: «Нос volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas».

Брамсель — парус третьего яруса. Брам-стенга — третье колено составной мачты.

Фальстаф — герой комедии В. Шекспира «Виндзорские кумушки», а также его хроники «Генрих IV».

Афонская гора — полуостров на Эгейском море, который известен своими монастырями.

Стр. 431. Тимур-Ленг — Тамерлан.

Стр. 432. *Ариман* — древнеперсидское божество, олицетворяющее злое начало.

Стр. 435. *Тароватый* — здесь: щедрый.

Стр. 438. *...похищенною пери на коленях сурового дива...* — *Пери* — в персидской мифологии добрая фея, охраняющая людей от «злых духов»; *див* — чудовище, злой дух.

Стр. 440. *Мирра* — благоуханная смола.

Лобзанье Иудино — «иудин поцелуй», выражение из евангельской легенды о предательстве одного из учеников Иисуса — Иуды.

Приговор неумитных жюри — справедливых, неподкупных.

Стр. 444. *Гюйс* — морской флаг, поднимаемый только во время стоянки корабля и при убранных парусах.

Стр. 445. *Мушкель* — деревянный молоток, применяемый при такелажных работах и конопатке деревянных судов.

Стр. 446. *Турникет* — хирургический инструмент для зажима кровеносных сосудов.

Стр. 447. *Лисель-спирт*. — *Лисель* — парус, приставляемый при слабом ветре к основным прямым парусам и увеличивающий их площадь.

Фордевинд (голл.) — ветер, совпадающий с курсом судна, или курс судна, совпадающий с направлением ветра.

Ундерзэйль (голл.) — нижние паруса.

Грот-марса-рей — брус, прикрепляющий второй снизу парус.

Топенайт (голл.) — снасть, поднимающая и поддерживающая горизонтальные и наклонные рей.

Стр. 452. *Доломан* — короткий гусарский мундир.

Девять сестриц Парнаса... — в греческой мифологии девять муз, покровительниц искусств, живших на священной горе Парнасе.

...сова Минервы... — В древнеримской мифологии богиня Минерва, покровительница искусств и ремесел, изображалась с совою — символом мудрости.

Ирида — в греческой мифологии вестница богов, изображавшаяся быстроногой крылатой девушкой.

Вулкан — бог огня и кузнечного дела у древних римлян.

...сына своей жены... — сын Вулкана *Цекуль*, бог очага.

Стр. 454. *Ток* — женский головной убор.

Не на варшавском ли приступе... — Речь идет о взятии Варшавы русскими войсками 26 августа 1831 г.

«*Молва*» — газета — приложение к журналу «Телескоп», выходила в Москве с 1831 по 1836 г.

Стр. 455. *Ловелас* — имя главного героя романа английского

писателя Ричардсона «Кларисса», ставшее нарицательным для обозначения волокиты, соблазнителя.

Стр. 456. *Белладонна* (красавка) — ядовитое и лекарственное растение.

Тацит Публий Корнелий (ок. 58 — после 117 гг.) — римский историк, оратор, прославлявший республиканский строй и обличавший деспотизм императоров.

Нойяда (Наяда) — в древнегреческой мифологии нимфа рек и ручьев.

СОДЕРЖАНИЕ

В. И. Кулешов. Александр Бестужев-Марлинский 5

Повести

Ревельский турнир	15
Испытание	49
Страшное гаданье	112
Лейтенант Белозор	143
Аммалат-бек . . .	222
Фрегат «Надежда»	346
Примечания	457

Бестужев-Марлинский А. А.

Б 53 Повести / Сост., вступ. ст. и прим. В. И. Кулешова. — М.: Правда, 1986. — 480 с.

А. А. Бестужев-Марлинский — видный поэт, прозаик, публицист первой трети XIX века, участник декабристского движения, член Северного тайного общества. Его творчество является ярким образцом революционного романтизма декабристов. В настоящее издание вошли повести: «Ревельский турнир», «Испытание», «Страшное гаданье» и др.

Б 4702010100—1020
080 (92) — 86 1020—86

84 Р 1

Александр Александрович БЕСТУЖЕВ-МАРЛИНСКИЙ

ПОВЕСТИ

Составитель

Василий Иванович Кулешов

Редактор Л. М. Кроткова

Оформление художника В. Б. Иовика

Художественный редактор Н. Н. Каминская

Технический редактор Т. С. Трощина

ИБ 1020

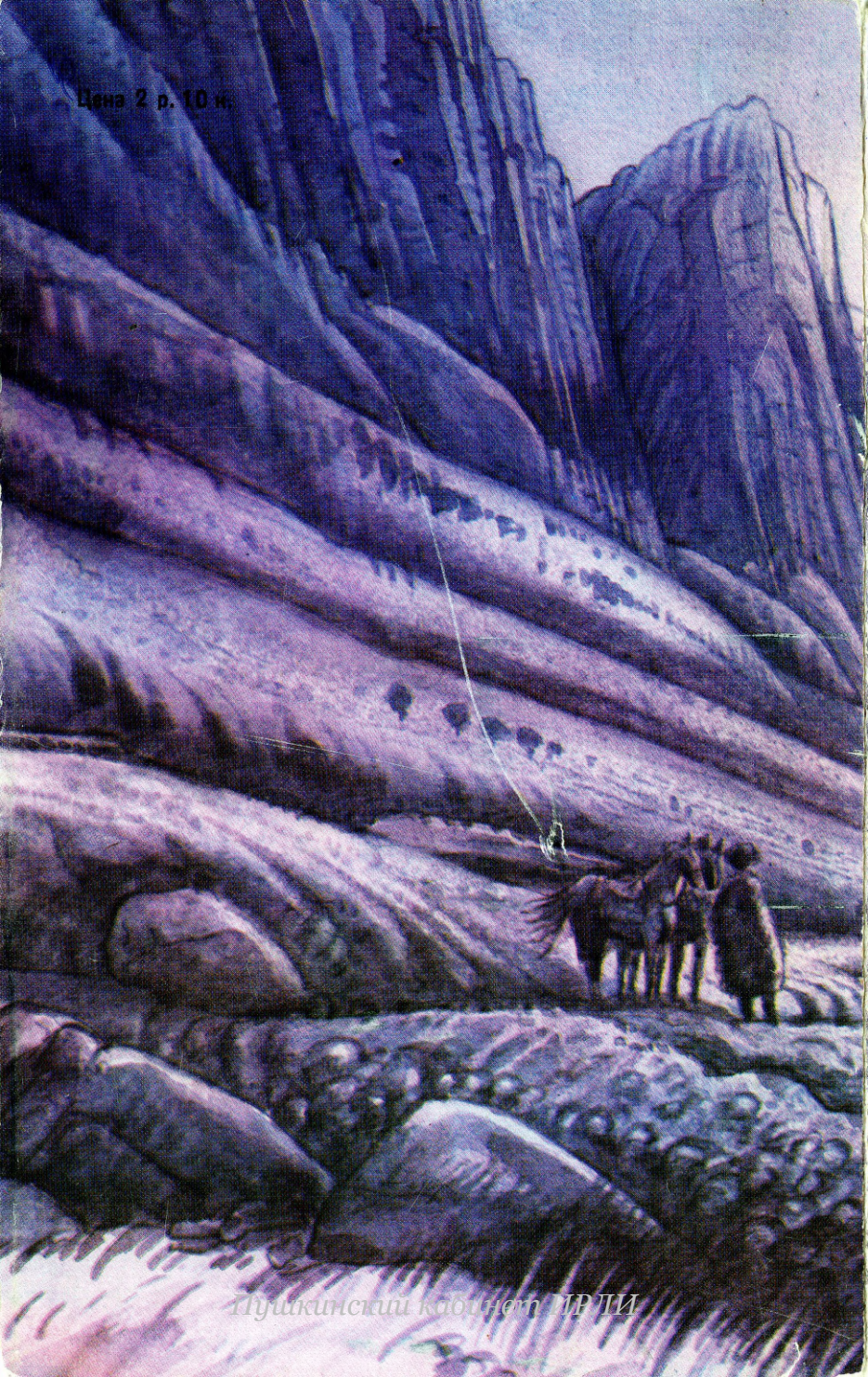
Сдано в набор 25.02.85. Подписано к печати 18.06.85.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 25,20. Усл. кр.-отт. 25,62. Уч.-изд. л. 25,25.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод 250 001—500 000).
Заказ № 3192. Цена 2 р. 10 к.

Набрано и сматрировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125365, ГСП, А-137, Москва, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Советская Сибирь».
630048, г. Новосибирск, 48, ул. Немировича-Данченко, 104.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Цена 2 р. 10 к.



Пушкинский кабинет ЛР ТИ